

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1966 года
САРАТОВ

5-6 (486)

2020

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Елена Михайлик. «Генетическая разница между двумя видами кукурузы...» *и др. стихи*.....3
Алексей Слаповский. Ксю. *Потусторонняя история*.....9
Мария Галина. «Север» *и др. стихи*.....136
Ольга Брагина. Можно в любой момент выйти из дома. *Стихи*.....139
Григорий Стариковский. Провожатый. *Повесть*.....151
Александр Скидан. «ты заперта на ключ...» *и др. стихи*.....174
Сергей Кулаков. Летучий голландец. *Рассказ*.....177
Геннадий Каневский. Пусть течет. *Стихи*.....181
Алексей Колесников. На рынке. *Рассказ*.....188
Ирина Машинская. «Змеи непостижимое движенье...» *и др. стихи*.....192
Макс Неволошин. Не нравится – вали. *Рассказ*.....194
Иван Гобзев. Ложиться надо сейчас. *Рассказ*.....199

ПЕРЕВОД

Люк Грювес. Из книги «Неизбывное». *Перевод Анастасии Андреевой*.....204

ИЗ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Евгений Хорват. Из неопубликованного. *Публикация, вступление Владимира Орлова*.....209

ПУТЕШЕСТВИЕ

Михаил Бару. «Живя от правительства в отдалении...».....217

В СВОЕМ ФОРМАТЕ

Сергей Боровиков. Запятая – 6 (*В русском жанре – 66*).....244

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Сергей Стратановский. «Поэт должен беспокоиться не только о том, чтобы его читали...»
Беседа с Олегом Роговым к выходу книги: Сергей Стратановский. Изборник.....257

БИБЛИОМАН

Наталия Черных. История трех измерений в трех книгах: *Поэтические новинки 2020*
О кн.: Владимир Навроцкий. Башня из белых стиральных машин; Мария Малиновская. Движение скрытых колоний; Наталья Разувакина. Быстрая Синева. Избранные стихи 2017-2019.....261

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Денис Липатов. Там, где снег зарос осокою
О кн.: Ната Сучкова. Страна: Сборник стихотворений.....265
Юрий Рыдкин. Существенное зияние
О кн. Ирина Шостаковская. Гараж: Стихи.....269

ЖИЗНЬ ХУДОЖНИКОВ

Алексей Голицын. Первое дело художника Валентина Юстицкого.....272

© «Волга», 2020

Елена МИХАЙЛИК

***

Генетическая разница между двумя видами кукурузы
больше, чем между человеком и обезьяной.
Кукуруза уходит плакать за колхозные шлюзы,
возвращается пьяной.
Ничего, говорит, не помню, не жду, не знаю,
давно я подозревала, что я себе не родная.

Отвечает ей марь-трава, индийский сорняк, отчетливо, злобно:
может, не имеешь родства, зато ты съедобна,
птицам и мышам хороша, и любезна людям,
потому и дальше будешь дышать, когда мы не будем.

Кукуруза помнит долину, речную тину, солнце, клочья тумана,
всех, на кого натыкались корни – от Украины до родного Теуакана,
думает: без обмена материалом здесь обошлось едва ли,
а меня ж еще опыляли.
Значит есть родство, Дарвин в небе, в мире – порядок.
На вокзале купи початок, попробуй – сладок,
так, как в детстве, сладок.
И никаких загадок.

***

Понимаете, дети, для тех, кто в латыни плавает,
процедура ориентации по инферно воистину нелегка:
этот сукин сын хотел для выгоды вызвать дьявола,
а накликал – боевой эпидотряд ЧК.

Из Самары, из тумана, из двадцать первого,
от котлов с проваркой и тифозных огней,
от небывшей пайковой перловки со всеми перлами,
от воды, поднявшейся до городских корней.

Елена Михайлик родилась в Одессе, окончила филологический факультет ОГУ. С 1993 г. живёт в Сиднее, преподает в университете Нового Южного Уэльса. Доктор философии, тема диссертации «Варлам Шаламов: поэтика новой прозы». Стихи и статьи публиковались в антологии «Освобожденный Улисс», журналах «Арион», «Воздух», «Дети Ра», «Новый мир», «Новое литературное обозрение». Премия Андрея Белого в номинации «Гуманитарные исследования» (2019). Автор книг стихов «Ни сном, ни облаком» (2008), «Экспедиция» (2019). В «Волге» стихи публикуются с 2013 года.

Ошибиться нетрудно, но думать надо заранее,
прежде чем «oro te» превратится в такую мать –
ведь на дьявола существует процедура изгнания,
ну а с этими бесполезно и начинать.

Пентаграммы, замки не требовали усилия,
и уже по улице стелется дымный след.
дальше – далее по тексту и без Вергилия,
и на Блока – как все мы знаем – надежды нет.

***

Такая магнолия цветёт,
что пчелы висят на караул,
перечисляя в будущий мёд
прозрачный запах, протяжный гул –
такое лето, горят леса,
на месте массива – прочерк, пробел
и тонкая пепельная полоса
во льду и в меду, у тех, кто успел
собрать, что цвело у тех, кто успел
распахнуть запас, отложить запас
для тех, кто в этот раз не сгорел
или сгорел – но не в этот раз,
но в промеж-жутке вдохнет на свет –
небольшой урожай, хороший год:
жасмин, эвкалипт, перелёт комет –
ах какая магнолия цветёт.

***

Осени свет нерезкий, отблеск на самом дне,
«Прекрасная нивернезка» уже не вернется ко мне.
пламя во мраке ночи облаком заменя,
даже если захочет, не возвратится в меня,
мосты, черепица, птицы, люди, сентиментальный хлам –
некуда поместиться восьмидесяти томам,
недоглядной цензуре, простуженному окну,
детской температуре, чаю с лимоном, сну,
где в санаторной пещере, распробовав мед и яд.
юные пионеры читают про все подряд,
просыпаются, зная, что в тумане, как в парадном платке,
где-то баржа речная неизменно идет по чужой реке.
Только потом, гуляя, какое тысячелетье, полушарие, город, год,
обернуться и краем, краем глаза поймать невозможный на юге лед,
отражаясь, сияя, солнцем разрезана пополам
небольшая баржа речная деловито идет по своим делам,

не монтаж, и не врезка, не кино, не смещенье твоих когда,
просто «Прекрасная нивернезка» пройдет везде, где течет вода.

***

За второй звездой от большого универмага,
на окраине нашего рукава
осторожная моль сидит в шкафу и пожирает бумагу,
избегая тех участков, где есть слова.

Она знает что текст все равно изойдет до трухи
под воздействием производительных сил,
она не читает стихи –
но не любит чернил.

Целлюлоза организмом принимается благосклонно,
есть еще две папки, какой-никакой резерв,
но проблема в том, что смысл, в отсутствие фона,
поступает прямо на нерв –

и моль, тяжело дыша, тащит кружево в сканер,
укладывает, наваливается на кнопку, давай, пошел,
будем жить,
я с едой, ты с компьютерными – и газовыми – облаками –
всем хорошо.

***

Иоанн Богослов укладывает последнюю строчку, навылет, влет.
животные, все трое, и четвертое, которое он и есть,
глядят на него всеми глазами подряд,
воздевают их к свернутым небесам,
за которыми в настоящий момент виден только хрустальный лед,
а не благая весть,
и растерянно говорят:

– Ты, эстет, декадент, двоякий евангельский крокодил,
да в какой Бродячей Собаке ты этот ритм нашел,
ты зачем эту жуть во мраке им, злосчастным, нагородил –
ты не мог просто сказать: все закончится хорошо?

Иоанн Богослов отряхивает прилипший за ночь припев («и третий ангел...»):
– Ну будто я сам на Патмосе придумывал эту страсть,
всех этих всадников, чаши, трубы, несчетных прекрасных дев,
этих зверей, имеющих власть,

этот конец отсчета, озеро и провал, с заката и до восхода –
кто его диктовал?
Ну я, допустим, истер в порошок
слои полыни и ржи,
любви, и возмездия, и катастрофы –
триллер, блокбастер, шок,
но это же люди, они не поверят в отдельное хорошо –
не смогут увидеть, как им ни расскажи...
Ведь за две тысячи лет ни одна душа...

Иоанн Богослов вздыхает, заливает жидкие слезы в тридцать
четвертый глаз,
за углом дорогу рогами нащупывает трамвай,
разворачивает обратно свиток – Бетельгейзе сегодня особенно хороша –
и садится пить чай (а кто считает, что чая там нет, совершенно
ошибочно представляет рай)
и думает – у меня непременно получится в этот раз.
Потому что все закончится хорошо.

***

Одну шведскую учительницу попросили
Написать учебник географии
Для начальных классов.
С тех пор местные жители почти перестали
Охотиться на диких гусей:
И жалко, и никогда не знаешь,
Какая окажется
Лауреатом нобелевской премии –
В полете не видно хромоты,
Оставленной полиомиелитом.
Один лифляндский красногвардеец
Взглянул на историю вокруг себя
И попытался с головой уйти в рыбоводство,
Но научный руководитель тут же приставил его
Писать пособие по энтомологии.
Естественно, для начальных классов.
Где-то там, в микроскопических зарослях
До сих пор гуляют изгнанные из рая
Оскар, Валентина и профессор,
И с этим ничего уже не могут поделать
Ни обстоятельства 1937 года,
Ни нетоварищ Сталин,
В лицо названный убийцей и оккупантом...
Один бывший коллежский секретарь
Начал переводить с английского сказку
Для младшего школьного возраста –
Сначала в сказке изменилось к лучшему все,

Включая, между прочим, Канзас,
Потом изменился он сам.
Впрочем, как выяснил его коллега,
Первопоходник и совершенно не бывший,
Андерсен производит точно такой же эффект,
Даже если просто пересказывать
Своими словами.
В общем, принимая заказ на что угодно,
Даже на политическую сатиру
Для напрочь нешкольного возраста –
Как было с одним ирландским священником –
Посмотрите, не появился ли в документах
Аккуратный – пусть и блеклый – фиолетовый штемпель.
Именно: «Волшебник».
Да, это необратимо.
Детские болезни, контузии,
Депрессия, глухота и безумие,
Гражданская война – и невойна, и негражданская –
Остаются.
Привкусом, оттенком, выбором слов.
Ничего не проходит.
Просто где-то – всегда – гуси взлетают с озера
И начинают путь на север,
А на траверзе Готланда
На стаю падает радужная тень
От парящего в небе острова.
Будет хороший день.

***

Что за осень! – не царский убор, не лазурь, не порфира –
красный, синий, зеленый, светла паутинная нить,
верно, Анна Андреевна там отыскала Шекспира,
упросила пластинку сменить.

До полуночи смерть не мешает ничьим разговорам,
стало прочным пространство и мокрой вода,
«Да чего тут уметь?» объясняет бессоннице ворон,
«Подгоняешь Леноре размерность, чтоб сделалась впору –
а потом как всегда».

Отзовется сова над невыстывшим медленным лесом,
отбивая для воздуха сутки – иль несколько суток,
загоняя за облако всю босховидную рать,
поразительно, сколько живого вмещает рассудок,
поразительно, сколько уместного тянет процессор,
если выставить фильтром Руссо буржуазный рисунок –
и держать. И держать.

***

Утомившись, раскат отошел за невидимый мол,
над стеклянной водой – металлический обод причала,
мы дошли до конца, и со дна поднялось одеяло –
трехметровый прекрасный взаправдашний скат-хвостокол.

Как он может нас помнить? Мы не были здесь целый год,
но встречает, глядит, так как рыбам смотреть не пристало...
потому что оно – мореплаватель (и одеяло),
всепогодный подводный защитный ковер-самолет.

Потому что причал – на заливе, во сне, на плаву,
свет бежит по камням, повторяемый солью и пылью,
где вода под водой раскрывает огромные крылья,
и всплывает как прежде – Привет! Ты живешь? Я живу.

Кто там ходит по небу и двигает звезды на дне?
Вот Чуковскому страшно, Тарковскому этого мало,
ну а мне в самый раз – мне навстречу плывет одеяло
по зеленой, соленой, пока – бесконечной волне.

Алексей СЛАПОВСКИЙ

КСЮ

Потусторонняя история

Теперь, когда меня убили, я могу говорить все, что хочу и как хочу.

«Говорить», сказала я, но это условное слово. На самом деле я молчу, речь возникает не звуками и не буквами, а какими-то сгустками, вспышками, пятнами, импульсами. Сложно объяснить. Я не вижу и не слышу, я сразу – чувствую.

И рада этому, мне при жизни страшно надоел однообразный язык, на котором приходилось изъясняться. Я не только русский язык имею в виду, а язык вообще, как способ коммуникации.

Он по определению примитивен. Подсчитано, что у нас, дорогие бывшие соотечественники, всего 200 тысяч слов. Включая заимствованные. Что такое 200 тысяч? Это население небольшого города. Правда, школьные знания по математике, которые во мне дремали, а сейчас в полном моем распоряжении, напоминают, что из двухсот тысяч можно составить комбинаций больше, чем всех звезд во всех вселенных. Но этим богатством никто не пользуется. В обычном обиходе слов намного меньше, ученые считают по-разному, кто говорит 6 тысяч штук, кто 600. Я думаю, вы обходитесь парой сотен. Пара сотен слов, вам хватает. И во всем мире так. У японцев, к примеру, 500 ходовых иероглифов. А у дельфинов, между прочим, 14 000 знаков повседневного общения.

Вот почему взрослые умиляются, услышав, как детишки смешно коверкают слова: леписин вместо апельсин, фуфли вместо туфли, мамолет вместо самолет. Хоть что-то новенькое.

Я тоже коверкала, часто нарочно, потому что всем нравилось, а нравиться было главной задачей моего детства, которое длилось аж до девятнадцати лет. Кончилось оно быстро и болезненно – в тот день, когда я узнала, что моего папочку, Олега Сергеевича Кухварева, арестовали и завели на него уголовное дело.

Нет, раньше. В шестнадцать оно кончилось. Когда родители объявили мне, что они не мои родители. Рассуждали, наверно, так: маленькая не поймет, в пубертате можно нанести травму, а в шестнадцать самое то – возраст согласия.

Праздновала я шестнадцатилетие свое трижды. Сначала в школе, в классе. Принесла всем подарочки-сувенирчики и тортик размером с колесо монстр-трака, так в нашей школе заведено. Мне в ответ тоже надарили всякой ерунды. Потом отметили дома, втроем – я, мама, папа. В московской квартире. В той, которая рядом со школой. Была еще деловая, в Москва-Сити, была представительская, набитая всяческой антикварью, около, конечно же, храма Христа Спасителя. И еще несколько квартир, как я потом узнала. Про запас.

А в ближайшую субботу созвали гостей в нашу подмосковную усадьбу. Она же особняк, поместье, вотчина, имение. Съехались друзья, приятели и знакомые по жизни и работе. Родственников не было, их у нас вообще не густо. Мама папы, моя бабушка, умерла, отец папы бесследно исчез сразу после папиного рождения, подарив на прощанье свою фамилию, осталась в городе

Алексей Слаповский родился в 1957 году в селе Чкаловское Саратовской области, окончил филологический факультет Саратовского университета. Автор многочисленных журнальных и книжных публикаций, сценариев (подробнее см.: https://slapovsky.ru/). Предыдущая публикация в «Волге» – пьеса «Два брата» (2019, № 3-4).

Саратове старшая сестра Ольга, от другого отца, тоже исчезнувшего; она в Москву не приезжала уже давно по причине болезненности и нежелания. У мамы во Владивостоке пожилой отец, он давно овдовел, завел другую семью, мама летала к нему несколько раз одна, без меня и без папы, возвращалась всегда хмурая и молчаливая. Так что дедушку владивостокского я в глаза не видела, только фотографии.

Ну и вот, мне шестнадцать, вечер, свечки, мы втроем, и мама говорит:

– Ксю, пришло время сказать тебе то, что надо было сказать раньше, но. Рано или поздно ты все равно узнаешь, поэтому, – она почему-то ставила точки в неожиданных местах. – Мы решили сейчас, чтобы. При этом ничего не изменится, все останется так же, потому что. Мы тебя любим.

Я догадалась сразу. Осенило. Хотелось брякнуть:

– Хватит тянуть, я не ваша дочь, что ли?

Но молчала, ждала.

А мама смотрела на папу. Я свою часть работы выполнила, теперь давай ты. Ты глава семьи, хозяин и все прочее. Добивай.

И папа добил:

– Понимаешь, Ксюшечка, обычно говорят: не наш ребенок. Но у меня язык не повернется сказать такую чушь, потому что. – Он то ли вдруг решил передразнить маму, то ли временно перенял ее манеру. От волнения. – Ты наш ребенок, наша дочь, наша любимая Ксюнька. Короче. Что?

– Я молчу.

– Короче, мы взяли тебя из детдома. Тебе было два года.

– Два с половиной, – уточнила мама.

– Да.

– И не из детдома, а из дома детства.

– Неважно.

Нет, это было важно, я потом узнала, в чем разница. В детские дома попадают сироты, дети умерших родителей, те, от кого отказались, чьих родителей лишили прав, посадили в тюрьму, вариантов много. Попадают все, без разбора. И есть много пар, которые хотят кого-то удочерить или усыновить. Целая очередь. В том числе богатые люди, а папа мой уже тогда был если не богатым, то хорошо обеспеченным тридцатишестилетним министерским чиновником высокого ранга. Богатые люди желают ребенка здорового и красивого. Есть спрос – есть предложение, инициативные люди придумали – создали в Подмосковье не детдом, а Дом детства. То же, да не то. Они объездили всю страну и свезли в этот Дом отборных младенцев. Все законно, а если не законно, то проплачено. Запустили рекламу и слухи – VIP-дети ждут своих новых VIP-родителей.

Повалили клиенты, младенцев продавали за очень неплохие деньги. Финансовая часть сделки не разглашалась, все было как бы бесплатно. Вот об этом предприятии детской работорговли и узнал мой папа. Ему хотелось красивую девочку, не грудняшку – много возни, но и не перезрелую – придется переделывать, перевоспитывать. Кого хотелось моей двадцатилетней маме-студентке и хотелось ли вообще, не знаю. Знаю только, что эта история заварилась из-за невозможности иметь своих детей, какие-то у обоих обнаружились неполадки с репродуктивной функцией. Был вариант суррогатного материнства, но врачи не советовали – даже в чужом чреве не исключена возможность резус-конфликта или конфликта генетического, или еще чего-то, подробности мне неизвестны. Главное – мои влюбленные друг в друга мама и папа оказались напрочь несовместимыми биологическими существами.

Папе требовался безукоризненно кондиционный товар, он выбирал полгода. Приезжал на осмотр с авторитетным врачом-педиатром, требовал все справки и анализы, ему важно было знать, каким ребенок вырастет. Чтобы не оказалась девочка слишком маленькой или слишком высокой, чтобы не было хронических болезней, чтобы поражала всех красотой. Грела этим доброе приемноотцовское сердце.

You warm my heart, – тут же спел мне кто-то сиплым, жалобным, блюзовым негритянским басом.

У нас тут так – не успеешь о чем-то подумать, сразу выскакивает что-нибудь подобное, похожее. Вроде вашей рекламы, когда вы что-то ищете в сети.

Мало этого, еще и загомонило несколько миллионов голосов:

«Негритянским? Да вы что?! Нельзя так говорить!»

«Я из России, мне можно! Найдите другую страну, которая так боролась бы за права негров, как Россия, а раньше СССР. У нас негр – ласковое слово. Мы возмущались убийством Мартина Лютера Кинга, требовали освобождения Нельсона Манделы и Анджелы Дэвис, мы и сейчас готовы принять всех униженных и оскорбленных негров, только они к нам не очень едут!»

Голоса не унимаются, продолжают долдонить свое, на здоровье, мне не мешает.

Да, но откуда я все это знаю в свои юные годы?

Легче спросить, чего я теперь не знаю. Во мне ожило все, что я когда-то слышала, видела и читала, плюс неисчерпаемая доступная информация. Я обогатилась всеми знаниями, накопленными человечеством, как и советовал В.И. Ленин на 3-м съезде комсомола 2 октября 1920 года. Мне внятно все, и острый галльский смысл, и сумрачный германский гений. Но без напряженья, без напряженья, подпел мне тут же БГ, Борис Гребенщиков, любимый автор моей саратовской тети Оли, под ранние песни которого она грустит о молодости.

Папа и маму выбирал очень тщательно. Он спланировал свою жизнь еще в школе, которую закончил с золотой медалью. Сказал себе: хочу иметь в жизни все самое лучшее. И поехал в Москву добиваться этого. Поступил в МГУ, обзавелся знакомствами в среде золотой молодежи, ходил в гости к сокурсникам, нравился их родителям – самородок из провинции, Ломоносов, умный и скромный. Сразу же после вуза его взяли на хорошую работу, в тридцать лет он попал в министерство, в тридцать три руководил отделом, потом управлением и так далее, и к пятидесяти добрался до заместителя министра. Наверняка стал бы министром, если бы не арест с последующей тюрьмой.

С девушками папа вел себя очень аккуратно, осторожно, чтобы не вляпаться в брак по залету. О том, что у него неполадки с репродуктивной функцией, он до женитьбы не знал, поэтому берегся. А потом, уже в эпоху семейной жизни, беречься перестал, и тут с неполадками случились неполадки, результат – ребенок-девочка от барышни, которую ему подарили на ночь во время одной из поездок. Барышня оказалась хваткая, прикатила в Москву со свежерожденным младенчиком и требованием обеспечить будущее. Тест на ДНК подтвердил папино отцовство. Он купил барышне квартиру и гарантировал алименты до совершеннолетия дочери с условием: молчать и никогда не появляться в его жизни. Мы с мамой об этом, как и о многом другом, узнали после папиной посадки в СИЗО.

– Ни один оргазм не обходился мне так дорого! – сказал папочка маме с ироничной досадой на свидании в следственном изоляторе. И маме бы понять, что за этими словами не цинизм, а отчаяние, растерянность человека, попавшего туда, где иерархия слов и выражений перепутана, поэтому часто говоришь наугад; так школьники-тихони, оказавшись в компании крутых пацанов, начинают материться и к месту, и не к месту. Но ее папины слова сильно и больно задели. Она не сумела остаться с этим наедине и поделилась со мной. Не только мне страдать и чувствовать себя униженной, получи и ты свою долю, дочурка.

Маму папа увидел на торжественном мероприятии, на фуршете. Нет, она не из богатых дочек, этого как раз папе не надо было, он не хотел влиятельного тестя, не хотел зависимости от него. Мама училась на актрису и подрабатывала вместе с одной сокурсницей коктейль-девушкой. Работа несложная – разносить коктейли и прочую выпивку, стоять у входа, встречать гостей и улыбаться. Образ: длинное черное платье, умеренный вырез, кожа без изъянов, стройная балетная шея, правильные черты лица, очень желательны красивые волосы.

Все это у мамы было. Она была лучше всех. Она была идеальной. А папочка мой искал именно идеал или близко к нему. Он обаятельно с ней заговорил, спросил имя. Если бы оказалась Лариса, Тамара, Марина – все, отбой, он почему-то терпеть не может эти имена. Бывает, я сама не люблю мужские имена Борис, Анатолий и Николай. Никакой логики, что-то глубоко субъективное.

Имя мамы – Ирина – его устроило. Он попросил номер телефона, она вежливо отказала, он дал ей визитку со своими номерами, она взяла, но не позвонила, он, пользуясь своими возможностями добывать информацию, узнал, где она живет, отыскал ее в общежитии – явился прямо в комнату, пройдя через абсолютно непроходимую вахтершу, что очень впечатлило подруг мамы, да и ее тоже. И она согласилась сходить с ним в кино. Потом пару раз встречались в кафе. Потом он позвал ее на открытие архитектурно-строительной экспозиции в выставочном центре. Экспозицию организовала подведомственная папиному отделу компания, поэтому его встретили торжественно, подали ножницы на подушечке, он разрезал ленту, а потом его чуть не под руки водили – как первого и самого важного посетителя. Согласитесь, это на любую девушку подействует. И папа видел, что действует, и сделал ей подарок.

Угадайте, какой?

Ни за что не угадаете, скажу сама: абонемент в клуб с тренажерным залом и бассейном. Очень дорогой клуб, для избранных.

Зачем?

А затем, чтобы прежде, чем приступить к прямым активным действиям, рассмотреть все мамины формы. Одежда маскирует, скрывает, а ему желалось узреть маму в полной или почти полной наготе. Увиденное в бассейне ему вполне понравилось, через неделю у них состоялся интим, еще полгода папа изучал маму со всех сторон – характер, темперамент, привычки, и наконец решил – то, что надо. И сделал предложение, и получил согласие.

Но обратно к детям, то есть ко мне.

Меня папа выбрал сразу. Я была новым поступлением, он как меня увидел, так и очаровался. Крошечное существо с большими глазками, губки пухленькие, кожица чуть смугловатая, папе всегда нравились смуглые и загорелые, вечно посылал маму в солярий и возил на морские курорты. И анализы оказались прекрасные, и консультант-педиатр дал одобрительный отзыв, все сошлось. Отдельный бонус – отец ребенка неизвестен, а мать погибла в аварии, других родственников нет, тени из прошлого исключены.

Так я у них появилась. Назвали Ксенией.

– Ксения Олеговна приятно звучит, легко выговаривается, – сказал папа.

Мама согласилась.

И начали они лепить из меня оптимальное дитя.

Дело обычное, на свете много людей, которые хотят, чтобы все у них и вокруг них было без сучка и задоринки, потому что всякий сучок и задоринка ощущаются как недоделанность, неотшлифованность твоего мира, свидетельство ограниченности твоих возможностей.

Моя ненавистная и обожаемая подруга Яса, она же Ясмин, однажды поделилась своей мечтой. Вот полно фильмов про девушек роботов, андроидов, сказала она. Мыслящие и послушные секс-игрушки или даже жены. Встретила, накормила ужином и сексом, выслушала, что там на работе у тебя, а надоело – выключил. Лежит рядом теплая, как живая, но при этом не ворочается и не храпит. И в этом есть смысл, сказала Яса, пусть это сплошной мужской сексизм. А я бы хотела мужчину-андроида. Чтобы исполнял все мои желания. Домработник, повар, водитель, телохранитель, любовник. Ну, и собеседник, когда захочется.

– И заботливый отец?

– Никаких детей!

– Цивилизация вымрет, Яса.

– Туда ей и дорога!

Так вот, начали они из меня лепить. Лучший детский сад, лучшая школа, лучшие приходящие педагоги – рисование, музыка, английский и китайский языки.

– У человека с двумя этими языками гарантированно будет работа! – говорил папа.

Была лепка и в прямом смысле этого слова. Папа как-то снимал меня на телефон, я радовала его только что разученной песней, и вдруг он вгляделся и спросил у мамы:

– Ксю у нас не падала носиком?

– А что?

– Ты не видишь? Он в сторону загнут. И больше стал, мне кажется.

– Всегда такой был.

– Разве? Ты присмотрись!

Мама присмотрелась. Ясное дело, чем дольше смотришь на какой-то недостаток, тем он кажется больше. И все же мама сказала:

– Ничего страшного. Даже такая симпатичная особенность.

– Эта симпатичная особенность для девочки может стать трагедией. У нас в школе одну за уши задразнили, Чебурашкой звали, довели до того, что она отравиться хотела, наглоталась таблеток, не отравилась, только в бред впала, и в этом бреду отрезала себе ухо! Потом пришили, заодно второе подправили, но у нас она больше не училась.

– Дурацкая история.

– Жизнь, Ир, часто вообще дурацкая штука, но лучше это учесть. Чтобы не отвлекало от всего хорошего.

И мне сделали операцию по выпрямлению носа у лучшего пластического хирурга, заодно уменьшили величину. Все это под предлогом медицинских показаний – чтобы избежать будущих осложнений во время простуд и гриппов.

Усовершенствовали до максимума. Чтобы еще сильней любить. И чтобы все другие любили.

Я и сама этого хотела, сколько себя помню, а помню я сейчас хорошо. У людей с возрастом многое забывается, выпадает из памяти, особенно случаи из раннего детства. Сохраняется что-то отдельное и не обязательно важное. А моя память теперь вся передо мной, открытая в любом месте.

Вижу, например, как меня, трехлетнюю, отдают в детский сад. Могли бы держать и дома с няньками и с мамой, которая была совсем свободной, она не стала актрисой, занялась для досуга благотворительным фондом, но отец считал, что ребенку нужна социализация.

Я с первого дня старательно радовала воспитательницу Дану – сама переодевалась, игрушки за собой убирала, в тихий час лежала по струночке с закрытыми глазами, изображая, что крепко сплю.

Однажды играла в мяч во дворе. Там, на деревянном домике, был нарисован Колобок, я в него кидала, стараясь попасть в нос. Ему же не больно, он нарисованный. Кидала сильно, со всего размаха, а там был выступ доски или бруска какого-то, мяч попал в этот выступ, отлетел и угодил в глаз Даны. Она схватилась за него и закричала:

– Ты дура совсем?

Такая всегда милая и приветливая, она не просто закричала, она заорала, заорала со злобой, как на постороннюю, совсем чужую.

И меня, девчушку нежную, это потрясло. Я любила Даночку, и она меня любила, Ксюшечкой называла, как это может быть, из-за одной случайности – прощай любовь, здравствуй злоба? Ужасно!

И я заревела.

Дана спохватилась, подбежала. Успокаивает, а я реву и реву. Даже икать начала. Она мне: ну все, все, хватит! И я слышу раздражение в ее голосе, и мне кажется, что она еще больше злится. Мне кажется, что вся ее доброта до этого была неправдой, а вот теперь правда – ненавидит она меня. Мечтает, чтобы я умерла и никогда больше не попадала в нее мячиком.

И у меня от этих мыслей случилось что-то вроде обморока. Все потемнело, голова закружилась, я упала...

Занятно рассматривать забытое детство.

Лет в пять мне понравилось говорить на несуществующем языке. Иду и бормочу: камбардым парам бацан кацан, ампарлал будал жи ши пиши чиши ниши.

А в восемь еще страннее – сижу в своей комнате, делаю уроки, потом долго смотрю в окно и вдруг негромко, но четко начинаю ругаться матом. На б, на х, на п, все слова, какие знала.

А вот мне тринадцать, и меня послали в супермаркет. Меня туда частенько посылали, хотя обычно продукты покупала прислуга. Ввергали девочку помаленьку в социум для адаптации. Супермаркет располагался на границе поселка. Он был и для бедных тоже, для живших на той стороне, как это у нас называли, – через трассу, от которой наш поселок был отгорожен высоким забором. С этой стороны коттеджи, с той – обычная деревня, за деревней железная дорога, за дорогой свалка, поэтому из богатых там никто не селился. И вот я в супермаркете, и полуслепая бабка в огромных очках спрашивает: девочка, не вижу, сколько стоит эта колбаса? Мне ничего плохого не сделала эта бабка, но я почему-то злюсь. Злит, что она слепая, что ко мне обратилась, других, что ли, тут нет? Вполне объяснимо, я выгляжу доброй отличницей, сущим ангелом. Впрочем, почти такой и была. Добрая и ласковая. Но иногда накатывало что-то странное. Бабушка спрашивает, а меня бесит, что она такая старая, бесят ее морщины, теплый дух гниения изо рта. А больше всего бесит, что она спрашивает болезненным и нищим, но очень интеллигентным голосом, она умудряется своим голосом намекнуть, что бедная, но вежливая, культурная. Девочка, пардоне муа, скажи, пожалуйста, не вижу, сколько стоит эта колбаса? И я вдруг отвечаю: донт андестенд. Мне почему-то кажется, что если я сейчас нагнусь к нижней полке, где лежит самая дешевая колбаса, и скажу, сколько она стоит, я буду заодно с этой бабкой, с ее бедностью, со всем тем, что сделало ее бедной, мне кажется, что я сейчас и сама стану немного старухой, заранее соглашусь со своей будущей старостью, а я не хочу с этим соглашаться. Вот я и говорю: донт андестенд. И отхожу иностранной походкой.

Но это все-таки редко со мной было. Обычно на любую просьбу любой бабки я откликалась ангельски. И смотрела, сколько стоит колбаса, и подавала, и слушала рассуждения – брать, не брать? Очень уж дешевая, чтобы быть хорошей. Но и дорогая бывает дрянь, не угадаешь... Все сейчас фальшивое, деточка, все. Да, да, конечно, кивала я.

Итак, с самого раннего детства я всех любила и хотела, чтобы меня все любили. Я всем угождала, потрафляла, подавала, так себя вела, будто с младенчества знала, что сирота, и старалась понравиться, чтобы не отдали обратно. Может, предчувствовала? Наитие, догадливость, шестое чувство?

Но я сбилась.

После школы я поступила в Финансовый университет при правительстве РФ, к концу первого курса была на лучшем счету, послали на конференцию в Санкт-Северную-Столицу-Петербург. И вот я просыпаюсь в гостинице, смотрю новости, а там: замминистра Олег Кухварев взят с поличным и арестован при получении взятки в 1,5 миллиона долларов.

Я не поверила. Не может быть, недоразумение какое-то.

Конечно, я не была настолько наивной, чтобы считать папу абсолютно чистым. Таких людей не бывает, особенно в его окружении. Но я видела, сколько он работает и предполагала, что он получает за такую важную и трудную работу благодарность в материальной форме.

Нет, соврала. Сейчас скажу, что я на самом деле об этом думала. Ничего не думала. Или думала по касательной, вскользь.

Меня потрясла не причина ареста папы, а сам арест. У него столько друзей и знакомых, в том числе в тех органах, которые арестовывают, у него со всех сторон защита, кто сумел ее пробить и зачем?

Мне хватило ума не звонить ему, я позвонила маме. Она ответила очень странно:

– Да, Ксения, я слушаю.

Никогда она не называла меня полным именем. Только – Ксюша, Ксюшечка, Ксенечка. Чаще всего – Ксю.

Да еще голос был холодный, чужой.

И я догадалась, что этот холод направлен не на меня, а на тех, кто слушает наш разговор. И я сказала – тоже для посторонних – если слушают:

– Прочитала какую-то ерунду про отца (никогда не называла его так, только папой), наверняка его подставили.

– Конечно, – подыгрывала мама. – Скорее всего, разберутся и отпустят.

И нам, когда мы это говорили, действительно верилось – отпустят. А сейчас я понимаю, что и я, и мама обманывали себя. Догадывались – не отпустят. Если это опубликовано, да еще торчит первой строкой в новостной ленте, значит, все уже решено. До суда осуждено, до приговора приговорено.

Я начала собираться на конференцию, где должна была прочитать доклад на тему «Управление доходами и расходами малых предприятий торговли в условиях рецессии».

И только тут меня ошарашило.

Только тут я поняла, что сегодняшним утром у меня начинается новая жизнь. Я теперь – дочь опального замминистра. Взяточника. Вора. Преступника.

Наверняка, думала я, все организаторы и гости конференции прочитали новость. И вот я выйду, и все будут смотреть, слушать и думать – красотка с умненьким видом толкует о том, как выжить и процветать малым предприятиям, а у самой папаша эти самые предприятия с утра до вечера обворовывал, мы ведь знаем, как образуются такие огромные деньги. С миру по гайке – богатому «кадиллак».

И как мне быть? Как вести себя? Может, не надо там появляться?

Я легла и начала опять просматривать новости про папу.

Появились подробности. Писали, что взяточнику взятку не всучили, он ее настойчиво вымогал. Вымогал не полтора миллиона, а три, согласились на том, что будет дано в два приема. Но самое главное – у кого вымогал! Оказывается, у Сулягина вымогал! У великого топ-менеджера великой госкомпании!

Я чуть не рассмеялась.

Что смешно? Да то, что невозможно представить ни замминистра, ни министра, ни кого угодно, включая ИГИЛ, запрещенную в России, и мировую мафию, кто посмел бы что-то вымогать у Вячеслава Германовича Сулягина. Просить – да. Умолять, клянчить, выпрашивать. Но – вымогать? Бред явный и откровенный.

К тому же, Сулягин был приятелем отца. Несколько раз гостил у него – и в подмосковном доме, и в селигерском поместье, где они вместе собрали грибки и ловили на озере рыбку.

Я помню своей новой памятью, как он появился в первый раз. Тогда даже внимания не обратила, но видела, а раз видела, то вижу и сейчас. Был день рождения папы, собралось гостей с две сотни, сидели за двумя длинными столами в нашей большой столовой, обычно закрытой, размером с теннисный корт. Уже начались речи, поздравления. И вдруг все стихло, все повернули головы. Вошел Сулягин. Пауза длилась недолго, несколько секунд, там все были люди весомые, большие, значительные, уважаемые, влиятельные, высокопоставленные, они тут же вернулись к своим тарелкам и бокалам, делая вид, что ничего особенного не произошло. Но произошло, очень даже произошло и изменилось, каждый хоть на чуть-чуть постарался выглядеть умнее, улыбчивее, разговорчивее. Сулягин пошел к своему месту, неподалеку от папы, почти во главе стола, по пути здоровался с кем-то за руку, с кем-то кивком, был демократичен, со всеми равен и дружен, но, конечно, понимал, чувствовал, что он тут царь горы. Сел, поздравил папу – не вставая, как прочие, не произнося громких речей и не повышая этим статус обласканного своим посещением мероприятия. И начал сосредоточенно угощаться, ничем, кроме еды, не интересуясь.

Угостился и заскучал. Он маньяк дела, мономан. Так бывает не только у политиков и бизнесменов. У альпинистов, например, писателей, художников. Преодолеть, победить, взобраться, закончить, стать выше всех. А что потом? Новая гора, картина, роман. Компьютерные игроманы, геймеры – из той же породы. Потратив месяц бессонных ночей на прохождение сотни уровней сложной игры, они тут же берутся за новую. Разница в том, что альпинисты, художники, писатели и геймеры чаще всего не имеют ни славы, ни денег, ни положения в обществе, а у Сулягина, как и у моего папы и других им подобных, это есть. И конечно, они от этого балдеют, прутся, тащатся, наслаждаются этим. Человеку мало делать что-то мощно и хорошо, ему надо, чтобы это видели и хвалили.

Я сама такая. Я была постоянно заточена на похвалу, я болела этим, я жила ради этого. Самая красивая, самая умная, чтобы восторгались и родители, и все их друзья и знакомые, и учителя. С одноклассниками сложнее, предметом общего обожания никогда не будешь. Только у большинства. А некоторые будут ненавидеть, и с этим придется смириться. И даже получать удовольствие. Для этого надо быть немного стервой. Это хорошо получалось у самой авторитетной девочки нашего класса, у Ясы.

Вот картинка. У нас был урок технологии, проще говоря, труда, домоводства. Школа хоть и элитная, но родительский комитет и руководство решили сохранить некоторые традиционные предметы – для демократизма. Тема урока – техника безопасности при работе с домашними электроприборами. Учительница вызвала отвечать Олесю Ровенскую, девочку заносчивую, с задатками лидерши. Олеся оттарабанила наизусть, как стихи:

– Все работы выполнять в перчатках,
перед включением электрического прибора проверить исправность электрического шнура,
включать и выключать электроприборы сухими руками,
надеть фартук и косынку, закатать рукава одежды,
не оставлять включенные электроприборы без присмотра,
не допускать приближения к электроприборам домашних животных,
в случае аварийной ситуации не пытаться устранить ее самостоятельно.

Правила эти составила и очень гордилась ими сама наша учительница Маргарита Павловна, дама пожилая и незамысловатая. А в то время у нас в школе администрация ввела модную методику диалогового вовлечения. Теперешнее Знание шепнуло мне, что эта методика возникла в античную эпоху, а то и раньше. Обычно ученица или ученик отвечают, а учитель слушает, поправляет, задает вопросы. По новой методике нужно назначить другого школьника на эту роль. В тот раз назначили Ясу. И Яса начала спрашивать:

– Олесечка, а как проверить исправность электрического шнура?

– Осмотреть.

– Что?

– Шнур.

– И?

– Что – и?

– Как ее увидеть, эту неисправность? Шнуры же, это же не просто провода, они в этой...

– В оплетке, – подсказала Маргарита Павловна, не понимая, к чему ведет Яса.

– Ну да. А вдруг оплетка целая, а провод внутри испортился? Порвался? Перегорел?

Олеся посмотрела на Маргариту, и та выручила:

– Если оплетка целая, то вряд ли.

– Хорошо, – приняла Яса, показывая, она ответ считает сомнительным, однако спорить не хочет.

И продолжила:

– Еще такой момент, Олесечка. Вот ты говоришь: включать и выключать сухими руками. Но ты же в перчатках.

– На случай, если их нет, – отбилась Олеся, и Маргарита кивнула.

– Ладно, – приняла и это Яса, и тоже с долькой иронии. – Еще не поняла я, как это – закатать рукава одежды?

Олеся уже слегка злилась:

– Что тут непонятно?

– Зачем уточнять, что рукава одежды? Разве бывают рукава у чего-то другого? Лишнее слово, я считаю. Но это мелочь, конечно, – Яса не дала возможности оправдаться, наседала дальше:

– С домашними животными тоже как-то странно. Кошки и собаки под торшерами лежат, гнать, что ли, их оттуда? Или вот я рекламу стиральной машины видела, там кошка на ней спит, и нормально считается.

И Олеся, и Маргарита готовы были объяснить, но Яса не сбавляла темпа.

– Это опять пустяки, а вот ничего не делать при аварийной ситуации – совсем ничего?

– Пожарку вызвать, если загорится, – сердито ответила Олеся. – Или электриков. Или родителям позвонить.

– А если огонь? Даже тушить нельзя? Позвонить, а самой ждать, когда все сгорит?

Мы наблюдали и радовались. Все понимали, что это наезд не столько на Олесю, сколько на Маргариту.

А Маргарита по простоте своей спросила напрямую:

– Ты считаешь, эти правила составлены неправильно?

Яса улыбнулась и пожала плечами. Зачем вслух говорить то, что и так ясно?

Олесю же заботило другое:

– Правильно, неправильно, я что, ошиблась? Забыла что-то? Если да, тогда да, а я все ответила, как задали, а ты придираешься!

– Я не придираюсь, Олесечка. Ты все точно ответила. Но ты даже не понимаешь, что и зачем будешь делать. И как ты замуж выйдешь тогда? Не возьмет никто, а ты ведь страшно замуж хочешь.

Наши девочки были в восторге. Яса унизила, опустила, затроллила бедную Олесю, которая считает себя лучше всех, вот пусть и получит!

Приемы Ясы были не от великого ума, а от природы, от данного ей таланта видеть слабые места в человеке и это использовать. Неважно, хотела ли Олеся действительно замуж, но Яса сказала об этом уверенно, как о факте, и это тут же стало для всех фактом. И фактом щекотливым – все, связанное с отношениями полов, девочек будоражит. Ведь да, придется рано или поздно идти замуж, интересно, как оно будет? Мысли эти вслух не выговаривали, и каждой было бы неприятно, если б уличили, что она этим озабочена. Потому мы, глядя на унижение Олеси, тайно радовались: не меня растоптали, не меня!

Видите, сколько тут всего? Это я сейчас поняла, а тогда мне было нехорошо. Я переживала и за Маргариту, и за Олесю. Я не любила, когда над людьми издеваются. Мне больно за них делалось. Такая я была хорошая.

Яса добилась своего, вывела из себя Олесю, та крикнула:

– Сама ты замуж хочешь, дура!

– Конечно, хочу! – ответила Яса. – Поэтому вообще никакого электричества касаться не буду.

Блистательно, согласитесь. Одним ударом и все правила Маргариты уничтожила, и перевела тайное в явное, тему замужества легализовала. Получилось – то, чего Олеся якобы секретно хотела, хотеть можно прямо и открыто.

Неизвестно, как вывернулась бы Маргарита, но ее выручил звонок. А потом произошло вот что: Яса подошла к Олесе, села на парту перед ней, взяла ладонями ее голову и, хотя Олеся, еще не остывшая от обиды, пыталась отвернуть лицо, поцеловала ее в лоб и сказала:

– Не загоняйся, Леська, я прикалывалась, ты же знаешь, я тебя люблю! Прости дуру!

Господи, как горячо стало мне – и в сердце, и в животе, и еще где-то! Какая славная эта Яса, какая умница – сама обидела, сама и извинилась! И она права, мы действительно занимаемся ерундой на этом уроке. Да и на других, возможно, тоже.

Вы скажите – про какие-то пустячки рассказываю. Да нет, не пустячки. Это история моего детства: я и боялась Ясу, и была влюблена в нее.

А она со мной вела себя так же, как и с другими. Переменчиво. То посмеивается надо мной по поводу и без повода, то вдруг подойдет, обнимет и скажет:

– Надо же, какие глазки печальные! Что случилось?

А у меня ничего не случилось, у меня такие глаза – кажутся печальными, когда я задумываюсь. Но тут же хочется, чтобы что-то случилось. Пожаловаться – чтобы Яса утешила. Однажды, задолго до случая на домоводстве, я взяла и ляпнула:

– У меня у папы рак. Он умирает.

Вот что это? Наклепать на самого любимого человека!

Объясняется частично тем, что я тогда, мне было восемь с половиной, отставала от ровесниц, и мозгов у меня наросло едва лет на семь. Они-то многие уже были, как я понимаю теперь, готовые будущие тетки, ехидные шкоды, злокозненные сучки. Да нет, зря я, дети как дети, умеющие и обижать, и обижаться. А у меня и обижать не получилось, да и не хотела я этого, и обижаться не научилась. Разве нельзя всегда жить дружно и весело?

Тема страшной болезни возникла в моей странной головенке потому, что незадолго до этого папа рассказывал маме о своем сослуживце, у которого нашли этот самый рак.

– В сорок два года, жуть какая-то! Смотреть на него больно – лицо белое, глаза тоскливые. Ты представь – человек просыпается, умывается, чистит зубы, и тут мысль: а зачем это все, все равно скоро помру, зубы даже испортиться не успеют. На работу едет, и опять – зачем мне теперь работа, зачем деньги? А он еще ремонт в новой квартире начал, и то же самое – на кой черт теперь мне этот ремонт?

– Жена, дети, – сказала мама.

– Да развелся он как раз с женой! Для себя квартиру построил, радовался – новая жизнь с чистого листа! Вот тебе и чистый лист!

Я слушала и думала: конечно, сорок два года – уже немало, пожил человек, но все равно жалко. Больше всего в рассказе папы потрясло, что это обнаружилось неожиданно. Пришел в больницу анализы сдать, а там – бомба. И я несколько ночей ворочалась, долго не могла заснуть. Вдруг и во мне бомба? А в мамочке? А в папочке?

Вот и ляпнулось.

Сама испугалась, но было поздно. Яся чуть не заплакала, погладила меня по щеке:

– Ксю, кошмар какой! Держись. Может, тебе надо чего?

– Ничего. Это между нами, ладно?

– Конечно.

И несколько дней я была счастлива: у нас с Ясой на двоих одна тайна, пусть и фальшивая. Она меня чуть не облизывала все это время. Но не удержалась, рассказала своим родителям. А те еще кому-то. Так дошло и до папы. Он удивился, начал доискиваться, откуда этот слух пошел. И доискался. Грустно спросил:

– Зачем ты это выдумала, Ксю? У тебя проблемы? Чего тебе не хватает? Слишком хорошо живется, трагедии захотелось? Объясни.

Я не могла объяснить, только ревела и икала.

Яся, узнав о моем вранье, очень разозлилась. Наверное, жаль стало потраченной впустую доброй энергии. А я шла в школу, как на казнь. И Яся меня казнила. Два раза. Сначала подошла и прошипела:

– Ты совсем, что ли, такие вещи выдумывать?

– Я разговор их услышала, папы с мамой, не так поняла.

– Да ладно врать-то!

И отошла. Я думала, все, этим кончилось. Даже порадовалась – Яся говорила со мной тихо и в сторонке, значит, не хотела перед всеми позорить.

Ничего подобного, была и вторая казнь. Учительница наша, Элла Дмитриевна, задала мне какой-то вопрос по уроку, я встала, и тут Яся на весь класс:

– Не трогайте ее, у нее папа умирает! Или уже похоронили, Ксюх?

Элла Дмитриевна знала об этой истории, в школе все быстро разносится, поэтому невольно усмехнулась, но тут же стала серьезной.

– Не надо, Яся, шутить на такие темы!

– Я не шучу, это она шутит! Наврала мне зачем-то!

– Всякое бывает, – неопределенно сказала Элла Дмитриевна, как бы и защищая меня, но защищая не очень активно, чтобы не показалось, что она оправдывает вранье.

– Ну да, бывает! Она знаете для чего? Она чокнулась, чтобы лучше всех быть!

– При чем тут это? – не поняла Элла Дмитриевна.

– При том! У нее чтобы даже горе было лучше всех!

Яся так уверенно это сказала, что и я поверила: да, я такая, я гадина, способна на любую подлость, в одном Яся не права – не ради того, чтобы быть лучше всех, а чтобы она меня любила.

И так было все годы, пока мы учились вместе. Яся то приближала меня, то отдаляла, то обнималась со мной, то находила повод посмеяться. И, как правило, при всех.

Однажды я рассказала об этом папе. Он разобрался сразу.

– Все с ней ясно – манипуляторша. Повышает свою популярность за чужой счет. Механика нехитрая, политика кнута и пряника. Ты не знаешь, как она себя поведет в следующий момент, чувствуешь себя неуверенно, начинаешь ее задабривать, ведь так?

– Мне тоже так себя вести? Кнутом и пряником?

– Не сумеешь, не тот характер. Для тебя самое лучшее – отстраняться. Она смеется, а ты не замечаешь, не обижаешься. И ей надоест. Если игру не поддерживают, играть скучно.

– А она играет?

– Все играют. Больше всего – в себя. Каждый человек себе создает роль и в нее вживается. Приближает себя к идеальному образу. Даже какой-нибудь гаишник остановит тебя, и он не просто гаишник, он играет в идеального гаишника. Не лучшего, а такого, какого он себе представляет, как идеального, понимаешь? Или какой-нибудь начальник, когда он не один сидит, а, допустим, совещание проводит. Он не только начальник, он еще и играет в начальника. Изображает сам себя – лучшего, чем он сам.

Папа увлекся, развивал тему:

– Но и роль найти – еще не все. У каждого свой уровень вживания. Уровень первый, поверхностный – я, к примеру, начальник, и точка. Святая вера в то, что я хорош такой, какой есть. Уровень второй – я начальник, но еще и играю в начальника. В свое идеальное представление. Смотрюсь в него, как в зеркало, мы же все окружены невидимыми зеркалами. Уровень третий – я начальник, я играю в начальника, но! Но сам при этом наблюдаю, как я играю в начальника! И посмеиваюсь. Я и в ситуации – и вне ее. Я смотрю не в зеркало, а на себя, глядящего в зеркало. Чтобы не заиграться.

– И у тебя какой уровень?

– Конечно, третий.

– Это во всем так? Ты и со мной не просто папа, а играешь в папу, да еще и наблюдаешь, как ты играешь в папу?

– Нет. С тобой я просто папа. Без игры.

Он засмеялся, легонько щелкнул меня по носу, я это очень любила:

– Получила мудрость? Наблюдай и не торопись. Не подыгрывай.

Это была для меня и правда мудрость, я решила на другой же день вести себя по-новому. Пришла в школу, дождалась, когда Яся скажет мне что-то веселое. Обычно я торопилась заулыбаться, засмеяться, а на этот раз равнодушно хмыкнула: да, возможно, это смешно, если ты так считаешь. И в другой раз, и в третий реагировала так же.

– Ты чего-то какая-то тормознутая, – вглядывалась в меня Яся.

– Да нет, я так...

Яся хмыкнула, отвернулась и отошла.

Я испугалась. Что если она совсем перестанет шутить со мной, замечать меня, любить меня? Я так не могу. Хочу, чтобы любила. И она, и все.

Я знаю одного похожего на себя. Миша Зборович, мой однокурсник. Бывший. Теперь у меня все – бывшие. Он с детства сочинял стихи, потом начал выкладывать их в сети, в своем блоге и на сайте «Стихи. Ру», принимал участие в конкурсах. Я удивилась, когда узнала, сколько людей в наше время увлекается поэзией, думала, теперь только рэп и баттлы. Я в поэзии, скажу честно, не понимала ничего, тому, что Пушкин, Лермонтов или Пастернак великие поэты, верила на слово. Но Мишины стихи нравились – простые, понятные. Он читал их мне по телефону сразу же после

написания. Мог позвонить ночью. Когда я сказала, что ночью ничего не воспринимаю, начал посылать тексты в мессенджеры. Во все сразу – на всякий случай. Сейчас я помню все его стихи. У них был общий заголовок: «Ненаписанное». Вот, например:

Все философии и любой бог
в любых его немыслимых видах
о том, что будет последним? – выдох?
или все-таки вдох?

Или:

Здесь не живые хоронят своих мертвецов,
здесь мертвые хоронят живых.

Или:

Зачем говорить,
если из десяти семеро не слышат,
из оставшихся троих двое не понимают,
а десятый и без меня знает то,
о чем я хочу сказать?

И вот Миша увлекся поэтическими молодежными турнирами, которые проводились в библиотеках, в кафе, в книжных магазинах – в «Республике», например, устраивались регулярно. И довольно часто побеждал. Там были и обсуждения. И бывало так: все Мишу хвалят, всем нравится, но встанет кто-то один и поругает – и все, Миша впадает в депрессию, ему кажется, что его стихи никуда не годятся, он ложится дома и тяжко страдает. Потом кое-как перезагружается, и все начинается сначала.

Я однажды спросила:

– Ты, наверно, мировой славы хочешь?

Он ответил:

– Да, конечно. Иначе какой смысл?

Кто знает, может, и добьется.

Ну вот...

Лежала я на кровати в гостинице и думала: пойти, не пойти?

Было много аргументов за и против. Ясно одно – мне там будет плохо. Но и папе сейчас плохо, не сравнить, как плохо. Значит, пусть и мне достанется. А поскольку жизнь есть переплетение сообщающихся сосудов, то, возможно, если что-то плохое прибавится мне, оно убавится у папы. Такая вот нелепая, но небезосновательная мысль.

И я позвонила Петру Петровичу, моему водителю и охраннику. Папа нанял его после того, как меня облили краской при выходе из школы. Синей масляной краской. Какой-то подросток плеснул и убежал. Кто его послал, за что меня облили, осталось неясным. Может быть, папа что-то знал, но не хотел говорить.

Петр Петрович был из спецслужб, отставник, очень высокий, я со своими метром семьюдесятью четырьмя (хорошо, что говорю не вслух, а то бы не выговорила) едва доставала ему до подбородка. Вообще большой, даже огромный. Плечи в два раза шире моих, большая голова, тоже вдвое больше моей, все очень большое, но хорошо сложенное. При этом легкий, ходил так, будто земное притяжение его не очень притягивает. И еще у него был шрам через всю щеку. Через левую.

Он привозил меня, терпеливо ждал в машине или вестибюле, в стороне от других водителей и охранников, что-то читал в планшете-читалке или ничего не делал, сидел и о чем-то думал. Говорил со мной мало, только улыбался и любовался. Отечески. У него самого были уже маленькие внуки от двух дочерей и сына.

Однажды я спросила:

– Петр Петрович, а почему вы, такой особенный, такую работу выбрали?

– Я особенный?

– А то сами не знаете!

– Может быть. У меня, Ксения, жизнь была большая. Две семьи было, два дома построил, всех обеспечил. Страну объездил вдоль и поперек. С интересными людьми встречался, с негодяями тоже. Убить могли.

– Поэтому шрам?

– Поэтому шрам. А потом я устал, решил пожить один. Ушел со службы. И мне понравилось лениться. Пример с меня не бери, трудиться надо, учиться надо. Мой пример отрицательный.

– Ладно. Как лениться? Ничего не делать?

– Ничего не делать – с ума сойдешь. Почитать что-нибудь, посмотреть кино, я много книг пропустил, много фильмов, некогда было. О жизни подумать. И я искал такую работу, чтобы и деньги нормальные, и не утомительно. И у твоего отца нашел, приятель меня порекомендовал. Мне хорошо, меня все устраивает. Ну, и еще болею немножко, но так. Терпимо.

– Не смертельно?

– Смертельно, но не сразу.

Я привыкла к Петру Петровичу, ездила с ним и тогда, когда мне купили машину и стали отпускать, наконец, одну дальше, чем до супермаркета. Оказалось, что свобода передвижения мне не очень-то и нужна, да еще пробки эти подмосковные и московские, суета, напряжение. С Петром Петровичем удобнее, поэтому я и в Питер с ним приехала. Сначала хотела самолетом, а он выехал бы раньше и там меня встретил, но было начало мая, земля зазеленела, небо заголубело, захотелось ехать по трассе и смотреть в окно, где то березка, то рябина, куст ракиты над рекой, край родной, навек любимый, где найдешь еще такой?

Я вышла к машине, Петр Петрович изнутри приоткрыл дверцу, но я стояла – вглядывалась, вслушивалась, улавливала запахи. Словно попала в незнакомый город, незнакомый мир. Звуки казались резче, фасады домов и лица людей рельефнее, сплошное 3D, от каналов пронзительно тянуло холодной волглостью и чуждостью. Все было чужое – город чужой, дома, люди, даже небо казалось чужим, и машина, и Петр Петрович.

Я села, положила на колени сумку.

– На Фучика? – спросил Петр Петрович.

Это значило – на улицу Юлиуса Фучика, к университету профсоюзов, в здании которого проводилась конференция.

Мне показалось смешным слово «фучик». По правде говоря, я тогда не знала, чья это фамилия. Теперь знаю и смешливость свою строго осуждаю.

Фучик, чушь какая, думала я. Фучик. На фучика едем. На фу-фу.

Кивнула, поехали, а наваждение продолжалось. Я несколько раз была в Питере, а это такой город, что впечатывается в память сразу же. Теперь казалось – впервые вижу. Но вот проехали мимо Казанского собора, и я его сразу узнала, невозможно не узнать, и поняла, в чем дело. Все осталось прежним, но все изменилось. Было ощущение, что и небо, и здания, и люди знают, что со мной произошло. И не глядят на меня, жалеют, щадят. Отстранились, отчуждились. И Петр Петрович не смотрит на меня, тоже щадит. И отдушка сегодня слишком пахучая – для отвлечения, что ли? Интенсивная ароматерапия?

– Это что за запах?

– Где?

– В машине?
– Как всегда. Тебе же нравится. Морской запах, сам составляю, химичу.
– Да нет, нормально. Это у меня с обонянием что-то.
– Насморк?
– Наоборот.
– Это как?
– Да ладно, ерунда.
– А то могу проветрить.
– Не надо.
– Как скажешь.

Он говорил со мной, как с больной. Знает. Знает, но молчит. Деликатный.

И тут дошло: окружающее не изменилось, я изменилась. Не внутренне, там все осталось таким же, а – для этого самого окружающего. Из гостиницы вышла не я, а дочка пойманного чиновника. Почти преступника. Таков статус мой теперь – дочка преступника. И даже для милейшего и роднейшего моего Петра Петровича, для этой машины, для неба, зданий и людей я теперь – дочка преступника.

А вот фиг вам, сказала я мысленно. Не дождетесь. Это вы так считаете, а я такая же, как и была. И меняться в угоду вам не собираюсь. Войду сейчас с гордо поднятой головой, и глядите, как хотите, говорите, что хотите.

Через полчаса я шла по коридору с гордо поднятой головой.

Петр Петрович следовал за мной, соблюдая дистанцию. На него заранее был выправлен пропуск.

Вошла в аудиторию.

У двери караулил модератор, молодой человек блеклой внешности, о котором я ничего не знала, кроме имени – Степан. Он звонил мне несколько раз, пока я ехала, я не ответила. Степан не стал задерживать меня в двери, пропустил мимо себя, только поздоровался, как и со всеми. Дождался, когда я села на свободное место, с краю, не спеша пошел по проходу, встал боком возле меня, заговорил, не глядя в мою сторону, продолжая приветствовать входящих, энергичными нырками выпячивая голову на длинной шее вперед и вниз, как делают птицы в брачных танцах. Только что крыльями не хлопал.

– Я думал, вы не придете, – промямлил он тусклым голосом.
– Я пришла.
– И будете выступать?
– Почему нет?
– Ваше право, конечно. Но меня попросили попросить вас...
– Скажите, я уперлась. И могу учинить скандал, если мне не дадут прочитать доклад. Какая я там, четвертая?

Он уставился в программу. Смотрел долго – может, надеялся, что моя фамилия чудодейственно пропадет. Наконец подтвердил:

– Да, четвертая. Значит, без вариантов? Будете читать?
– Без вариантов.
– Я передам.

Он пошел к столу, за которым сидели трое пожилых мужчин академически солидного вида и сухая женщина в темно-синем костюме, на лацкане у нее прикреплен был трехцветный значок, то ли депутатский, то ли партийный. Степан что-то говорил ей, она хмуро слушала, конспиративно не глядя на меня, чтобы не привлекать внимания и не усугублять этим проблему, но у нее, как и у всех людей ее типа и положения, было фасеточное зрение, подобное зрению мухи. Она, не поворачивая головы и не вращая глазами, умела видеть вокруг себя все. И меня одной из своих фасеток рассматривала. Мой наряд, выражение лица, положение рук, разворот плеч. Оценивала мою готовность выполнить обещание и устроить скандал.

Она не могла подойти ко мне или подозвать к себе, это слишком заметно. Поступила хитроумно – Степан сказал ей номер моего телефона, она набрала, встав при этом и отойдя к окну, глядя в него. Я взяла трубку.

– Ксения, зачем вам это? – спросила она окно.

– Прошу прощения, вы кто?

– Марголина Ангелина Викторовна. Эксперт и представитель фна.

– Фна?

– Фонд научных инициатив, у вас же в программе это написано, зачем вы...

– Я поняла. Давайте не будем тратить время. После третьего докладчика я выйду – в любом случае.

Слышала бы меня та Ксю, та Ксюшечка и Ксенечка из детства, которая не умела никому отказывать, чтобы не огорчить. Сразу же отвечала: да, конечно, конечно, как скажете, как просите, как велите.

– Это может усугубить ситуацию, – Марголина не теряла надежды меня уговорить.

– Какую ситуацию?

– Вашу и нашу. Тут представители прессы есть. Я их лично попросила вас не беспокоить, они ведь слетелись, как вороны, извините, на падаль.

– Хорошее сравнение.

– Ну, как пчелы на мед, это нравится? Сроду к нам журналисты не заглядывают, а тут штук пять сразу. Я их предупредила, что тут же удалю, если попытаются что-то с вами... Правда, я думала, вы не придете... Боюсь, после доклада не утерпят и спросят что-то не по теме, а совсем про другое. В печать попадет. Как думаете, нам нужна слава таким способом?

– Почему бы и нет? Может, даже кто-то поинтересуется, что за конференция, материалы прочитает. В кои-то веки.

– Вы издеваетесь?

– Ангелина Викторовна, я буду читать доклад, извините, говорить больше не о чем.

Я отключилась.

Начались выступления докладчиков. Они выходили к кафедре, стоявшей рядом со столом, зачитывали свои тексты, которые никто не слушал. Все ждали меня. Одна Марголина демонстрировала заинтересованное внимание, а сама своим фасеточным зрением сканировала зал – пыталась уловить, откуда может исходить угроза.

Центральный академик из триумвирата назвал мою фамилию и тему доклада. Я вышла. Спокойно посмотрела в зал. Отдельно – на Петра Петровича. Он, как всегда, устроился так, чтобы быть и недалеко от меня, но не рядом, не со мной. Удивительно, несмотря на выдающуюся свою фактуру он умел быть незаметным, умел не привлекать к себе внимания. Впрочем, не скажешь лучше, чем она сам сказал однажды:

– Я умею отсутствовать.

И вот он блистательно отсутствовал, но все же был. Не кивнул мне, не улыбнулся, ничем не обозначил, что меня поддерживает, но в самом взгляде было что-то необычное. Не сочувствие, не сопереживание, не жалость, не сострадание, не эмпатия, типун мне на язык за это слово. В нем было глубокое раздумье. Попытка понять – что случилось, что происходит, как быть? И это было для меня дороже всего. А еще я подумала: какой же красивый мужчина Петр Петрович! Я и раньше это знала, но тут потрясло. Что ж, вполне объяснимо – напряженно думающий мужчина всегда красив.

Э, э, э! – завопят феминистки. А думающие женщины некрасивы, что ли?

Не знаю, не приглядывалась. Знаю точно, что красивы и даже прекрасны женщины бывают тогда, когда заинтересованно слушают. Особенно мужчин и детей. Особенно своих мужчин и своих детей.

Я открыла папку с листами доклада, еще раз взглянула на аудиторию. И решилась:

– Конечно, вас не интересует мой доклад. Вам жутко хочется про другое. Я знаю, о чем вы думаете. Косит девушка под студентку-отличницу, скромницу, а сама – дочь жулика, взяточника, коррупционера. Позор ей, изгнать ее. Небось с ног до головы в папиных деньгах, на спорткарах катается, на персональном пляже загорает в Мальдивах, на Канарах, на Ибице. Кстати, пляж есть, и дом есть на море, и яхта есть, и самолет собираюсь купить. Кушаю на золоте, сплю на лебяжьем пуху. Нет, вру, на специально сделанном матрасе, чудо ортопедической мысли, десять тысяч евро стоит. Вот и пусть делит с папой ответственность, думаете вы, и не говорит, что не знала, откуда он деньги берет! Отвечаю: да, готова разделить, но спрошу – а вы-то чем лучше? Собрали вас на никому не нужную конференцию слушать никому не нужные доклады о нашей никому не нужной экономике. Воруете друг у друга время и здравый смысл. Взять мою тему – малые предприятия во время рецессии. А откуда рецессия? Кто задавил малые предприятия, граждане и товарищи? Знаете, на кого мы похожи? Сидят пещерные люди у костра и обсуждают, как сделать дубинки удобнее и убойнее. А в соседней пещере придумали лук и стрелы. Понимаете? И никто не спросит – а почему нам тоже лук не придумать или хотя бы позаимствовать? Нет! Своя дубинка ближе к телу! Так что, говоря народным языком, херней мы тут занимаемся. Втираем друг другу очки, изображаем деятельность. От папы, при всех его минусах, хоть какая-то польза, от вас, от нас – ноль. Вакуум. И вы меня смеете осуждать? Вы себя чувствуете ангелами? Мне смешно!

Такую речь, хоть и не настолько подробную, успела я мысленно произнести за те полсекунды, пока смотрела в зал.

Но не произнесла.

Опустила глаза и начала читать доклад. Ровно, деловито, прилично.

И дочитала. И почувствовала, что выдохлась, больше не могу здесь оставаться ни минуты. Доказала сама себе неизвестно что, пора и честь знать. Посмотрела на свои часы Tag Heuer Carrera (5 тысяч евро) и сказала Марголиной:

– Извините, у меня самолет, боюсь опоздать. Если вопросов нет...

– Есть! – тут же выкрикнул кто-то из зала.

Марголина, не глядя в зал:

– Все вопросы после докладов, смотрите программу. Будет общая дискуссия. Обсудим и этот доклад, а результаты выложим в свободный доступ.

И мне ласково:

– Да, конечно, идите.

Так в школе отпускают в туалет: иди, деточка, иди.

Я вышла.

Вышел, конечно, и Петр Петрович.

Мы сели в машину. Петр Петрович включил двигатель и обогрев, потому что машину выстудило, но не торопился трогаться. Догадался, что мне сейчас не нужно движения, нужно застыть и помолчать. И чтобы все застыло и молчало.

Так прошло минут десять, не меньше, а потом я сама его попросила:

– Поговорите со мной, Петр Петрович.

– О чем?

– Сами знаете.

– Ты молодец, хорошо держишься.

– Я не про это.

– Все будет нормально.

– Папу отпустят?

– Нет. Дадут срок, но небольшой. Четыре-пять лет.

– Это небольшой?

– Учитывая обстоятельства, да. Сидеть будет мягко, на общем режиме. Скорее всего пристроят куда-нибудь в библиотеку или в клуб.

– Там есть клубы?

– Целые оркестры собирают, спектакли ставят, даже футбольные команды есть и товарищеские игры. Межтюремные. Условия у Олега Сергеевича будут максимально комфортные. Со свиданиями, с перепиской. Может, даже телефон дадут. Так что считай, что папа в больнице. На карантине. Неприятно, но бывает и хуже.

– А почему он? Почему именно его?

– Никто не знает. Возникают ситуации, когда все виноваты. Кто больше, кто меньше. И даже не ситуации, у нас это вообще всегда. Перманентно. Но всех же не посадишь. Вот и выбирают. Как во время войны было: вся рота побежала от врага, решают – расстрелять каждого десятого. Чем этот десятый хуже других? Ничем. Он десятый, вот и все. Нет, все-таки подбирают. Фигуру. Уровень. На этот раз, наверно, было сказано: не меньше замминистра.

– Кем сказано?

– Кем надо. Видишь ли, Ксения, акции такого рода, это как бы послание, такая малява для остальных. Чтобы видели, что их ждет. Какой срок, какие последствия. Скорее всего, еще деньгами возьмут, оштрафуют. Часть недвижимости отберут. Чтобы ощутимо, но не смертельно. Потому что, если опускать до самого плинтуса, догола раздевать, семью нищей оставить, публика слишком испугается. Соберут манатки и утекут за бугор. Задача – напугать, но не до смерти.

Все, что Петр Петрович мне говорил, я и сама понимала. Меня мучило другое.

– Петр Петрович, а как так можно? Я про Сулягина – он же отцу друг.

– Там друзей не бывает.

– Где?

– Там. Есть верные люди – и то до первой милиции, как в советское время говорили. Сотрудники. Приятели. Друзей нет и быть не может.

– Всегда есть выбор, Петр Петрович. Неужели Сулягин не мог отказаться? Придумал бы что-нибудь, если бы захотел.

– Значит, не захотел.

– Убила бы!

– Даже так? Злишься на него?

– Не то слово! Нет, убивать не стала бы... А вот встретить где-нибудь, чтобы вокруг людей было побольше, подойти – и по морде!

– Это будет самая большая ошибка из всех возможных. Ну, поехали?

– Да.

Петр Петрович тронулся, но тут же притормозил, внимательно посмотрел на меня.

Я спросила:

– Что?

– Ты говоришь по настроению или реально отомстить собралась?

И как только он задал этот вопрос, так я сразу и поняла: да, хочу отомстить. Очень хочу. И это настолько серьезно, что надо готовиться. Значит – соблюдать тайну. И я ответила:

– Да нет, конечно. Я же понимаю, только хуже будет.

Соврала, как спела. И умный Петр Петрович поверил:

– Правильно. Сейчас надо вести себя тихо и взвешенно. Мне в том числе. У меня две семьи за спиной, я ради них папу римского продам. Я к тому, Ксения, что мне придется уволиться. Жаль, но надо.

Я успокоила Петра Петровича, сказала, что и сама отказалась бы теперь от его услуг. Чтобы не было поводов у журналистов злословить – отец у дочки в тюрьме, а она с личным водителем катается.

– Вот именно. А главное, те, кто это заказал, должны видеть, что ты, ваша семья, как бы это сказать...

– Испытываем лишения.

– Да. У Олега Сергеевича и у Ирины родственники где-то далеко живут?

– Почему мне кажется, Петр Петрович, что вам известно, где именно?

– Уличила. Я не шпионю, связи по прошлой работе. Учебный год кончается, поехала бы туда, залегла бы в тишине.

– В тишине не получится, фамилия слишком известная. И редкая, к тому же. Всегда все спрашивают: вы не родственница?

– Отвечай, что нет. А еще лучше – смени.

– Тоже отца предать?

– Потом вернешь. И он поймет, я тебя уверяю.

– А мама?

– И она поддержит, женщина умная. Мы как, в гостиницу, а потом домой?

– В гостиницу и в аэропорт. Сейчас посмотрю билет на ближайший рейс.

– Я уже смотрел. Пока доберемся, да регистрация, то, се. «Сапсаном» быстрее будет, в час отходит, как раз успеваем.

– Вы умный, Петр Петрович. Догадались, что я захочу быстрей домой попасть?

– Я думал, ты с утра поедешь, сразу. И не такой я уж умный. Нет, к старости поумнел маленько. Когда своей глупостью наелся. До тошноты.

– Не верю. Вы никогда глупым не были.

– Всяким я бывал. И глупым, и даже дебилом.

– В чем разница?

– Если хочешь, расскажу. С иллюстрациями.

– Хочу.

И Петр Петрович рассказал. Не сразу, сначала заехали в гостиницу за вещами, потом направились к Московскому вокзалу, остановились неподалеку, у кафе «Шоколадница», вот в этом кафе он и разговорился. Впервые за все время, что я его знала. А я, слушая, купила билет, посмотрела новости. Строка о папе ушла из топа, верхняя пятерка горячих сообщений выглядела так:

В Иркутской области старшеклассник спас девочку от педофила прямо в момент похищения

На встрече у президента обсуждали будущее энергопоставок на Украину и отопление в регионах

Комитет по соответствию WADA выработал крайне жесткие рекомендации в отношении РУСАДА

Трамп предложил России и Китаю ядерную сделку

Ситуация критическая: названы жертвы ЧП в ЛНР

Я и слушала, и успевала думать. Я в тот день стала какой-то обостренной и пространственной. Многофункциональной. Успевающей все заметить, на все мысленно отреагировать, причем одновременно. Во мне, как на экране компьютера, было открыто сразу несколько окон, и в каждом из них была своя жизнь.

В одном окне был Петр Петрович и его рассказ.

В другом – новости. Каждый день я начинала с ленты новостей, проскальзывала взглядом и редко что-то открывала. Я, как и все вы, пребывала в приятной эмоциональной анестезии. Да, в мире много чего происходит плохого, хорошего и разного, но всему сочувствовать невозможно. Кого-то попытались похитить, где-то в регионах плохо топят, какой-то комитет по соответствию какой-то или какого-то WADA гнобит какую-то или какого-то РУСАДА, Трамп что-то в очередной раз предложил, в ЛНР жертвы ЧП, очень жаль, но каждый день где-то ЧП. Так я воспринима-

ла обычно, но не в этот раз. Теперь в этом окне, где новости, открылись еще окна, и я все увидела детально и вживую.

Я увидела, как пожилой, толстый, потный дядька тащит девочку лет пяти, похожую на меня, какой я была в этом возрасте, тащит куда-то в бурьян между гаражами и возбужденно говорит, что сейчас он подарит ей то, о чем она всегда мечтала, девочка и верит, и не верит, слабо упирается, она доверчивая, она не хочет обидеть дядю (как и я себя вела бы, наверное), и тут за гаражи забегает старшеклассник из соседней школы – покурить и заодно пописать, он закуривает, пристраивается к гаражу, видит дядьку с девочкой, кричит: «Эй, ты не маньяк, случайно?» И дядька бросает девочку, бежит, до девочки наконец доходит, что это было, она плачет, старшеклассник отводит ее домой, сдает родителям, укоряет их, что оставляют малышку без присмотра, он страшно доволен тем, что в кои-то веки не взрослые поучают его, а он взрослых, родители звонят в полицию, со слов старшеклассника описывают дядьку, оказывается, что этого педофила ловят уже второй год...

Новость про отопление я тоже увидела картинкой: вот лежит в хрущевке и замерзает старушка, она укрылась двумя одеялами и пальто, но ей все равно холодно, она слабым голосом просит: «Внученька, принеси обогреватель, помираю!» (Попутно я успеваю подумать, что «помираю» и «умираю» – похожие, но разные слова. «Помираю» – когда человеку очень плохо, но он все-таки не умирает. А «умираю» – тут уже прямое утверждение, тут человек и впрямь умирает. Правда, можно ведь сказать «умираю со смеху». Или – «помираю со смеху»? Как лучше?) Внученька из соседней комнаты, сидя за компьютером, кричит: «Ба, я только что прогревала у тебя! Ты вся закутанная, а я тут без ничего, мне замерзнуть, что ли?» Бабушка страдает не столько от холода, ей всего-то надо, чтобы внучка появилась хоть на минутку и показала собой, что есть жизнь кроме этой постылой комнаты, этого постылого серванта, шкафа, где и жить уже тошно, но умирать еще тошнее, вот и лежишь между жизнью и смертью, испускаешь бесполезный пар в бесполезный воздух и с жутью осознаешь: ты кончилась, ты давно уже никому не нужна, даже себе. Но, как ни странно, холод помогает жить. Ведь хочется тепла, а это уже – желание. Когда же дадут отопление, желаний совсем не останется. Сейчас борьба за тепло – ее война и мир, ее Куликово поле и Троя, она существует насыщенным существованием и упорно зовет: «Да имей же ты совесть, принеси обогреватель, говорят тебе!» Ее отчасти даже тешит, что внучка не несет сразу. Она хорошая, она поупрямится и принесет, но пусть еще немного поупирается. Без борьбы нет победы.

Противостояние WADA и РУСАДА я увидела как битву в огромном офисе, где стоят ряды редутов, приткнутых друг к другу столов. Две группы бойцов маневрируют, бросают из-за укрытий скомканные листы, эти комки взрываются, как гранаты, враги кричат друг другу: «Сдавайтесь!» – «Сами сдавайтесь!» – «Вы неправы!» – «А вы дураки!»

Трамп торчал на трибуне, ярко-рыжий, в синем костюме, белой рубашке и красном галстуке, он убежденно и напористо что-то говорил, говорил, говорил, и я все понимала, но чем весомее были его аргументы, тем меньше хотелось с ним соглашаться.

И было страшное окно с жертвами в ЛНР. Их несли на носилках, обгоревших, и живых, и мертвых, очень много. Выносили откуда-то из подвала или подземелья. И я ходила там и кричала: «Толя! Толя, ты здесь?» Почему Толя, я ведь даже не люблю это имя? И среди знакомых нет никакого Толи, не ходовое это сейчас имя. Не знаю. Я кричу, кричу, и вот кто-то отзывается: «Я здесь!» Подхожу, вижу – не мой. И продолжаю искать.

Возможно, эта картинка была связана с тем, что я в это время видела наяву, в третьем окне. За соседним столиком сидели юноша и девушка. Девушка со светлыми волосами и светлыми глазами, вся такая мягкая, ей очень шло, что она ложечкой ела тоже что-то мягкое, то есть не что-то, я помню точно, она ела подтаявшее мороженое. Брала по чуть-чуть, на кончике ложечки, замыкала губами эту крошечную сладкую лужицу, вбирала в себя, вынимала ложечку и опять брала ее в рот (сейчас убью кого-то, кто выкрикнул эту пакость! пусть даже мысленно!), да, она опять брала в рот эту ложечку, и опять вынимала, и так несколько раз, она очищала ложечку до блеска, чтобы подцепить новую лужицу мороженого абсолютно чистой, сверкающей ложечкой. А юноша ниче-

го не ел и не пил, он теребил пальцами телефон, переворачивая его с боку на бок, он был серьезен и озабочен, он говорил:

– На «Ленинском проспекте» еще есть вариант. Недалеко от метро.

– Не люблю я тот район.

– Давно там была?

– Ни разу. Заочно не люблю.

– Хорошо, есть ближе, на «Выборгской», но дороже и на маршрутке надо ехать.

– «Выборгская» – мне нравится.

– И маршрутка? От «Ленинского» пешком три минуты всего.

– А еще какие варианты?

– Тебе же «Выборгская» нравятся.

– А тебе нет.

– Я так не сказал. Я только объясняю: дороже и маршрутка.

– Тебе тоже нравится?

– Главное, что тебе.

– Да почти все равно, если честно.

– Тогда почему не «Ленинский проспект»?

– Потому что Ленинский.

– Издеваешься?

Я понимала: нет, девушка не издевается. Она очень любит юношу, ей хорошо с ним, ей приятно с ним говорить – все равно о чем, и чем дольше, тем лучше. Юноша тоже любит девушку, но на время забыл об этом, он почувствовал себя мужчиной, будущим главой семьи, ответственным, рассудительным и здравым.

Я смотрела и завидовала. Вот бы тоже сидеть так с кем-то и обсуждать что-нибудь, и любить друга друга. У меня этого не было. Вы скажете: еще бы, если с тобой повсюду персональный шофер и телохранитель, какие тут личные отношения! Ну, во-первых, не всегда Петр Петрович был рядом, во-вторых...

Во-вторых – сложнее. И одновременно проще. Я не влюблялась еще ни в кого. В Ясу была влюблена – как в подругу. Или как в сестру, которой нет. И Мишу Зборовича любила по-братски, он это ценил, но хотел большего. Наверное, я не очень нормальная была, потому что меня не сильно тревожили вопросы секса, в отличие от вас, несчастных.

Правда, у некоторых от природы, от темперамента. Яся признавалась мне, что с двенадцати лет мечтала о том, как станет наконец женщиной. Едва в ней произошли возрастные изменения, начала искать возможности. И в пятнадцать лет нашла.

– И поняла, что это мое, – рассказывала она мне. – Кто что в жизни находит, кто-то деньги, кто-то алкоголь, кто-то работу. А я это нашла. Подалась бы в порноактрисы, но родители убьют. Да еще болезней боюсь, приходится себя сдерживать.

– У тебя же сейчас есть кто-то.

– Двое, и третьего наметила. Но я ни с кем не хочу жить. А иногда так накатывает, что хоть на улицу беги и отдавайся первому встречному.

– Тебе лечиться надо.

– Скорей всего, – признавала Яся. – Но не хочу.

Вот такая она, так ей то ли повезло, то ли не повезло, а я с детства думала о другом. Выйти замуж, родить детей. Жить с интересным человеком. Делиться с ним мыслями. Заботы иметь общие. Короче, обычная, нормальная человеческая жизнь. В которой, конечно, много ненормального, но это ненормальное в пределах общей нормы.

Еще в одном окне был у меня папа. Он виделся почему-то персонажем какого-то фильма – сидит в подвале, связанный, окровавленный, ему что-то кричат, требуют в чем-то признаться, а он поднимает голову, усмехается и посылает всех матом – так, как никогда в жизни никого не посылал. И вообще не ругался. По крайней мере, я не слышала. Глядеть на это окно было больно, но закрыть я его не могла, пыталась отвлечься на другие.

В пятом, реальном окне, была казашка-официантка, которая приняла заказ, записала в блокнот и отошла, но я заметила, как она оглянулась, а потом что-то сказала бармену за стойкой, и они оба глядели на меня. Узнали? Откуда, как? Может, узнали и другие, все украдкой на меня посматривают. И обсуждают. И посмеиваются.

И еще одно воображаемое окно было у меня. С Сулягиным.

Когда мне было тринадцать, папа меня ему представил. В кинотеатре это было, на премьере очень патриотического фильма, куда съехался весь политический и экономический бомонд, чтобы все видели, как близка этому самому бомонду тема патриотизма. Сулягин тоже там был, вот папа и решил мною похвастаться.

– А это моя Ксения, Вячеслав Германович. У вас ведь тоже дочь такого возраста?

Сулягин что-то пробормотал. Вроде того, что дети – это счастье, пускай есть и проблемы. Но проблемы решаются, а счастье остается.

– Чем-то увлекаешься? – спросил он меня.

Вечная забота отцов – понять, чем увлекаются дети, и на этом основании построить их будущее.

Я хотела ответить честно, что пока ничем не увлекаюсь, кроме учебы и собственно жизни, которая мне нравится, но по лицу папы поняла, что лучше ублажить Сулягина чем-то конкретным.

– Рисую, Вячеслав Германович, – призналась я.

– Правда? И моя рисует. Станете художницами, тоже дело. И можешь Славой называть. Или дядей Славой, если старым кажусь (папа приподнял руки и развел их: ну, вы скажете, какая старость, вы потрясающе молодо выглядите!). Вячеслав Германович – трудно выговаривать.

– Я сумею, – сказала я с хвастливым достоинством, которое выглядело почти детским, но я – ради папы – начала подавать, я угадала, что Сулягину нравится детскость в девушках, вот и изобразила эту детскость. – У меня хорошо развитый артикулярный аппарат, мама тренировала. Корабли лавировали, лавировали да не вылавировали, Вячеслав Германович. Видите – легко. Но можно и дядя Слава, если вам приятно.

– Мне очень приятно. Как там? Корабли лавировали, лавировали, да не вырола... Черт, не так легко!

И он оскалился в улыбке. Щеки при этом испещрились морщинами, глаза сузились, как у азиата, коренные зубы обнажились, они были белее остальных, характерного мертвенного белого цвета, не свои зубы, протезы. Такую улыбку ночью представишь – до смерти напугаешься.

И они пошли с папой рядом, благодушно посмеиваясь над детской непосредственностью, а я, так удачно им подыгравшая, смирно шла рядом и бескорыстно радовалась, что доставила удовольствие папе и его знакомому.

С тех пор мы близко не общались, на наши семейные торжества он приезжал позже всех и уезжал раньше всех, а я держалась в сторонке. Это я к тому, что вряд ли он держал меня в памяти и узнал бы при встрече.

И вот я вижу, что он, как и папа, сидит в подвале, связанный...

Но картинка тут же изменилась. Нет, он не в подвале, а на улице, подъезжает в лимузине, ему открывают дверцу, он выходит, идет к какому-то зданию, почему-то по красной дорожке, как звезда экрана, и тут подскакиваю я, и...

Нет, это в каком-то зале. Кремлевский дворец или что-то в этом роде. Его чествуют, он на сцене. Кланяется. Ему несут букеты. И тут подхожу я. И с размаху даю ему пощечину и кричу... Нет, не кричу, говорю – громко, четко и презрительно:

– Предатель!

И тут же новая картинка: он стоит передо мной на коленях, весь в слезах, и признается в любви, а я говорю ему, чья я дочь, и...

На этом обрывалось.

Полная чушь, согласна.

Но в результате этой чуши у меня возник новый план. Влюбить в себя этого гада, а потом... Потом будет видно. Как влюбить, тоже обдумаю потом.

Петр Петрович меж тем повествовал:

– Ты, наверно, сама уже догадываешься, что большинство людей – дебилы. Что такое дебил? Это не обязательно полный дурак. Это человек, в моем понимании, который уперся рогом во что-то, и больше ничего не видит. Когда у меня в организме наши кое-что неприятное, дело пошло к увольнению. Работа связана с физическими нагрузками, с нервами. Но руководство меня ценило. Говорят: давай, Оноприенко, мы тебя в другой отдел переведем. Там интеллектуальная, так сказать, сфера, дело легкое, одни разговоры. Конечно, в материальном смысле ничего такого не светит, но подлечишься, вернем тебя обратно, наверстаешь. И посылают меня в Самару. Оттуда одна девочка письмо прислала. Была встреча с президентом, прямая линия, и там это письмо прочитали. Про то, что девочка просит маме, которая одинокая, зарплату поднять. Ясно, что письмо заранее отобрали, советовались, показывали президенту. И если он разрешил его прочитать, значит, проблему видит и хочет отреагировать. Он отреагировал, сказал, что да, надо думать о защите родителей, которые воспитывают детей в одиночку. И все хорошо, но потом оказалось, что кто-то на маму этой девочки наехал, что в школе на нее тоже репрессии пошли, и коллеги наши нехорошо оживились, ну, мне и сказали – езжай и вправь кому надо мозги, а то будет ненужный резонанс. Приезжаю, узнаю – в самом деле, и директриса школы девочку при всех отругала, не твое дело лезть в политику, учиться надо, и маму ее чуть не уволил начальник, она там при районной администрации на мелкой должности была. И занимается этим шустрый парнишка из местных, Коля Пантин. Этот Коля и оказался классическим дебилом. Говорит: я одному специалисту показывал письмо, лингвисту, он сказал, что в одиннадцать лет такие письма не пишут. А у нас, говорит, давно зреет организация, и называется она СС, Свободная Самара. И бумажки показывает, какую-то переписку из интернета.

– Чепуха какая-то.

– Я же говорю: дебилы. Докладываю наверх, но Коля при сем присутствует и начинает кормить их тоже этим бредом про СС и убеждает, что за девочкой тайная организация стоит. А наши ведь как думают: вдруг правда? Раскроем заговор террористов, огромный плюс. Дали мне указание порыться, поговорить с девочкой. Пришлось поговорить. Она призналась, что ей учительница русского языка помогала, ошибки исправляла и по стилистике подработала. Я вижу – узелок завязывается. Причем узелок явно фальшивый, не пахнет тут никакой тайной организацией, но косвенные какие-то признаки... А руководство Колю поддерживает, он аж сияет, настроен все раскрутить до конца. Думаю: нет, это без меня. Позвонил, сказал, что обострение, боюсь тут в больницу свалиться, разрешили вернуться, кого-то другого послали. Через неделю читаю – девочка эта с крыши прыгнула. И насмерть.

– Я читала об этом.

– Все читали, звон пошел такой, что... И я вроде ни при чем, но как-то неприятно.

– И после этого уволились?

– Не сразу. Два года на бумажках сидел, чтобы оптимальная выслуга была для пенсии. А потом да, распрощался. А Колю в Москву взяли, хотя никаких СС он не раскрыл, развалилось все. Но видят – парень старательный, бойкий, преданный делу.

– Какому?

– Общему. Нет, лично я считаю, что таких гнать надо поганой метлой. Исполнительный дебил хуже атомной бомбы.

– Петр Петрович, а нами разве не дебилы правят?

– Ксения, нехорошо так говорить.

– Я же только вам.

– И мне нехорошо. Я, прости, патриот своей страны. И когда оскорбляют руководство моего государства... Я этого не люблю.

Петр Петрович сказал это очень веско. И так твердо после этого сомкнул губы, так взбугрились у него мышцы скул, такой взгляд сделался, что я подумала: этому дяденьке и я бы тут же рассказала и про учительницу, и про все на свете. Она же именно ему рассказала, а не настойчивому и наглому Толе. От такого взгляда не только все скажешь, но и в туалет захочется, и хорошо, если успеешь добежать.

Расстались мы с Петром Петровичем грустно и задушевно, обнялись у вагона, как родственники, а вагоне я вдруг подумала: хорошо, что я никогда его больше не увижу.

Поезд тронулся.

В вагон вошел молодой человек, который показался мне знакомым.

Вспомнила – он был в «Шоколаднице». Сидел в углу, пил чай, уткнувшись в телефон. Посматривал на меня, но почему бы и нет, почему бы и не посматривать на красивую девушку?

Молодой человек рассеянно оглядел вагон, а потом прогулочно, не спеша, прошелся и как бы не нарочно сел рядом со мной, хотя свободных мест было вполне достаточно. Я повернулась к нему, чтобы сказать об этом. Успела заметить, что он плохо побрит, что волосы цвета прелых мокрых листьев не мыты и давно не стрижены, одежда серенькая, мятая, но кроссовки новые, фирменные, красные с белой подошвой. Большим трудом добывается хлеб насущный, раз в год удается разжиться какой-то обновкой.

Молодой человек торопливо проговорил:

– Стас Кудрявцев, «Невская волна». Пять минут, и я исчезну. Другие про вас наврут, напридумывают, а я – только с ваших слов, только правду.

– Нет, до свидания.

– Я от Фучика за вами ехал, потом сидел, ждал...

– Я видела.

– Мог бы подойти там, но терпел, уважаю личное пространство.

– Вот и уважайте дальше.

– Я уважаю. У меня тема возникла. Все осуждают людей, которые... Разное бывает, кто-то виноват, а кто-то под раздачу попал, и даже не в этом дело, мы как-то забываем, что они живые люди в обычной жизни, у них родители, жены, дети. Что они чувствуют, как все это переживают? Никому не интересно, а зря. Понимаете?

– Я проводников позову. Или полицию.

– Зря вы так. Может, то, что я напишу, повлияет на мнение. В положительную сторону. Даже на суде учтут. Человеческий фактор, понимаете?

– Вам сколько лет?

– А что?

– Трудный вопрос?

– Тридцать два.

– Смените профессию, пока не поздно.

– Профессия – это судьба. Думаете, мне приятно копаться во всякой грязи? Долг! И часто с риском для здоровья и жизни. И никакой выгоды, я даже билет на поезд купил на свои деньги, и редакция вряд ли возместит.

– Могу я возместить.

– Ксень, – он вдруг переключился на интонацию ближайшего моего друга, – я же вижу, ты переживаешь, тебе плохо. И я на твоей стороне. Мне кажется, отца твоего в жертву принесли. И не особо скрываются. Они понимают, что все всё понимают, но такое ощущение, что именно хотят, чтобы поняли.

Я встала.

– Дай пройти.

– Конечно.

Он повернулся коленями в проход. Я протиснулась и перешла на свободное место. Через минуту услышала над собой голос:

– Хорошо, Ксюш, тогда такой простой вопрос...

Он стоял сзади, за спинкой, нависнув над моим затылком.

Послать его матом? Ударить? Но, может, он этого и ждет? Да и не умею я этого – ни матом послать, ни ударить.

Мне повезло, в вагон вошел полицейский наряд. Двое, он и она. Он был худой, длинный, щеки впалые, нос большой, загнутый, но выражение лица приятное, располагающее. Наверное, рассказывал своей спутнице, очень симпатичной девушке, что-то веселое. Так они и вошли, с остаточными улыбками, и даже жаль было нарушать эту идиллию, но пришлось.

– Пожалуйста, – сказала я, – помогите избавиться от этого пьяного типа, он ко мне пристает!

Стас завопил скандально и гнусаво, став похожим на бомжа, которого гонят с насиженного или належанного места.

– Не пьяный и не пристаю, а исполняю журналистский долг!

Возле моей головы моталась красная книжечка удостоверения, зажатая пальцами костлявой руки. У меня было настолько обостренное восприятие всего в этот день, да и во все последующие, что я разглядела шрам на запястье, похожий на единственную вскопанную грядку среди невозделанного огорода. Не совсем невозделанного, росло несколько волосков.

Я успела подумать, что у меня тоже есть шрам на запястье, и тоже на правой руке. Упала во дворе нашей подмосковной усадьбы в декоративную канаву, а там была щебенка с острыми краями. Вся кисть сразу стала красной, кровь дождиком закапала на землю, мне было и больно, и любопытно, хотелось и завопить, чтобы прибежали папа или мама, и посмотреть, сколько еще крови натечет и как она будет капать. И я терпела, смотрела, но потом все-таки завопила. Может, и он так же падал ребенком, и тоже удивлялся, сколько из него течет крови. Мы с ним сестра и брат по шраму.

И руку папы я успела вспомнить, у него темные и густые волоски были даже на пальцах. Я, когда была совсем маленькая, брала ее и говорила:

– Какая мохнатая. Медвежья лапа. Боюсь.

– Я медведь добрый, – говорил папа. – Знаешь, откуда слово «медведь»? Оно значит – едящий мед.

– Ведающий, – не соглашалась мама. – Мед ведь, ведающий, где мед.

– Ведающий и едящий, ни мне, ни тебе.

Все это я успела вспомнить за секунду или меньше.

Зря Стас тряс удостоверением. У правоохранителей к журналистам классовая ненависть. Полицейский юноша, к тому же, получил возможность показать полицейской девушке, что он не только остроумен, но и деловит, и грамотен в вопросах права. Он взял удостоверение, сунул его, не заглянув, в карман и сказал:

– Законом охраняется частная жизнь, ясно?

– Это не частная жизнь, читали про замминистра Кухварева? Поймали на взятке, коррупционер, а это его дочь! – гнусно блажил Стас. – И общество должно знать подробности! Имеет право!

Видимо, он рассчитывал на то, что представители силовых органов, которым нравится, когда кто-то коррумпированнее и гаже, чем эти самые органы, возьмут его сторону, обеспечат прикрытие. И опять ошибся.

– Пройдемте, – сказала девушка.

Хорошо прозвучало – непреклонно, но без угрозы. Она показала пассажирам, что строга, но справедлива, а полицейскому юноше – что тверда, когда надо, но может и смягчиться, если кто окажется этого достоин.

– Куда? С какой стати? Я законно еду, по билету!

– В другой вагон, – объяснил юноша, этим давая знать девушке, что понял ее замысел и вообще хорошо умеет чувствовать женские намерения, и в совместном будущем, если оно станет явью, будет предугадывать все желания и исполнять их.

Может быть, девушка так и хотела поступить – отвести назойливого журналюгу в другой вагон. Но вдруг напарник вообразит, что ее слишком легко прочесть и разгадать? Следует намекнуть ему, что она не так проста, как кажется, и что в жизни не бывает легких решений.

– А вдруг он потом вернется? – спросила она. – Не с собой же его водить.

– Ладно, ссадим, – легко согласился юноша. Словно говоря: я в мелочах женскому полу уступаю без спора.

– Где? – спросила полицейская красавица с некоторой досадой, сожалея, что юноша так быстро сдался. – Бологое через два часа с лишним.

Пришла пора юноше показать способность к нестандартным решениям в сложных ситуациях.

– Вот что, девушка, – сказал он мне. – Запишите мой номер. Мы его сейчас выведем, а если вернется, тут же звоните. И будет совсем другой разговор.

Он продиктовал номер, я послушно записала. И рада была за полицейского юношу – в присутствии очаровательной напарницы он блеснул находчивостью, а заодно куртуазностью, обходительностью, учтивостью, навыком обращаться с красивыми гражданскими барышнями, и пусть напарница даже немного взревнует, ничего, это ему только в плюс.

И они вывели Стаса, который не рискнул оказывать сопротивление действиями, только продолжал что-то выкрикивать про свободу печати, обеспечение доступа к информации и недопустимость создания препятствий при осуществлении журналисткой деятельности.

Я осталась.

В вагоне было семь-восемь человек. Они не смотрели на меня, но им хотелось смотреть, и я чувствовала это желание, осязала его, в воздухе сгустился невидимый туман неутоленного любопытства, от которого стало трудно дышать.

И я перешла в другой вагон.

А Стас потом компенсировал расходы на билет и потраченное время, тиснул статью, где красочно описывал мои страдания из-за отца, цитировал наш диалог, которого не было, с гражданским гневом описал противоправные действия полицейских, которые заламывали ему руки, оскорбляя физически и морально.

В Москве был дождь.

Я попросила таксиста выключить радио и голосовой навигатор. Хотелось тишины. И в машине было тихо, двигатель работал почти бесшумно. Слышно было только, как колеса отлипают с плещущим грязным звуком от мокрого асфальта.

Я смотрела в окно, и мне стало вдруг обидно, что здесь ничего не изменилось. Все те же дома, те же машины. В домах окна, окна, окна, где-то уже виден бледный свет – на улице пасмурно, в комнатах из-за этого темновато. Зато люди, живущие там, спокойны и счастливы. Они смотрят телевизор, читают, ужинают, разговаривают друг с другом, у них никого не арестовали, не отдали под суд. И в машинах справа и слева едут такие же спокойные и счастливые люди. Вот широкоплечий человек за рулем огромного черного джипа говорит с кем-то по телефону – весомо говорит, массивно говорит, под стать автомобилю говорит. Вот молодой человек в грязном кроссовере с мятым крылом смотрит со скукой вперед, наверное, целый день ездит, устал, надоело. И не понимает, насколько счастлив в своей беззаботной усталости. Вот солидный мужчина лет пятидесяти едет в смешной желтой машинке. Быть может, своя сломалась, а ехать надо, вот он и взял машину жены или дочери, ему слегка неловко, но он этого не показывает, он, как и владелец джипа, говорит по телефону, говорит горячо, сердито, что-то кому-то доказывает, и это помогает ему существовать в желтой машинке – если серьезный человек захвачен серьезным делом, то не все ли равно, на чем он передвигается? А вот девушке в «БМВ» представительского класса, конечно, не все равно. Она и сама представительского класса – блондинка с распущенными красивыми волосами, в красной кожаной куртке. Она понимает, что в своей матово-черной красавице (или красавце – все по-разному ощущают пол своей машины) выглядит очень эффектно, что на нее

все смотрят. Но не замечает этого, великолепно одинока в плотном окружении машино-людей, ее осанка, ее небрежно положенные на руль руки, ее чуть приподнятая голова словно говорят: да, для вас я дивно хороша, вы все хотите меня или хотите быть мной, а я – привыкла, для меня естественно быть сногсшибательной, мне не требуется ваше внимание, езжайте себе мимо. А вот скорая помощь проехала, без сирены, но с маячком. Значит, ничего особо срочного, больной или больная не умирают. Возможно, он или она впервые оказались в скорой и замечают, что, отвлекшись от боли, с любопытством рассматривают окружающее, гадая, для чего все эти приспособления. А вот девочка лет семи на заднем сиденье автомобиля бюджетного семейного типа. Наши машины поравнялись и остановились, девочка смотрит на меня упор, но смотрит странно, неподвижно, без всякого выражения. Я догадываюсь, что она смотрит не на меня, а на стекло. Может быть, там пятнышки-пылинки расположились в виде созвездия. Или напоминают ей какую-то букву. Или какое-то животное. Вот девочка и смотрит, и ничего в ее любопытстве нет, кроме самого любопытства.

И все они не понимают, насколько счастливы. Вернее, не знают этого.

У нашего дома стояло несколько машин казенного вида, с темными стеклами. В открытых воротах торчал человек в черной нахлобучке с прорезью для глаз. Из нахлобучки, оттуда, где рот, послышалось:

– Вы кто, к кому?

– К себе. Я Ксения Кухварева.

– Здравствуйте.

– Здравствуйте. Могу пройти?

– Минутку. Тут дочь Кухварева, – сказал он по рации.

– Хорошо, пропусти, – ответил голос.

Я прошла.

Во дворе меня встретил еще один человек, тоже в нахлобучке, тоже с рацией в руке. Он довел меня на крыльце, там ждал третий человек. Его нахлобучка была не такая, как у предыдущих, с прорезью не только для глаз, но и для рта. Наверное, по работе приходится много говорить.

– Приветствую! – сказал он весело, и рот странно шевелился в неподвижной маске. – Заходите, будьте, как дома!

Пошутил. Сам себе веселит, чтобы скрасить пакостность своей роли. Только вряд ли он считает ее пакостной.

– А вы, собственно, кто? – спросила я.

– А мы, собственно, вот! – он достал удостоверение, развернул.

Фотография в удостоверении напоминала картинку из теста на IQ – овал в прямоугольнике.

– Как я пойму, что это вы? У вас лицо закрыто.

– А вы по глазам, – продолжил шутить третий. – Глаза-то – похожи?

– Санкция у вас, конечно, есть? На обыск или что вы тут делаете?

– Обыск, изъятие документов и материальных ценностей. Да, есть, Ирина Константиновна интересовалась. И адвокат ваш. Вашего отца.

Ага, значит, приехал Михаил Жанович Дойнер, с которым отец работает и дружит уже лет двадцать. Это хорошо. Знакомый, близкий человек, должен благотворно подействовать на маму.

Михаил Жанович на всех благотворно действует. Слушаешь его и думаешь: есть же на свете человек, который ни в чем не сомневается! У него обо всем свое суждение, твердое и доказательное. Возражений не терпит, морщится и всем видом показывает, как его достало неумение понять очевидные вещи, насколько устал он от непроходимой человеческой глупости. Но мне всегда нравилась его готовность ввязаться в любой спор, причем пылко, яростно, горячо, как в битву не на жизнь, а на смерть.

– Я его иногда боюсь, – сказала однажды мама. – Он так нападает, что мне кажется, сейчас ударит. Будто я на что-то святое покусилась.

– Святое для Михаила Жановича – его правота, – ответил папа. – Всякий, кто с ним сразу же не согласится, становится богохульником и кощунником.

– Даже так? К себе как к богу относится? Поклоняется себе?

– Не себе, а своей религии.

– Он верующий?

– Верует в себя, в свою правоту. Он должен быть умней всех, правей всех, кто не согласен – берегись. Ох и били его в школе, наверно.

– Почему?

– Не любят там таких. Детки же за первенство всегда бьются. Как и взрослые. А Миша поражений, я думаю, не признавал никогда. И со всеми спорил. Типа – вы все дураки, ничего не понимаете. Ну, и получал от дураков.

Трудно было представить, глядя на теперешнего Михаила Жановича, что кто-то мог его обижать и бить. Стройный в свои семьдесят, седовласый, всегда в костюме с жилетом, в сверкающих остроносых туфлях.

Они были в малой гостиной – мама и Михаил Жанович. Сидели в креслах и беседовали. Я вошла в сопровождении третьего, Михаил Жанович встал, он всегда встает при дамах любого возраста, социального положения, степени близости и родства. А мама осталась сидеть, сказала:

– Привет.

Сказала буднично, спокойно. И это правильно, меня не было только полтора дня, нет повода для бурных приветствий. Изображать беду и горе, слезы лить и обнимать бедную дочь несчастного отца – ни к чему. Пусть посторонние видят, что происшедшее не воспринимается как трагедия. Это недоразумение, которое скоро разрешится.

Михаил Жанович глянул на маму одобрительно, сел и уставился на третьего: дескать, будете тут торчать или уберетесь и позволите продолжить семейный разговор?

Третий слегка смутился, что невозможно было увидеть сквозь его нахлобучку, но это обозначено было его плечами, которыми он косо повернулся. И пошел обратно, чуть ли не прихрамывая. То ли от какой-то травмы, то ли от деликатности.

– Есть хочешь? – спросила мама.

– Немного, но не сейчас. Кофе выпью. Лида здесь?

Я посмотрела в сторону столовой и увидела Лиду, нашу подругу семьи, как называл ее папа, он не любил слов «горничная», «прислуга», «домработница». Кроме нее, у нас было еще полдюжины помощников – опять же мягкое папино слово, постоянных и приходящих, но Лида была главная. Одинокая сорокалетняя женщина, она жила на той стороне, с умницей-дочкой, про школьные успехи которой постоянно рассказывала. И была нам действительно подругой – доброй, аккуратной, незаметной, когда не нужна, и всегда рядом, если понадобится.

Лида стояла у стола, боком ко мне, что-то вытирала. Мое появление заметила, но осталась в том же положении, соблюдая собственное правило – не навязываться, пока не позовут.

– Здравствуй, Лида! – сказала я, и она тут же пошла в сторону гостиной, на ходу вытирая руки о полотенце, остановилась в арке двери, прислонилась плечом к косяку и опустила руки, держась за полотенце как за привычную вещь, которая всегда выручит. Смотрела на меня хоть и с улыбкой, но горестно, как на сироту.

Маме это не понравилось.

– Лида, хватит скорбеть, никто не умер!

– А чего, я ничего! Кушать будем?

– Позже. Кофе сварите Ксюше. И я еще выпью.

– Михал Жаныч, а вам?

– Нет, спасибо.

Лида пошла варить кофе.

Сверху послышался стук.

– Шерудят, – сказала мама. – Шмонают.

Недаром училась на актрису – знала из пьес много диковинных слов.

– Сами? – спросила я. – Никто за ними не смотрит?

– Все, что они возьмут, представят по описи, – сказал Михаил Жанович. – И там понятые, Жирновы. Бабка с дедкой.

Мама засмеялась:

– Так извинялись! Говорят, лучше мы, чем чужие люди. И разве, говорят, мы можем отказаться?

– Конечно могут, – хмыкнул Михаил Жанович. – Но побоялись. Вот время, все чего-то боятся. А казалось бы, им-то чего?

Жирновы, наши соседи, были все и впрямь очень толстые, что показалось бы неправдой, если придумать, а в жизни такие смешные совпадения случаются сплошь и рядом. Главный Жирнов, большой банковский деятель, был толст, его родители, которых он поселил с собой, были толстые, хотя дедушка уже начал немного подсыхать от старости и болезней, жена Жирнова была в ширину такая же, как в высоту, дети, мальчик и девочка десяти и двенадцати лет, были тоже толстыми, и лишь собачка у них была маленькая и худенькая. Наверное, для мотивации завели. Чтобы смотреть на нее и желать такой же худобы. Главный Жирнов, его жена и дети ни с кем не общались, жили здесь только два-три летних месяца, а потом уезжали в Москву. Круглый год жили только дедушка и бабушка. Наверное, им поместье сына казалось дачей, только с огромным участком и очень большим домом. Бабушка с весны надевала на себя соломенную шляпу, выцветшую розовую кофту, линялые треники, резиновые сапоги и шастала по участку с утра до вечера – сажала, поливала, пропалывала, собирала. А дедушка что-то пилил, строгал и приколачивал в мастерской, работал долго и тщательно, а потом они с бабушкой торжественно выносили скамью – массивную, парковой конструкции, с изогнутыми ножками, и ставили ее где-нибудь среди кустов и грядок. После этого дедушка несколько дней посиживал на ней с книгой, показывая этим, что скамейка была создана не для бесполезного украшения, а для дела. Я, когда была школьницей, наблюдала за этим с крыши, однажды взяла бинокль, захотелось узнать, что он читает. Оказалось – Г.К. Жуков, «Воспоминания и размышления».

Все в доме виделось иначе, по-новому. Я смотрела не своими глазами, а глазами попавших сюда впервые спецназовцев, омоновцев или росгвардейцев, черт их знает, как они называются, да и неважно. Увидела дорогие ковры на полу – один в центре и по коврику у кресел, диванов и камина. Стол посредине, шкафы и шкафчики по стенам, высокие напольные часы с маятником, вся мебель из грецкого ореха, с узорами, очень красивая, в стиле Людовика 14-го. Так говорил папа, когда спрашивали гости. Гостиная высотой в два этажа, по верху одной из стен галерея с перилами, другой стороной она выходит в большую гостиную, на этой галерее у нас несколько раз размещался камерный оркестр – во время больших праздников. И это все, привычное, казалось моим глазам, временно ставшим омоновскими или спецназовскими, избыточным, нелепо роскошным, хвастливым. Тут можно крутой загородный ресторан устроить на сотню посетителей, а сидят всего две курицы, которые ничем не лучше моих жены и дочки, думала я воображаемыми мозгами воображаемого спецназовца, две курицы, одетые в дорогущие тряпки, а с ними адвокат, продажная душа, который будет теперь выгораживать хозяина и при любом результате получит миллионный гонорар, сволочь.

Мама спросила:

– Как все прошло?

– Нормально.

– Приставали? – спросил Михаил Жанович.

Я не захотела вдаваться в подробности.

– Нет. Я почти сразу же уехала.

– И правильно. Девочки мои, сейчас установку дам, хотите?

– Хотим, – отозвалась мама.

Лида принесла кофе, мы с мамой пили его крошечными глотками, даже не глотками, а только прикасаясь губами, трогая, впитывая. Семейный политес. Мама привычно демонстрирует дочери

урок приличных манер, а дочка привычно показывает, что этот урок усвоила. А Михаил Жанович давал установку.

– Меня врач научил, хирург, который операцию мне делал. Боли у меня жуткие были, с собой хотел покончить. И мысли мрачные, депрессия. Весь ассортимент. Устал ужасно, говорю ему об этом. Скорей бы уж взрезать меня и – или туда, или сюда. Очень уж тоскливо. И он мне говорит: Михаил Жанович, вы представьте, что все уже прошло. Все позади, вы опять здоровы и занимаетесь любимым делом. Ваши мучения вам смешными покажутся. А если не смешными, то... Вы уважать будете свою теперешнюю боль. Вытерпели, преодолели. Человек очень уважает свои прошлые мучения. Сказал он мне это, и сразу стало легче. Настрой – великое дело.

– Предлагаете представить, что все кончилось, что Олега отпустили под залог, дали условно или домашний арест присудили, да? – уточнила мама.

– Думаю, этим не обойдется.

Я сказала:

– Петр Петрович считает, что будет четыре года общего режима в худшем случае.

Михаил Жанович завелся сразу же – как всегда, когда слышал какую-то нелепицу.

– Петр Петрович! Он, конечно, у нас большой специалист! А я вам говорю – не меньше пяти строгого!

Он с таким воодушевлением нам это сообщил, будто мы должны были обрадоваться. Но радости не увидел и пояснил:

– Строгий лучше общего. Общий – зона, бараки и работа в обязательном порядке. И от мелкоуголовной серой сволоты никуда не денешься, каждый тебя будет доставать. Это очень неприятно, не сказать больше. Строгий – да, меньше свиданий, передач, зато сидят люди серьезные, авторитеты, по мелочам цепляться не будут. А мы можем Олегу устроить камеру с удобствами и с хорошим соседом. А то и одиночную, если захочет.

– Это возможно? – спросила мама.

– Легко! То есть не так легко, но положитесь на меня. Петр Петрович! – не мог он успокоиться. – Ты с ним приехала, Ксюша? На машине?

– Нет, на «Сапсане». Он хочет уволиться.

– Само собой. Дело сделано, мавр может уходить.

– Думаете, он был из них? – спросила мама.

– Почти уверен! Сто раз я говорил Олегу Сергеевичу: шофер твой – враг твой!

– Он был моим, – сказала я.

– Неважно! Я вот своих меняю раз в год. Сам бы ездил, но ненавижу одновременно рулить и говорить. А говорить сутками приходится, как вы понимаете. Короче, вернусь к теме. Сейчас главное – соблюдать равновесие и смотреть вперед. Туда, где все уже кончилось и вы вспоминаете об этом как о приключении. Да! – подтвердил он, обращаясь к маме. – Неприятное, трудное, опасное, противное, но – приключение!

Я подумала, что мама и без инструкций Михаила Жановича уже находится в режиме приключения. Она опечалена, но сидит в такой позе, с таким красивым поворотом плеч, так подносит чашечку, так отпивает, так говорит, что хочется оглянуться – где тут телекамера? А может, она, по науке папы, играет в игру второго уровня – являясь скорбящей женщиной, играет скорбящую женщину, но еще и посматривает со стороны, как она играет скорбящую женщину. Наверно, довольна. В ее жизни за последние годы было маловато событий, все одно и то же: дом, муж, дочь, да за собой надо следить, да благотворительность. И вот не просто событие, а Событие. Пусть плохое, зато теперь надо много думать, решать какие-то задачи, это драйв, это круто.

Мы поговорили еще о разных бытовых вещах – что лучше сейчас пожить в одной из городских квартир, что надо добиться в ближайшее время свидания с папой, что мне нужно взять академический отпуск, и наконец я спросила Михаила Жановича о том, что не давало мне покоя:

– Странно все-таки, что Сулягин оказался замешан. Они друзья были с отцом – или я чего-то не понимаю?

– В этом как раз ничего странного! История что нам рассказывает? Брут убивает друга Цезаря, предатель Иуда был учеником Иисуса, по одной из версий чуть ли не лучшим, а Каин Авелю был вообще брат! Почему? Потому что это ритуальные действия. Со смыслом. Вот и у нас ритуальный случай. Возможно еще, что Сулягин слишком долго не был ни в чем замешан. Это раздражает, надо срочно замарать. И преданность проверить. Тут не три в одном, а пять, десять, тут игра сложная.

– И как он папе в глаза смотреть будет?

– Никак. В суд вряд ли явится. Но при этом, конечно, уверен, что сдал Олега из высших соображений.

– Неужели? – удивилась мама.

– А как же! Никто не любит и не хочет чувствовать себя виноватым. Я сотни и тысячи процессов вел и очень редко видел, чтобы кто-то раскаивался. Нет, бывает, водитель ночью задавит старушку на улице без перекрестка, он, конечно, говорит, что страшно сожалеет, но вину все равно не признает. Старушка виновата! А Сулягин благородная жертва! Потерпевшая сторона! Чего ему стыдиться? А то, что все шито белым по черному или черным по белому, это никого не волнует. Знаешь, как отцу деньги подсунули? – спросил меня Михаил Жанович.

– Нет. А известно?

– Мне известно, я маме уже рассказал. Анекдот! Вроде того, папа позвал Сулягина в театр. Оперу послушать. Олег же у нас меломан, а Сулягин тоже пытается изобразить человека высокой культуры. На что, спрашивает, пойдем? На «Любовь к трем апельсинам», – говорит Олег. И теперь будут доказывать, что этим самым он намекал на взятку в три миллиона!

– Чушь какая-то.

– Само собой! Но ведь докажут! У нас как? – не то доказательство, что действительно доказательство, а то доказательство, что судья сочтет доказательством. И он сочтет. Я представляю, как обвинение это распишет. Апельсин относится к цитрусовым. Как и лимон. Лимон! А что называют лимонами?

– Миллионы? Сейчас лямы чаще.

– Лямы, да, но и лимоны. Вот и все, можно считать прямой уликой!

– Неужели так примитивно? – спросила мама.

– Да, так примитивно! И это тоже демонстрация. Смотрите все, мы из любой мухи раздуем любого слона!

В гостиную вошел человек в черном костюме с галстуке, с лицом настолько безликим, что гляди на него хоть целый час, а описать потом не сможешь. Повадками был похож на менеджера похоронной конторы, который, с одной стороны, сочувствует родственникам покойного, а с другой, должен помнить о деле.

– Там у вас сейф, – сказал он.

– И что? – ехидно отозвался Михаил Жанович.

– Открыть надо.

– Открывайте.

– Код нужен. Кто-то знает?

– Я не знаю, – сказала мама.

– А я тем более! – отрезал Михаил Жанович.

– Вы извините, но это воспрепятствование следствию.

Михаил Жанович схватился за ручки кресла и весь подался к похоронному человеку:

– Слушайте, тут грамотные люди, не надо никого пугать терминами! Да еще теми, смысла которых вы сами не понимаете! Воспрепятствование! Вас за руки хватают? Не пускают куда-то? А если что-то где-то закрыто, мы не обязаны знать, как открывается! Имеем право не знать!

– Подследственный все равно скажет.

– Вот когда скажет, тогда и откроете!

– Имеем право и взломать.

– Взламывайте!

Похоронный человек постоял, помолчал. Вспомнил еще об одном деле.

– У нас уже несколько актов изъятия готово, можно подписать.

– Подпишем, когда будет готово все! – заявил Михаил Жанович. – И будьте уверены, проверим каждую булавку!

– На здоровье, только дольше будет. А сейчас бы... По мере изъятия...

– Молодой человек, нигде не регламентировано, когда и по какой мере нужно подписывать ваши акты! Мы их неделю будем по буковке изучать, и вы ничего не сделаете!

– Ничего подобного. Главное – понятые подпишут.

– Не торопитесь, дорогой мой! Еще неизвестно, будут ли действительны их подписи! УПК давно читали? Вижу, давно, если читали вообще! Цитирую: понятой – не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, привлекаемое дознавателем или следователем для удостоверения факта производства следственного действия, а также содержания, хода и результатов следственного действия! Не заинтересованное! Так?

– Допустим. А какая у них заинтересованность?

– Такая, что они просили сделать ниже забор, который к ним примыкает. Какие-то у них там овощи в тени не плодятся, видите ли! Да ведь, Ирочка?

– Да.

– Следовательно, им выгодно, если хозяина посадят в тюрьму, дом конфискуют, а с новыми хозяевами они договорятся! Вот вам и заинтересованность! И любой подписанный ими протокол можно опротестовать!

Похоронный человек, который только что казался вялым, как засохший кактус, оживал на глазах, рот у него все откровеннее кривился в усмешке. Пожалуй, он был не глупее Михаила Жановича – сначала изобразил из себя что-то невнятное, дождался нападения и даже сначала не защищался, но тем увереннее теперь ответил Михаилу Жановичу, ответил с веселым напором:

– Вы мне, господин адвокат, не крутите мозги! Забор какой-то! Прекрасно понимаете, что подписи будут действительные, что и вы тоже подпишете, если понадобится, потому что чем больше вы тут пыль поднимаете, тем вашему клиенту будет хуже! И супруга его вам спасибо не скажет! И дочь! Ведь так?

Он посмотрел на меня в упор, прямо, заданный вопрос позволял это сделать. И я подумала, что с того самого момента, как он сюда вошел, ему хотелось посмотреть на меня. Возможно, ему сообщили, что в доме появилось новое лицо. И тот, кто звонил, добавил: «Такая красотка, я тебе скажу, обалдеть!» Или: «Такая цыпа!» Или: «Такая телка!» Я не знаю, как выражают восхищение люди этого круга. И ему, уставшему от обыска, захотелось спуститься и посмотреть на красотку, а сейф и подписание актов – только повод. И вот смотрит, наслаждается.

Михаил Жанович встал.

– Это что, угроза?

– Да ладно вам! – махнул рукой следователь. – Никакая не угроза, а чтобы вы знали, что ваши крючки тут не работают!

– Какие крючки?

– Любые.

– Хотите сказать, все заранее решено?

Следователь скривился:

– Охота вам чего-то, я не знаю... Конечно, решено. И чем быстрей мы сработаем, тем лучше для всех. Раньше сядет – раньше выйдет. Так скажете код или нет? – спросил он маму.

– Я правда не знаю.

– Я знаю, – сказал Михаил Жанович. – И пойду с вами, и буду наблюдать. А то вы, я смотрю, очень шустрый!

– Что есть, то есть!

Следователь, говоря это, опять посмотрел на меня – не Михаилу Жановичу адресовал это, а мне подал, как на блюдечке записку. Да, я шустрый, значилось в этой записке, и, если узнать меня поближе, эта шустрость тебе понравится!

И я почти рефлекторно приподняла свое хрупкое девичье плечико, дужкой выгнула правую бровь, губы свои красивые одной стороной чуть изогнула в легкой усмешке, создавая заодно прелестную ямочку на щеке. Так реагируют на реплику человека, который симпатичен. В этом почти обещание: у нас все может быть, если ты постараешься, ты, конечно, нагл, но меня, пожалуй, даже заводит такая наглость.

Это и есть моя неискоренимая слабовольная особенность – отвечать так, как хочет тот, кто обратился. Мама и Михаил Жанович смотрели на меня удивленно. Я опомнилась и тут же стерла с лица все, что там было, для верности тряхнув головой, смешав все заново в миксере мимики, и показала новую смесь: презрительности и высокомерия. Кто ты такой, чтобы со мной заигрывать? – вот что теперь читалось на моем лице. И следователь прочел, но сделал вид, что не поверил, усмехнулся, повернулся и ушел. А за ним и Михаил Жанович.

Мама тут же подсела ко мне, обняла, прижав мою голову к своей груди. Она и раньше так иногда делала, и мне это не очень нравилось – душно и тесно. Да еще мамины духи – хорошие, но слишком терпкие. Правда, в этот раз духами пахло не так сильно. Зато явственно ощущался луковый запах пота. Это меня прямо-таки потрясло. Я не припомню, чтобы она до этого пахла человеком – потом, кожей, волосами. Нет, только парфюмом, дорогим и приятным, только шелком, хлопком и шерстью одежды, только шампунем, которым она моет каждый день свои естественно вьющиеся волосы, шампунь этот ей из-за границы доставляют, самый щадящий и самый нежный в мире.

И вот я дышала в ее грудь, мне сразу же стало тепло и влажно, и подумала, что давно перестала воспринимать ее мамой. Даже называть ее так было странновато. Она и выглядит ненамного старше меня, и говорит вполне молодежно, и походка девичья, и жесты. С четырнадцати лет я смотрела на нее, как на старшую подругу, сестру. Известие о том, что я не родная дочь, почти ничего не изменило. И вот опять – мама. Как в раннем детстве. Как у всех. Сейчас подниму голову и увижу седую старушку, всю в слезах. Матушку.

Я услышала звуки. Мама и впрямь плакала.

Я высвободилась, посмотрела на нее. Она плакала и гладила ладонями мое лицо.

– Вот так, – вздыхала и всхлипывала, – вот так, Ксю, такие вот дела. Все еще хуже, чем кажется. Не фатально, но... Ты должна знать. Папа тяжело болеет. Пока еще не очень проявилось, но с каждым днем... Понимаешь? И тюрьма его может убить. Понимаешь?

Она отпустила меня, прижала руки к лицу и закашлялась странными звуками:

– И-хы, хы, хы, хы-ы-ы! И-хы, хы, хы, хы, хы–ы-ы!

Она рыдала.

Рыдала по-бабьи, я слышала что-то похожее однажды, когда мы выезжали из ворот поселка и пропускали похоронную процессию с той стороны. Гроб несли к автобусу, стоящему на дороге, шестеро мужчин в униформе ритуальной службы несли его, а за ним тянулись несколько женщин и детей, вот одна женщин именно так и рыдала.

Мне было жаль маму, мне стало страшно, я почувствовала, как мурашки пошли по всему телу, это и есть то, о чем говорят – продрало морозом. Меня жутко продрало, даже сердце стукнуло невпопад, а потом застучало вдвое быстрее.

Папа болен. А кто сочинил ему жуткую болезнь? Я сочинила. Получается – накаркала, напророчила, предрекла, предсказала? И мама это наверняка помнит, и папа помнит, кто же я теперь в их глазах? Приемная дочь, наславшая своим пророчеством порчу?

Мне было очень плохо, я в одну минуту возненавидела себя, дуру, но еще больше возненавидела тех, кто может убить папу. Не прощу. Никому не прощу. В первую очередь Сулягину.

Тут же в воображении возникла странная картинка: Красная площадь у собора Василия Блаженного, лобное место, на лобном месте в боярском кафтане, весь растерзанный и битый, с ли-

цом, покрытым грязью и запекшейся кровью, стоит Сулягин и взывает о милости. Палач стоит рядом с огромным топором в руках. Плаха готова. «Пощади, великий государь!» – кричит он царю, который похож то ли на Ивана Грозного, то ли на Петра Первого, я плохо различаю из-за пелены гнева, застлавшей глаза. «Не меня проси о пощаде, а боярыню, которую обездолил!» – отвечает царь. «Прости, матушка! Прости, доченька! Прости, краса-девица!» – вопит Сулягин. «Никогда!» – отвечаю я. И палач куда-то исчезает, рядом с Сулягиным стою я, его валят на плаху, я вижу его шею, морщинистую, красную, при этом воротник кафтана куда-то делся, вместо него воротничок белой рубашки, сразу видно качество – небось от Prada, они все носят от Prada, впрочем, и папа мой носил такие, но его нет, а ты, гад, пока жив. Хорошо, что рубашка белая, тем заметнее будет кровь. И я взмахиваю топором...

Михаил Жанович остался наблюдать за процессом, а мы, почти насильно накормленные Лидой, поехали в Москву.

В той квартире, что у храма Христа Спасителя, тоже был обыск. И в той, что в Москва-Сити, продолжали что-то искать, обстукивали стены и вскрывали полы. Мы поехали в ту, которая возле моей бывшей школы. Она небольшая, сто двадцать метров, поэтому обыск уже закончился. Но был такой разгром, что не хотелось оставаться.

– Хоть на Селигер отправляйся, – сказала мама.

– Лучше в гостиницу.

Маме эта идея понравилась. Гостиница – что-то чужое, не напоминающее о прежней жизни.

И мы поехали обратно в Москва-Сити, по пути забронировав двухкомнатный номер в одном из тамошних отелей.

Мама ехала очень быстро. И оформлялась в гостинице нетерпеливо, и в номере наскоро приняла душ, пожелала мне спокойной ночи и сразу же пошла спать. Я ее понимала. Я тоже хотела поскорее остаться одна, лечь и подумать. Тоже приняла душ, легла, даже не глянув в окно, за которым мерцали тысячи огоньков – не хотела, чтобы этот вид отвлек меня от моего настроя. Настрой был: все решить и спланировать.

Не получилось, заснула сразу же.

Следующие две недели были сплошной суетой и мельканием лиц.

Вот сидит передо мной молодой человек, то есть я сижу перед молодым человеком, поскольку нахожусь у него в кабинете. Название человека – Игорь Колотушкин. Есть люди, которых не надо описывать, фамилия говорит за них. Колотушкин – и все ясно. Он Колотушкин. Он такой Колотушкин! Он полный Колотушкин.

Колотушкин имитирует бесстрастность и беспристрастность, он открывает толстую папку, там кипа листов. Берет ручку и первый лист. Примеривается ручкой к листу, как игрок в дартс к мишени. Готовится записать. Задает вопрос.

– Колье желтого металла, вес сто двадцать четыре грамма, вставки, похожие на драгоценные камни, точный состав и стоимость уточняются – принадлежность?

– Что принадлежность? – спрашиваю я.

– Чье это колье?

– Послушайте, господин Колотушкин!

Это вступает Аня, помощница Михаила Жановича, которую он ко мне приставил. Она ведет и самостоятельные дела, у Михаила Жановича солидная адвокатская контора, целый штат сотрудников. У Ани тоже говорящая фамилия – Емчик. Но непонятно, что она говорит. На что-то намекает, а на что – не разгадать.

Она встретила меня на улице. Стояла, опершись на новенькую «ауди», двухдверную, купе, темно-красного цвета. Очень недешевая игрушка. На таких обычно ездят незамужние дочки богатых родителей, тем самым позиционируя себя как товар дорогой, не для всех доступный. Или молодые жены миллионеров, в данном случае машина тоже знак: я уже куплена и занята, даже не

пытайтесь. Но Аня Емчик была уже глубоко семейного возраста, лет, наверно, за тридцать, а то и за сорок. О таких говорят: некрасивая, но привлекательная. Кто говорит? Ну, хотя бы я говорю. Что имеется в виду? А вот смотрите. Фигура у Ани бутылочная: сверху узко, снизу объемно. Но Аня так одевается, такие выбирает водолазки и блузки, такие ловкие брюки и платья, так уверенно и энергично все это предъявляет и несет, что фигура кажется лучшей из возможных. А если не соответствует вашим стандартам, как бы говорит Аня Емчик, то пересмотрите стандарты, со мной же все в порядке! Личико у нее круглое, глазки маленькие, веснушки толпятся вокруг остренького носика, но при этом волосы, жгуче черные, дерзко и ассиметрично нацелились прядками-остриями на глаза, опасно нависнув прямо над ними. Глаза при этом четко оконтурены. Еще немного, и был бы облик рок-музыкантши, но черта не переступлена, зато ясно обозначено главное: «я могу себе это позволить, а вы завидуйте». Привлекательность именно в этой уверенности, храбрости, в этом *могусебепозволить*.

И машина – о том же. И белый кожаный плащ, в котором она была в тот день. И черная водолазка под ним, и черные шаровары, заправленные в серебристые сапожки, отчего снизу Аня Емчик была похожа на танцующего казака, который, правда, сейчас не танцует, отдыхает. И даже сигарета, которую курила Аня Емчик, поджидая меня, была о том же. Она поздоровалась (Аня Емчик, естественно, а не сигарета), щелчком отбросила окурок – по-мужски сильно и далеко, окурок закувыркался в воздухе и шлепнулся посреди чисто выметенного трудолюбивыми таджиками тротуара. Лежа и источаясь предсмертным дымом, он успевал заявить, подобно бросившей его хозяйке: могу себе позволить!

В машине Аня Емчик дала мне подписать бумаги, дававшие ей право вести мои дела, и проинструктировала.

– Ксюш, говорить буду в основном я, но, если придется, два лучших ответа – не знаю и не помню. Ты напуганная девочка, ты ни о чем понятия не имеешь, чуть не плачешь. Можно и в самом деле немного поплакать. Нет, – тут же зачеркнула она. – Это перебор. Они обожают плачущих красивых девушек, но внушают себе, чтобы не жалеть, что девушка притворяется. Напуганная и растерянная, без слез. Не понимаю, куда попала и зачем, и что спрашивают.

– А что будут спрашивать?

– Да черт их знает. Думаю, ничего серьезного.

В кабинете Колотушкина, тесном, казенном, я оценила наряд и макияж Ани Емчик. Она вошла – и кабинет стал еще теснее и казеннее, она своим видом ломала официальный настрой, вызывала огонь внимания на себя. Колотушкин невольно лупился на нее то и дело своими серенькими глазками, а на меня, красавицу, почти не глядел. Он хотел понять, что сей наряд значит, но в том-то и фокус, что этот наряд, при всей своей многозначительности, не значил ничего, только сбивал с толку, в этом и была его задача. Помню, мне очень хотелось узнать, есть ли у Ани Емчик муж, дети, что она любит читать и смотреть, хотелось понять, кто же она на самом деле. Потом узнала: был муж, были бойфренды, от всех она быстро избавлялась и обожала своего десятилетнего сына. Больше ничего узнать не удалось, так Аня Емчик и осталась для меня загадкой.

И вот Колотушкин спросил про колье, и Аня Емчик вступила:

– Послушайте, господин Колотушкин! У Ксении и у ее мамы много кольев! Кстати, почему вы маму не пригласили?

– С ней будут беседовать отдельно.

– Хорошо. Вернее, ничего хорошего. Повторяю, у них много кольев! – Аня Емчик подчеркнуто произносила так это слово. Чтобы Колотушкин понял – она знает, как правильно, но выговаривает его простонародно потому, что ведь и сам Колотушкин из народа, ведь да? Ему так будет доступней!

Колотушкин что-то хотел сказать, но Аня Емчик не дала.

– К тому же, уже вторая неделя пошла, а вы не удосужились провести экспертизу и оценку. Колье желтого металла, вставки! Неужели нет экспертов, чтобы описать точно?

– У них много работы. Принадлежность в любом случае надо выяснить.

– А как она может сказать, если даже не видит?

– Это запросто, – Колотушкин поворачивает к нам ноутбук с фотографией колье.

Монитор ноутбука бликует, он весь в разводах и пятнах, не раз, наверное, пили за ним чай, кофе, а может, и вино, клавиатура замызганная, каждая клавиша обведена серым валиком застарелой грязи.

Я смотрю на колье, вспоминаю, что это подарок папы, что надевала его два-три раза. Но оно выглядит чужим. Как выставленное для продажи на eBay. Как и советовала Аня Емчик, я выгляжу напуганной и растерянной. Вернее, вялой до анемичности, это у меня лучше получается.

– Значит, так! – диктует Аня Емчик. – Чтобы облегчить вам задачу: все драгоценности принадлежат и Ирине Константиновне, и Ксении. По очереди носили.

Колотушкину это не нравится, но крыть нечем.

– Понял, – говорит он и заносит ручку-дротик над следующей графой. – Подарок или куплены?

– Куплены. На собственные деньги. Мамой или Ксенией, они не помнят и помнить не обязаны.

Колотушкин гмыкает.

– Откуда у них собственные деньги?

– Ирина Константиновна получает зарплату в фонде. Ксении дает отец. У него очень неплохой оклад. Официальный. Можете записать. Таким образом, это полная и не отчуждаемая собственность матери и дочери.

Колотушкин что-то пишет.

Делает он это странновато – не нагибая головы, держа ее почти прямо и глядя на бумагу издали скошенными вниз глазами. Так бывает у людей с особенностями зрения, но через некоторое время, когда Колотушкин все-таки склоняет голову, вглядываясь в очередной лист, я понимаю, что он не хочет показывать макушку. Там, среди тонких и пушистых светлых волос, как у младенца, – плешь размером с кофейное блюдечко. Плешь розовая, беззащитная. Смешная. А ему смешным быть по должности не положено.

– Кольцо белого металла с камнем, вес три тридцать шесть, – продолжает он, меняя картинку на мониторе. – Принадлежность и происхождение? Куплено, подарено?

– Мы каждую цацку будем отдельно описывать? Пишите везде – принадлежность общая, все куплены.

– Извините, не получится, – с удовольствием парирует Колотушкин, радуясь возможности отомстить слишком агрессивной адвокатше. – Положено каждый предмет описывать отдельно. Вдруг что-то чужое попадется?

– Откуда?

– Мало ли. И тут не только драгоценности, тут разные вещи.

– Какие? Белье?

– Не преувеличивайте. Так что напишем? Чья собственность, откуда?

И он мытарит нас час, два, три, Аня Емчик возмущается, потом устает и начинает с кем-то переписываться в телефоне, однообразно отвечая Колотушкину, не глядя на него: общая собственность, куплено, общая собственность, куплено.

Это похоже на глупую, никому не нужную игру.

Я смотрю на Колотушкина и представляю, кто его ждет дома. Жена или подруга? Наверное, подруга, такие долго не женятся – чтобы не прогадать. Тихая, послушная, маленькая – сам Колотушкин очень невысок и не позволит, чтобы девушка была выше его. Он ест приготовленный ею ужин и рассказывает:

– Сегодня весь день мучился с дочкой Кухварева.

– Того самого?

– Ну.

– А я ее инстаграм нашла. Сейчас, правда, уже закрыт, в других местах тоже не найдешь. Но там успела посмотреть.

– Зачем?

– Интересно же. Эффектная девушка. Тебе понравилась?

Подруга спрашивает легко, с улыбкой, чуть-чуть подначивая, чуть-чуть как бы ревнуя, при этом показывая, что абсолютно не беспокоится. А сама беспокоится, каждый день беспокоится, но никогда этого не обнаружит.

– Да так, – морщится Колотушкин. – Ясно же, что там все сделанное. И губы, и сиськи.

– Не говори так, не люблю этого слова.

– Буфера? – дразнит Колотушкин. – Булки?

– Булки это вообще другое, знаток!

– Да помню я. Короче, при ближайшем рассмотрении – ничего особенного. Но понтов выше крыши.

– Не признавалась?

– В чем?

– А в чем ее подозревают?

– Да ни в чем, опрашивал по поводу золотишка, брюликов. Там на миллионы всего, если не на миллиарды. За всю жизнь не износишь.

– Точно. Нет, но это хоть вложение, продать можно в случае чего. А я вот видела гардероб у певца этого, там у него комната огромная, как склад в Икее, он сам говорит – если буду менять одежду пять раз в день, все равно не успею всего надеть. Это вот зачем, для чего?

– Дурь и жадность.

– Ну так – и, и, и?

– Что?

– Как она себя вела? Хамила?

– Вовсю. И она, и адвокатша ее. Такие, типа, хозяева жизни. Что отдельно возмущает. У тебя папаша вор, сгореть должна от совести! Ничего подобного! Глаза наглые, я для нее не человек, а клерк какой-то, мелкий чиновник! Я терпел, терпел, а потом не выдержал, говорю: чем вы тут гордитесь? Да на каждом вашем брюлике кровь и пот простых людей! Они пашут с утра до вечера, они в год зарабатывают столько, сколько вы за прическу свою один раз тратите!

– А что, особенная какая-то прическа? – живо интересуется подруга.

– Ясно, что не в соседней парикмахерской стрижется. Так что вам, говорю, надо притихнуть и отвечать на вопросы, как спрашивают, а вы тут корчите из себя!

– Так и сказал?

– Ну. Не положено, но... Заело. Я же знаю, как люди живут, мне за них обидно.

– Ты такой эмоциональный, – говорит подруга. – Еще будешь?

– Немного можно.

А потом, ночью, начиная ласкать подругу, Колотушкин вспоминает меня и с неожиданной злой досадой думает, что никогда не будет держать в руках такую девушку, как я. Нет, буду, буду, буду! – возражает он сам себе в такт своим движениям, и закрывает глаза, и видит меня, и кажется ему, что я не в его воображаемом будущем, а прямо тут, перед ним и под ним. А что, если на ощупь и в темноте, то никакого отличия!

Я представляю это, но тут же представляю и другое: Колотушкина встречают жена и маленький сын. Колотушкин садится в прихожей на корточки, сын обхватывает его за шею, тычется носом в щеку, что-то шепчет, у него какой-то секрет, Колотушкин не может разобрать ни слова, но счастье горячо разливается по всему телу. Вот в этом и жизнь, и смысл ее, думает он не мыслями, а всем своим существом. И идет мыть руки, а потом ужинает, чувствуя приятную усталость.

– Как день? – спрашивает жена.

– Да ничего особенного. Дочь Кухварева допрашивал.

– Того самого?

– Ну.

– У него дочь есть? А еще кто, другие дети?

– Только она.

– Это плохо. И ему, и ей. Если что... Давай второго родим?

– Не рано?

– Наоборот, разница в возрасте небольшая будет. Будут как друзья. Отстреляемся, и все.

– Не знаю... В съемной квартире второго рожать...

– Да хоть в шалаше, если хочется.

– Ты так настроена?

– Давно уже.

– Ну, тогда...

А потом, ночью, начиная ласкать жену, Колотушкин думает, как будет трудно с двумя детьми, но в этом труде есть важная серьезность взрослой жизни, еще совсем недавно он выглядел, учитывая рост и внешность, вечным пацанчиком, и вот глава семьи, отец. И то, что у них с женой происходит, не назовешь затертым словом секс, это диалог двух тел, которые нежно, но ответственно трудятся над созданием будущего. Хочешь ребенка? – спрашивает одно тело. Да, да, да, отвечает второе. И им хорошо, хоть и немного страшно.

Такая вот разнообразица лезла в мою голову, а Колотушкин все спрашивал и спрашивал, а Аня Емчик все отвечала и отвечала...

В машине она, страшно раздраженная, сказала:

– Убивала бы таких нудных! Дурак этот мальчик, не понимает, что упускает время. Ему двигаться надо и продвигаться, а с этой ерундой он никуда не продвинется. Побегушечник типичный, лузер, блин! Есть хочешь?

– Да.

– Давай наградим себя, тут есть приличный ресторанчик.

Мы поехали в приличный ресторанчик.

Там было совсем пусто, мы выбрали столик в дальнем углу. Подошел метрдотель с внешностью красавца-актера из сериала для старушек. Он и сам уже в предстарческом возрасте. В синем пиджаке клубного типа с вышитым на кармашке логотипом ресторана, в черных брюках и сверкающих туфлях. Он поблагодарил нас за то, что мы выбрали их заведение, сказал, что сейчас нас обслужат, и спросил, не хотим ли мы прямо сейчас кофе или вина.

Мы обе попросили кофе.

Метрдотель поклонился и пошел от нас.

– Придурок, – сказала Аня Емчик.

– Да, – согласилась я, оглянувшись на метрдотеля, который шел, слегка раскачиваясь, поводя плечами и бедрами, будто собирался пригласить кого-то на танец и уже предварительно этот танец начал.

– Да нет, – сказала Аня Емчик, – этот ничего, он в своем жанре. Между прочим, его дорогущие туфли, пинжак и штанцы мы оплатим, они считай что в меню включены, только невидимо. Таковы законы бизнеса – плати за имидж и марку. Но ведь приятно, когда тебе такой экземпляр кланяется?

– Да.

– Я не про него, про Колотушкина. Ладно, шут с ним, не за столом. Что бы нам скушать...

Мы ели рыбу сибас, салат, на десерт ягодное суфле, это был заказ Ани Емчик, я его повторила – не люблю выбирать и почти равнодушна к еде. Да еще подумала о том, что папу в тюрьме кормят, наверное, всякой дрянью, и аппетит совсем пропал. Спросила Аню Емчик...

Почему я так ее называю, не по имени, а – Аня Емчик? Не знаю. Нравится это сочетание: Аня Емчик. Оно вызывает улыбку, а я хочу улыбаться.

Так вот, я спросила Аню Емчик, когда мне разрешат увидеться с отцом.

– А разве не разрешают? Ирина с ним виделась.

– Когда?

– Ты не знала? – удивилась Аня Емчик. – Значит, я слила информацию. Не выдавай меня, ладно?

– Она с ним виделась, а мне не сказала?

– Может, не хочет расстраивать.

Потом я узнала: папа сам попросил маму не говорить об этой встрече. Потому что с ней он видеться уже мог, а со мной был не готов.

– Он в раздерганном состоянии, – сказала мама, когда я сама ее спросила. – Даже плакал. Боялся, что и при тебе не удержится.

– Папа плакал?

– Ну, не то чтобы слезы лил, но... Тяжелое зрелище.

Я представила это. Тут странность – я не папу представила, а какого-то мужчину в его возрасте с общими чертами лица, крупными и жесткими, и сам мужчина был крупный, как Петр Петрович, с крутыми плечами, и вот он сидит за столом, пальцы нервно комкают бумажную салфетку, как это женщины обычно делают при плаче, глаза красные, жалкие, из них текут слезы, а полуоткрытые губы дрожат, во рту клейко блестит набежавшая влага – плачет не только глазами, но и ртом. Он и носом плачет, потому что и оттуда показывается жидкость, мужчина хлюпает, втягивая ее, потом трет под носом указательным пальцем и становится похож на провинившегося ученика. И жалко этого мужчину до слез. Но папу, всегда усмехающегося или улыбающегося, с умными ироничными глазами, представить плачущим я не смогла.

И не увидела его таким. На моем первом с ним свидании (в присутствии мамы) он был спокойным, шутил, рассказывал, что познакомился в изоляторе с интересными людьми. О самом важном, о деле, по которому его обвиняли, и о его болезни, мы не говорили. Мама меня предупредила – не надо. Мы общались не через стекло, не по телефону, как показывают в кино, и не через решетку, сидели за столом напротив друг друга, в крошечной комнатушке, у двери гнездился охранник, играл на телефоне в тетрис или в шарики, звук сделал тихим до минимума, но не убрал совсем, то и дело слышалась пискляво-победная мелодия, когда что-то выстраивалась в очередную комбинацию и исчезало. Многие виртуальные игрушки имеют алгоритмом именно это – постоянно создавать какие-то комбинации, чтобы они тут же разрушились. Для чего? Для того, чтобы пройти все этапы и в конце увидеть – YOU WIN! И все. И приступить к следующему уровню или к следующей игре.

Я сидела и молчала, они говорили. Мама очень подробно рассказывала о своей новой машине, купленной незадолго до этого, она оказалась с заводскими неполадками, в автосервисе предъявили сумасшедший счет за необходимые работы, она подумывает, не составить ли акт и не вернуть ли производителю.

– Даже странно, – сочувствовал папа. – Такой бренд, такая марка.

– Значит, испортились.

– Бывает, да. Я вот всегда любил ноутбуки «Делл». Гарантия, фирма! Но они такую лажу начали гнать, что пришлось отказаться. А сейчас, говорят, опять качество вернули. Но поздно, теперь только «Эппл», «Эппл» форева!

Потом папа рассказывал, что ему понравилась перловая каша, которую он не ел с советского времени.

– Главное, чтобы горячая была. И ее с маслом дают, отличное масло, они со своей собственной фермы его привозят, из Подмосковья.

– Любая каша хорошая, когда горячая, – сказала мама.

– Это точно.

– А фрукты не дают? Чтобы, как дома ты овсянку ешь, – с фруктами?

– Нет, фрукты не дают. Их хранить проблемно, поэтому... Зато овощи тушеные дают часто. Не сами готовят, где-то заказывают, но ничего, съедобное все.

– Тушеные – хорошо. Помидоры после тепловой обработки становятся даже полезней. И морковь, и капуста, и свекла. Свеклу дают? От давления хорошо. Я почему знаю, мы рацион детских приемников-распределителей анализировали по линии нашего фонда, я изучила все свойства

всех продуктов. Везде одна и та же беда – нехватка витаминов. Значит, надо в таблетках пить. Вам разрешают?

– Надо спросить. Один тут биодобавки глотает, значит, разрешают. По одной штуке ему выдают, он скандалит, надо по две и три раза в день. А ему: скажи спасибо, что одну даем. Не забалуешься, короче.

И все вот в этом роде. Я видела, что им неловко, хотя для них это было уже третье свидание. Решила, что неловко из-за меня. При дочери не поговоришь на личные темы, вот и обсуждают полезные свойства овощей, подвергнутых температурной обработке.

Теперь знаю: я была ни при чем. Им не при мне было неловко, им друг с другом было неловко. И я это видела давно, но – не замечала. Да, вот так, видела, но не замечала, а могла бы догадаться, что с ними что-то случилось. Папа приезжает с работы, исполняет ритуал – обнимает встречающую маму, целует в щеку. Но обнимает не так, как раньше, целует не так, как раньше. Раньше руки были на талии, а теперь на плечах, раньше он задерживался с поцелуем – может, вдыхал запах маминых волос, всегда очень приятный, сейчас прикасается и тут же отстраняется. А мама часто в переднике – ужин она готовила всегда сама, поскольку дело традиционно семейное, и руки всегда к приезду папы оказывались чем-то испачканы, поэтому она держала их на отлете. Теперь я знаю – они оставались родственниками, очень близкими людьми, но мужем и женой уже почти не были.

А время свидания кончалось, охранник поглядывал на часы. Папа наконец обратился ко мне:

– Ты как, Ксю?

– Все норм, – ответила я так, как обычно говорят обычные девушки моего возраста. Мне хотелось быть перед папой именно обычной девушкой, у которой все обычно.

– Все норм, – сказала я. – Возьму отпуск академический.

– Это правильно. Вам бы с мамой за границу уехать на время, подписки же нет о невыезде.

– А ты тут без нас? – спросила мама.

– Все равно скоро суд, а потом – в Магадан куда-нибудь. Туда не налетаешься.

– Не обязательно в Магадан. И до суда мы будем здесь. А дальше видно будет.

– Мне советуют фамилию сменить, – вдруг сказала я.

Я не собиралась говорить об этом, да и не было у меня всамделишного намерения менять фамилию. Почему сказала? Наверное, захотелось как-то встряхнуть нашу пресную беседу. Напомнить, что мир изменился. Не знаю, зачем мне это было нужно. До сих пор не знаю.

– Кто советует? – спросил папа.

– Разные люди. Поменять, а потом вернуть.

– Кстати, вариант, – папа посмотрел на маму. – Если уж такая фамилия узнаваемая, почему бы и нет? Чтобы меньше приставали.

– И все остальное поменять? – спросила мама.

Спросила враждебно.

– Что остальное?

– Не знаю. Прописку, гражданство? Имя заодно?

– Ир, не надо.

– А что, мне с детства мое имя не нравится. Никогда не поздно.

– Извиняюсь, минута осталась, – сказал охранник.

– Так как? – спросила я. – Менять или нет?

Я видела, что папу это не очень волнует. Ему было важно поговорить с мамой. О том, о чем не поговорил, что просквозило в ее неожиданной враждебности. Но он не мог – и времени не осталось, и я тут сижу.

– Да, поменяй, – сказал папа. – Ты же не от меня отказываешься. Что такое фамилия? Набор звуков. Способ идентификации.

– Вот именно, – сказала мама. И опять враждебно.

– Ир, не сейчас, – сказал папа.

– А я ничего.

– Я же вижу.

– Что ты видишь? Всегда ищешь какой-то второй смысл.

– Строго говоря, второй смысл всегда есть. Во всем.

– А я не хочу. Мне надоело.

– Родители, мне выйти? – спросила я.

– Все, пора, – сказал охранник и встал.

Отец тоже встал, вышел из-за стола. Наверное, он ждал маму. Ждал, что она сейчас тоже встанет и обнимет его на прощанье. Но она осталась сидеть. Тогда встала я, подошла к папе, взяла его руку и погладила ею свою щеку. Я так всегда делала, с детства. Я знала, что ему это нравится.

Мы уехали в разных машинах, мама в своей, а я на такси, потому что приезжали к папе из разных мест. Мама предложила подвезти, я отказалась.

Мне не хотелось с ней говорить.

Мне хотелось говорить с папой.

Но побыть с ним до суда наедине так и не удалось, все свидания были на троих – мама, папа и я. Два раза присоединялся и Михаил Жанович. Обычно мама звонила и говорила:

– Разрешили сегодня увидеться с отцом, поедешь?

– Конечно.

Выходило так, что, если я захочу встретиться с папой отдельно, нужно как-то хлопотать, к кому-то обращаться, звонить, и в таком свидании был бы привкус особости, обозначение того, что я о чем-то хочу поговорить секретно. Но я, постоянно разговаривая с папой в воображении, не хотела делать это в действительности.

Мы в те дни жили с мамой отдельно, я в квартире, оформленной год назад на мое имя, она в квартире, оформленной на нее, то есть лично наших, не подлежавших аресту и конфискации, в отличие от многих других. А как же поддерживать друг друга? – спросите вы. Отвечаю: иногда лучшая поддержка – отсутствие ее. Когда ни с кем не обсуждаешь того, что и так больно, а при касании еще больнее.

Еще картинка, еще кусочек тогдашней суеты: я в загсе. Загс на первом этаже хрущевской пятиэтажки, такие в центре Москвы до сих пор есть, здесь все кажется давнишним, советским (я знаю теперь о советской жизни очень много, вынырнуло все прочитанное и просмотренное), и хоть был недавно ремонт, пахнет краской и пластиком, от всего разит советской бедностью. И от интерьера, и от людей, которые словно пришли сюда из прошлого.

Я согнулась над окошком, внутри сидит служительница, на ее блузке бейджик – «Евгения Васильевна Гусева». Она рассматривает мое заявление, паспорт, свидетельство о рождении, две фотографии 3х4, проверяет, все ли по форме, все ли правильно. Рассматривает довольно долго. За мной очередь. Подходит с пачкой листов пожилая женщина, говорит мне и очереди:

– Я уже стояла!

Протягивает листы в окошко, Гусева, не глядя, говорит:

– Подождите!

Женщина убирает бумаги, но недалеко, держит наготове. Стоит очень близко ко мне, дышит тяжело. На ней шапка-чалма синего цвета, с катышками, пальто в елочку, серо-бежевое, шарфик томатного цвета с каким-то узором. Все выглядит почти стильно, но это стиль неведомой давности, и все, если приглядеться, грязноватое, местами слегка лоснящееся.

Я вспоминаю, как папа приехал после похорон моей бабушки, его мамы. Нас с собой он не взял – я болела, простудилась, решили не рисковать. Приехал и рассказывал:

– Раньше казалось, что мама одета нормально, пусть не очень модно, но... И вот проводили, потом поминки, кафе снимали, народа много было... Вернулись с сестрой в дом, сидим, горюем, она говорит: не знаю, что с вещами маминими делать, с одеждой. Выкинуть нехорошо, раздать – сейчас никому ничего не надо. В шкафу висеть оставить – тоже как-то не то. Я открываю шкаф

и вижу, какое все старое, заношенное, нищенское. Даже стыдно стало. Когда видел при живой маме, на ней – вроде ничего, нормально. Она живая, и оно все живое. А без нее – мертвые тряпки. Я, конечно, мог бы ей все самое лучшее и модное купить – не хотела. Привозил, всучивал – то размер не тот, то не нравится. Добровольная нищета. Принципиальная.

...

Гусева просматривает документы по второму разу. Сзади очередь дышит нетерпением и раздражением. Листы трясутся в дрожащей руке пожилой дамы.

Наконец Гусева поднимает на меня глаза:

– Я правильно понимаю, что Кухварев ваш родственник? Про которого пишут?

– Отец.

– Ну да, вы же Олеговна. Неоднозначная ситуация...

– Послушайте, я изучила, что требуется при смене фамилии и что этому мешает. Ничто не мешает.

– Ошибаетесь. Если человек в розыске, под следствием, под подпиской о невыезде, мы в этом случае не можем.

– Я не в розыске, не под следствием и не под подпиской.

– Но ваш отец...

– При чем тут отец?

– Неоднозначно, говорю же...

Рука пожилой дамы трясется все сильнее, дама дышит все тяжелее, со свистом.

– Девушка, у нее неоднозначно, тогда отложите, а у меня однозначно, давайте закончим!

И пихает листы в окошко.

– Не надо ничего совать! – с досадой отвечает Гусева. – Если я все буду откладывать, я вас так всех отложу, понимаете? Я обязана с каждым доработать!

Дама убирает листы и хватается пальцами за край доски, что идет от стены до стены под всеми окошками. Доска узкая, впритык разместится папка с листами А-4, если боком, а посетитель не сможет устроиться поудобней, положить локти и опереться, в этом видится продуманность: чтобы никто не чувствовал себя слишком комфортно, чтобы хотелось побыстрее все закончить и уйти.

Дотошная и осторожная Гусева продолжает докапываться:

– У вас причина указана – по личному желанию. Но получается, что не поэтому.

– Поэтому. Я изучала информацию на вашем сайте, там четко написано: достаточно личного желания.

– Это вы так говорите, а мало ли... Нас спросить могут!

– Кто, о чем?

– Почему приняли, если ваш отец под судом.

– Вы серьезно?

– Блин, девушка! – слышится голос сзади. – Вам же сказали, что нельзя, значит, нельзя! Зачем людей держать?

Я оглядываюсь. За мной стоит невысокий коренастый мужчина лет сорока. С папкой в руке, черная обложка из кожзаменителя, тиснение под крокодилью кожу. И куртка на нем из заменителя, с множеством карманчиков и блестящих молний. И джинсы, и кроссовки, все, что я успеваю ухватить взглядом, выглядит имитирующим что-то более дорогое. Я представляю, как он хвастает перед женой, купив эти куртку, джинсы и кроссовки на вещевом рынке: выглядят как фирменные, а стоят в пять раз меньше! Нет, конечно, они слегка похуже фирменных, но, если по соотношению цена-качество – идеально, ведь правда? Наверное, он в этой жизни умный и практичный потребитель, который ни за что не переплатит, во всем ищет идеальное сочетание цены-качества, умеет это найти и гордится этим.

А за ценой-качеством стоят две девушки в одинаковых черных куртках, лицо у одной широкое и все в каких-то пятнышках и рытвинках, глаза очень черные, как и волосы, вторая чуть

выше, лицо худое и бледное, волосы и глаза тоже темные, но посветлее, она, будучи вполне себе дурнушкой, рядом с подругой выглядит почти красоткой, поэтому смотрит с долей высокомерия. Вид у обеих недобрый, как и у всех, кто стоит дальше.

Повернувшись к Гусевой, я размеренно говорю:

– Или вы принимаете заявление, или даете письменный отказ. С подписью и печатью.

– Мы таких отказов не даем. Сначала принимаем, а потом отказываем. Или вовсе не принимаем.

– Почему? Хорошо, не письменно, устно – скажите. А я запишу.

Я достаю телефон, включаю диктофон, кладу перед окошком. Почти наслаждаюсь сочной глупостью происходящего.

Цена-качество что-то сзади бормочет под нос, пожилая дама предсмертно задыхается, а я чувствую себя опытным и дерзким бойцом в битве с рутиной и канцелярщиной.

Гусева молчит, опять листает бумаги. И вдруг, ничего не сказав, встает и уходит.

– Здрасьте пожалуйста! – восклицает дама.

– Теперь из-за одной... – цена-качество делает небольшую, но значительную паузу, достаточную, чтобы вместить любое ругательство, – все будем тут до вечера стоять!

– Это точно! – поддерживает относительная красотка.

Цена-качество оглядывается на нее, она улыбкой подтверждает: да, это я сказала, я всегда готова поддержать мужчину, особенно если он неплох собой, крепок и свободен. И цена-качество приподнимает плечо, ближнее к ней: ну да, я неплох, крепок, а что такое свобода, можно обсудить, как и все остальное. Непроницаемые черные глаза подруги относительной красотки оживают, в них проблескивает зависть: вот я тюха, не догадалась первой подать реплику и вступить с мужчиной в диалог, в отношения. Многое начинается с пустячка, с умения ухватить шанс. В следующий раз надо быть расторопнее, а то ведь так все лучшее уведут из-под носа! Однако есть возможность наверстать. Пусть ее реплика будет второй, но убойной. И черновласая девушка вываливает девичьим неотесанным басом:

– Наверно, за богатого клиента замуж выходит, вот и меняет фамилию!

И выдает после этого смешок. Что-то вроде гы-гы-гы с фрикативным звучанием.

Относительная красотка отзывается кокетливым смешком – не потому, что одобрила шутку, а чтобы мужчина оценил мелодичность ее смеха и белизну зубов, зубы и впрямь были очень белые.

Но другим стало неловко. Не все, может быть, вникли в смысл тяжеловесной шутки, но все догадалась, что смысл похабный, намекающий на что-то грязное и оскорбляющее меня. А люди, как я поняла, не всегда готовы присоединиться к травле, откровенное хамство их все-таки смущает, они чувствуют, что, позволив хамить, становятся соучастниками. Люди вообще намного добрее и лучше, чем им самим этого хотелось бы.

Лишь цене-качеству понравилось – люди такого сорта любят все гаденькое, сальное, подтверждающее гнусность как отдельного человека, так и человечества в целом. Раз оно такое, значит, его можно со спокойной совестью объегоривать и обжуливать при каждом удобном случае, лучшего оно не заслуживает.

Выкрик черновласки был вызовом. Ты либо игнорируешь, что будет расценено как согласие, либо отвечаешь. Была бы я одна, наплевала бы на правила и промолчала, но вокруг клубился маленький социум, я не хотела оказаться слабосильной поверженной гладиаторшей на этой арене. Надо тренироваться – впереди важные и сложные задачи, надо учиться выигрывать.

Но в какой форме принять вызов черновласки, как ответить? Для меня, для благовоспитанной Ксю, самое естественное было бы:

– Девушка, вам не стыдно такие гадости говорить? Вы меня даже не знаете!

А она скажет:

– Ой, да чо там знать-то, за километр по одежке видно! И одежка-то подаренная или за чужие деньги купленная! А часики сколько стоят? И на дорогой машинке приехала, да? Какая машинка? А? Если ты такая честная, давай, скажи! А? Слабо? Не на метро же!

И так далее. Почувствует слабину и загрызет до смерти.

Хорошо. Второй вариант – изобразить опытную хабалку, такую же, как эта нищебродка, но которой больше повезло. Пойти на нее, выкрикивая:

– Ты чо сказала, соска? Тебе кто разрешил твою щель ротовую открывать? Отвечаешь за свой базар? Смотри на меня, корова! Отвечаешь, я спрашиваю? Всех касается: законно стою и законно решаю свои дела, ясно? Я час до этого ждала, и вы будете ждать!

Запугать, дать понять, что со мной лучше не связываться, заткнуть всем рты.

Вариант третий: смерить черновласку презрительным взглядом и сказать:

– Завидно, что ли?

Позиция торжествующего и не стесняющегося бесстыдства. Маленький окружающий социум молча или вслух возмутится – и начхать на него. Зато черновласка поймет, что со мной бодаться бесполезно. Плюй в глаза – все божья роса. А цена-качество, пожалуй, даже позавидует неведомому богатому клиенту: надо же, какую девочку оторвал, мне б такую. Не для жизни, для жизни моя Маша уютней, да и намного дешевле (опять все та же цена-качество!), а вот на пару ночей неплохо бы.

И четвертый вариант – заплакать. Заплакать, зашмыгать носом. И всем станет стыдно.

Но, пока я это все обдумывала, сам по себе возник и пятый вариант. Я же не застыла, я покачивала головой, чуть приподняв плечи, словно говоря: мама дорогая, какую только чушь не говорят люди!

И этого оказалось достаточно. Черновласка ничего больше не сказала, никто больше ничего не сказал.

Тут вернулась Гусева. С нею пришла женщина постарше. Начальница или более опытная работница. На бейджике у нее значилось: «Елена Николаевна Уткина». Честное слово, Уткина. Мне в это время везло на такие совпадения. Или раньше я их не замечала. Гусева села за стол, Уткина встала за ее спиной. Гусева показывала ей документы. На меня они не смотрели. Наконец Уткина обратилась ко мне:

– Вы знаете, что вам все документы менять надо будет? Учитесь, работаете?

– Учусь. В вузе.

– Значит, билет студенческий, пропуска всякие, зачетную книжку. А еще медицинский полис, все страховки, загранпаспорт, водительские права, ИНН, кредитные карты, документы, связанные с собственностью, у вас есть недвижимость?

– Да.

– Ну вот.

– Что?

– Ничего, предупреждаю.

– Спасибо. Заявление принимаете?

– Формально все в порядке, – негромко говорит Гусева Уткиной. – Но не однозначно как-то. Учитывая вот это, – она кивает на монитор компьютера.

– Нас не касается, – так же тихо отвечает Уткина. – Постой, а это что?

Она что-то замечает в тексте заявления, подчеркивает тыльной стороной ручки. Гусева смотрит, не понимает, Уткина объясняет, я не могу расслышать.

– А! Точно! – Гусева берет листок с заявлением и показывает мне. – Вот тут у вас: поменять на фамилию матери – Трофимова. Это ее фамилия?

– А чья же?

– Я имею в виду – фамилия теперешняя или девичья?

– Девичья.

– Тогда надо указать, что девичья.

– Переписать заявление?

– Да, пожалуйста, – говорит Уткина. – После этого примем, рассмотрение в течение месяца.

Голос ее абсолютно деловой, без интонации, но мне почему-то чудится в нем затаенное злорадство. Пишите, девушка, пишите, мы примем ваше заявление, но не факт, что удовлетворим.

Я беру папку с документами, отхожу, сажусь в углу за столик, начинаю переписывать. Столик неудобный, журнальный, низкий, приходится скрючиваться над ним. За другим столиком сидят старик со старухой, она медленно пишет, произнося слова вслух, старик сердится:

– Не так надо!

– А как?

– Спроси!

– Сам спроси!

– Вот ты... Тебе же объясняли!

– И тебе объясняли!

– Я забыл!

– И я забыла!

Я начинаю переписывать. Пишу и думаю, что ведь, в самом деле, придется обойти кучу инстанций. И везде кланяться перед окошками, крючиться над столами, писать и переписывать, потратить кучу времени...

И я ушла, скомкав и бросив недописанное заявление в корзину.

Все катилось весенним снежным комом, на который налипают прелые листья, ветки и грязь.

Появилась девушка Зарина, та самая, которая родила папе дочь. Мама позвонила, коротко рассказала о ней, спросила, хочу ли я ее видеть.

– Нет! – автоматически ответила я. Даже с возмущением ответила: как можно мне это предлагать?! Но тут же, после очень короткой паузы, сама себе возразила: – Да, конечно, хочу!

– Я могла бы и не говорить тебе о ней, но было бы нечестно, – сказала мама, и я услышала в ее голосе то, что все чаще слышала в это время. Двойственность. Не ложь, но лукавство. Да, было бы нечестно. Но есть причина проще – пусть эта самозванка увидит, что имеется законная наследница. И еще одна причина – желание с кем-то разделить этот позор, эту горечь. И еще одна причина, самая простая – я рано или поздно все равно узнаю.

Я приехала в офис Михаила Жановича, сотрудница проводила меня в его кабинет, просторный, уставленный дорогой мебелью, в центре внушительный письменный стол, крытый зеленым сукном. Все намекает на солидность хозяина кабинета, на то, что услуги его стоят дорого.

Там были мама и Аня Емчик. О чем-то, наверно, уже переговорили. При мне продолжать не стали, Михаил Жанович налил мне чаю, поставил вазочку с конфетами.

– Попей, и минут через десять пойдем к нашей мамаше.

– Она уже тут?

– Почти час парится.

– Раньше приехала?

– Я так назначил. Ожидание, Ксюша, сбивает с толку, расслабляет, – объяснял Михаил Жанович. – Человек ведь перед встречей всегда репетирует. Щас как войду, щас как им все скажу! Входит – а никого. Азарт помаленьку тухнет. А главное, все ведь готовят слова какие-то. Все обдумано и, так сказать, утверждено. А когда ждешь, начинаешь сомневаться, искать другие варианты, путаться, что нам и нужно.

– Мягкая деморализация, – формулирует Аня Емчик, и Михаил Жанович кивает, одобряя ее, как одобряет учитель ученицу-отличницу. Ане Емчик приятно, она улыбается.

– Тогда и я чаю выпью, – говорит мама.

И пьет не спеша, долго, при этом наверняка ей не терпится увидеть ту, которая родила ее мужу ребенка. Она сама не могла родить, эта родила. Убить ее мало. Убить, а ребенка отобрать, думала я мыслями мамы.

Наконец мы прошли в переговорную комнату. Не все сразу, Михаил Жанович оговорил ритуал: сперва пойдет Аня Емчик, через пять минут он сам, еще через пару минут мама, а потом уже я.

Настала моя очередь, я вошла. Безликая комната – стол, кресла и диван, кулер с водой. Если кабинет Михаила Жанович свидетельствовал о том, что здесь за услуги берут дорого, то эта комната давала понять, что лишнего с Михаила Жановича и его клиентов не возьмешь.

Михаил Жанович, Аня Емчик и мама сидели и молчали. Зарина стояла у окна, скрестив руки. Скулы, разрез глаз были у нее почти монгольские, но славянского в лице сказалось больше. Выделялись сине-зеленые глаза при черных волосах. И фигура тонкая, стройная. На диване лежит белый меховой жакет. Должно быть, эффектно на ней смотрится. Это вообще ключевое слово для нее – эффектно. Эффектное черное облегающее платье чуть ниже колен, с вырезом по одной ноге, черные сапоги на позолоченных шпильках, тонкая золотая цепочка с крошечным камешком. Пусть крошечный, но брильянт.

Зарина была красива, но красива так, как сотни и тысячи публичных девушек. Публичных – не имеется в виду продажных, а тех, кто существует на публике и для публики, все эти телеведущие, солистки и участницы девичьих групп, модели, подружки богачей и знаменитостей. Она казалась безукоризненной, отфотошопленной, но не на фотографии, а в жизни.

А пятилетняя ее дочка сидела на диване, выставив ножки вперед, и играла в телефон. Она взяла у матери всю ее монголоидную кровь, была черненькая, круглощекая и узкоглазая. От папы – ничего.

– Теперь все? – спросила Зарина, когда я вошла. – Или еще кого-то ждем?

Она обращалась к Михаилу Жановичу, принимая его не только за старшего, но и главного. Что ж, Михаил Жанович умеет показать себя старшим и главным в любом обществе.

Ответила ей Аня Емчик:

– А вам еще кто-то нужен? Может, из полиции кто-то?

– Какая полиция, вы о чем?

– Судя по вашему настрою, вы хотите нас шантажировать, а это дело уголовное, подсудное.

– Не будем никого пугать, ладно? Вы-то сами кто?

– Адвокат. Как и Михаил Жанович.

– Я могла бы тоже с адвокатом прийти. Но пришла одна, потому что не хочу скандала и выноса наружу. Пока не хочу.

– Пока! – поднял палец Михаил Жанович. – Это и есть шантаж!

– Если будете так наезжать, я сейчас уйду и пойду в суд, где вашего мужа судить будут. Или в прокуратуру. Меня там с радостью примут!

– Прямо боимся до смерти! – сказала Аня Емчик.

– Что, нет? Ладно! – Зарина схватила жакет, сумку и протянула руку к дочери: – Маечка, пойдем!

Девочка начала послушно слезать с дивана.

– Идите! – одобрила Аня Емчик. – Идите, расскажите все, на здоровье! Только ошибаетесь, никаких пару лет не прибавят! Дня не прибавят! Больше того, смягчение будет. Потому что все увидят, что Олег Сергеевич тоже человек, что ничто человеческое ему не чуждо! Наши судьи к таким вещам относятся снисходительно, особенно мужчины, а у нас судья как раз мужчина будет!

– А что, уже известно? – спросила Зарина с неожиданно проглянувшим простодушием. И я увидела в ней девочку-школьницу, довольно робкую, которую задирали, обижали, она научилась защищаться, пугать криком и поднятыми кулаками. Но прежняя девочка, добрая и простая, никуда не делась, осталась в ней и время от времени прорывается.

– Все известно, – заверила Аня Емчик. – Поэтому давайте успокоимся, сядем и обсудим.

– Давно бы так.

Девочка, не дожидаясь приказа матери, опять полезла на диван. Спокойная, тихая. Я подумала, что, наверное, она привыкла к материнским перепадам, Зарина при ней решает все дела, ее ничем не удивишь.

Зарина достала из сумки папку, а из нее документы, разложила на столе.

– Это копии, все у нотариуса заверены. Главное – тест на отцовство. Сто процентов. Свидетельство о рождении нашей Майи Олеговны, все дела.

– Шукенова? – спросила Аня Емчик, разглядывая.

– Ну да, моя фамилия по отцу. А ей фамилию ее отца не стала давать, это тоже оцените!

Просматривал документы и Михаил Жанович, а мама ими не заинтересовалась. Она встала, подошла к кулеру, налила воды в пластиковый стакан, жадно выпила. К столу не вернулась, стояла, облокотившись о стойку кулера. Спросила:

– Сколько вы были вместе?

– Какая разница? Ребенок от него, это главное!

– Вы не Зарина, а Фарида, – сказала Аня Емчик, продолжая изучать документы.

– Ну да, и что? Зарина – псевдоним. Для работы.

– Вы работаете? – удивилась мама.

– Вот только не надо так! Да, работаю. В рекламе.

– Что рекламируете? Белье? – спросила мама.

– В том числе.

– Тогда ясно, почему я вас нигде не видела. Когда белье рекламируют, там лица не нужно, другие части тела важнее.

– Ошибаетесь! Я не только белье рекламирую, могу показать!

Зарина достала телефон. Он был в золотистом чехле, со стразами, и с разноцветной кисточкой, свисающей с уголка. Пролистывая пальцем изображения, она пошла к моей маме. Пошла как-то очень по-свойски, как к подружке. Уверенная, что той будет интересно посмотреть на ее успехи.

– Отойди от меня! – сказала мама ледяным голосом.

Я увидела по ее артикуляции, что к этому она беззвучно добавила еще одно слово.

И тут произошло жуткое. Не с ними, со мной.

Эти две девушки стояли против друг друга, я понимала, что они не девушки, а женщины, да еще женщины-матери, но в этот момент я об этом забыла, стояли именно две девушки, обе гламурные, у одной побольше вкуса, телефон в обычном белом чехле без стразов и без кисточки, обе отфотошопленные, обе озабоченные тем, чтобы сохранить фигуру и лицо, продлить молодость, обе любящие удобства жизни и готовые бороться за них.

Две энергичные и достаточно агрессивные самки, так я подумала о них, ужаснувшись своим мыслям.

Не ври, Ксю, говорю я сейчас сама себе. Ни фига ты не ужаснулась. Ты даже не удивилась. А если и удивилась, то тому, что тебя твои мысли ничуть не удивили.

Зарина обиженно фыркнула (опять проглянула в ней простодушная школьница) и вернулась к столу.

Но маме мало было этой маленькой победы.

– Чтобы ты знала, я успела поговорить с Олегом, и наши адвокаты тоже, мы полностью в теме. У тебя с ним был один-единственный раз, ты была из дешевых челябинских... Сказала бы точно, кто ты была, да ребенка не хочу травмировать!

– А давайте, кстати, уведем девочку? – предложила Аня Емчик. – Там у нас сотрудницы, присмотрят.

– Я ее от себя никогда не отпускаю. Ничего, пусть привыкает к жизни! – заявила Зарина.

– И к проституции? – негромко спросила мама. Спросила так, что Зарина услышала, а Майя нет. Да Майя, похоже, и не слушала, вся была в своей игре.

Зарина в два шага приблизилась к маме и сквозь зубы выговорила:

– Ты, супруга недотраханная, если собираешься унижать меня тут при дочери, я богом клянусь, я так тебя уделаю, я такие интервью дам везде! И вся страна узнает, что твой муж практически вообще не мужик! У него ничего не работает!

– Как же девочка тогда получилась? – тут же отреагировала Аня Емчик.

– А вот так! Я всю ночь подъемным краном работала, причем в резинке у него вообще все мертво, хоть электрошокер приставляй, да и без резинки я всю ночь возилась, еле-еле реанимировала. На две минуты, но ему хватило. Чуть не плакал от счастья, говорит: я с женой, говорит, давным-давно уже ничего не могу, спасибо тебе, красавица! И ведь не хотела я вам про это рассказывать, вынудили! Ну – и получите!

Ясно было, что Зарина этот рассказ готовила и отрепетировала. Возможно, хотела предъявить позже, как козырь. Но и сейчас сработало. Михаил Жанович, видя, как мама наливается гневом, готовая напасть в ответ, сообразил, что это повредит делу, поднял руки и закричал:

– Девушки, все, хватит эмоций! Помолчите, очень прошу! Так. Зарина или Фарида – как вам удобней?

– Зарина.

– Зарина, конкретно, чего вы хотите?

– С этого бы и начинали. Я не жлобка, я хочу только то, что мне обещано. Олег Сергеевич взял на себя обязательство платить ежемесячно алименты до совершеннолетия дочери. Пять тысяч в месяц.

– Чего? – спросила Аня Емчик.

– Ну, не рублей же! Долларов. Он дал банку поручение, банк эти деньги переводил. Я Олега Сергеевича ничем никогда не беспокоила, жила своей жизнью, никто ничего не знал. И до сих пор никто не знает. Только те, кто здесь, и сам Олег Сергеевич. Я обещала молчать, обещала, даже, что не скажу дочери, кто отец.

– Сейчас говорите! – уличил Михаил Жанович.

Зарина махнула рукой в сторону своей малышки:

– Она не слышит ничего, когда играет. Маечка! Майя!

– А?

– Ничего, играй. Ну вот, короче... Короче, все всех устраивало. И тут – нет денег. Обычно четко, регулярно, а на этот раз – ничего. Я жду день, два, звоню в банк. Мне говорят, что счет, с которого переводились деньги, арестован. А я, так получилась, не в курсе ничего была про Олега Сергеевича, уезжала на две недели, там никакого интернета, ничего вообще.

– У клиента гостили, – понимающе вставила мама.

Само собой, я тут же вспомнила черновласку из загса с похожими словами про клиента. Малоприятная аналогия.

– У родителей я была! – с вызовом ответила Зарина. – А когда вернулась, увидела информацию в новостях, забеспокоилась. А тут и деньги не перечислили, все сошлось.

– Я правильно понимаю, что вы хотите и дальше получать по пять тысяч? – спросила Аня Емчик.

– Да.

– А какая-то письменная договоренность у вас есть?

– Нет. Он сам так решил. И ни разу перебоев не было.

– Что еще вы с него содрали, красавица, кроме денег? – спросил Михаил Жанович добрейшим и ехиднейшим голосом.

– Не содрала, он сам... Квартира и машина. Квартира в Чертаново, а машина... Неважно, я давно уже все поменяла, и квартиру купила поцентрей, и машину получше. На свои деньги.

– На его деньги, – поправила Аня Емчик.

– На свои, я тоже зарабатываю!

– Но вам мало! – посочувствовал Михаил Жанович. Он выбрал интонацию Деда Мороза на детской елке. Может быть, хотел этим показать, что претензии Зарины ему заведомо кажутся смешными и детскими. А может, скрывал иронией тот мужской интерес, который я видела в его глазах. Был, был этот интерес, Михаил Жанович говорил с Зариной так: смотрит в бумажки, потом резко поднимает голову, упирается глазами в глаза Зарины, а потом медленно возвращает го-

лову в исходное положение, проскальзывая взглядом по губам Зарины, по ее шее, груди... Остального не видно, скрыто столом.

– Речь не о том, мало или не мало! – ответила Зарина. – В конце концов, мои запросы, мои доходы и вообще моя жизнь никого не волнуют, правильно?

– Что да, то да! – согласилась мама.

– Речь о другом – обязательства надо выполнять! Например, выплатить всю сумму сразу. Столько, сколько Олег Сергеевич должен до совершеннолетия Маечки. И я навсегда для вас исчезну, и никто ничего не узнает.

– Небось и посчитали, сколько это будет, да? – продолжал дедморозить Михаил Жанович. – Ну, огласите циферку!

– Сразу говорю – ничего лишнего! Осталось двенадцать лет и восемь месяцев. Умножаем на пять, получаем семьсот пятьдесят пять. Тысяч. Долларов.

– Да неужели? – Михаил Жанович спросил Зарину так, будто удивлялся маленькой девочке, сказавшей ему, что она выучила наизусть поэму «Мороз, Красный нос». Продолжал забавляться.

Зарина вскипела:

– Не надо со мной так говорить! Серьезные люди, а дурака валяете! Чего мы время теряем? Если вы мне предложите помесячно, я откажусь. Мало ли что может случиться. Опять в тюрьму посадят или...

– Или умрет, – сказала мама.

– Всякое бывает, да, и это тоже. Все мы живые, все умереть можем. Поэтому я хочу обезопаситься.

– Прекрасно! – восхитился Михаил Жанович. – Потрясен вашей логикой, Зариночка! Но вы же понимаете, если бы Олег Сергеевич, не дай бог, умер, выплаты сразу прекратились бы. У вас же никаких гарантий, кроме его слова!

– Я об этом не думала. Что он может... А теперь думаю. И поэтому хочу всю сумму сразу. Без вариантов. Для него это не такие уж огромные деньги. Да и для меня тоже. На рубли получается сорок семь миллионов, а что такое сорок семь миллионов? Более-менее приличная квартира столько стоит, если в нормальном доме с подземным паркингом.

– Надо же, – сказала мама. – Вы посмотрите на нее. Она свято верит, что ей кто-то и вправду даст сорок семь миллионов.

– Дадите, – спокойно ответила Зарина. – Или сделаю то, что обещала. Следственные органы узнают, суд узнает, вся страна узнает.

– Какой ужас, – усмехнулась мама. – Да пусть знают, на здоровье! В чем ты права – мы зря время теряем. Ни копейки ты не получишь, поняла? Ничего тебе не обломится! Будешь на собственные деньги лечить свой СПИД или сифилис, уж не знаю, что у тебя есть, а уж точно есть! На свои деньги будешь у дочери косоглазие выправлять, поняла?

Девочка подняла голову, посмотрела на мою маму: про меня говорят? Зачем? И я увидела, что глазки у нее действительно косят. Не разглядела сразу. А мама моя разглядела.

– На ребенке отыграться хотите? – Зарина вскочила, села к дочери, сгребла ее в охапку. При этом, даже находясь в тесных материнских объятиях, девочка не прекратила играть. – Знаете что, не надо тут из себя разыгрывать, что вы порядочные, а я нахалка какая-то! Да, я много чем занималась раньше, могу рассказать, если кому интересно, но сначала спросите, почему я этим занималась при маме с папой и целых трех братьях, которые меня прокормить не могли! А почему? Все работали, а прокормить не могли? Почему, а? Потому что Олег ваш Сергеевич с друзьями своими пенки со всей страны снимает, с моей семьи тоже! И я, если на то пошло, не прошу, а свое требую, ясно?

– Ничего ты тут требовать не можешь! – отрезала мама. И, перестав интересоваться Зариной, отвернулась от нее. Сказала Михаилу Жановичу. – Хватит этой комедии. Пусть идет, куда хочет. Пусть все знают. Меня не волнует абсолютно!

– У Олега может быть другое мнение, – заметил Михаил Жанович.

– Тоже не волнует! Чего он хотел, того и добился!

– На вас... тень ляжет, – аккуратно выразилась Аня Емчик.

– Какая еще тень? На мне уже такая тень, что никакой другой тени в этой тени не видно будет! Мне все равно!

Михаил Жанович покачал головой:

– А Ксюше? – спросила Аня Емчик.

Все посмотрели на меня. Вспомнили наконец-то. И Зарина посмотрела.

Иногда молчание привлекает внимание лучше, чем крики. Майя заинтересовалась наступившей тишиной, подняла голову, оглядела всех, увидела, что все взрослые смотрят на девушку, и тоже стала смотреть на нее. Причем явно с сочувствием. Детский разум ей подсказал – если все смотрят на одного и молчат, в этом нет ничего хорошего. И она вдруг улыбнулась мне. Чтобы поддержать. И я ей улыбнулась. И спросила Зарину:

– В садик ходит?

– Когда как. И со мной сидит, и с няней, и ходит иногда. С другими детьми надо общаться.

– Конечно. А живете где?

– На «Соколе».

– Хороший район. Вот что, – сказала я всем. – Мое мнение такое. Папа обещал, обещание должно быть выполнено.

– Не в таком объеме! – закричал Михаил Жанович. Впервые я видела его взволнованным. – Семьсот пятьдесят тысяч – нереально!

– Семьсот пятьдесят пять, – напомнила Зарина.

– Тем более! И все сразу – тоже нереально! Вы забываете, Зарина, что скандал и по вам ударит! По вашей модельной работе – или какая там у вас! По репутации! Дочь ваша ничего не знает, а если раззвонят – узнает! Пусть не сейчас, когда вырастет. Приятно ей будет знать, что мама была...

– Ничего, поймет! – оборвала Зарина.

– Предлагаю! – хлопнул рукой по столу Михаил Жанович. – Давайте обговорим все серьезно и между нами, Зарина. Одна голова хорошо, две хуже, а три и больше – Госдума! Не надо нам этого. Ириша, Аня, Ксюша, идите ко мне в кабинет и подождите. И девочка пусть с вами идет.

– Ладно, – согласилась Зарина. – Но у меня только полчаса.

– Успеем!

И действительно, в полчаса все было решено. Михаил Жанович потом хвастал: сумму он сократил втрое, оговорил, что она целиком будет положена на особый счет, с которого деньги ежемесячно будут отчисляться Зарине. Если Зарине захочется вдруг опять шантажировать, выплаты тут же прекратятся. Она поторговалась, даже поплакала, порывалась уйти и отправиться в прокуратуру или в суд, но в результате на все согласилась и подписала необходимые бумаги. Таким образом Михаил Жанович сохранил нашей семье полмиллиона и не удивится, если его находчивость и труды будут скромно вознаграждены. Именно так витиевато он выразился.

А я эти полчаса, пока мы ждали, не говорила ни с мамой, ни с Аней Емчик, я села рядом с Майей, и она научила меня играть в игру, где мохнатый желтый шарик скакал по плиткам, которые осыпались. У нее получилось удивительно ловко, пальцы так и мелькали, а я тормозила, задерживалась на плитках больше, чем нужно, проваливалась вниз.

– Тебе пальцы мешают, – оправдывала меня Майя. – У тебя большие. А у меня маленькие, мне удобнее.

– Ловкая ты. Скоро до конца дойдешь!

– Без проблем! – ответила она.

Так, наверное, любит говорить ее мама.

Звук «р» прозвучал у нее крепко, рассыпчато, как несколько «р» сразу. А я вот до шести лет не выговаривала, с логопедом занималась, не помогало, а потом само выговорилось. Легкое грассирование осталось, это нравилось и мне, и всем окружающим. Правда, папа переживал, сам пы-

тался меня учить, но потом принял это как симпатичное своеобразие и успокоился. Иногда я грассировала чуть больше, чем обычно, – чтобы больше нравиться.

Мне хорошо было с Майей. Если бы мы с ней остались одни, я бы все ей рассказала. То, что не обсуждала ни с кем. Я, кстати, в это время убила все свои аккаунты в соцсетях и не заглядывала в блоги друзей (по большей части друзей виртуальных), никому не звонила, ни с кем ничего не обсуждала. Несколько раз звонили Яса и Миша Зборович, я не отвечала. Мне не обсуждать надо было и не выслушивать утешения, мне надо было выговориться, и с Майей это было бы возможно. Она бы ничего не поняла, но это как раз и хорошо – сочувствие без понимания.

И был суд.

Заседания проводились в открытом режиме, с журналистами и публикой.

Журналисты и публика занимали очередь к дверям суда с ночи, потому что мест в зале был намного меньше, чем желающих. Не попавшие толпились в коридоре или на улице.

Нас с мамой не было там. Папа попросил, чтобы не приходили, Михаил Жанович и Аня Емчик его поддержали.

– Ясно, – сказала мама. – Чтобы судья на нас не смотрел и не думал: вот она, цена вопроса! Вот из-за кого ты на это пошел! Хорошо, чем больше дам тебе срок, тем дольше ты этих красоток не увидишь, скотина!

Михаил Жанович огорчился таким непониманием сути дела:

– Ирочка, я тебя умоляю, это абсолютно и совершенно ни при чем! Для судьи... Кстати, знаешь, как его фамилия?

– Нет.

– Рукосуйко! Нарочно не придумаешь! Так вот, для этого Рукосуйки все давно решено, вернее, за него решили! И на это решение ничто не повлияет, у него приговор уже написан!

– Может, даже знаете, что в нем?

– Не знаю, но предполагаю с большой долей вероятности! Прокурор, скорее всего, попросит десять лет строгого режима и примерно восемьсот миллионов рублей штрафа. Судья присудит восемь лет и сбавит сумму до полумиллиарда. Девочки мои, Олег просит вас не присутствовать не потому, что это на что-то повлияет, он не хочет, чтобы вы страдали! И слушать все это неприятно, и глазеть на вас будут, и с вопросами лезть!

– А Сулягин будет на суде? – спросила я.

– Вызовут в обязательном порядке. Но вряд ли он явится.

– Разве так можно?

– Легко. Болеет, уехал в командировку, улетел отдыхать.

– Но он же главный свидетель! И участник! Он же ему эту сумку с апельсинами давал!

– Да, и что? Вот поэтому и лучше, если вас не будет. Чтобы не начали возмущаться и задавать ненужные вопросы. Чтобы судью лишний раз не дразнить.

– Но вы-то будете дразнить? – спросила мама.

– А как же! Это – наша работа!

Я следила за ходом процесса через интернет. Иногда включала телевизор. Там все было ожидаемо – наше независимое, но государственное телевидение с самого начала всеми своими каналами было на стороне обвинения. То и дело проводились ток-шоу о вреде коррупции и взяточничества. Самыми жаркими обличителями мздоимства там были, конечно, матерые коррупционеры и взяточники. Спектакль, в котором у каждого своя роль.

И на суде был спектакль.

Предъявили запись телефонного разговора. Сулягин звонил моему папе из Перми, сказал, что хочет по возвращении прийти и обсудить важный вопрос. «Наш вопрос», сказал он. Попросил, чтобы папа заранее обозначил какие-то параметры. А папа посоветовал сходить в местный театр оперы и балета, который славится на всю страну, вспомнил, как недавно слушал «Любовь к трем апельсинам» в театре Станиславского. Вот приедешь, сказал папа, давай вместе сходим, при-

общишься к высокой культуре. Сулягин ответил, что он не против высокой культуры, но оперу не любит, потому что не понимает, о чем поют, а он любит знать содержание. Папа, наверное, был в хорошем настроении, он просветил Сулягина, пересказал ему содержание. Сулягин сказал, что это, конечно, интересно, но ему живые апельсины нравятся. Кстати, его жене исторические родственники присылают с исторической Родины, из Средней Азии, он может привезти в подарок. Папа сказал: «Ладно, давай» – и на этом разговор кончился.

Этот диалог подвергли психолингвистической экспертизе и обсуждали три дня. Обвинение видело в нем прямые доказательства. Во-первых, ясно прозвучала цифра три. Во-вторых, приглашение на оперу было формальным: в ближайшем репертуаре театра Станиславского и Немировича-Данченко «Любовь к трем апельсинам» не значилось, следовательно, обвиняемый звал на несуществующее мероприятие, давая этим понять, что имеет в виду нечто другое. В-третьих, разговор про оперу начат сразу же после просьбы Сулягина обозначить параметры. Уточним, рассуждало обвинение, что под параметрами Сулягин имел в виду временной отрезок, за который мог быть решен вопрос, но подсудимый понял это как пожелание назвать точную сумму. И назвал. В-четвертых, в словах подсудимого содержатся интонационные акценты и ударения, указывающие на конкретный подтекст. В частности, закончив пересказ содержания, он произнес следующую фразу: «Нашел девушку – найди водички, обеспечь ее». В ней четко слышен нажим на слове «обеспечь», на его настоящий смысл, имеющий отношение не к девушке, а сами понимаете, к чему. В-пятых, Сулягин конкретизировал тему апельсинов, желая убедиться, что речь не об опере, и получил фактически утвердительный ответ. «Ладно, давай» – прямое требование мзды.

Я думала, обвинение постесняется выдвинуть доказательством то, о чем в шутку говорил Михаил Жанович – что апельсин, как и лимон, есть фрукт цитрусовый, а лимон – это жаргонное словечко, обозначающее миллион. Нет, не постеснялись. Добавили при этом, что понимался, конечно, не миллион в рублях, ибо чиновник такого ранга в рублях взяток не берет.

Михаил Жанович и Аня Емчик отбивались, как могли.

Во-первых, говорили они, если кто-то скажет собеседнику по телефону, что вчера пересмотрел фильм «Семь самураев» или «Одиннадцать друзей Оушена», это не значит, что он выпрашивает семь или одиннадцать миллионов. Во-вторых, опера названа была отнюдь не формально, три месяца назад подзащитный ее действительно слушал, а то, что ее сейчас нет в репертуаре театра, он знать не обязан. В-третьих, словом «параметры» в таких случаях часто обозначаются деньги, следовательно, мы видим откровенное предложение взятки со стороны господина Сулягина, а не вымогательство со стороны подзащитного. Характерно, что подзащитный тут же увел разговор в сторону, давая понять, что тема взятки ему неприятна. В-четвертых, утверждение об интонационных намеках – чистый волюнтаризм экспертов. Подзащитный весь разговор провел в бодром шутливом тоне, никакого двойного смысла в слове «обеспечь» нет, это легко может доказать независимая экспертиза.

– Но даже и без экспертизы понятно, – говорил Михаил Жанович, – что это слово, стоящее в конце предложения, предполагает ударение! Цитирую: «Нашел девушку – найди водички, обеспечь ее». По форме это – изречение в виде морали, а мораль всегда концентрируется в конце, и ее подчеркивают! Все предыдущие слова в этой конструкции – как разгон на трамплине, – упражнялся Михаил Жанович в красноречии, – а «обеспечь» – синтаксический естественный прыжок! Это усиление сказанного, подчеркивание. Если сторона обвинения не согласна, я предлагаю уважаемому господину обвинителю попробовать произнести это предложение так, чтобы слово «обеспечь» было не ударным. Вряд ли он согласится, конечно, тогда я попрошу всех присутствующих мысленно сделать это!

В этом месте судья сделал Михаилу Жановичу замечание.

В-пятых, продолжала Аня Емчик, сменив утомившегося Михаила Жановича, замена в конце разговора Сулягиным темы оперы темой фактических апельсинов, фруктов, выглядит провокацией. Сулягин подсовывал подзащитному то, что тот вовсе не имел в виду. В-шестых, наивно и смехотворно выглядит попытка узреть аналогию апельсина и лимона. Жаргонное слово «лимон»

вышло из употребления еще в девяностые, оно заменено словом «лям», сначала так стали говорить молодые люди, но сейчас такое время, что старшие подражают младшим, а не наоборот. Следовательно, если слово «лимон» уже не обозначает «миллион», то нет смысла намекать на него. В-седьмых, уважаемым лингвистам следует срочно поступить на курсы лингвистики. Там им скажут, что слово «давай», произносимое при прощании, синонимично выражениям «пока», «до свидания», «будь здоров», никакого другого смысла тут не просматривается при всем желании, даже если желание очень сильное.

И так далее.

Аня Емчик каждый вечер звонила мне и подробно рассказывала то, что я и так знала. А маме звонил Михаил Жанович.

Мы с мамой по-прежнему жили отдельно. Перезванивались, но все сводилось к вопросам «как ты?» – «нормально, а как ты?» О суде, о папе – не говорили. Зарину не вспоминали. Если бы мы встретились, разговор неизбежно свернул бы на прошлое мамы и папы, учитывая вскрывшиеся обстоятельства. Я не хотела знать этих подробностей. Не того боялась, что не выдержу и начну что-то спрашивать, опасалась, что мама сама начнет рассказывать. И в порыве откровенности признается, к примеру, что у нее давно есть друг, кавалер, любовник, хахаль, бойфренд, поклонник, ухажер, воздыхатель...

Вся страна посмеивалась над этим судом, над нелепостью доказательств и аргументов обвинения, над судьей Рукосуйко. Я видела этого судью во фрагменте трансляции – довольно молодой, с ничего не выражающим взглядом ящерицы. Он и головой поводил направо и налево, как ящерица, глядя не на говорящего, а в его сторону. Так смотрят многие представители животного мира – наблюдая за одним объектом, они держат в поле зрения и другие. На всякий случай. Вспомнилась фасеточная Марголина, смотревшая так же.

Рукосуйко демонстрировал беспристрастность и объективность, но было заметно, как он, слушая доводы обвинения, вдумчиво вникает, и как на глазах тупеет, ничего не понимая, когда слушает доводы защиты.

Но всей стране, в том числе и мне, было ясно и другое: да, операция была разработана, деньги подсунуты, однако папа мой их взял. Взял сумку с якобы апельсинами, даже не заглянув нее. Не удивившись, что апельсинами совсем не пахнет. Он взял ее. И, возможно, упоминанием про оперу он действительно намекал на деньги. А может, и не намекал. Ни суд, ни население не волновало, осознанно ли брал ли чиновник взятку в этот раз. Главное – брал раньше. Перечень объектов недвижимости, ценных вещей и денег на счетах подтверждал это. Список имущества читали полдня, читали со сладострастием.

Михаил Жанович оказался прав и в том, что Сулягин на заседания не являлся. Некогда ему было, отсутствовал он. Либеральные СМИ после трех-четырех неявок в один голос злорадно запели: вот такое у нас равенство перед законом – всех на суд тащат за шкирку, на одного Сулягина нет управы! Лишь под финал было объявлено, что он наконец прибудет. Прокурор потребовал, чтобы заседание было закрытым в целях сбережения коммерческой тайны, которая может выявиться в ходе допроса. Адвокаты Сулягина присоединились к ходатайству. Михаил Жанович и Аня Емчик возражали: никаких тайн никто выведывать не собирается, это раз, до этого приглашались и чиновники, и бизнесмены, владеющие тоже еще какими коммерческими тайнами, и никто заседаний не закрывал, это два, и закрытие означает то, что позиция Сулягина заведомо ущербна в глазах наших граждан, журналистов и прочих честных людей, это три. Судья Рукосуйко спокойно выслушал обе стороны и согласился с прокурором, не трудясь объяснить причины такого решения.

Всех удалили из зала суда, никто из посторонних не услышал и не увидел, что и как говорил Сулягин. Как он смотрел на моего папу, если смотрел. Как папа смотрел на него, а он-то наверняка смотрел. И я очень жалела, что меня не было там в это время. Но я поклялась себе, что наверстаю. Я еще посмотрю на Сулягина прямым взглядом, я еще задам ему кое-какие вопросы.

В точности по прогнозу Михаила Жановича прокурор запросил десять лет строгого режима, судья дал восемь. Сумму штрафа прокурор обозначил чуть меньшую – семьсот миллионов. Справедливый судья снизил до четырехсот.

По решению суда была конфискована почти вся недвижимость. У нас с мамой остались купленные на нас квартиры, наши машины, какое-то количество денег, при этом почти все банковские счета и, соответственно, карты были заблокированы, осталось по две-три штуки, да еще кое-какие украшения, что были на нас и при нас, все остальное застряло в качестве вещественных доказательств или было безвозвратно изъято законным порядком. Ну, и домик в Испании не тронули, и яхту оставили. Не думайте, это яхта не из тех, о которых рассказывают обличители миллиардеров, намного меньше, проще и без постоянной команды.

Папу из СИЗО сразу же перевели в настоящую тюрьму, чтобы оттуда отправить к месту отбывания наказания.

Мы виделись с ним коротко, десять минут, папа сразу же сказал:

– Давайте ничего не будем обсуждать. Нет смысла.

– Как ты там лечиться будешь? – спросила мама.

– Лучше, чем на воле. Было некогда, а теперь займусь. Мне мужики про народные средства рассказали, вполне доступные, надо попробовать.

– Какие?

– Потом расскажу. Ксю, мы так и не поговорили с тобой про эту историю. Про эту... Про ребенка от этой...

– А чего говорить? Бывает.

– Я хочу, чтобы ты знала – это была дурацкая случайность.

– Да понимаю я, не будем об этом.

– Не сердишься на меня?

– Нет, конечно.

– Ну и ладно. Давайте теперь – в Испанию. И месяца три оттуда не вылезайте, отдыхайте. Меня это греть будет – что вы далеко и в безопасности.

– Да, хорошо, – сказала мама.

– А я в Саратов хочу, – сказала я. – К тете Оле.

– Зачем? – спросил папа.

Идея поехать в Саратов возникла в моей голове неожиданно, без подготовки, во время разговора с папой.

Я была там два раза, в шесть лет и в девять. Первый раз папа ездил туда по делу, заодно навестил свою маму, мою бабушку, показал меня ей. И с сестрой повидался.

Это был всего один вечер, летом, в начале августа. Я потом вспоминала улицу, поднимающуюся в гору. По сторонам стояли дома и обычные, двухэтажные, похожие на те, что в нашем подмосковном поселке, только победнее, и совсем маленькие, деревенские. Когда вернулись из Саратова, я, важничая и умничая, сказала маме:

– Какой-то этот Саратов прямо сельский город!

Мама умилась образности суждения, точность которого не могла оценить, поскольку в Саратове никогда не была, передала папе, папа умилился тоже. Этого я и добивалась.

Подробности мне при жизни помнились смутно. Вот травянистый двор старого деревянного дома. Вот высокая, голосистая пожилая женщина, моя бабушка Дина Валерьевна, которая так и приказала себя называть, по имени-отчеству.

– Терпеть не могу – «бабушка»! Архаичное слово, неинтеллигентное!

Она тискала меня, любовалась мною, сказала, что у меня неплохие данные для легкой атлетики, спросила, хожу ли я в какую-нибудь секцию. Узнала, что нет, огорчилась, упрекнула папу. Сама она всю жизнь проработала учительницей физкультуры в школе. И так работала, что ее держали до 71 года. А умерла не от старости или болезней – нагнулась зашнуровать кеды перед

уроком, упала и не встала. Хоронила вся школа, было много бывших ее учеников, для поминок пришлось снять большой ресторанный зал, столько собралось желающих проводить ее в посмертном застолье добрым словом.

– Счастливая смерть! – сказала мама, когда узнала. И покачала головой.

Я очень удивилась: разве может быть счастливой смерть? Понятно, что мама имела в виду – не мучиться, а сразу. Но все равно, исчезнуть из мира, исчезнуть для всех и для себя, какое в этом счастье?

Теперь, когда я все вспоминаю, как фильм, который мне показывают, я вижу, что мама и сама не верила в свои слова. Это не совсем она сказала, это она транслировала через себя народную мудрость, как люди часто делают. Облегчают себе жизнь: народ все обдумал и высказался, надо лишь повторить.

Встречала нас тогда вместе с Диной Валерьевной и тетя Оля. Она была странной. Молча стояла и смотрела. Изучала. Без восторгов.

Присутствовала и моя двоюродная сестра Наташа, высокая и во всех местах развитая девушка. Статная. «Наша невеста!» – сказала о ней Дина Валерьевна. Я по наивности решила, что она в самом деле невеста, выходит замуж. А ей было в тот год только тринадцать. Наташа тоже выглядела странноватой, постояла, постояла, а потом что-то сказала и ушла по своим делам, до отъезда мы ее больше не видели.

Вспоминала я еще сладкий и прохладный вишневый компот, которым напоила меня Дина Валерьевна, качели во дворе, на которых я раскачивалась почти все время, пока мы там были. Вспоминала и то, что меня поразило больше всего – дощатый сарайчик в углу, у забора, похожий на сильно увеличенный скворечник, к нему вела тропинка меж помидорных грядок. Я, конечно, догадалась о его назначении – запах подсказал. Через какое-то время мне захотелось в туалет, я отправилась туда. Вошла, увидела деревянный помост, на помосте табуретка, на табуретке унитазная крышка. На стене, на длинном ржавом гвозде – рулон серой бумаги. Я приподняла крышку, оторвала побольше бумаги, вытерла ободок, села, но долго не могла начать. Очень уж запах пробирал. Сижу и думаю: надо быстрей все сделать, а то пропитаюсь насквозь. Но чем больше себя уговаривала, тем меньше хотелось. Кое-как справилась.

Когда вышла, увидела Дину Валерьевну, которая срывала помидоры и клала в пластиковый тазик.

– Ты бумагу куда кинула, роднуля моя? – спросила она.

– Туда. В дыру.

– В следующий раз в ведерко брось. Там ведерко стоит, не заметила?

Да, там стояло ржавое ведро, накрытое деревянным кружком. Я заметила, но не сообразила.

– Ничего страшного! – успокоила Дина Валерьевна, видя, как я расстроилась. – Главное не то, чтобы не ошибаться, а чтобы ошибок не повторять, верно?

– Верно.

Помидоры, которые бабушка собирала у туалета, появились на столе в виде салата, и я не смогла их есть, а чтобы Дина Валерьевна не обиделась, сказала, что вообще ничего не хочу. Выпила только еще компота и пошла опять качаться на качелях. Было жарко, двери и окна в доме были приоткрыты, я слышала голоса, но не понимала, о чем речь.

И все это осталось во мне, и я теперь вижу все заново. Я вижу, как бабушка, обнимая меня, расхваливая и спрашивая про занятия спортом, вдруг бросает взгляд на отца – очень сердитый. Вряд ли из-за того, что он не приучает меня к спорту, причина в чем-то другом. А отец усмехается с привычной досадой: ну вот, сейчас начнется!

Я вижу тетю Олю и понимаю, почему она показалась мне странной. Она наблюдала за матерью, за мной, за братом с удивлением: значит, вот как оно бывает, когда встречаются родственники? Положено, значит, обниматься и говорить всякую чепуху? А мне что делать? Тоже, что ли, обнимать эту незнакомую, чужую девочку, которую я впервые вижу? Глупости какие...

Конечно, тут еще наслоилось то знание о тете Оле, которое появилось позже.

Я вижу заново и сестру Наташу, вижу, как она смотрит на меня то ли презрительно, то ли брезгливо – девочки-подростки маленьких детей не любят, вижу, что в сторону матери она косится с опаской, что бурная радость Дины Валерьевны ее слегка бесит. Еще вижу, что она, поводя ногой над землей, ища, куда эту ногу поставить, внимательно смотрит вниз, но вдруг резко поднимает голову и с интересом смотрит на моего папу. Глаза Наташи, большие, сине-серые, кошачьи, становятся страшно красивыми, не по возрасту женскими. И я вижу, что папа видит это, и в его глазах появляется на долю секунды изумление и растерянность, эти глаза невнятно бормочут: какая ты... надо же... бывает же...

И я понимаю – сейчас, воспоминанием – что Наташа в ту пору воспринимала свою красоту болезненно, поэтому и стеснялась показывать лицо полностью, прятала, знала, что оно ошеломляет, пробуждает что-то в людях – иногда хорошее и доброе, но часто тоскливое и злое.

Потом я напрямую спросила ее об этом, и Наташа подтвердила: обнаружив себя очень рано после девочки сразу чуть ли не женщиной, да еще очень красивой, она не знала, что с этим делать, появилось ощущение, что лицо – голое. Оно голое, а все видят, и это неправильно.

– Я понимаю, почему мусульманки эту самую носят, паранджу или как она?

– Не помню.

– Да неважно. Закрываются – и правильно делают! Потому что ты не представляешь, как достает, когда на тебя пялятся.

Тут она засмеялась:

– Кому я говорю, ты сама красивая. Тоже пялятся?

– Не всегда.

– Почему? А я знаю! У тебя личико, как бы сказать, ну, дворянское какое-то. Аристократическое. И это чувствуют, и не лезут. А я какая-то открытая, что ли, или, не знаю... Не ту информацию с лица считывают, не то видят, что есть. Обманчивая внешность это называется, хоть табличку вешай: отвалите все, я замужем и глубоко порядочная девушка!

А тогда я качалась на качелях, впав в полубытие, у меня это часто бывало в детстве. Ты вроде тут, а вроде и нет, вроде думаешь о чем-то, а вроде наблюдаешь, как медленно ползут твои мысли, бесформенные, как ватные облака на голубом небе. И если облако похоже на что-то земное, то случайно.

Но, опять-таки, теперь я знаю, о чем говорили мой папа и бабушка. Папа уговаривал ее и тетю Олю переехать в Москву.

– Зачем? – спрашивала бабушка.

– Будем жить вместе. Или рядом, куплю вам квартиру, домик.

– Олег, я сказала раз и навсегда – спасибо, но я не приму такой подарок. Равно как и деньгами. Ни одной чужой копейки, только то, что заработала! Я даже в лотерею ни разу не играла, в жизни не купила ни одного билета! Некоторые принудительно всучивали, ДОСААФ, Красный Крест, еще какие-то. Я покупала и кому-нибудь дарила! Почему?

– Сто раз рассказывала. Боялась выиграть.

– Да! Если рублей двадцать-пятьдесят, то не страшно, а если большие деньги? Гуляй, делай, что хочешь, работать не надо! Обесценивается смысл жизни!

– Почему? Купила нормальный дом или квартиру вместо этой развалюхи – и опять работай.

– Ты родился в этой развалюхе, забыл? И все, и хватит этих разговоров!

Но разговоры длились еще долго, отец убеждал, доказывал, что всем будет лучше, обращался и к матери, и к сестре, бабушка ему отвечала, а тетя Оля отмалчивалась.

Сейчас я понимаю, что папа мой очень любил бабушку. Очень хотел жить с нею рядом или вместе. Но – не получилось.

А второй раз мы приезжали через полгода после смерти бабушки. Тете Оле кто-то сделал выгодное предложение – продать дом или поменять его на хорошую квартиру. Интересовал не дом, а участок, на котором покупатель замыслил возвести особняк. Вот папа и помчался улаживать

дело, не надеясь на практичность тети Оли. В результате дом и участок были проданы, а тетя Оля и Наташа переселились в неплохую квартиру, пусть в обычной кирпичной пятиэтажке, зато в центре. От прежних хозяев остался советский интерьер, все чисто и прилично, Оля не захотела ничего менять, папа не настаивал. Эта история длилась две недели, папа то и дело улетал в Москву, возвращался, никак не мог закончить оформление каких-то документов, опять улетал. А я сдружилась с тетей Олей и попросила папу оставить меня в Саратове, пока он занимается квартирными делами. С Наташей почти не общалась, она заканчивала школу, была очень занята, к тому же у нее были серьезные отношения с молодым человеком Пашей, очень порядочным, за которого она впоследствии и вышла замуж. Наташа с шестнадцати лет оставалась ночевать у Паши, родители бухтели и пыхтели, но увидели, что молодые люди берегутся, не спешат заводить детей, и успокоились. Им понравилась Наташа – рассудительная, порядочная, не курящая, не увлекающаяся алкоголем. Она и Пашу отвадила от табака и выпивки, как не полюбить такую девушку?

Тетя Оля целыми днями сидела дома, читала книги, просматривала что-то в интернете, то и дело выходя на балкон, где курила свои любимые сигареты с ментолом. Только с ментолом, других не признавала. Меня тоже не очень тянуло на прогулки, да и папа, уезжая, просил не отпускать меня одну. А вечерами мы лежали с тетей Олей вместе на широком диване-кровати, который был раз и навсегда разложен, она смотрела в ноутбуке что-то свое, я в планшете – свое.

Иногда тетя Оля задавала неожиданные вопросы. Например:

– Ксюша, о чем ты в школе с подругами говоришь?

Я, смышленая девятилетка, хотела ей угодить, отвечала серьезно:

– Об уроках говорим. Компьютерные игры обсуждаем. Кино, ролики всякие.

– И тебе интересно?

– Да.

– И подруги есть?

– Конечно.

– И как вы дружите?

– Общаемся.

– Под ручку ходите?

– Никто не ходит. Это не актуально. (Именно так я сказала.)

– А что актуально? Бегаете? Догонялки, салки? В классики играете? Скакалки, резинки, попрыгушки какие-нибудь?

– Даже не знаю, о чем ты.

– А мы прыгали и скакали. Может, и я.

– Что значит – может? Не помнишь, что ли?

– Нет. Мне как-то это дико представить.

– Почему?

– Не знаю... Не могу вспомнить себя девочкой. Пытаюсь, а в голове чушь какая-то – вижу как я, теперешняя, тетка огромная, прыгаю через скакалку. Смешно, правда?

– Взрослые не прыгают. Только спортсмены. Папа иногда прыгает, тренируется.

– Хоть бы во сне приснилось детство. Нет, ни разу. Будто родилась сразу взрослой.

– Так не бывает!

– Да... А скажи, что тебя обижает? Что радует? Что нравится, что нет?

Я не понимала, зачем это нужно тете Оле, но старалась, отвечала. Несколько минут она слушала с недоверчивым интересом, а потом утомлялась и говорила:

– Отдыхай, смотри, что ты там смотришь. Интересное что-то?

– Да так. «Маша и медведь», новый мультфильм. Там смешно бывает, хотя глупостей много.

– А что такое глупости, Ксюша? Глупость вообще – что?

Я взахлеб смеялась от этого вопроса. Обычно смеялась не так, скорее посмеивалась, хихикала, в голос – очень редко. А тут – ржала, как и ржут все нормальные дети моего возраста. Мне

казалась, что такая непосредственность должна нравиться тете Оле. И она, да, улыбалась. Я ржала, я визжала:

– Ой, не могу, теть Оль, ну ты спросила! Это же все знают! Глупость – когда человек дурак!

Тетя Оля рада была, что довела меня до такого веселья. И смешила еще больше, уже нарочно:

– А что такое дурак?

– Это кто глупый!

– Ага. Ясно. Глупый – тот, кто дурак, а дурак – кто глупый. Спасибо тебе, Ксюшечка, без тебя сроду бы не разобралась!

Я умирала со смеху.

И вот я сказала, что хочу к тете Оле.

– Зачем? – спросил папа.

– Мне там понравилось.

– Прямо по классике – в деревню, к тетке, в глушь, в Саратов? Тогда слетай во Владивосток, к маминым родственникам. Вот уж где глушь. Ир, может, вместе?

– Нет.

– Хочу в Саратов, – сказала я.

– А ты уверена, что тете Оле это понравится? Она у нас на инвалидности с сорока лет, ты это знаешь? Регулярно в психушке облечивалась.

– Не заметила, что она ненормальная.

– А диагноз какой? – спросила мама.

– Шизофрения.

– У кого ее нет!

– Хочешь отпустить ее туда? Одна в Испанию полетишь?

– Испания ни при чем, а Ксения совершеннолетняя, пусть сама решает.

Ксенией меня назвала. В голосе холодок. Папа огорчен, но я вижу, что маме того и надо. Она хочет его огорчить, обидеть. Почему?

Да потому же, понимаю я сейчас, почему и я своим решением хотела задеть, обидеть, огорчить папу. В конце концов, кто виноват в том, что с нами произошло? Он. И делает вид, что ничего страшного, жизнь продолжается. Нет, она не продолжается, она кончилась, и начинается другая.

При этом маме со мной было бы легче, но она не хотела, чтобы было легче. И мне было бы комфортней и спокойней в Испании, но я тоже этого не хотела.

Мне было плохо, поэтому я и решила поехать туда, где мне наверняка будет еще хуже. Где все чужое, в отличие от домика в Испании. Там мы бывали десяток раз по месяцу и дольше, там знакомы все соседи, половина – русские, знакома каждая ступенька на каменистой улочке к морю, а в конце ее два брата-араба с утра до ночи стоят за овощным лотком, под навесом, и кричат мне по-испански: «Добрый день, юная синьора! Идете плавать? Возьмите нас собой!»

– Пойдемте! – отвечаю я.

– Мы не можем, работа!

И в тот же день я взяла билет на поезд. Ехать долго, шестнадцать часов, с неуютной ночевкой в вагоне. Ничего, так мне и надо. Дай мне напиться железнодорожной воды, как поет любимый тети Олин БГ.

В купе-СВ со мной ехала женщина в черных обтягивающих брюках и черной обтягивающей блузке, четко показывающей все складки ее тела – казалось, что черный удав несколько раз обернулся вокруг нее.

– Студентка? На каникулы? – спросила она.

– Да.

– А я вот на похороны.

Сейчас все расскажет, подумала я, но нет, она постелила, легла и не меньше часа обсуждала с мужем ремонт квартиры. В чем-то упрекала мужа, в чем-то ремонтников, сокрушалась, что без

нее теперь все сделают не так. Потом принесли ужин, она с аппетитом поела, а после улеглась на бок, спиной ко мне, и тут же заснула, и проспала, не просыпаясь и не меняя позы, до самого прибытия.

II

«Париж встретил меня страшной жарой...»

«Берлин встретил меня холодным зимним дождем...»

«Пенза встретила меня...»

«Магадан встретил...»

Мне не раз попадались в разных текстах такие фразы.

И тоже хотелось бы начать: «Саратов встретил меня...»

Но он никак и ничем меня не встретил, не заметил моего появления. Показалось даже, что город и сам хочет быть незаметным, по крайней мере здесь, на привокзальной площади. Площадь окружают безликие дома с казарменными рядами окон, не сразу поймешь, жилые это здания или административные. Чахлый скверик в центре, на краю его, с протянутой рукой, торчит на постаменте Феликс Дзержинский. Постамент массивный, весь в потеках голубиного помета, а сам Феликс маленький и тощий, тоже в белых пятнах, но все же почище постамента. Должно быть, моют. Он стоит задом к вокзалу, передом к городу. Вытянутой рукой словно приглашает приехавших граждан проследовать дальше, но приглашает вяло, скучно, да и лицо у Феликса, я потом посмотрела, довольно скучное. Вроде того, хотите – идите дальше, не хотите – как хотите, я не настаиваю. Удивительная мягкость для основателя ЧК.

Люди и машины перемещались тоже скучно. Казалось, слышишь тайный хор: мы живем своей жизнью, не обращайте на нас внимания. Позже я поняла, что это общая черта саратовцев – стремиться в тень, в неразличимость, безымянность и стертость. Мы вас не трогаем, и вы нас не трогайте.

Сейчас знаю – это особенность не саратовцев, а всех моих соотечественников. Угрюмая скромность. Нелюбовь к резким жестам и громким голосам. Притерпелость к окружающей среде. Подозрительность и недоброжелательность ко всему, что выделяется.

Но все резко меняется, когда оказываешься с соотечественником наедине, лицом к лицу, он тут же весь распахивается и начинает говорить на личные и государственные темы удивительно откровенно.

Я испытала это на себе в Саратове сразу же. Водитель такси, загрузив два моих чемодана и рюкзак в багажник, сел в машину, завел, нажал, тронулся, глянул на меня и спросил:

– Из Москвы?

– Да.

– Скоро вас громить приедем! – радостно сообщил он.

– За что?

– За все хорошее. Всю кровь высосали из России! Я, между нами, в боевом товариществе состою. Ветераны Афгана и Чечни, четкие мужики. У меня дома четыре ствола, все законно купленные. Не считая холодного оружия. И знаешь, что скажу? Как только начнется, выйду на улицу и буду стрелять во всех, кто на джипах ездит.

– Джип – чего-то признак? Что там враг?

– Честный человек на свои деньги такую машину не купит!

– А если джип подержанный? Дешевый?

– Ну, я же не всех подряд, не дурак все-таки. Разбираться будем. Думаешь, сложно? Все же видно! Берем декларацию какого-нибудь чиновника, смотрим доход. А потом смотрим расход. Так, откуда особняк у тебя? Откуда «мерседесы» у жены и тещи? Все, садись в тюрьму. Или вообще расстрел, если в крупных размерах!

– А с бизнесменами как?

– Ты не бизнесменка сама?

– Нет. Студентка.

– Я так и подумал. Бизнесменки другие. Пошустрее, понаглее. Как зовут, если не секрет?

– Ксения.

– Меня Аркадий. Счастливый, значит. Вот, возьми, – он сунул мне визитку. – Тут мой номер, если напрямую вызвать, дешевле будет. Надолго к нам, по делам, в гости?

– В гости. Тетя у меня тут.

– Если куда поехать, звони. Хорошо?

– Хорошо.

– На Волгу отвезу. Видела Волгу у нас? Бывала раньше?

– Давно, в детстве. А тетя живет рядом с Волгой.

– Это я по адресу понял, но Волга в городе – не то. На протоки надо, на острова. Я с друзьями в выходные собираюсь лещей половить. Ела копченого леща?

– Не помню.

– Значит, не ела, такое не забывается.

Руля одной рукой, он взял телефон.

– Номер скажи свой. Ты не думай, я без задней мысли, у меня дочь твоего возраста, подругами будете, я вообще не по этой части, у меня еще сын, тринадцать ему, а младшей шесть, прикинь. Многодетный я.

– Я позвоню, вы зафиксируете.

– Тоже правда.

Я набрала номер, указанный на визитке. Это, конечно, не значило, что я собиралась ему когда-нибудь звонить или отвечать на его звонки. Просто – жест вежливости, неискоренимая податливость доброй девушки Ксю. Из телефона Аркадия послышался гимн России. Нет, не России, СССР. Со словами. «Союз нерушимый республик свободных».

– Узнала? – спросил Аркадий.

– Конечно.

– Я, когда слушаю, чуть не плачу! Все, сохраняю тебя, спасибо. Ксения-Москва будешь, ничего? У меня тут есть уже Ксения, знакомая одна. Ну, как знакомая... Семья – это святое, но, если хорошая девушка хочет со мной дружить, я же не обижу ее. Но соблюдаю, как сказать...

– Конспирацию? – спросила я, вспомнив о папиной тайне, о Зарине.

– Аккуратность. Чтобы никто не пострадал. Я ей сказал сразу: Ксюнь, я женат и женат навсегда. Если ты, не дай бог, покусишься в сторону семьи, накажу решительно и беспощадно. Но ей от меня ничего не надо, только отношения. У вашего возраста это часто встречается, у вашего поколения. Вы бескорыстные. В мое время девушки больше про выгоду думали. Практичные были насквозь. Нет, понять можно, от родителей ничего нет, кроме пустоты, с жильем плохо, с деньгами плохо, вот девушка и ищет, к кому примкнуться в материальном смысле, а сейчас немного получше, хоть и не у всех. У моей Ксюньки папаня строительством занимается, мать в фирме финансами ворочает, дом у них в Смирновском ущелье. Естественно, ей можно и о душе подумать.

– Ее родителей вы не тронете, значит?

– Когда?

– Когда все начнется?

– Будем дифференцировать. Потому что любой бизнес – это что?

– Получение прибавочной стоимости.

– Хорошо в школе училась! Красиво звучит, но неправда. Сообщаю: любой бизнес – грабеж и жульничество. Но сажать и стрелять будем не всех, пусть работают на государство.

– А правительство вы куда денете?

– Всех в отставку и под следствие! А потом в обязательном порядке суд! Как нацистов судили в Нюрнберге! За геноцид собственного народа!

Аркадий говорил горячо, убежденно и успевал при этом лавировать в довольно густом потоке машин. Манера езды у него была порывистой и нетерпеливой. Если он видел брешь в соседнем ряду, который, как ему казалось, движется быстрее, тут же нырял туда. Когда его пропускали, вежливо поднимал руку, благодаря уступчивого водителя, когда напирали, не давали переместиться, бормотал: «Куда ты лезешь, козел?» – не прерывая своих речей. А я видела, что все его усилия пропадают даром. На одном из светофоров рядом с нашей машиной оказалась девушка в маленькой двухдверной машинке. Что-то вроде «мини-купера», но попроще. И эта девушка напевала под радио. Она напевала, покачивала головой, похлопывала ладонью по рулю. Моя ровесница или чуть старше, внешность вполне обычная, но по тому, как она уверенно существовала в своем пространстве, как спокойно двигалась, следуя аритмичным порывам правого ряда, угадывалась личность уравновешенная и знающая себе цену. Напевая, она рассеянно глянула в сторону, увидела, что я смотрю на нее, засмеялась, попела немного как бы для меня, поделилась своим весельем, потом зажегся зеленый, мы тронулись, она отстала. Но через пару светофоров оказалась опять рядом. Аркадий юлил, суетился, выгадывал, она не юлила, не суетилась и не выгадывала, а результат оказался такой же. Девушка улыбнулась мне, как знакомой. А потом свернула направо. Хорошо бы иметь такую подругу – неторопливую, надежную и спокойную.

Я пропустила часть монолога Аркадия, включилась опять, когда он развивал план будущего устройства России.

– И никаких выборов! Народ у нас тупой, выберут какого-нибудь опять придурка! Спросишь, а как тогда? А так! Один из наших, кандидат наук медицинских, сказал такую идею – электронный отбор. Кандидаты подают заявки. Оцениваем умственные способности по системе ай-кью, отбираем самых головастых. Это первый этап. Второй – психиатрическая экспертиза. Действующих тоже касается. Потому что ты посмотри на них, что они говорят и как себя ведут, они же все долбанутые! По ним по всем психушка плачет, а они нами управляют, это как? Третий этап: детектор лжи. Если кандидат, сука, извини, вырвалось, если он говорит, что хочет служить народу, а детектор показывает, что врет, что он для своей выгоды идет на госслужбу – до свидания!

Он еще что-то говорил, но я опять выключилась.

Смотрела по сторонам. На первых этажах разномастные вывески магазинов, под вывесками двери с крылечками, у крылечек каждый владелец торговой точки благоустроил тротуар по своему вкусу и разумению – кто заложил, шикуя, глянцевой плиткой, кто серыми бетонными кирпичиками, кто булыжником, имитируя старинную мостовую, а кто постелил пластиковый зеленый газон – и дешево, и эффектно. А между этими облагороженными островками – асфальтовые рытвины, щербатый тротуар.

А дома поражали. Нигде я не видела такого тесного смешения стилей. К панельной пятиэтажке пригромоздился новый дом бизнес-класса (так подобные конструкции бессовестно называют сами застройщики), с большими окнами во всю высоту этажа. К бизнес-дому лепится нечто старинное – желтые стены, белые плоские выпуклости фальшивых колонн, лепные карнизы, наполовину осыпавшиеся, балконы с гнутыми чугунными перилами, снизу все обкрошившиеся, видны прутья металлической арматуры. Рядом с этим старинным домом, через подворотню, которую точнее назвать лазом, – длинный, серый деревянный барак с маленькими окнами, покрившимися от старости, между рамами окон зачем-то положена вата, на вате блестки, вечный Новый год. А на углу, окончательно убивая улицу и даже словно гордясь этим, торчит небоскреб-человейник, многоэтажный утес-параллелепипед для людей со скромным достатком. Во всем – в самой архитектуре дома, в грубой штукатурке, в том, как впихнуты в бетон окна, пузырящиеся по периметру желтой монтажной пеной, видно стремление максимально сэкономить и максимально украсть. Но мало этого, строители решили приукрасить свое творение, асимметрично намалевав там и сям на стенах оранжевые и синие прямоугольники, отчего здание стало окончательно и победоносно безобразным.

А вот опять старый купеческий или дворянский дом, двухэтажный, вполне симпатичный. Наверное, недавно отремонтировали. Я радуюсь, будто не гостья, а коренная саратовка и могу наконец показать гостье – то есть самой себе – что-то утешительное.

Фантазия разыгрывается, я представляю, что живу в этом доме. Сижу в домашнем платье с рюшами за круглым столиком, пью кофий, слышу снизу трель колокольчика, говорю служанке Марфе:

– Должно быть, поручик Взбржевский с ранним визитом, откройте, Марфуша.

Снизу слышатся громкие и грубые голоса, потом грохот шагов по лестнице, и вот в комнату вламывается детина в матросском бушлате, клешах, в бескозырке с надписью «Смелый», перепоясанный крест-накрест пулеметными лентами, с винтовкой на плече.

– Пошукайте там насчет пошамать, – говорит он кому-то, а сам прикрывает двери и идет ко мне со странной улыбкой.

Я узнаю в нем Аркадия.

– Ну что, мамзеля, – говорит он мне, – скучаешь? Давай-ка в таком разе подженимся, только шибче, учитывая стремительность революционной обстановки. Совецкая власть ждет моей подмоги на всех фронтах, так что уж ты, красивая, сама растелешись, не трать попусту бесценного пролетарского времени!

Поставив в угол винтовку, он идет на меня, широко раскинув руки. Я открываю ящичек столика, где, рядом с колодой карт и пяльцами, лежит изящный маленький револьвер. Достаю его и направляю на Аркадия.

Он меняется, исчезают пулеметные ленты, бушлат, бескозырка и клеши, теперь он в синем спортивном костюме с белыми лампасами.

– Да ладно прикалываться, чувиха! – говорит он. – Этой пугалкой даже мухи не убьешь! Но ты не убирай, держи, меня это заводит!

Я нажимаю на спусковой крючок. Щелчок, осечка. Аркадий хохочет, тянет ко мне руки. Я нажимаю еще раз. Выстрел.

Аркадий с удивлением смотрит на свою грудь, на маленькую черную дырочку, вокруг которой расплывается красное пятно.

– Блин, больно же! – упрекает он меня, делает ко мне шаг и грохается со всего маха на ковер, замирает, лицо повернуто вбок, и я отмечаю, что узор ковра удивительно совпадает с профилем лица убитого, он словно оконтуривает его, как это делают мелом на местах преступления.

Подняв голову, он спрашивает:

– Лермонтова, двадцать пять? А корпус?

Я вижу себя опять в такси, вижу Аркадия, задающего мне вопрос. Не сразу прихожу в себя. Вспоминаю.

– Корпус два.

– Тогда приехали. Какой этаж? Тут лифта нет, если высоко, могу помочь багаж отнести. Полста накинешь за подъем?

– Да, конечно. Этаж четвертый.

Тетя Оля открыла дверь, сказала:

– Привет. У меня там...

И пошла в кухню, откуда тянуло чем-то горелым и приторным.

Аркадий поставил чемоданы, положил на них рюкзак, сказал:

– До скорого, к выходным готовься на рыбалку.

– Не знаю...

– Договорились же! В субботу к вечеру жди.

Он ушел. С кухни потянуло не только запахом, но уже и дымом.

Тетя Оля стояла у плиты и деревянной лопаточкой передвигала на черной чугунной сковородке три ломтика батона. Они были желтые, а по краям обуглились и дымились. Тетя Оля задумчиво смотрела на это, потом перевела взгляд на меня, но от задумчивости не отрешилась, находясь в действительности только частично.

Я выключила огонь, сказала:

– Подгорело же, теть Оль!

Тетя Оля посмотрела на ломтики осмысленно, перевернула, с изнанки они были совсем черные.

– Третий раз жгу. На растительном масле потому что. Подгорает быстро.

– Тогда на сливочном нужно.

– Сливочного нет. И я люблю на растительном, на подсолнечном, нерафинированном, у него вкус приятный.

Я открыла холодильник. Он был почти пустой. Пара баночек с каким-то вареньем, засохший пучок редиски, плитка шоколада, бутылка подсолнечного масла. А в отсеках дверцы – два яйца и множество пузырьков и упаковок с лекарствами. Еще была кастрюлька, я открыла крышку, там было что-то заплесневелое, запахло тухлым, я нахлобучила крышку обратно.

Тетя Оля из-за моей спины заглянула в холодильник и захихикала:

– Красота! Вот так я гостей угощаю! И не встретила тебя. Не обижаешься?

– Ты сказала, что не сможешь.

Да, тетя Оля, когда я ей позвонила и сообщила, что приеду, сразу же предупредила:

– Встречать не буду, извини. Местное такси вызови, там номер легкий, шесть девяток или шесть семерок, давно не ездила, не помню. Да спросишь кого-нибудь, скажут.

Сейчас тетя Оля объяснила:

– Не люблю встречать и провожать. Вокзал на меня тоску наводит. И почему обязательно у поезда встречать? Была бы у меня машина, тогда хоть какой-то смысл. Наташа вот купила, ездит. И у Паши машина. Новое поколение! Я бы их попросила встретить, но они в Турции отдыхают. Скоро приедут уже. Сегодня какое?

– Восемнадцатое. Июня.

– А они когда приезжают?

– Не знаю.

– И я не помню. Так, еще одна попытка.

Тетя Оля достала из настенного шкафчика пакет с нарезанным батоном, из него три ломтика, а из холодильника бутылку с маслом.

– Не надо, теть Оль, я сейчас в магазин схожу. Где тут магазин?

– Магазин рядом, но я обожаю гренки. И тебя угощу.

Она достала из пакета еще три ломтика.

– Опять пригорит! Подожди минут десять, ладно?

– Ну вот, встретила племянницу! – упрекнула себя тетя Оля. – Хозяйка называется!

Я присматривалась к ней. Она не казалась ненормальной, была только немного рассеянной и медлительной, сомневалась в каждом своем слове и движении. Но упрекнуть себя у нее получилось, слова «хозяйка называется!» произнесла так, как их произнесла бы обычная женщина, расстроенная неудачной встречей с родственницей. Вышло очень естественно, и тетя Оля сама это услышала и выглядела очень довольной.

– Ладно, сходи в магазин, – сказала она.

И это тоже выговорилось у нее естественно, тетя Оля одолела новую бытовую высоту, обычно недоступную для нее, и окончательно осчастливилась. Она так разошлась, что решила дать конкретные советы.

– Купи тогда еще сливочного масла, яиц... Нет, яйца есть, не надо.

– Мало, еще возьму.

– Ну, хорошо. Еще молока, хлеба для тостов. И красный сладкий перец возьми один, одного хватит. И я тебя тогда фирменными гренками угощу. Даже можно немного грудинки или бекона взять. И вина – какого хочешь. В конце концов, не каждый день ты ко мне приезжаешь, отметим!

Она наслаждалась тем, как отлично у нее получается быть разумной хозяйкой и распорядительницей. Ей хотелось длить это необычное состояние, и она, засмеявшись и махнув отчаянно рукой, добавила:

– Гулять так гулять! Ты куда пойдешь? Иди в «Магнит», тут недалеко, купи еще картошки и трески, у них мороженая треска должна быть. И мы с тобой вечером пожарим картошку с треской. Обожаю! Или, может, ты чего другого хочешь?

– Да нет, треска нормально. Но хлеб не жарь, жди меня, хорошо?

– Ладно. Да, и сигарет возьми. «Корона» с ментолом, запиши.

– Я запомню.

Выйдя из подъезда, я нашла в телефоне по карте «Магнит». Действительно, недалеко.

Ходила там с тележкой, воображала себя бедной экономной девушкой, которая сначала смотрит на ценники и только потом берет в руки товар, вертит его, ищет срок годности, изучает состав и так далее. И это при том, что у меня было три банковских карточки, и на каждой три-четыре сотни тысяч рублей, точных сумм я никогда не знала, не запоминала. В общей сложности при мне всегда было около миллиона карточных денег и тысяч двадцать-тридцать наличных.

Я придирчиво выбирала хлеб, молоко, яйца и все прочее, чтобы и не очень дорого, но и не совсем плохо по качеству. Так же, как и я, бродили по магазину старушки, сплошь старушки – позднее утро, работающие люди на работе, старушки могут выбирать подолгу, не спеша, никому не мешая и никого не раздражая.

В овощном ряду я задумалась над лотками с картошкой. Ее было несколько видов – и дешевая, покрытая засохшей грязью, и подороже, мытая, и в сетках, производства Турции и Израиля. Вот тебе и дружба народов и религий, подумала я. Лежат спокойно рядом и стоят почти одинаково. Сетку взять проще всего, но во мне проснулся патриотизм. Грязная картошка неприглядна, зато наша, зато, возможно, ее недавно выкопали. Я пощупала ее, пачкая пальцы (и получая от этого странное удовольствие – ничего, барышня, потерпишь, зато не потратишь лишнюю трудовую копеечку!), картошка была довольно твердой, я наполнила ею пакет, завязав сверху узелком. Так же я выбирала сверх заказа Оли и морковь, и огурцы – решила обеспечить нас продуктами на несколько дней.

Подвезла тележку к кассе, выгрузила все на ленту. Симпатичная и молодая кассирша, казашка или таджичка (казашка, говорю я сейчас себе) спросила:

– Пакет нужен?

– Два.

– Карта магазина есть?

– Нет.

Девушка быстро сканировала ценники, я сгружала продукты обратно в тележку, чтобы потом спокойно рассортировать и уложить.

– Молоко одно? – спросила девушка.

– Да.

– У нас акция, две бутылки по цене полторы. Возьмите еще одну.

Девушка сказала это так благожелательно, с такой искренней заботой о моей покупательской выгоде, что неудобно было не воспользоваться советом, тем более что за мной к кассе никого не было. Хотелось, к тому же, показать, что и я забочусь об экономии, без которой не обойтись в этой трудной жизни. Сходила за второй бутылкой, вернулась, девушка продолжила работу. Взяв в руки вино, чуть задержалась, посмотрела на меня. Я показала ей заранее приготовленный раскрытый паспорт, она кивнула, благодаря за избавление от неловкого вопроса о возрасте. Тут я вспомнила о сигаретах.

– «Корона» с ментолом есть?

Показалось, что девушка огорчилась за меня, я утешила ее, уточнила:

– Попросили купить, сама не курю, даже не знаю, как выглядят.

– Зеленые, написано «ментол».

Я открыла створку шкафа, висящего над кассой, нашла эту самую «Корону», в ячейке было пять пачек, я взяла их все. На двух была надпись «Пародонтоз» поверх картинки с изображением страшных гнилых зубов, на трех – «Мучительная смерть» и иссохший бледный труп.

Девушка рассматривала этикетку на бутылке, спросила:

– Это хорошее вино?

– Вроде бы.

– А мне любое кислым кажется. Я ликер люблю. Но пью мало, редко, сразу пьяная делаюсь. Пиво напрочь не принимаю, сразу в животе бурлит. А муж по два литра за вечер пьет, и ничего.

Так она сообщила мне мимоходом, что замужем. Наверное, недавно, не привыкла еще к своему счастью, вот и хвастается.

– А мой виски любит, – вдруг сказала я, соврав легко и правдиво, потому что не для выгоды.

– Оно дорогое. Хорошо зарабатывает?

– Неплохо.

– И мой неплохо, но он родителям посылает. Там у них совсем работы нет. Я тоже своим посылаю.

– А как иначе? Они родители, – одобрила я. – А то некоторые, наоборот, с отцов и матерей тянут. Даже пенсию.

– Это правда. У нас там есть такие. Искать работу не хотят, сидят дома без всякой совести.

– А вы издалека? – поинтересовалась я, складывая продукты из тележки в пакеты.

– Алгай, – непонятно сказала девушка, но я кивнула с понимающим видом. Мне хотелось выглядеть местной, саратовской. Даже рискнула сказать наугад:

– Далеко!

– Еще бы!

Так мы говорили с ней, две положительные замужние молодые женщины, знающие, что в жизни правильно, а что нет, и нам было хорошо оттого, что мы понимаем и уважаем друг друга. Хотелось и дальше говорить о чем-нибудь простом и важном, но я закончила набивать пакеты, а перед кассой стояла уже старушка, аккуратно выкладывая хлеб, картошку, лук и кусок колбасы.

– До свидания! – попрощалась я с девушкой.

– До свидания, хорошего дня! – ответила она формулой, ставшей не так давно ходовой в сфере услуг, но у нее это прозвучало не формально, а от всей души.

Пакеты оказались очень тяжелыми, мне пришлось несколько раз останавливаться и отдыхать.

Потом вместе с тетей Олей, которая мешала мне своей помощью, приготовили завтрак – омлет с тостами и беконом. Угощались за журнальным столиком, потому что обеденного не было.

– Я его выкинула, – объяснила тетя Оля. – Только место занимал, я им все равно не пользовалась. Наташка ругалась, но она на все ругается. Я у нее неправильная мать. Еще и сумасшедшая к тому же. Не пугайся, не сейчас. Ты никогда не боялась сойти с ума?

– Нет.

– А я боялась, и зря. С детства боялась, не знаю почему. Помню, соседка сказала маме: у тебя дочка со странностями. А было как – я стояла у забора, а мама в огороде что-то делала, а соседка идет к нам и спрашивает: мама дома? Причем мама на виду, рядом, а она спрашивает. Кто со странностями, интересно? Нет, я, правда, слегка пошутила, оглянулась на маму и говорю: понятия не имею. Вот она и сказала маме, что я странная. А мама ей: не странная, а задумчивая. На меня накатывало иногда. Застываю и о чем-то думаю. И после этого, после того, как соседка сказала, что я странная, я подумала: может, и правда странная? На уроке иногда зовут – не слышу, вся в себе. Пробовала отучать себя задумываться, только хуже стало. Ты наливай, наливай вина, мне можно, у меня ремиссия сейчас.

– Тут пробка, штопор нужен.

Тетя Оля порылась в ящиках кухонного столика, нашла штопор. Большой, серебристый, с рычагами, вернее, с рычагом, второй был отломан. Я ввинтила штопор в пробку, попыталась вытащить с помощью оставшегося рычага, но он без пары не действовал. Начала тянуть, пробка сидела плотно, не поддавалась.

– Вверни глубже, до конца, – посоветовала тетя Оля.

Я ввернула, потянула – никак.

– Дай-ка я.

Тетя Оля села, зажала бутылку между ног, вцепилась в кольцо штопора и даже зажмурилась от усилия.

Ноги и руки у нее были очень худые, но не уродливые. Обычно с худобой выявляется кривизна костей, у тети Оли же все было хоть и не идеально прямое (такого и не бывает), но – правильное, хорошо сложенное. И кожа удивительно гладкая для ее возраста.

– Черт! – сказала тетя Оля. – Не идет, зараза! И ведь не очень я хотела выпить, а теперь жутко хочу, прямо невтерпеж!

– А если протолкнуть?

– Идея!

Тетя Оля вывинтила штопор, попробовала протолкнуть пальцем. Пробка чуть сдвинулась вниз и застряла намертво.

Попыталась и я. Без толку.

– Стой! – сказала тетя Оля. – Надо чем-нибудь.

Она пошарила в ящиках, нашла отвертку, одновременно и обрадовалась, и удивилась:

– Откуда она у меня? Но – то что надо!

Она приставила отвертку к пробке, ударила сверху кулаком, затрясла рукой, морщась от боли.

– Дай полотенце.

Я подала полотенце, она обернула им ручку отвертки, опять ударила.

– Вот гадство! Там молоток внизу, деревянный, дай-ка.

Я нашла в нижнем ящике молоток.

– Я держу, а ты бей. По руке не попади!

Тетя Оля поставила бутылку на столик, вцепилась в отвертку, стараясь держать ее вертикально.

– Бей!

Я ударила, отвертка вылетела из рук тети Оли и из бутылки, а бутылка упала на столик, покатилась, я успела остановить ее у края.

– Ну, мы и курицы! – смеялась тетя Оля. – Ничего, есть крайний способ. Долго, но наверняка.

Она достала тонкий нож, начала ковырять пробку. Ковырялось по чуть-чуть, лезвие ножа опасно гнулось. Я сменила тетю Олю, потом она сменила меня. Когда пробка расковырялась до половины, я попробовала опять протолкнуть ее отверткой. Получилось.

У этого вина был заслуженный вкус. Мы выпили сразу по половине стакана (бокалов и фужеров у тети Оли не было). И стали с удовольствием есть, хотя все уже остыло.

Хлопоты с вином нас очень сблизили, она предложила:

– Хватит меня тетей Олей звать, давай просто Оля. А то непривычно как-то, меня никто тетей не зовет.

– Хорошо, Оля. Мне и самой странно.

– Правда?

– Да.

– А уж как мне странно! Мне в душе – как тебе. Ну, чуть больше. Двадцать два.

– Почему двадцать два?

– Я тогда счастливой была. В первый и последний раз. И вот скоро... Сегодня какое?

– Восемнадцатое.

– Значит, через неделю, двадцать пятого. Двадцать пятого мне шестьдесят.

– Ужас. Извини.

– Да нет, ты права, ужас.

– Я не потому, что много, а потому, что тебе столько не дашь. Наверно, неприятно выглядеть моложе. Цифра такая...

– Страшная! Недаром число зверя с шестерки начинается!

– Ты говоришь, в двадцать два года была счастлива? Расскажи.

– Это несчастливая история.

– Как это?

– А вот так. Счастлива – да, была, а история несчастливая. Ладно, наливай, расскажу.

Вино подействовало на тетю Олю удивительно. До него она казалась не вполне адекватной, рассеянной, приторможенной, как бы немного хмельной, а выпила – и протрезвела, стала вполне нормальной, веселой, разговорчивой, ироничной и очень-очень умной.

И рассказала мне несчастливую историю о своем счастье, предупредив, что начнет с детства.

– Для полноты картины.

– Ты говорила, что детства не помнишь.

– По-разному. Иногда очень четко все вспоминаю. Проблема в том, что потом забываю то, что вспомнила.

Отца Оля не знала. Возможно, он был даже иностранец, ее мама оказалась беременной после крупных международных соревнований, где была не участницей, так как по возрасту уже ушла из большого спорта, а – судьей.

– Так что не знала я отца, но и не хотела знать, – сказала Оля.

– Почему?

– Не волновало. Вполне устраивало быть сиротой. Сейчас вздрогнешь и ужаснешься: я иногда мечтала быть полной сиротой. Нет, пусть мама жила бы, но пусть отдала бы меня в какой-нибудь детский дом. Такой, где детей очень мало.

– Ты не любила маму?

– Да нет, любила – в принципе. Не сильно, но любила. Не понимала, зачем она нужна. Кормить, одевать, да, но я в другом смысле. Не могла понять, почему она моя мама.

– Как это?

Оля попыталась объяснить. Она очень рано почему-то почувствовала свою маму чужой и чуждой. Все, что мама ей говорила, было Оле неинтересно, а то, что думала и изредка говорила Оля, было неинтересно маме. Мама хотела сделать Олю спортсменкой, активисткой, отличницей. Быть отличницей у Оли получалось легко – с младших классов книжки «Чтение» или «Хрестоматия», которые надо было изучать весь учебный год, она прочитывала за два-три дня, но спортсменкой и активисткой становиться категорически не собиралась.

А потом подрос младший брат, мой будущий папа, но у него спортивных данных не оказалось совсем, бабушка потеряла надежду превратить детей в чемпионов. Сама она с гордостью носила значок «Мастер спорта», но, к сожалению, ни разу не стала чемпионкой. Самое большое достижение – второе место в командной беговой эстафете на одном из чемпионатов Европы.

Оля была красивой и очень стройной, но при этом неловкой, нескладной, стеснительной. Запомнила фразу, сказанную мамой кому-то: «Чудная до крайности, в школе не только от детей, от парт шарахается!»

Оля не шарахалась, но была зыбкой и неуверенной во всем. Отвечала на уроках гладко, подробно, но торопливо и так, будто стыдилась своих знаний. Да еще очень тихо, учителей это раздражало, но Оля, как ни пыталась, не могла себя заставить говорить громче. Ни с кем не дружила, и это ее устраивало. Не выдвигали на детские школьные командные должности, и это ее устраивало. Не давали пионерских и комсомольских поручений, и это ее устраивало. Ее считали, говоря по-школьному, блызнутой, придурочной, хваченной июльским морозом, чокнутой, и это ее устраивало.

Она не понимала самых простых вещей. Зачем мама каждый вечер спрашивает: «Уроки сделала?» – если и так ясно, что сделала. Зачем учителя рассказывают то, что и так написано в учебниках? Почему, написав классное сочинение задолго до звонка, нельзя его сдать и пойти погулять? Почему, если во дворе все девчонки прыгают через скакалку или играют в классы, она тоже должна прыгать через скакалку и играть в классы? Почему, если тебя толкнет или щипнет дурак Сидо-

ров, надо взвизгнуть, ударить дурака Сидорова учебником по голове и крикнуть дураку Сидорову, что он дурак? Зачем выстраиваться почти всей школой на сцене в актовом зале и разевать рот, выпевая похоронную мелодию со словами «Ленин всегда живой»? И нельзя отказаться. Почему? Если ты не хочешь это петь, разве ты становишься хуже – как девочка, как ученица и человек? Почему все должны носить форму, в которой мальчики похожи на солдат или милиционеров, а девочки на медсестер или гувернанток? Что такое медсестры и гувернантки, Оля знала по картинкам из книг. Она их много читала, и книги казались ей гораздо интересней жизни, потому что там сплошь и рядом случается что-то неожиданное, а в жизни все одинаковое.

Ей было не совсем ясно, почему надо изучать все предметы, а не те, которые нравятся, почему в школу надо идти так рано – именно тогда, когда хочется сладко поспать? Почему завтракать в завтрак, обедать в обед, а ужинать в ужин, а не тогда, когда чувствуешь себя голодной?

Оля росла с постоянным чувством недоумения, но ничему не противилась, не сопротивлялась, догадывалась, что это только осложнит жизнь. Больше всего ее беспокоило, что после школы надо что-то выбрать – какой-то институт, какую-то профессию. Найти любимое дело, так это называлось. Но Оля и так уже нашла – читать книги и думать. А можно и не читать, и даже не думать, а лежать в саду на раскладушке, под старой яблоней, и сквозь листья созерцать небо и облака, погружаясь в состояние умственной невесомости. Если же закрыть глаза, то все звуки отдаляются, иногда кажется, что ты не здесь, на земле, а где-то наверху, в облаках, и оттуда слышишь все земное, и мысленно видишь себя под яблоней. И вдруг отстраняешься от себя настолько, что не понимаешь – что за девочка там лежит, кто она, зачем она на этом свете?

Так ничего и не выбрав, Оля решила поступить в университет, на биологический факультет, где только что открылось отделение психологии. Психология – штука расплывчатая, неопределенная, про все сразу и ни о чем в отдельности, это Оле нравилось. Психология тогда стремительно вошла в моду, появились самиздатовские и даже официально изданные (часто в пересказе, с попутной критикой) книги Фрейда, Юнга, Фромма. Это сочеталось и с модой на психиатрию, открытые лекции знаменитого профессора Гамбурга собирали весь мыслящий Саратов, люди сидели в аудитории и на ступенях, и на полу, слушая трехчасовые рассказы об удивительных приключениях человеческого мозга, о роли в истории великих безумцев – полководцев, ученых, художников и писателей, из которых Гамбург особо любил и выделял Достоевского.

На психфаке, как сразу начали называть это отделение, собрались исключительные умницы и умники. Конечно, были и так называемые блатные, дети начальников, из которых половина отсеялась после первой сессии, но в большинстве – молодые люди разношерстного происхождения, не обязательно даже потомственные интеллигенты.

– Я считаю, – сказала мне Оля, – что мы были самым умным и образованным поколением за все советское время. Уж точно образованней своих родителей. Ну, и сексуальная революция началась – лет на двадцать позже, чем на западе. А после нас все пошло на спад. У меня почти все друзья и подруги с высшим образованием, у всех интересная работа была, все чем-то еще увлекались, а дети и внуки у них – кто тупо бизнесом занимается, кто торгует, какие-то менеджеры все среднего звена, ничего не читают, ничем не интересуются, машина в кредит, квартира в ипотеку. И моя Наташка такая же. Стилист, видите ли. Парикмахерша. Нет, она хорошая, на нее спрос, ей это нравится. Купили недавно квартиру, родители Паши помогли, ремонтируют, мебель покупают, счастливы. Я не осуждаю, может, даже завидую. Но не понимаю. Я читала, вас миллениалами называют. Ты это чувствуешь?

– Ерунда это все. Нет, что-то общее есть. Мы спокойнее.

– Вы тупее, Ксюша. Это я не о тебе, а в целом. Мы в вашем возрасте были намного ярче.

И Оля продолжила рассказывать.

В университете она почувствовала себя в своей среде, среди своих. Но на первые роли не претендовала, там и так хватало лидеров. Предпочитала слушать, а не говорить. Однако заметила, что, если говорит, ее очень внимательно слушают. Не сразу поняла, почему. Потом догадалась – от нее чего-то ждут. Был спрос на оригинальность, необычность, экстравагантность. Популяр-

ной, например, была Лара Харина; она жила с очень пожилой матерью в одноэтажном старом доме, в центре, вход сразу с улицы, и Лара устроила у себя что-то вроде салона. Засиживались до ночи, курили, выпивали, разговаривали, мать Лары покорно все это терпела, сидела в своей комнатке-чулане и смотрела телевизор. В доме было еще две комнатки, одну из них Лара часто отдавала на ночь желающим парам. Любила обострять темы, провоцировать, любила, когда приводили кого-нибудь из новых знаменитостей, не обязательно музыкантов или поэтов, или художников, главное, чтобы умом блистал – это была пора торжества чистого разума. Лара подвергала новобранца испытаниям, тестировала его остроумие, скорость полемической реакции, оценивала внешние данные и, если молодой человек ей нравился, она, провожая гостей, могла при всех сказать ему:

– А вас я прошу остаться! – цитируя известнейший сериал «Семнадцать мгновений весны».

И тот оставался, и был какое-то время другом души и тела Лары, а потом надоедал, Лара передавала его одной из своих подруг, обязательно с лестными рекомендациями.

Далеко не все были такие раскрепощенные, как Лара, но она была заметнее.

Интересно, рассказывала Оля, что на их курсе было мало пар, да и вообще, кажется, все больше интересовались учебой, какие-то отношения у многих начинались годам к двадцати, а нередко и позже.

– Ты только что про сексуальную революцию говорила, – напомнила я.

– Революцию делают единицы. Остальные смотрят, хотят так же, но не всегда могут. Настроения в обществе определяются не уровнем реализации желаний, а их вектором.

– Круто сказала.

– А то!

Оля чувствовала неуклонное давление извне. Если девушка такая красивая, а Оля была самая красивая на курсе, если девушка такая умная, а Оля доказывала это выступлениями, докладами и курсовыми работами, то должно же это еще как-то проявиться! В чем-то ярком, в чем-то безусловно неординарном. Это ожидание Олю раздражало, потому что она как раз в это время почувствовала себя страшно обыкновенной. Легко могла что-то выучить и пересказать, но не уличила себя ни в одной мысли, которую могла бы считать своей. Да и нет ни у кого своих мыслей, все в голове собрано из чего-то чужого. И еще Оля заметила, что быстро устает от общения. Две-три минуты разговора, и ей уже кажется, что все это она слышала, все это уже было. И важно не то, что говорят, а то, чего хотят, а хотят все показать, какие они умные, интересные и необычные. Однажды молодой и смелый преподаватель высказался: социальная жизнь похожа на гонку сперматозоидов, в которой везет только одному. Отличие у людей лишь в том, что остальные сперматозоиды тоже остаются живы, но им достаются местечки похуже, они продолжают род там, где бог послал, где повезло. Студенты и студентки одобрительно смеялись, а Оля подумала, что преподаватель прав, но ведь и он ведет себя сейчас как сперматозоид, желая оплодотворить других собой, своим остроумием, остаться в них – хотя бы памятью. Остаться хоть чем-то, запечатлеться – и все, и в этом смысл жизни, что ли?

И Оле в этот момент стало до тоски скучно. Она вдруг поняла о жизни что-то глубоко противное, пошлое, в веках неизменное, от чего не отмахнешься при всем желании.

Она стала терять интерес к учебе, но заставляла себя заниматься, делать все, что нужно. Ухватилась за предложение Лары, которая в это время начала ходить в студию бальных танцев при клубе приборостроительного завода. Она сказала, что у Оли идеальная для танцев фигура. Руководитель студии Костя, крашеный блондин с подрисованными глазами, подтвердил. И не только подтвердил, он восхищался Олей, побежал и принес несколько платьев, мятых и потасканных, но фасонных, попросил Олю переодеться. Оле подошло темно-зеленое платье с глубоким вырезом, ассиметричное, полностью обнажающее правую ногу. Костя, не дав Оле опомниться, под музыку вертел и крутил ее вокруг себя, она чувствовала себя тряпичной куклой.

– Фиксируй! – кричал Костя. – Не болтай руками-ногами! Смотри!

Он показывал: выполнял несколько па и замирал, и опять двигался, и опять замирал.

– Как в стоп-кадре, поняла? Коротко, но чтобы успели рассмотреть! Фиксация! Статика – высшая форма движения! Но к этому надо прийти! Чем энергичней и красивей движение, тем красивей фиксация! Нерв и прерывистость, ритмическая аритмия, страсть, эротика – вот что такое латиноамериканский танец!

– А мы только латиноамериканские будем танцевать? – спросила наблюдавшая Лара.

– Преимущественно. И вальс будем танцевать, и даже кадриль по просьбе трудящихся и руководства клуба. Но вальс – это любовь платоническая, кадриль – совместный субботник, а я сейчас не про это. Я люблю латину и хочу, чтоб вы ее полюбили!

Оля не полюбила латину. Она завидовала Ларе. Та ошибалась, плохо слышала музыку, двигалась неровно, довольно-таки, казалось Оле, даже коряво, но иногда так изгибалась, так застывала, так улыбалась при этом, что Оля понимала: будь она мужчиной, ей бы захотелось немедленно ее обнять, прижать к себе, почувствовать ее.

Сама же она оставалась скованной и неуклюжей, Костя огорчался:

– Такое красивое тело и такое бездарное! Но я вытащу из тебя талант, он у всех есть, я точно знаю!

И вытаскивал, злился, не отступал. Оля готова была бросить дурацкие танцы, но совестно было перед Костей, не хотелось его огорчать.

(И я вела бы себя так же, подумалось мне.)

Однажды к Оле подошел Денис, не очень молодой человек, лет под тридцать, посещавший студию не для танцев а чего-то другого. Он был из актеров второго ряда, на сцене не блистал, Лара рассказывала, что в театре его держат за то, что он великий доставала, снабжает руководство дефицитными продуктами и одеждой, имея связи в саратовской фарцовке. Денис редко улыбался, говорил задумчиво, глядя не на человека, а по сторонам. Его задумчивость была не от ума, как поняла потом Оля, а от заботы: Денис постоянно решал важнейшую для себя задачу – как сделать так, чтобы ему было максимально хорошо с минимальными затратами.

Он сказал Оле:

– Я знаю, в чем твоя проблема. Ты не разбуженная еще.

Оля сразу поняла, к чему он клонит. Лара успела рассказать, что Денис – профессиональный бабник.

Она спросила:

– Хочешь разбудить?

– Как вариант. Нет, я понимаю, девушки ждут – любовь там, романтика, это правильно. Но если любовь появится лет через десять или вообще никогда? Надо пробовать.

И Оля попробовала – сама не понимая, зачем. Подробностей она мне не рассказывала, сказала только, что ей совсем не понравилось, но она терпела. Денис прав – неизвестно, когда влюбишься, а опыт не помешает. Если сейчас сорваться, второй раз пробовать будет намного тяжелее, она это понимала, как будущий психолог, уже разбирающийся в том, что такое негативные стереотипы и насколько быстро они вырабатывается.

Оля не хотела больше встречаться с Денисом, и это был хороший повод бросить занятия танцами. Лара тоже вскоре бросила, она ничем подолгу не увлекалась. Да и не надо ей было: эротической гибкости и своей хватает, а где-то выступать, соревноваться, переживать из-за этого – не ее стихия. «Надо в жизни выбрать то, – говорила она, – в чем ты точно будешь первый. И не тратить время на то, что не твое».

А Оля ни в чем первой быть не хотела. Окружающие перестали ждать от нее чего-то, при своей красоте она сумела стать почти незаметной и на этом успокоилась. Ходила на занятия, не чувствуя в этом необходимости, сдавала зачеты и экзамены, не понимая, зачем это нужно, много читала и без конца слушала песни Гребенщикова. Оле дал кассету один из сокурсников, она переписала для себя, а потом собрала все альбомы «Аквариума», какие смогла достать. Чем темнее и непонятнее были тексты, тем больше они ей нравились. Попробовала слушать и другие русские группы, но там все было или слишком политично, или слишком прямолинейно, или, наоборот,

нарочито и хитро запутанно, да и мотивчики были подозрительно красивенькие. Правда, отдельно нравилась, это уже позже, в восьмидесятые, Настя Полева – за голос. Сначала понравилась и Яна Дягилева, но уж очень тоскливо все у нее было, очень отчаянно, надрывно; Оля не удивилась, когда узнала о ее гибели. К Цою же была совсем равнодушна. Сказала мне о нем так: когда его слушаешь, всегда ощущение, что он на сцене, а ты в зале. При этом потягивает подпеть, желательно массово. А БГ не на сцене, он рядом, но поет не тебе и даже не себе, а просто – поет. И подпеть не хочется, нет такого желания, ты находишься в его песне, внутри.

Мы с Олей потом слушали старые песни Гребенщикова, большинство из которых для меня звучали впервые, я даже потом напевала то, что запомнилось больше всего:

Десять стрел на десяти ветрах,
Лук, сплетенный из ветвей и трав.
Он придет издалека,
Меч дождя в его руках.

Я не понимала, о чем это, кто придет и зачем, но мне нравилось, что этот кто-то придет с ветвями, травами и с мечом из дождя, которого, конечно, не бывает, но это и хорошо.

И вот Оля жила себе и жила, в нее даже не влюблялись, а если кто и влюблялся, ничем не намекал, не пытался подружиться, сблизиться – все равно не выйдет толку. И так она дожила до весны 82 года (в тот год Брежнев умер, уточнила Оля). Однажды спустилась от своего дома к магазину, который был у дороги, шла по тротуару. Была в красном спортивном костюме – мама привезла с каких-то соревнований. Не понимала, почему люди, идущие на встречу, глядят на нее странно. Кто удивленно, кто с улыбкой, а кто и сердито. Обернулась, увидела, что за ней тихо едет машина. Большая, красивая, черная. «Волга». Едет прямо по тротуару, занимая его весь, отчего людям приходится обходить. Они ругаются, всячески обзывают наглого водителя, но покорно обходят.

Оля остановилась. Из машины вышел мужчина лет тридцати пяти, черноволосый, усатый, плотный.

– Ни фига себе, – сказал он. – Еду и боюсь, вдруг ты только сзади красивая. А ты спереди еще лучше.

– Изящно выражаетесь, – брезгливо ответила Оля, давая понять, что с мужланистыми типами не общается.

– Как могу, так и выражаюсь, – не смутился тип. – Садись, подвезу.

– Я уже пришла, – сказала Оля и свернула к магазину.

Мужланистый тип, оставив машину, пошел за ней.

Ходил вместе с нею вдоль полупустых полок и стеллажей, задавал вопросы.

Тут я перебила Олю – мне было очень интересно про типа, но интересовали и подробности:

– Тогда супермаркеты разве были уже?

– Магазины самообслуживания их называли. Универсамы такие. Можешь в интернете посмотреть, там много советских картинок. Лоток с дохлыми курами, которых перед смертью голодом морили, банки трехлитровые с томатным соком и очередь за колбасой. Если эта колбаса была. Господи, до сих пор помню – докторская и любительская, в любительской вместе с жиром, ненавидела я этот жир, ошметки грязи попадались, люди бечевки находили, каблуки от обуви, ногти, даже гвозди.

– Выбрасывать приходилось?

– Еще чего! Вырежешь грязь, поваришь полчаса, пожаришь для верности, яйцом сверху зальешь – деликатес! В этом была своя идиотская прелесть, если подумать. Нет выбора – нет проблемы. Колбаса или докторская, или любительская, или никакой. Яйца – сейчас и такие, и сякие, куча названий, а раньше одна марка, один сорт – яйца! Нет, были еще диетические, по восемьдесят копеек. Хлеб – серые буханки, батоны и булки, и все. Масло бутербродное или сливочное.

Подсолнечное – одинаковое в одинаковых бутылках. Вкусное, кстати. Главное, не тратишь времени – купил, что есть, что досталось, тогда так и говорили – не купил, а достал, – и спокойно идешь домой.

– Я читала, в Москве не так было.

– Само собой. Мама всегда из Москвы полные сумки привозила.

– Ну, так и что? Приставал он?

Мужланистый тип, его звали Виктор, приставал, но вежливо. Осведомлялся, как зовут, сколько лет, где учится или работает, есть ли друг или жених.

Оля делала вид, что не слышит. Брала какие-то продукты, клала в корзинку. Пошла к кассе. У кассы Виктор сказал:

– Извини, – и отобрал у нее корзинку.

Поставил ее на прилавок, спросил кассиршу:

– Марина Робертовна здесь?

Кассирша сразу признала в нем своего:

– Там, в кабинете.

– Никуда не уходи, – сказал Виктор Оле и скрылся в подсобном помещении.

И она почему-то стояла и ждала.

Он вышел минут через пять, нагруженный свертками и пакетами.

– Пойдем.

И Оля пошла за ним, оставив свою корзинку.

Виктор сгрузил все в багажник, открыл дверцу:

– Садись.

И Оля села в машину. И так оно все началось. Виктор оказался делягой широкого профиля – что-то покупал и продавал, выменивал, доставал. Он был насквозь практичный и любил все практичное, дорогое и красивое. Купил трехкомнатную кооперативную квартиру в новом доме (по нынешним понятиям равно пентхаусу), «волгу» последней модели (по нынешним понятиям – «мерседес» S-класса), построил двухэтажную дачу на Волге (сравнимо с домом на Рублевке), при этом заботился и о родителях, обычных работягах, и о младшей сестре, враче-педиатре, и о бывшей жене, с которой бездетно прожил пять лет, а потом мирно расстался и даже пристроил, выдал замуж за своего друга.

Оля видела и бывшую жену, и друга при довольно необычных обстоятельствах. Они отправились с Виктором на дачу, Виктор свернул, он был мрачным и молчаливым в тот день, подъехали к участку, обнесенному высоким новым забором, калитка была открыта, в саду, у недостроенной дачи, сидела компания, несколько мужчин, один из них поднялся, пошел навстречу Виктору со словами: «Вить, Вить, Вить, ты сначала меня послушай!» – но Виктор не стал слушать, ударил его по лицу так, что мужчина отлетел и упал на стол, все разбивая и круша. Виктор схватил его, полулежащего, за горло и начал отвешивать пощечины справа налево и слева направо. Из дачи выбежала бывшая жена, закричала: «Витя, зачем, не надо!»

– Надо, – сказал Виктор.

Муж бывшей жены вытирал обеими руками кровь с лица. Оглянулся, пробормотал:

– Нажаловалась, сука?

Виктор, уже отходивший, вернулся и влепил ему еще раз.

– Она тебе жена, а не сука, понял? А ты давно бы ушла от него, дура!

– Он больше не будет! И он, может, случайно! Да, Саша?

Саша молчал, глотая кровь.

И все, кто были у него в гостях, молчали. Никто не посмел вступиться за Сашу и напасть на Виктора.

Оля гордилась тем, что ее полюбил такой мощный человек. Да, он кажется мужланистым, но это только видимость, Виктор был выпускник Саратовского политехнического института, инженер-автодорожник, увлекался фантастической литературой, играл на досуге с друзьями в

шахматы (пытался научить и Олю, не получилось) и пел под гитару бардовские песни, особенно любил Галича.

Все произошло быстро – Виктор сделал предложение, Оля согласилась, была многолюдная свадьба.

– На которой мой братик, папа твой, впервые напился, – вспомнила Оля. – С непривычки.

– Ему сколько было?

– Пятнадцать.

– А отношения у вас какие были?

– Да никаких. Я сама по себе, он сам по себе. Это потом он, когда большим начальником сделался, вдруг таким добрым стал, прямо ласковым: сестричка, сестричка, Олечка, Олечка, в детстве никогда Олечкой не звал. Наверно, у них любовь к родне в обязательный минимум входит. А я, если честно, к нему совершенно равнодушна. И была, и теперь. Даже не спрашиваю тебя, как он там, все-таки тюрьма, дело несладкое. Но мне все равно. Не обижайся, он твой папа все-таки, но... Читала про всю эту ерунду в интернете, по телевизору смотрела – как что-то совсем чужое и далекое. И тебя, говорю для ясности, совсем не жалко. Я чудная, да?

– Не больше, чем другие. Просто не врешь.

– Врать утомительно. Я и Виктору не врала. Сказала: не уверена, что я тебя люблю, но ты мне подходишь. Если ты так хочешь, чтобы я стала твоей женой, ладно, буду.

Виктора это не смутило, он был уверен, что Оля рано или поздно его полюбит. Особенно когда появится ребенок. Но с этим ничего не получалось, зато Оля окончательно похорошела, все друзья Виктора завидовали ему, а один из них смертельно влюбился, Виталий Суров, он был пьющий и холостой преподаватель литературы в школах, техникумах, вузах – все во множественном числе, потому что раз в два-три года его увольняли, приходилось искать новое место, а еще он репетиторствовал. На свадьбе Суров подошел к новобрачным со стаканом, стоял перед ними, пошатываясь, и кричал:

– Виктор, зачем она тебе? Запомни мои слова: вы и трех лет вместе не проживете! И она уйдет ко мне. Ольга, слышишь меня? Ты уйдешь ко мне. Зачем тянуть, уходи сразу! Нет? Ладно, подожду. Поздравляю, Витя, хоть терпеть тебя не могу, ты же знаешь. Но поздравляю. Горько!

Оля была счастлива. Она получила диплом, но никуда не торопилась устраиваться работать, да и Виктор этого не хотел. Ему нравилось приезжать домой обедать, чтобы жена-красавица накрывала на стол, а потом любила его. Нравилось возвращаться вечером, а часто и ночью, и жена-красавица встречала свежая, с готовым ужином и готовой опять-таки любовью. А Оле нравилось принадлежать сильному человеку, не иметь своей воли в семейной жизни, но во всем остальном она была свободна. Впрочем, поскольку неволя была добровольная, то не во всем остальном, а во всем.

По выходным радушный и щедрый Виктор любил устраивать приемы дома или на даче, съезжалось и сходилось множество друзей, мужчины часто уединялись, обсуждали какие-то свои дела, их подруги и жены, все с отборными внешними данными, общались на темы моды, благоустройства квартир, демонстрировали свои брюлики и золото, рассказывали о своих детях, Оля или помалкивала, или слегка подыгрывала, она была здесь самой младшей, видела, что к ней относятся покровительственно, ее это забавляло. Они и хозяйственной мудрости ее учили, видя, что она не мастерица готовить и наводить в доме уют, Оля благодарно выслушивала и тут же эти советы забывала.

А потом Виктора посадили в тюрьму. По слухам, сдали свои же, убрали конкурента. Срок дали не маленький, семь лет, из которых он отсидел пять.

Пять лет Оля жила в его квартире, куда перестали приходить прежние друзья Виктора, зато появились новые люди. Из прежних оставался только Суров, который то бросал пить, то опять начинал, рано поседел, остался почти без зубов, потому что никогда не ходил к дантистам, а ждал, когда зуб сам выболит и сгниет или вывалится. Если же зуб болел, но держался, Виктор, выпив пару стаканов водки, садился перед зеркалом и выдирал негодяя слесарными щипцами. К сорока

годам он решил проблему – прикопил денег, пошел в стоматологию, попросил удалить к черту оставшиеся зубы и соорудить протезы – и сверху, и снизу. Что и сделали, и Суров обзавелся крупнозернистой белозубой улыбкой, которая была странной на фоне его мятого костюма, несвежей рубашки, небритого подбородка и желто-серой седины, жесткой и кудлатой, как шерсть собаки. К тому же челюсти оказались неудобными, Суров надевал их только в гости и на работу, а по пьяному делу периодически терял.

Суров приводил с собой то одного приятеля, то другого, своих бывших студентов и учеников, любивших его язвительные речи, квартира Оли стала тоже чем-то вроде салона, как у Лары, и там перебывали все саратовские знаменитости. У Оли сложилась репутация высокоинтеллектуальной гейши с загадочной и трагичной судьбой (после посадки Виктора она полтора месяц провела в психоневрологическом диспансере), молодые люди добивались ее внимания, а еще лучше дружбы, а еще лучше любви. По каким-то своим соображениям Виктор велел Оле подать на развод, что она и сделала, и их легко развели, половина квартиры была к тому времени записана на нее, денег ей Виктор тоже оставил, Оля была обеспеченной и свободной, временами работала то в библиотеке, то в музее, то ассистентом режиссера на телевидении – везде устраивали друзья и знакомые, но предпочитала сидеть дома и принимать саратовских интеллектуалов, почти каждый вечер сходившихся выпить и обсудить политические события, которые становились все горячее – началась перестройка. Молодым людям, влюблявшимся в нее, вернее, в ее красоту и славу, Оля иногда уступала. Правда, напор был, как правило, таким слабым, робким и неуверенным, что ей приходилось все устраивать самой – делать так, чтобы остаться с избранником наедине поздним вечером или ночью. И не то чтобы очень хотелось, а – для эксперимента, чтоб не скучно было. Или вовсе неизвестно, для чего. Влюбившемуся интеллектуалу приходилось предпринимать какие-то шаги, что-то делать. Иногда получалось. Длилось, как правило, недолго. Один из умников заметил, довольно зло: «Ты как Москва, которую Наполеон взял. Взять-то взял, а Москва вся сожженная, и нет никого». Оля оценила точность сравнения и даже не обиделась.

Нет, она пыталась ответить взаимностью, влюбиться, пробовала это изобразить, но получалось плохо.

А потом вернулся Виктор. Оля хотела сама все ему рассказать, он не стал слушать, приказал в течение суток освободить квартиру и выразил желание не видеть больше Олю никогда.

Она вернулась к маме, подыскивала работу, но тут навалилась тоска, депрессия, черная меланхолия, дошло до психдиспансера, потом был период довольно долгой ремиссии, возник опять Суров, который бросил преподавать и пить, устроился в какую-то коммерческую структуру, неожиданно для самого себя, сугубого гуманитария, увлекся там компьютерами и стал незаменим как айтишник (слова такого еще не было, но специалисты уже были, все сплошь самоучки), приоделся и в очередной раз сделал Оле предложение. Оля замуж не хотела, но согласилась с ним пожить. Результатом совместной жизни и стала Наташа. И все несколько лет было хорошо, но тут коммерческую структуру Сурова разгромили, причем разгромили, в том числе и физически, не пожалев сотрудников, Сурова покалечили так, что он получил нерабочую группу инвалидности и охромел на всю оставшуюся жизнь; через год, полежав уже не в диспансере, а в серьезной психиатрической клинике, «на Алтынке», как называют ее в Саратове, получила инвалидность и Оля. Некоторое время они существовали вместе, два полунищих инвалида, мучая друг друга (Наташа жила у бабушки), а потом расстались...

– И жизнь на этом фактически кончилась, – подвела черту Оля. – Двадцать лет, как один долгий день. С перерывами на лечение.

– А что у тебя?

– Периодическая шизофрения, то они ее рекуррентной взывают, то шубообразной, еще то название, сами толком не разберутся. Да неважно, спасибо, что инвалидность дали, знакомые врачи помогли. Фокус в том, что когда я там, мне хорошо. Я им говорю, врачам: слушайте, оставьте меня тут, зачем вы меня лечите? Я вся такая расслабленная, плыву, даже депрессии нет, но и эйфории нет, а такое, как бы тебе объяснить... Приятное несуществование. Нет, лечат, отпускают домой –

до следующего раза. Олег приезжал однажды в клинику, когда в Саратове был, изображал заботливого брата, говорил с врачами, звал в Москву. Я не захотела. Не хочу никому быть обязанной. И потом, вдруг там окончательно вылечат? Жить все время нормальной, нет уж, извините. Тоску я на тебя нагнала, да?

– Нет. А вино – помогает?

– Не очень. Расслабляет слегка, затуманивает. Если только таблеточку сверху накинуть. Хочешь попробовать?

– Нет! – испугалась я.

И тут же:

– Можно...

– Главное – не увлекаться, не превышать дозу.

И мы накинули по таблеточке, и мне почти сразу же стало весело и ясно.

День прошел незаметно, к вечеру я опять сходила в магазин, купила еще одну бутылку вина, а заодно штопор, мы выпили и отправились гулять – к Волге, по набережной.

Там было прекрасно – белые теплоходы у причалов, террасы с цветниками, поднимающиеся от парапета к ряду домов сталинского типа. После набережной начиналась длинная асфальтовая тропа вдоль бетонной стены, здесь гуляла молодежь, разбавленная старичками и старушками. Все старички и старушки казались мне исполненными необыкновенного достоинства и заслуженного самоуважения, все юноши и девушки – красивыми и стройными. Я любовалась ими, радовалась за них, но не хотела быть с ними. Подумала: может, это и есть что-то вроде несуществования? Ты здесь, но не озабочена тем, чтобы себя кому-то показать, чтобы кому-то понравиться, с кем-то общаться, ты невидимка, в том числе для себя, твои мысли словно не в тебе, а вовне, витают над людьми и над тобой, а ты за ними наблюдаешь. Было ветрено, Оля отворачивалась, придерживала рукой соломенную шляпу дачного фасона, смеялась, и я тоже смеялась, и это было красиво и правильно – что ветер, что Оля держит шляпу и смеется. В этом был глубокий, настоящий смысл, только я не понимала, какой. Приблизительно говоря: в том, чтобы придерживать шляпу, когда дует ветер, намного больше значения, важности, пользы, чем в большинстве дел, которые люди считают значительными, важными и полезными.

Через два дня вернулись из Турции Наташа и Паша. Наташа знала о моем приезде (созванивалась с матерью), ни о чем не спрашивала, я оценила ее деликатность.

Я любовалась ими: оба высокие, изобильные без чрезмерности, глаза у обоих с синевой, они были похожи, как брат и сестра. С первого взгляда казалась, что в этой паре Наташа главная – напористей, резче, громче, но потом становилось ясно, что Паша, мягкий и уступчивый на словах и в мелочах, в серьезных вещах брал верх и показывал, кто в семье хозяин.

Они подробно рассказали о своем отдыхе, давая всему оценку, что было похоже на какое-нибудь видео с туристического сайта отзывов. Погода не понравилось обоим – слишком жарко и влажно. Море для Паши было грязноватым и слишком мелким у берега, Наташа возразила, что зато там песок, а не камни, мелкое море хорошо для детей и тех, кто не умеет плавать. Номер в отеле им дали с окном не на море, как обещали, а на забор и стройплощадку нового отеля, Наташа и Паша вызвонили представителя турфирмы, настояли, чтобы он приехал, вместе с ним пошли к администраторам, администраторы все валили на представителя, а представитель на них, они спорили и тыкали пальцами в какие-то договорные бумаги, в результате представитель извинился и предложил доплатить две сотни долларов за другой номер, Паша соглашался, Наташа уперлась и сказала, что лучше будет спать прямо вот тут, на рецепции, на диване, и сейчас же напишет во всех одноклассниках и вконтактах, как их кинули, испортит репутацию и турфирмы, и отеля навсегда. Конфликт разрешился компромиссом: дали-таки номер с видом на море, но сотню долларов все-таки слупили.

– А шведский стол был отстойный, – сказала Наташа. – Помидоры и огурцы парниковые – это в Турции-то, летом-то!

– Да нет, терпимо, – не согласился Паша.

– Да? А почему мы в кафе каждый второй день ходили?

– Для разнообразия.

– А я о чем? Шведский стол – это и есть разнообразие, если он правильный!

– Было там разнообразие, – сказал Паша. – Но какое-то однообразное, быстро надоело.

– А кондишен в номере был дрянь, шумел как трактор! – сообщала Наташа.

– Это правда, – кивал Паша.

– И аквапарк в рекламе был написан, а оказался обычный бассейн, только два этих... Трамплина или как они?

– Водные горки, – подсказал Паша.

– Горки, да, но они такие, с трубами, только для детей, взрослый не влезет.

– Смотря какой взрослый! – улыбался Паша, оглядывая Наташу.

– Без намеков, я видела, там никто из взрослых не помещался! И даже чайника в номере не было, я чай с собой привезла, чтобы попить спокойно, не мотаться куда-то, а чайника нет!

– Кулер в коридоре был, – оправдал Паша.

– Кулер? Там вода даже до девяносто градусов не докипячивается, ты что, брал оттуда? Ты кипяток приносил пару раз, оттуда, да?

– Оттуда! – смеялся Паша, довольный, что провел жену. – И ничего ведь не случилось.

– Твое счастье, Паша! Я бы тебя убила, если бы инфекцию подхватила там! Из кулеров вообще воду брать нельзя, знаете, почему?

Это был вопрос не риторический, Наташа ждала удивленного вопроса. Оля в это время глянула на меня, и во взгляде этом я увидела легкую иронию по отношению к дочери. Но она спросила Наташу податливо, как бы серьезно:

– Почему?

– Потому что в этих бутылях неизвестно какая вода! Вода еще ладно, а вы представляете, что там внутри? Там же всякие трубочки, краники, вода через них течет, это же никогда не чистится! Я почему знаю, у нас в салоне, где я раньше работала, кулер стоял, что-то там сломалось или засорилось, мастер приходил, вскрыл его, я посмотрела – там грязи, как в канализации!

– Зато русских мало было, – сказал Паша.

– Это да. Немцы были, но они еще хуже русских. Бесцеремонные какие-то.

– Ты англичан не видела!

– А ты видел?

– Видел на чемпионате, когда ездил.

– Он на футбол ездил, на чемпионат мира, бешеные деньги заплатил, – пояснила Наташа. – А в отеле, между прочим, ничего спортивного не было практически, один теннисный корт.

– И тренажерный зал, – уточнил Паша.

– Мужской! Ничего для девушек – вообще! Зато спа-салон приличный, только платный. Потому и приличный, что платный. На четверку с плюсом.

Так они описали и оценили все. Экскурсии в какой-то доисторический город, от которого остался только фундамент, Наташа поставила двойку, Паша – слабую троечку, анимации, увеселению гостей фокусами, акробатикой, танцами и пением, Наташа присудила три с минусом, Паша поставил ноль, обслуживающий персонал был награжден Наташей твердой четверкой, Паша снизил на полбалла, до тройки с плюсом.

Они, как и тот запомнившийся мне в загсе человек цены-качества, во всем знали толк, понимали настоящую стоимость всего, но меня это не раздражало. Я видела, что и Олю это забавляет, мы с ней были заодно, взрослые члены семьи, которые слушают рассказы детишек о приключениях в летнем лагере.

Особенно Паша похож был на большого ребенка, бывают такие мальчики-мужички, степенные, рассудительные и на взрослых глядящие сверху вниз, независимо от роста. Имя ему очень шло – мягкое, как его русые волосы. Пшеничные волосы – по созвучию. Паша – пшеничные. Еще слово пашня подходит. Нараспашку. На раз Пашку. Что-то в словотворчество меня ударило. Оттягиваю момент, когда надо рассказывать о том, как я у своей двоюродной сестры чуть мужа не увела. Почти увела. Странное выражение, на самом деле никто никуда не уводится.

Но по порядку.

Мы сидели с Пашей за столом, он переключал каналы телевизора, Оля сидела на балконе, курила и смотрела на закат, Наташа в кухне мыла посуду с дочерней заботливостью.

– Читал я про твоего отца, – сказал Паша. – Считаю, все вранье.

– Теперь все равно.

– Не хочешь об этом? Извини. Ты правильно сюда приехала. Только в городе нечего делать, надо на дачу. Родители новую построили, а эту мне отдали. Старая, но там приятно. Я ее переделаю, ремонт вот закончим в квартире, не все сразу. Там до Волги десять минут. Пристанное, знаешь?

– Я тут ничего не знаю.

– Отличное место. На участке у нас яблоням лет сорок, тень, как в лесу, в любую жару прохладно. Причем, ты заметь, за яблонями давно никто не ухаживает, а яблоки все равно растут замечательные. И много. Наташка говорит – срубить, все пересадить заново. Зачем? Дача – не огород. Я отдыхать там собираюсь, а не грядки копать. А потом я ее все равно продам, куплю у самой Волги. Там есть дачи на берегу, не прямо у воды, а обрыв там такой, но он не осыпается, крепкий. И там у многих сараи с лодками, с катерами, а вниз стапель. Спускают прямо с дачи в воду, удобно. Хочу катер купить подержанный и доделать, у меня друг в этом соображает. В прошлом году купил «Ямаху» десятиметровую всего за триста тысяч. Убитая была, он ее привел в порядок, красотка стала такая, что... Продал – угадай, за сколько?

– Даже не представляю.

– Ну, навскидку?

– За миллион?

– За полтора! – радовался за друга Паша. – Подумаю и тоже таким бизнесом займусь. У меня и сейчас все налажено, машины восстанавливаем, я практически совладелец. Но в перспективе хочу на новые машины переключиться, на продажу. На старые спрос все меньше. Нет, спрос есть, но цены падают. А деваться некуда – или ты продашь за столько, за сколько возьмут, или вообще не продашь. Раньше, отец рассказывал, люди хватали любые, лишь бы колеса. И краденые, и утопленников, это которые тонули, и горелые. Сейчас все требовательные стали. Ты на чем ездишь?

– Сейчас ни на чем.

– А нравится что? Или все равно, не разбираешься в машинах?

– Почему? Даже увлекалась. Не то чтобы ездить, это не очень, а что-то почитать посмотреть, это интересно. Есть очень красивые машины.

– Я себе «мицубиши»-кроссовер взял, пятилетку. Почти даром. Все говорили – там проблем полно, многие смеются даже – что за фирма, если она кондиционеры выпускает, какие у них машины могут быть? А я им говорю: между прочим, они еще бомбардировщики и истребители выпускают! И главное – да, в машине проблемы, но руки есть или нет? Голова есть? Она у меня теперь с места рвет за десять секунд до ста, я на светофоре всегда первым ухожу. Не говоря, что по любой пересеченной местности легко проедет.

Паша говорил размеренно, уверенный, что мне все это интересно. В нем виделся человек, обо всем имеющий крепкое мнение. Заурядное, ограниченное и непоколебимое.

Но я с удовольствием впитывала каждое слово. И голос нравился – высоковатый, почти подростковый, но без ломки, устоявшийся.

Мне нравилось помалкивать и чувствовать себя его послушной женой, влюбленной в ум и упорядоченность мужа, надежного, как фундамент дома.

Наваждение какое-то, думала я. Кто в последнюю очередь мне должен быть интересен, так это Паша. С детства, при всей любви ко всем людям, была равнодушна к тем, в ком нет хоть чего-то отличительного, выделяющегося. Паша был образцово обыкновенный. Если взять всех молодых людей его возраста в России, а то и в мире, смешать или приплюсовать друг к другу, а потом поделить и найти что-то среднее, общее, это и будет Паша.

Но понимаете, в чем дело? Я в это время ощущала себя выздоровевшей от неизвестной болезни. Сравню вот с чем. Допустим, есть здоровый человек, который любит спорт. И смотреть любит, и сам занимается. Он бегает, прыгает, он спускается с гор на лыжах и сноуборде, он летит за пять тысяч километров, чтобы оседлать волну на своем серфе, чем чудней, тем интересней, чем сложней выворотны и повороты тела в движении, тем увлекательней. И вот с ним беда, попал в аварию, год лежал без движения. Заново учится ходить. И понимает, что просто ходить, идти, переступать ногами – наивысшее удовольствие!

Вот и я получала огромное удовольствие, слушая, как Паша переступает простыми словами, повествуя о своих простых мыслях и желаниях.

Очарование нарушила Наташа.

– Ксюха! – крикнула она из кухни.

Позвала голосом очень старшей сестры. Командирши.

Я пошла к ней.

– Ничего, что я так? – спросила Наташа.

– Как?

– Ксюха? Тебе как привычно?

– Можно Ксю.

– Хорошо. Ты надолго сюда?

– Недели на две, на месяц.

– Взяла бы мать – и на дачу. Паша рассказывал про нее? Про дачу?

– Да.

– Упираться будет, попробую уговорить. Она почему туда не любит? Потому что с голода пропадет. Она и тут, если все кончится, до магазина не дойдет, а там его вообще нет, в поселок надо идти, а для нее это – как на северный полюс. Ты, наверно, приехала, а она тут без ничего была?

– Да, почти.

– А ведь я ей все оставила! Борщ сварила, риса кастрюлю, он долго хранится, голубцов навертела, короче, все было, а она... – Наташа посмотрела в сторону двери. – Не совсем здоровая, ты же понимаешь.

– Понимаю.

– Ну вот. А вдвоем с тобой она, может, согласится. Природа, воздух.

– Хорошая мысль.

– Еще бы. А я Пашку уговорю дачей заняться. Я с ним не всегда могу поехать, а ему же мало работать, ему надо, чтобы кто-то рядом был. В мать свою пошел. Отец у него неделю молчать может, а мать, она в торговле у нас, она задохнется, если поговорить не с кем. С утра до вечера. Не то чтобы терпеть нельзя, но неприятно, когда все время бла-бла-бла. Вот Пашка такой же. Чтобы было с кем-то поговорить. Ну, и будет с вами говорить и понемногу перестраивать там все. Мешать не будет, наоборот, вам даже тоже веселее. Как ты на это?

– Да, здорово. Если чем-то помочь... Я в смысле – финансами. На стройматериалы или...

– Нет, Ксю. Давай сразу договоримся, если ты захочешь продукты купить или... Ты ведь и для себя тоже, мы тебя кормить не обязаны. – Наташа рассмеялась, одобрив свою шутку. – Но что касается нам денег дать – нет, спасибо. Я деньги люблю, я даже жадная, Пашка обижается на меня, экономлю, копить стараюсь, его расходы контролирую, но это свои деньги, а чужих я боюсь. Пунктик у меня. Бабушка такая же была, но она из принципа, а я из страха. Случай в детстве подействовал: нашла деньги на улице, прямо на улице лежали, иду – лежат. Вокруг никого, отдать некому. Взяла, пошла в магазин, купила зефир в шоколаде, съела целую коробку, газировкой за-

пила. И ночью такой приступ, что скорую вызвали, и в больницу. Думали аппендицит, обошлось. Но я на всю жизнь напугалась, чтобы теперь чьи-то деньги взять – да ни за что! Чаевые за работу – это пожалуйста, мне больше всех дают, ко мне очередь на месяц вперед. Ничего, что хвастаюсь?

– Ты же не чем-то, а работой.

– Само собой. Нет, есть моменты, когда мужчины записываются, чтобы на меня в зеркало смотреть. Напрягает иногда.

– Стесняешься своей красоты?

– Бывает.

Тут Наташа и порассуждала о том, как трудно быть красивой, я уже рассказывала об этом.

И продолжила строить планы насчет дачи.

Я слушала ее, как и Пашу, с огромным интересом, мне открывался какой-то неведомый мир.

Слушала, а сама думала: какая ты хорошая, Наташа, какая порядочная и правильная, как хорошо будет детям с такой мамой, но какая я буду гадина, если твой Паша изменит тебе со мной. Мне даже страшно стало – никогда не угадывала будущее и не пыталась это сделать, а тут появилась уверенность, что это случится, такая прочная, будто уже случилось, будто я стою рядом с ней, предательница, и изо всех сил стараюсь не выдать себя чем-нибудь, а затылком, спиной чувствую, как за стенкой сидит Паша, виноватый и счастливый, и думает обо мне.

– Что? – переспросила я, уловив, что Наташа говорит о чем-то важном на ближайшее время.

– Я говорю – ее бы на день рождения туда увезти, но не захочет. Тут с утра до вечера такое будет, весь Саратов сойдется, у нее тысяча друзей. Прямо парад старперов. И она ведь никого не хочет видеть, зато ее все хотят видеть. И ей надо, чтобы все увидели, как она никого не хочет видеть. Даже одеваться не будет, ничего готовить не будет, все опять будет на мне.

– Я помогу.

– Да ладно, я все дома приготовлю, привезу, не первый раз. Так удобней, у нее даже духовка не работает. И стола нет, опять будут на ногах есть, сорить по всему полу. Ничего, я готовить люблю. Ты любишь?

– Не очень.

– А я люблю. На курсы кондитеров ходила, у меня мечта – открыть кафе с выпечкой. Типа «Яблоньки», но лучше и дешевле. У вас есть «Яблонька»?

– Не знаю.

– Это сеть такая.

– Но ты же стилист.

– Сейчас да, но надоест же. Психологи говорят – надо каждые семь лет менять работу или профессию. После кондитера я хочу дизайном квартир заняться, а потом купить мини-отель. Два-три домика на берегу Волги, бассейн, баня, ну, весь набор. И на этом успокоюсь.

В кухню вошла Оля.

– О чем речь?

– О твоем дне рождения.

– Я ничего не собираюсь устраивать.

– И не надо, поедем на дачу, Паша сбацает шашлычок, посидим без никого, только мы.

– Получится, что сбегаю. Не хочу нарочно сбегать. И придут же люди, как обычно.

– Я тебе говорила! – Наташа обратилась ко мне, как к сообщнице. – Всегда так: сама потом ругается, зачем приходили, а сама их встречает!

– Я не встречаю, а терплю. И неприлично, Наталья, говорить о матери в третьем лице.

– Мам, ты чего? Я же любя!

Наташа обняла плечи матери локтями, потому что руки были в перчатки, чмокнула ее в макушку.

Я смотрела, и мне почему-то казалось, что не дочь обнимается с матерью, а две посторонние женщины, одна молодая, другая пожилая, зачем-то прижались друг к другу, пожилая при этом опустила руки и терпеливо смотрит в сторону, ожидая, когда кончится ненужное объятие.

Но я их любила обеих. Наташу в этот момент чуточку больше, потому что была виновата перед ней своими мыслями.

В день рождения Оли Паша приехал с утра и начал носить кастрюли, судки, сковородки, пакеты, коробки, посуду и все прочее, включая вилки, ложки и ножи – у самой Оли почти ничего не было. Сама она лежала на диване в удобных и мягких спортивных брюках, не раз стиранных, в футболке лимонного цвета, тоже не новой, с гладко зачесанными волосами, с планшетом в руках и в наушниках, что-то смотрела, не обращая на нас внимания. Этот планшет, подарок Наташи, стал ее любимой игрушкой, она даже в туалете с ним не расставалась, а однажды я видела через приоткрытую дверь, как она чистит зубы, поставив планшет на полку и продолжая что-то смотреть.

Я размещала все в холодильнике и на плите, разбирала посуду, раскладывала ложки-вилки по отделениям выдвижного ящика.

Никогда не обращала внимания, на чем я ем и чем я ем. У нас дома были какие-то тарелки и чашки, наверное, фарфоровые, какие-то ножи и вилки, кажется, серебряные, сроду я не вглядывалась в них. А тут все рассматривала, все мне было интересно. Это были разрозненные остатки бывших сервизов, бывших столовых наборов – вот ножи с синими пластиковыми ручками, с пузырьками воздуха внутри, а вот цельнометаллические, с виньеточным тиснением на рукоятках, а вот одинокий нож с деревянной ручкой, большой, тяжелый, остро наточенный. Тарелки и белые, волнистые по краям, пожелтевшие с обратной стороны, и с золотистой каемкой, и с бледно-зеленым узором по кругу, некоторые с трещинками и щербинками по краям. Если представить эту утварь в магазине, то выглядела бы она бедной, некрасивой, но теперь, пожив и послужив, кажется родной, домашней. По-прежнему некрасивой, но эта некрасота воспринимается как родственная, своя, от тебя неотъемлемая. Вот почему, наверное, понимала я не опытом, а умом, люди не расстаются со старой посудой, старыми вещами и мебелью. Это уже часть тебя, как ее отнять?

Паша принес все, помогал мне, мы иногда слегка касались друг друга, но наваждение прошло. Значит, я все себе придумала. Но вот мы потянулись одновременно за тарелкой, руки столкнулись, мы оба убрали руки и оба опять потянулись к тарелке, засмеялись.

– Бросим монетку, кому достанется, – сказал Паша.

– Да ладно, ты иди, я тут сама.

– В магазин еще надо. Вина купить, торт, по мелочам кое-что. Давай вместе.

– Давай.

Поехали в «Магнит». Всего-то пять минут, но за это время Паша успел подробно рассказать, как он улучшил салон любимого автомобиля – сменил обшивку, поставил новый кондиционер, оборудовал сиденья подогревом, вмонтировал мощную аудиосистему, и много еще чего.

Когда, купив все, что надо, подошли к кассе, я увидела знакомую казашку. Она улыбнулась мне и спросила Пашу:

– А виски не купили?

– Чего? – не понял Паша.

– Она сказала, вы виски любите.

– Когда, кто?

– Жена ваша, – девушка кивнула в мою сторону.

И по моему виду поняла, что явно попала мимо, махнула рукой:

– Извините, я вас с другими спутала. Недавно тут работаю, обозналась, извините, пожалуйста!

Она так нервничала, будто ее могли за это уволить.

– Да ладно, проехали, – успокоил ее Паша.

Он шел к машине и благодушно ворчал:

– Виски какое-то, жена какая-то, бред.

– Она же сказала – приняла за других.

– Значит, мы на мужа и жену похожи! – со странным удовольствием сказал Паша. И тут же добавил: – Шучу. А виски, кстати, я терпеть не могу. Отец самогон гонит лучше любого виски. Вот говорят, там сивушные масла. А врачи открыли, что сивушные масла – полезные! Они как-то печень защищают или что-то, не помню. Короче, дело в концентрации, отец так гонит, а потом так фильтрует, что у меня похмелья сроду не было. Я вообще редко болею. Во-первых, не увлекаюсь, во-вторых, организм нормально все перерабатывает. Батя литр может уговорить и с утра на работу спокойно идет. Ну, не литр, но почти.

Мы приехали, доставали продукты из багажника, и был момент: я нагибаюсь, беру пакет и ясно чувствую прикосновение к своей талии. А талия обнаженная, потому что на мне был топик. Я не нарочно его надела, честное слово. Очень жарко было в тот день, я и надела топик. И шорты. И вот – прикосновение. Но какое-то необычное. Что-то вроде тактильной галлюцинации – то ли было, то ли нет, но напугало, как пугает то, что вдруг касается тебя в темноте – бабочка или паутина, у меня так было во дворе нашей усадьбы, где я иногда допоздна заигрывалась сама с собой в прятки: укрывалась за куст или за какой-нибудь постройкой, сидела там, посмеиваясь над теми, кто меня искал, хотя меня никто не искал, я это придумывала.

Я резко выпрямилась, чуть не ударилась головой о крышку багажника, оглянулась. Паша успел отвести глаза, но я поняла, куда он смотрел.

С этой минуты все стало иначе. До этого Паша вел себя со мной свободно, без всякой неловкости, после этого у него даже голос изменился – был громким, веселым, с удовольствием себя слушающим, этому голосу было все равно, к кому он обращен, а стал бесцветным, стал тише и ниже. Мы отнесли все в квартиру, Паша сказал, что пока все, ему пора, приедет с Наташей часов в шесть.

– До вечера, Оль! – крикнул он из прихожей в комнату, не видя Оли.

– Пока, – ответила невидимая Оля.

– Ну все, пошел, – сказал мне Паша. – Работа еще сегодня.

И мне бы тоже сказать: «Пока!» – и отпустить его. Но я видела, что он озадачен, хочет о чем-то спросить или что-то сказать, и это его тормозит. И я, подлая девушка, воспользовалась. Предложила:

– Может, кофе хочешь?

– Ты знаешь, а хочу! – удивился Паша. – Сам вот думал – чего-то я хочу, и понял – кофе, да. Давай. Варить умеешь?

– Нет, если честно. У нас автомат, только на кнопки нажимать.

– А я в турке люблю. Сейчас сварганим!

И он прошел в кухню, долго рылся в посуде, но турки не нашел, спросил у Оли, та сказала, что заваривает кофе прямо в чашке.

– Кто бы сомневался, – пробормотал Паша. – Ничего, есть варианты!

Он взял маленькую кастрюльку с ручкой и принялся варить кофе, объясняя, как правильно это делать. Попутно научил меня, что день нельзя начинать с кофе или чая, как все делают. Его отец уже двадцать лет выпивает с утра натощак пол-литра воды и прекрасно себя чувствует. Обычной воды, можно даже из-под крана, но лучше из бутылки, а еще лучше – размороженную. У его отца в морозилке всегда несколько бутылок, он достает одну с вечера, к утру она оттаивает, и он ее выпивает. Причем оттаявшую воду надо пить всю и сразу, если она постоит, уже не то. А чтобы лучше действовала, надо ее чуть подогреть. Градусов до шестидесяти, не больше, иначе вода потеряет свои полезные свойства. Вот и Паша с утра пьет подогретую талую воду, и никаких проблем с желудком или еще чем-то. В идеале надо и днем выпивать литр-полтора, но это как получится, а утром – обязательно. А уж после воды можно и кофе, и все остальное. И позавтракать. Считается, что овсянкой надо завтракать. Ни в коем случае. Нет, можно, но только если она цельнозерновая, а цельнозерновую варить полчаса, это долго. Самое оптимальное – омлет. И пара кусочков сала.

– Сала? – поражалась я.

– Сала! – с гордостью за свои знания подтверждал Паша. – Организму с утра нужны жиры! А сало прекрасно усваивается, это вообще диетический продукт. У отца есть мужики знакомые, фермеры, он регулярно сало у них берет. Экологически чистое, отличное, во рту тает. А если с черным хлебушком! – Паша покачал головой и зажмурился. К нему вернулись веселость и громкость, он, видимо, решил, что недавний казус был случайностью. Ну, засмотрелся на красивую талию красивой девчонки, почему нет, он ведь здоровый молодой мужик, это ничего особого не означает!

Мне досадно было, что Паша так быстро пришел в себя. Надо его чем-то задеть. Зачем задеть, почему задеть? Об этом я не думала, но понимала – надо. Задеть, зацепить.

По глупости и неопытности придумала самый идиотский вариант. И самый, как оказалось, действенный. Спросила:

– Паш, извини, что интересуюсь, вы с Наташей давно вместе, а почему детей нет?

И даже глазки глуповатыми сделала – вроде того, сама знаю, что немного дурочка, но уж прости, красивой девушке в девятнадцать лет много ума иметь даже и не идет.

Замысел был – пусть Паша думает, что я сомневаюсь в его мужских свойствах и возможностях.

И он защитил их, сдал жену сразу же:

– Да Наташка не хочет. Говорит – минимум в двадцать восемь, еще три года ждать. У нее все подруги такие, только Полина в девятнадцать родила, у нее сын уже в школу этой осенью пойдет. Я ей говорю: приятно же детям, когда родители молодые. Тебе вот, говорю, разве хорошо, что у тебя мать пенсионерка? Она как бабушка тебе!

– Оля бабушкой не выглядит.

– Я по факту! Я хочу с сыном вместе в футбол и теннис играть, плавать, все вообще делать, другом ему быть, как отец со мной, у меня отец до сих пор молодой. А мне скоро тридцать, если сын родится в тридцать три, то сколько мне будет, когда ему восемнадцать исполнится? Пятьдесят с лишним!

– Сейчас это не возраст.

– Да, но все равно – не то. Мы десять лет с Наташкой уже, пора бы, а она все...

Паша слегка загрустил.

А я?

А я радовалась, что сумела причинить ему боль, пусть и небольшую. Боль – это личное. Это способ сблизиться.

Паша взял кастрюльку, долил себе остатки кофе. Сказал:

– Ты ведь тоже торопиться не будешь. Вы для себя сейчас живете.

Ага. Это уже ответный выпад. Отлично.

– Паш, ты зря, дело не в нас, не в женщинах. Главное – от кого родить. В этом проблема.

– От меня родить, что ли, нельзя? – завелся Паша.

– Можно. Поэтому она и не спешит. Ты же никуда не денешься.

Молодец, Ксю, сказала я себе. Обвинила мужчину в несвободе. Нет ничего обиднее, посмотрим, как отыграется.

И Паша отыгрался:

– Опасное заблуждение! – выразился он почти с пафосом. И тут же испугался – вдруг я не так пойму, да еще отсутствующая Наташа витала над ним, и он исправился: – Я не конкретно о себе, а в целом. В жизни все может случиться. У нас в мастерских электрик был, мужик в возрасте, опытный, убило током. Полез в трансформатор без перчаток, без коврика, он и раньше так делал, хвалился – меня тысяча вольт, говорит, била. Нет, мало ли, смотря какое напряжение, но он и правда, я сам видел, обычную сеть, на двести двадцать, голыми руками хватал и только смеялся. Индивидуальная особенность. А тут полез – и горстка пепла. Шучу. Целый был, только синий, как... Как труп, короче. Кем он и был. Никто не знает, что будет завтра, правильно?

– Да, – кротко согласилась я.

– И я о том же.

Паша опять успокоился. Надо было взбодрить. Прямо, грубо, с провокацией. Пусть думает, что я заигрываю.

– Вдруг встретишь кого-то, увлечешься, сам будешь не рад, а ничего с собой не поделаешь, – сказала я ласково и печально, заранее сочувствуя Паше и Наташе.

– Вряд ли, но не исключается. Жизнь полна неожиданностей. Я даже допускаю, что она тоже кого-то может встретить. Хотим мы того или нет, но в каждом человеке есть что-то иррациональное, – рассудил Паша. – Весь вопрос, насколько серьезно. Допустим, у человека снесло голову, но он держит себя в руках, оценивает ситуацию. Понимает, что это только эпизод. И возвращается обратно.

Паша поднял чашку, допивая кофе, и поверх ее края посмотрел на меня сузившимися прицельными глазами. Словно другой человек выглянул – расчетливый, не такой простодушный, каким он мне представлялся. Вернее, каким я его придумала.

– Ты простишь, если жена может изменить? Такой толерантный?

– Кто сказал? Убью сразу. Но потом да, прощу. А если серьезно, каждый человек имеет право на ошибку. Только ей не говори. В смысле, что я про это говорил, – уточнил Паша.

– И не собиралась.

– Умница.

Он поставил чашку на блюдце с удовлетворенным видом человека, закончившего дело. Будто мы с ним договорились о чем-то. Я и сама это чувствовала: да, договорились.

Стало страшновато. Я вспомнила Ясу, ее слова о том, что иногда – накатывает. Так накатывает, сказала она, что хоть на улицу беги и отдавайся первому встречному. Со мной впервые в жизни это случилось, именно накатило, но бежать на улицу и искать первого встречного не надо было, тот, кто был нужен, сидел передо мной.

– Жарко у вас в Саратове, – сказала я. – В Москве так не бывает.

– Ничего, привыкнешь, – с усмешкой сказал Паша. Даже не с усмешкой, а с насмешкой – жалея меня, слабую девочку, которая не может сопротивляться тому, что неизбежно.

Он теперь во всем будет искать второй смысл, подумала я. Пусть. Это щекотно, это заводит. И его тоже.

– Ну? – сказал он. – Я пошел?

Имея в виду: если хочешь, могу что-то добавить для ясности. А можем оставить и так.

– Хорошо, – покорно сказала я.

Отпуская, но давая знать: я на все согласна. Согласна со всем, что он может сделать.

Паша кивнул, встал, я тоже встала, он оглядел меня уже откровенно, с улыбкой уверенного победителя, и позволил себе высказаться прямо:

– А ты в порядке, Ксенчик. Прямо модель.

Из всех вариантов имени этот самое нелюбимый – Ксенчик. Птенчик. Но я приняла как подарок, застенчиво вымолвила:

– Спасибо.

– Тебе спасибо! – со значением ответил Паша.

И вдруг скривился, качнул головой и сказал с досадой:

– Блин, после отпуска всегда дел столько. Задыхаюсь.

И я словно влезла в его мозги, я видела себя его глазами и чувствовала то, что чувствовал он. Я понимала, что ему страшно хочется обнять меня, прижать к себе, вжаться до боли, стиснуться, мучить меня и себя близостью без разрешения, а может, и с разрешением – прямо здесь и прямо сейчас, без удержу и без оглядки.

Мне хотелось того же. Я оперлась руками в стол для устойчивости.

– Ладно, – сказал Паша. – Пошел. До вечера.

– До вечера.

– Ничего не делай, не расставляй, Наташка любит все сама.

– Да, я поняла.

– Пока, Оль! – крикнул Паша.

– Я думала, ты ушел, – ответила Оля.

– Ушел, ушел, пока! С днем рождения тебя, кстати, я ведь не поздравил! Подарок вечером!

И он наконец убрался, а я пошла в ванну и долго умывалась холодной водой. Посмотрела на себя в зеркало. Лицо покрылось красными пятнами. Никогда у меня не было таких пятен. Может, аллергия? Но на что? Но скоро пятна побледнели, а потом и совсем прошли.

И был вечер. Я вспоминаю его теперь подробно, как пьесу или фильм, где была не столько участницей, сколько зрительницей. Название – «Ксения наблюдающая».

Сначала приехала Наташа. Упросила мать вымыть голову и переодеться. Сделала ей прическу. Оля сопротивлялась, но результат ей понравился.

– Надо было в ресторане отметить, – сказала она. – Все-таки круглый юбилей.

– Поздно! – злорадно ответила Наташа. – Я тебе сто раз предлагала, а ты уперлась! Люди придут – посадить некуда! Хорошо хоть Пашка стол привезет!

– Какой стол?

– Не бойся, временный, раскладной. И стулья.

– Какие стулья?

– Увидишь.

Действительно, вскоре приехал Паша и приволок стол, который тут же разложил, дешевый стол из фанеры или чего-то еще, я тогда не знала, теперь знаю – из ДСП, древесно-стружечной плиты. Я теперь все знаю. И стулья он привез, тоже раскладные, пластиковые стулья дачного типа, целый десяток. Стулья мы с Наташей протерли, стол накрыли цветастой полиэтиленовой скатертью. Расставили разномастные тарелки, чашки и стаканы, разложили разнокалиберные вилки, ножи и ложки.

– Домашний пикник, – довольно точно назвала это Оля.

Но и она помогала, ее захватил этот азарт приготовления. Да еще вино подогрело. Это Наташа предложила:

– А давайте выпьем! Пока нет никого, отметим среди своих, а то я чего-то вымоталась сегодня, как проклятая!

И мы с удовольствием выпили.

Потом появился Суров, отец Наташи, человек очень старый, за семьдесят. Казалось, ему велики были и брюки, летние, светлые, и рубашка цвета хаки, с короткими рукавами. Как чужие. Наверное, он купил их лет двадцать назад, а потом усыхал от возраста, так что не одежда ему была велика, а он стал одежде мал. Причем брюки и рубашка выглядели почти новыми, хоть и давно вышедшими из моды, потому что неделями и месяцами висят в шкафу, Суров сидит дома, выходит только в магазин, по-простому, в домашних штанах пижамного фасона и застиранной, ветхой, но любимой футболке. Все это я узнала потом от Оли, как и другие подробности о гостях, включая имена и биографии приходивших людей. Суров вошел с букетом алых роз в правой руке и с тростью в левой. Трость красивая, из чего-то, похожего на красное дерево, с белыми вставками-ромбиками, рукоятка удобно изогнутая, с выемками снизу для пальцев, на конце трости резиновая нашлепка, чтобы не скользить, закрепленная металлическим ободком, похоже на торец ученического карандаша с ластиком. Трость Суров сразу же поставил в угол, показывая, что в домашнем пространстве обходится своими силами, подошел, припадая на левую ногу, к Оле, вручил цветы, сказал, что это и есть подарок, потому что такие времена, неизвестно, что дарить – нужные хозяйственные вещи вроде телевизора и холодильника у всех есть, с одеждой не угадаешь и не угодишь, парфюм Оля не употребляет. Многие дарят деньги, но это и глупо, да и нет у него, прямо скажем, денег. Раньше дарили еще книги, но теперь статус этого подарка ниже туалетной бумаги. Говорил он это громко и весело, глядя на Олю, на меня, на Наташу и на Пашу как на публику, словно ожидая аплодисментов, он даже паузы делал для этого, но никто не аплодировал.

От Оли Суров перешел к Наташе, обнял ее и сказал неожиданно басовито, играючи, как малым детям говорят: «Здорово, дочура! Красавица моя!» Обнял он Наташу одной рукой, правой – настолько левая привыкла к трости, привыкла быть занятой, что осталась бездельно висеть внизу. Обнимая, Суров глянул на Олю с юмором: ты ведь понимаешь, почему я ее так – «здорово, дочура!», – так уж получилось, выросла она у нас, интеллектуалов, совсем простенькая и бесхитростная, но зато здоровая и красивая! Оля не поддержала, отвернулась, не желая присоединяться к юмору Сурова. Я имею право быть ироничной по отношению к дочери, как бы говорила она, а ты такого права не имеешь, ты и отец не настоящий, ты гость-отец! Потом Суров протянул руку Паше, крепко сжал, ничего не сказал, считая, что сильного мужского рукопожатия достаточно. Паша смотрел на тестя снисходительно, но сдержанно, ясно было, что он его не уважает как человека, но вынужден терпеть как родственника. От Паши Суров перешел ко мне, представился, склонив голову: «Суров Виталий Геннадьевич, а вас, простите, не знаю». Я объяснила, кто я.

– А мне не сказали, что вы приедете, – с мягким упреком сказал Суров. – Но читал, читал, знаю! Ну что ж, отцы едят кислый виноград, а оскомина на зубах их детей! Я, Ксения, в силу возраста имею право говорить, что думаю. А думаю я жестоко. Думаю, что вашего папу и еще сотни две таких, как он, надо бы расстрелять у Кремлевской стены. Сразу атмосфера улучшится.

– Пап, ты дурак совсем? – удивилась Наташа.

Суров не обиделся, наоборот, похоже, был доволен.

– Вот они – манеры и лексикон! Нет, дочура, я не дурак! Дурак, если уж тронуть эту тему, весь наш великий, могучий, многострадальный и глупый народ!

– Виталь Геннадич, не надо! – страдальчески попросил Паша. – День рождения же, давай без политики обойдемся!

– Мы-то без нее обойдемся, дорогой Паша, а она без нас – нет! Я тысячу раз это слышал – давайте не лезть в политику! Это все равно, что сидеть в пруду по горло и кричать: давайте не лезть в воду!

Тут Суров в очередной раз сделал паузу, ждал одобрения. И в очередной раз не дождался, и продолжил:

– Политика везде и во всем, Паша! Из нее все рождается, включая то, что мы носим, едим, что смотрим и читаем, на чем ездим, и тому подобное! Ксения, не пугайтесь, что я сразу на вас, как сейчас говорят, наехал. Вы скоро сами поймете, что никакой трагедии нет, в огороде бузина, а в Киеве дядька, и, если дядька в Киеве заболеет или даже помрет, бузине от этого ни жарко, не холодно. Главное, что вы цветете. Фамильная красота, гены, великая вещь! Оля, ты заметила, что она на тебя похожа? Ты такая же была в молодости.

Наташе неприятно было это слышать, она пошла в кухню – что-то там делать. Паша пошел за ней – помогать. И оба там задержались, а Суров дохромал до кресла в углу, уселся, спросил, читала ли Оля сегодняшние новости и что думает о том-то и том-то. Оля ответила, что ничего не читала и ничего не думает. Суров спросил о том же меня, я вежливо сказала, что новости не просматривала. Как-то некогда было.

– Или не интересно? – уточнил Суров.

Он ждал подтверждения, я не стала его разочаровывать.

– Да, не интересно.

– Так я и думал. Судьба страны решается, а вам не интересно!

И Суров рассказал нам о важных событиях, которые могут повлиять на судьбу страны, а потом взялся подробно эти события разбирать, трактовать, оценивать, разъяснять нам их смысл. Когда я слушала это, мне было довольно скучно, как и Оле, которая через пять минут ушла курить, ничуть этим не смутив Сурова, ему хватило и меня, а теперь я вижу все заново и понимаю: в этом человеке сидела неизбывная тоска. Тоска эта кормилась тишиной и молчанием, вот Суров и пользовался возможностью хоть с кем-то поговорить, забыться на время. При этом он понимал, что других это может раздражать, но провоцировал раздражение – чтобы кто-то из окружающих не выдержал, сказал что-то резкое, оскорбил бы его мудрость, знания, возраст, его неравнодушие

к участи Родины. И Суров убедился бы: нечего метать бисер перед кем попало, пора опять в одиночество и забытость, но не вынужденные одиночество и забытость, а принципиальные. Однако перед ним была только я, а я слушала и молчала. И даже кивала, соглашаясь. И чем послушнее кивала, тем больше Суров распалялся. Говорил он гладко, книжно, с причастными и деепричастными оборотами, все-таки бывший учитель литературы, время от времени выдавал что-то вроде афоризмов и при этом светился кокетливой улыбочкой скромного самодовольства.

Оля, Наташа и Паша все не возвращались, Суров наконец заметил, что я заскучала, начал спрашивать – что читаю, что смотрю. Я сказала, что в последнее время ничего не смотрю и не читаю. Не до этого было.

– А я слежу, – сказал он. – Не то чтобы нравится, но за этим – тенденции. Куда идет мир, что происходит с людьми, особенно с молодежью. И вижу, что взрослые дяди и тети заигрывают с вами, с молодежью, хоть и показывают вас отвязными, недавно смотрел сериал, мальчик и девочка сбегают из дома, убивают, грабят, но при этом все равно такие миленькие, такие по итогу человечные, а взрослые все уроды и козлы! Любим, Ксения, любим мы выставить детишек ангелами, но я-то в школе работал, меня этим сиропом не усластишь! Девяносто пять процентов школьников, и за точность цифры я ручаюсь, напрочь не способны понять, почему «роняет лес багряный свой убор, сребрит мороз увянувшее поле» – гениально!

– И я не понимаю.

– Да я не в упрек, Ксения, я всего лишь фиксирую фактологию! Дело не только в умении понимать, ибо в интеллекте, в моральном плане детишки на те же девяносто пять процентов – дикие отростки социума, что, собственно, и показано в книге «Повелитель мух», исчерпывающе показано! Читали?

– Да. Страшная книга, неприятная.

– Правда всегда неприятна. Так вот, когда взрослых делают виноватыми, а детей априори правыми, это очень опасные игры!

И он еще что-то говорил, говорил и говорил, и я видела, что Суров очень хочет мне понравиться. Не потому, что сходу влюбился, а потому, что он давно уже никому не нравится, и понимает это, но смириться с этим не хочет.

Тут пришли и Оля, и Наташа, и Паша, все сразу, и вот совпадение – как пришли, сразу прозвенел звонок. Вроде бы звонок всегда звенит одинаково, кто бы ни нажимал, но этот звук показался мне особенно громким, напористым, требовательным. И не только мне, Оля сказала:

– Чую – Метелицына пришла. Надо быстрей открыть, а то стучать начнет.

Да, это была ее давнишняя, с юности, подруга Нина Васильевна Метелицына, которая не вошла, а ворвалась – бурно, со смехом, вручила Оле цветы и коробочку с чудодейственным кремом, о котором тут же подробно рассказала, ручаясь за его качество, потому что сама она эти кремы (Метелицына произносила «крэмы») и продает, и очень успешно, вдвое увеличила продажи торговой точки, принесла хозяйке прибыль, но та, неблагодарная, не ценит ее заслуг, а все дело в том, что над ней, над этой хозяйкой, есть тоже хозяин, и он теперь, увидев, как пошло дело, естественно, считает, что раньше эта самая хозяйка, ее Рената зовут, нанимала плохих работниц и сама ленилась. Теперь Рената спит и видит, как избавиться от слишком старательной продавщицы. Но не может же Нина работать нарочно хуже, тут ведь дело еще в чем? – в обаянии, конечно, в убедительности и доверительности! Надо не уговаривать клиенток, надо, чтобы они сами пришли к выводу, что крем, мазь, спрей или мыло, обладающие потрясающими свойствами, необходимо купить. Плохой или средний товар впарить легко, рассуждала Нина, потому что там цена мизерная, а вот ты продай дорогой, но отличный товар! Это надо уметь!

Мне Оля после рассказала историю Нины. Там все сводилось к одной и той же схеме: Нина, имея двух детей от двух исчезнувших мужей, всегда была озабочена заработком – используя музыкальное образование, руководила детским хором, потом ушла в риэлторы, потом была секретарем-референтом в компании «Русский колос», дилером небольшой мебельной фирмы, быстро разорившейся из-за того, по версии Нины, что производила слишком стильную и качественную

мебель, потом продавала пищевые добавки в системе сетевого маркетинга, работала маляром-штукатуром, таксистом, репетитором по сольфеджио, уборщицей, сиделкой при больной старухе, няней при детях, и вот теперь продает косметические средства – лечебные, омолаживающие и освежающие. И каждый раз, когда Нина бралась за новую работу, новую профессию, она горела, она приходила к Оле и с жаром рассказывала, как осваивает секреты мастерства, какое это, оказывается, замечательное занятие, как оно нужно и полезно людям, какие новые горизонты оно открывает Нине. Но через год или два, а иногда и через пару месяцев, у Нины появлялись недоброжелатели и завистники, возникали злокозненные обстоятельства, оплата была не по труду, Нину подставляли, подсиживали, обманывали, в результате она, разочарованная, увольнялась сама или ее подло заставляли написать заявление об уходе по собственному желанию.

Вот и сейчас она была озарена новыми горизонтами, расхваливала свой товар, кроме крема Оле подарила и Наташе, не в зачет и без повода, жидкость для снятия макияжа, заодно делающую кожу бархатной, а Паше туалетную мужскую воду, предупредив, что пользоваться ею надо только дома, только на ночь, только перед тем, как лечь с женой, а на вынос – опасно, девушки от этого запаха млеют и тают, Нина семейному счастью молодых супругов не враг.

– Тебе, Суров, прости, ничего нет, не в коня корм! – заявила Нина, подошла к сидящему Сурову, в приливе дружеских чувств схватила его ладонями за щеки, вытянула губы трубочкой и проворковала:

– У, ти мой слатенький, щеченьки румяненькие, обожаю!

Все улыбались, глядя на нее – Оля терпеливо, Наташа добродушно, а Паша снисходительно, но эта снисходительность была иная, не такая, с какой он смотрел на Сурова. К нему он снисходил, не уважая, а к Нине – как к клоунессе, тоже, в общем-то, не уважая, но с долей благодарности за то, что развлекает.

– А это, значит, Ксения? – повернулась Нина ко мне. – Та самая? Приехала?

– Приехала.

– Ничего, девка! Ты самостоятельная теперь, сама за себя отвечаешь, и это хорошо! Я всю жизнь сама за себя отвечаю, зато, если какой косяк, сама виновата, а если что-то хорошее – кому спасибо? Только мне! Я и от детей помощи не принимаю, у них свои семьи, а я – все сама, только сама!

Говоря это, Нина разглядывала меня, и, оборвав свою ободряющую речь, воскликнула:

– Да ты же офигеть какая красивая, Ксюшечка! Прямо съела бы тебя! Правда, Оль, Наташ, иногда жалею, что не лесбиянка! Нет, а чего? Лесбиянкой проще быть, а мужику геем, если он не активный. Почему? Потому что ему эрекция не нужна! – и тут же Нина сменила тему, как ей было свойственно, огляделась и спросила: – Когда за стол-то? Я с утра на ногах, жрать хочу, сил нет! Кворума, что ли, ждем? Кто еще будет, Оль?

– Как всегда, кто придет, тот и будет.

– А Камкин?

– Понятия не имею.

– Сто лет его не видела, скучаю. Ну, тогда чего ждем? Мечи все на стол!

И она взялась помогать метать все на стол, одновременно рассказывая подруге Оле свою последнюю любовную историю. Суров взял книгу с полки, листал, показывая, что ему похождения Нины неинтересны, у Наташи были слегка смущенные глаза – как можно такие вещи при всех рассказывать? А Паша – наслаждался.

Дело в том, узнала я после, что Нина всегда любила мужчин и гордилась этим, считая признаком телесного здоровья и душевного оптимизма. Она в свои шестьдесят два выглядела удивительно молодо, лицо свежее, морщин мало, фигура хоть и поплывшая во многих местах, но это восполнялось энергией и бодростью, которые исходили от ее большого тела. Когда была замужем, то оба раза, пять лет и семь, не мыслила о том, чтобы гулять на сторону, все необходимое получала от мужей, уча их, если чего-то не умели. В остальное же время считала себя полностью свободной. С возрастом, конечно, на регулярные встречи со свежими молодцами, желательно не

старше сорока пяти, рассчитывать, увы, не приходилось, но Нина открыла для себя сайты сексуальных знакомств, вот о таком знакомстве и рассказывала. Мужчине за пятьдесят, жена на десять лет моложе, но с ней давно уже не ладится, все идет к разводу, другой женщины мужчина себе пока не приметил, подруги постоянной нет, а потребности есть. Проститутками брезгует, и правильно делает. Вот и сунулся тоже на сайт знакомств, нашел Нину, договорились, приехал, она, само собой, не сказала, сколько ей лет, он считает, что под пятьдесят, и все у них вот уже четвертый раз абсолютно прекрасно. Полная гармония, взаимопонимание и никаких обязательств. Оба понимают, что через какое-то время все кончится, и обоих это устраивает.

– Чисто секс, чистое удовольствие! – смеялась Нина. – Он говорит, у меня такого даже в двадцать лет не было.

– Идиотка, – негромко, но ясно послышалось из угла.

Это сказал Суров.

Нина пошла на него:

– Чего сказал?

– Того! – зло процедил Суров. – Нашла чем хвалиться! Мне, если честно, даже представить противно – трясешь своими телесами старческими перед молодым мужиком и рада! У тебя же седое все, если понимаешь, о чем я!

– Спешу огорчить – не все! У меня нижняя половина, Суров, вообще лет на двадцать моложе верхней. Да еще эпиляция, дорогой ты мой. Гладко все, как у девушки!

– Тьфу! – отреагировал Суров.

– Не тьфукай! Забыл, как сам меня хотел?

– Я? Очнись!

– Хотел, хотел!

– Не обольщайся! Даже не думал в твою сторону!

– Хотел, хотел! – дразнила Нина. – Вот Камкин придет, он подтвердит! На его глазах все было!

Суров изо всех сил пытался казаться хладнокровным. Но он был почему-то немного смущен. Не глядел в сторону Оли, но ясно было – он не хочет, чтобы та думала, что Суров и впрямь имел насчет Нины намерения. И Нина углядела это смущение, и, крича: «Хотел, хотел!» – смотрела не на него, а на Олю. Может быть, она и не Сурова дразнила, может, Олю дразнила?

А Оля взяла сигареты и пошла на балкон.

Следующим гостем был Николай Валентинович Крашенинников, самый успешный из друзей Оли, чиновник высокого областного ранга. Он явился со службы, в темно-синем костюме с галстуком.

– Гляньте, при полном параде! – закричала Нина, когда он вошел. – Ты не спарился в костюмчике-то, Коля?

– У меня в машине кондиционер, в кабинете тоже, – ответил ей Коля так, будто оправдывался.

У него было круглое и маленькое личико, сплошь сморщенное, печеными яблоками называют такие лица, и это личико казалось простодушным и стеснительным, как у робкого отличника, который в школу пошел на год раньше, он младше всех, его берут не во все игры, но он везде присутствует, всем рад помочь, за всех радуется и всем готов услужить. Оля сказала странную вещь: если бы Коля в годы репрессий служил при карательных органах в расстрельной команде, то расстреливал бы со словами: «Вы уж извините, ребятки, мы вас сейчас маленько убьем!» Но при этом убивал бы неукоснительно и помногу. И спал бы спокойно.

Он подарил Оле толстенную книгу по астрологии.

– Ты ведь увлекаешься.

И Оля обрадовалась, тут же начала листать и просматривать ее, приговаривая: «Надо же!» – но через минуту вздохнула, захлопнула книгу и сказала:

– Спасибо, но уже нет.

– Не угадал! – огорчился Коля.

– Да ладно, ты знаешь, мне ничего не нужно. Давайте за стол.

И мы расселись за столом.

Суров сел рядом с Олей, напротив Коли, и, в упор на него глядя, спросил:

– Ну? Чего вы там еще придумали на наши головы?

– Много чего! – ласково ответил Коля. – Ночей не спим, Виталя, только и заботимся, какую пакость для народа сочинить.

– Веселишься? Ничего, я еще посмотрю, как тебя выселять будут из твоего особняка, когда все кончится!

– Что кончится?

– Ребята, не надо, скучно! – попросила Оля.

– Скучно-то скучно, но Суров в корень смотрит, я, например, обижусь, если этим кровососам все с рук сойдет! – сказала Нина, сидевшая рядом с Колей. И тут же ему: – Чего тебе положить, негодяй? Я помню, ты на диете, у тебя что, желудок, печень, почки?

– Все помаленьку, но в целом терпимо, никакой диеты. Мне гастролог еще лет пятнадцать назад сказал – да, имеются всякие лекарства, специальные диеты, но главный принцип – есть в одно и то же время и понемногу.

– Начинается! – поморщилась Оля. – Сейчас про болезни начнем.

– Возраст обуславливает! – отшутился Коля.

– Не обуславливает, а обусловливает! – поправил Суров.

– Как скажешь.

– Не как скажу, а как надо, как грамматика велит! Все вы там такие. Нет, правда, Коля, объясни, вас нарочно туда таких подбирают?

– Каких?

– Безграмотных?

– Ты-то откуда знаешь?

– Оттуда! Позвали лет восемь назад подработать, речи там кое-кому вычитывать и править. Мама дорогая, никто двух слов связать не может, запятые ставят где попало, ошибок по десять штук в каждой строчке! Нет, правда, это нарочно? Безграмотные, туповатые, исполнительные – естественный отбор такой у вас? Чтобы в прайде никто не выделялся, кроме вожака?

Наташа в это время что-то искала телефоне, нашла и сказала:

– Можно и так, и так. И обусловливать, и обуславливать.

– Не может быть! – не поверил Суров.

Наташа дала ему телефон, он посмотрел.

– Черт знает что, подгоняют язык под охлос! Но, между прочим, тут указано, что для грамотной речи предпочтительней обусловливает! А для письменной – обязательно.

– Но я же не письменной речью сказал, а устной! – оправдался Коля. – Так, как народ говорит.

– Народ?! – взвился Суров. – Лучше не беси меня, Коля! Народ, бля! Все вы, суки, под народ косите, включая ваших самых верхних! Под народ, а еще под гопников, под блатату! Нет, под гопников на здоровье, вы гопники и есть, но под народ – права не имеете! Сделали из людей холопов, крепостных практически! Скажешь, нет?

И Суров разразился целой речью про власть и про народ, с конкретными примерами, с цитатами, при этом накладывая в тарелку по хорошей порции из всех блюд. Нина слушала его одобрительно, Оля равнодушно, Наташа пережидала, подняв бокал с шампанским, бутылку которого между делом ловко, бесшумно открыл Паша, а сейчас он тоже, как и Суров, заботливо накладывал себе еду, неопределенно усмехаясь – он соглашался со словами Сурова, но считал их пустыми и бесполезными. Ну да, дважды два четыре – и что? Что дальше? Ничего.

Коля пробовал вилкой то, что положила ему Нина, и похихикивал вполне благодушно. Он не пытался перебивать, дал возможность Сурову высказаться, но сейчас я вижу и понимаю, что он был Сурову благодарен. За время его речи он имел возможность короткими взглядами присмотреться к Оле, а это для него было важнее всего. Во взгляде его, как бы невнимательном, рассеянном, прятались и обожание, и печаль. Печаль – потому что он видел, что Оля стареет, обожание – потому что, влюбившись в нее на втором курсе, он так ее и пролюбил сорок лет.

Оля рассказала мне после, что Коля ждал и надеялся до тридцати лет, а потом все же женился, у него сын и дочь, которых Коля обожает, а жену свою вот уже лет двадцать ненавидит, но уходить не собирается, потому что прикипел по-черному, так он и выразился, по-черному прикипел, а главное – не к кому идти, никого он даже близко не полюбил так, как любит Олю. Коля – человек стопроцентно приличный, до дрожи боящийся нарушить правила своей социальной группы, прайда, как сказал Суров, аккуратный, скромный, однако трехэтажный особняк себе все же построил, иначе товарищи его бы не поняли, но раз в год-полтора он срывается и уходит в небольшие запои. И тогда обязательно приезжает на служебной машине к Оле, плачет, говорит ей о своей любви, просит выйти за него замуж. Всю ночь он так изливается, но с рассветом, строго с первым лучом солнца морок с него спадает, он скомкано извиняется, идет в ванную, там умывается, сморкается и, не простившись, уходит, и потом месяцами не заезжает, не звонит, однако на каждый день рождения неуклонно появляется.

В то время, после посадки мужа, когда Оля уступала всем, она решила уступить и Колю. Получилось глупо – страшно взволнованный Коля, мужчина небольшого роста и худенький, барахтался на Оле и ничего не мог сделать, только жалобно просил:

– Пожалуйста, пожалуйста!

– Что? – не понимала Оля.

– Пожалуйста! – повторял Коля.

– Да что?

– Пожалуйста!

Оля догадывалась, что Коля просит помощи, просит как-то возродить его исчезнувшую от волнения мужскую силу, но она не желала этого делать, да и не умела, и не собиралась учиться. Он так ее утомил, что Оля оттолкнула его, Коля свалился на пол. Сидя на полу, он заплакал (это был как раз период запоя) и начал рассказывать, что его недавно схватили люди из органов, из КГБ (наверное, во второй половине восьмидесятых), пытали, били по почкам и другим местам, именно поэтому он временно бессилен, у него, может быть, теперь не будет детей, а они, сволочи, требовали во всем признаться и выдать всех, но Коля не такой, он умрет, а своих не выдаст. История была явно сочиненная, Колю не могли пытать в КГБ уже потому, что он на закате советской власти сотрудничал с органами, правда, ни о ком не доносил, являлся чем-то вроде эксперта по гуманитарным вопросам в целом и по деятельности расплодившихся экстрасенсов и самодеятельных психотерапевтов в частности.

И вот Суров обличал, Коля исподтишка любовался Олей, Паша начал есть, Наташа держала бокал, а Оля оглядывалась на балкон, собираясь выйти покурить. И уже приподнималась, но Наташа, увидев это, громко сказала:

– Пап, все согласны! Можно я за маму тост скажу, если ты не против?

Суров осекся.

– Извини, – он дотронулся до плеча Оли. – В самом деле, не вовремя. Потом поговорим.

– Говори, не говори, – меланхолично произнес Паша, – а ясно одно: мы с вами ничего не решали, не решаем и решать не будем.

Он выглядел при этом очень довольным – и оттого, что успел хорошо закусить, и оттого, что удачно, коротко и емко сформулировал мысль о своем и общем бессилии.

А я четко помню, как во мне вспыхнула волна (идиотский оборот, неправильный, но мне почему-то нравится), волна острой неприязни к Паше. Глупый и самодовольный, подумала я, неужели он мог мне нравиться, неужели я с ним впервые испытала то, что мучает или радует Ясу по отношению к мужскому полу вообще? Дурь какая-то!

А Суров на реплику Паши так и вскинулся, готовый разбить его в пух и прах, но Наташа прикрикнула: «Хватит!» – обращаясь к Паше, при этом ясно было, что и Суров имелся в виду.

И тут же сменила грозное выражение лица на торжественное, а Оля с сожалением опустилась на стул, покорно готовая выслушать все, что скажет дочь. И Наташа начала:

– Мам, я вот что хочу сказать. Спасибо, что ты есть, потому что, если бы тебя не было, я бы не родилась. Конечно, в этом и папа виноват, спасибо тебе, пап (Суров тут же растрогался, глаза увлажнились и заблестели), но мама – главная. И что я хочу сказать. Живи как можно дольше, потому что я тебя люблю. И я привыкла к этому, так что ты уж, давай, не лишай меня этой привычки.

– Прямо эпитафия! – не удержалась Оля.

– Чего?

– Да ладно. Любишь – спасибо.

– Люблю, да. И это основное.

Наташе было нечего больше сказать, но настрой требовал продолжения.

– Потому что, если подумать, если на чем-то мы держимся в этой жизни, то только на любви.

– А я о чем? – встряла Нина и тут же замахала рукой: не мешаю, молчу, молчу.

– И я, мам, всегда рада, что у меня есть человек, – голос Наташи дрогнул, – к которому я всегда могу прийти и который меня поймет. Потому что, и я прошу никого не обижаться, но дороже матери у нас никого нет на этом свете.

– Матери и патери! – с шутливой обидой добавил Суров. – То есть папы!

– Это да, но я что хочу сказать. За тебя, мам. Что ты самая у меня красивая, самая умная, вся в меня. Что ты всегда меня поддержишь и позаботишься. Что ни разу в жизни я не видела от тебя ничего плохого! За тебя!

– Неправда, но спасибо, – сказала Оля и подняла бокал.

И все подняли, выпили, Наташа села и начала активно есть, помогая этим унять пережитое только что волнение.

Какая эмоциональная девушка, подумала я. Скорее всего, поверхностно эмоциональная, вспышками. Но эти вспышки могут быть яркими и горячими, представляю, как она взорвется, когда узнает, что муж изменил ей с московской родственницей.

Именно это я подумала, помню точно, при этом возникшая неприязнь к Паше никуда не делась, мне теперь не нравилось в нем все – как пьет, присасываясь к стакану, как ест, часто и суетливо двигая ртом, а глаза при этом застывшие, бессмысленно задумчивые – он ими словно прислушивается к приятным ощущениям желудка, и руки его волосатые не нравились, а рыжеватый пучок, высовывающийся из-под футболки, вызывал отвращение аж до тошноты.

Вопрос – откуда взялась такая уверенность, что у меня с ним это случится, при таком к нему отношении?

Не знаю. И сейчас не знаю.

Итак, мы выпили, закусили. Возникла, как это часто бывает, пауза, когда говорить нет необходимости, но и молчать неудобно. Выручил звонок в дверь.

– Камкин! – радостно сказала Нина. – Спорить могу – он!

– Ты ему звонила? – спросила Оля.

– До него не дозвонишься. Наверно, не оплачивает вовремя.

Но пришел не какой-то Камкин, пришли сразу двое – высокий, широкоплечий мужчина с короткой стрижкой, темноволосый, только виски седые, и дама в бежевом брючном костюме, платиновая блондинка. Нина тоже была крашеная блондинка, но потеплее, близко к светло-русому.

Я пыталась угадать. Мужчина, наверно, крупный бизнесмен или управляет фирмой, компанией, государственной конторой, а женщина – чиновница из сферы культуры или здравоохранения, или соцслужбы, оттуда, где надо работать с людьми. Заметно, что она и друзей своих по привычке воспринимает как подчиненных или как представителей электората, с которыми она по доброте своей обходится милостиво, но в душе досадует, что они не понимают и не способны понять серьезных проблем отрасли; я так и видела – ее водят, объясняют, показывают, или – она в кабинете, втолковывает, убеждает, гневается, такие женщины в любом помещении и обществе чувствуют себя центром внимания и событий.

И в обоих случаях ошиблась. Мощный мужчина Антон Алексеевич Батин, которого свои звали Антошей, оказался университетским преподавателем, человеком скромным, всю жизнь

прожившим с одной женой-библиотекаршей, тихой и непритязательной, они вырастили двух дочерей, тоже скромниц, и уже внуки и внучки есть, все хорошо, если бы не вечная необходимость сводить концы с концами и учитывать каждый рубль. А женщина Людмила Георгиевна Терещук, как выяснилось, как Оля мне рассказала, – крупная коммерсантка, владелица обширной торговой сети. За спиной у нее не было ни влиятельного отца, ни богатого мужа, все своими руками и головой, а теперь помогает сын – единственная любовь ее жизни.

Еще я узнала, что Антоша, хоть и верный муж, согрешил с Олей после очередных интеллектуальных, но с выпивкой, посиделок, пришел через пару дней, трезвый, чтобы доказать себе и Оле, что все было не случайно. И оба увлеклись, он больше, она меньше, встречались почти полгода, но Оля догадалась, что для Антоши это не любовь и не влюбленность, а мечта по любви и влюбленности – у других это постоянно бывает, если верить рассказам, а у него никогда не было, вот и захотелось. Не Оля ему нужна была, а доказательство, что он не хуже других. Но когда Оля его прогнала, ему почудилось, что упущено счастье всей жизни. Регулярно приходил, просил объяснений. Оля объясняла – не надо ничего себе выдумывать, я тебе не нужна, и ты мне не нужен. Неправда, возражал Антоша, ты мне очень нужна. И это вот «нужна-не нужна» обсуждалось часами, кончалось тем, что Оля кричала: «Да уйди ты к черту, исчезни, умри, ты мне надоел!» Антоша уходил, но приходил опять, и опять просил объяснить, что случилось, ведь все было так хорошо. И эти его приходы повторялись примерно раз в месяц, потом раз в полгода, раз в год. И только в последнее десятилетие Антоша успокоился, перестал терзать Олю, но обязательно являлся на каждый день рождения, два из которых Оля провела на Алтынке; он и туда приезжал.

А Люся Терещук была одноклассницей Оли, самой активной девочкой класса, председатель совета отряда, комсорг, обожала устраивать собрания и разбирать чьи-нибудь персональные комсомольские дела; еще больше любила вникать в дела личные – кто кого любит, кто с кем враждует, кто что кому сказал, этим она делилась с Олей, взяв ее себе в лучшие подруги. Был случай – остались дежурить после уроков, мыть пол в классе, делали это вдвоем, по партам, те, кто сидел вместе, а Люся посадила с собой Олю, и вот они остались, установили на партах перевернутые стулья, принесли два ведра воды, Люся указала, какую половину будет мыть Оля, а какую она, а доску напоследок мыли и терли вдвоем. Двигали тряпками по доске, стоя плечом к плечу, у Оли зачесалась щека, она ее потерла.

– Испачкалась, – сказала Люся. – Дай вытру.

И со смехом вытерла щеку грязной тряпкой. Оля тоже засмеялась и в ответ легонько стукнула Люсю кулачком по лбу. Люся тут же хлестнула ее тряпкой по лицу.

– Эй, ты чего? – закричала Оля. – Больно же!

И начала тереть глаза, по которым попало. Люся испугалась, схватила Олю за руки:

– Не надо, хуже будет!

И повела полуослепшую Олю в туалет, к умывальнику, наклонила над ним, стала аккуратно промывать глаза Оли, потом вытерла ее лицо изнанкой передника, осмотрела:

– Все нормально. А это что?

– Что?

– Кровь на губе. Это тоже я?

Люся была ни при чем, просто у Оли в то время был насморк, она дышала ртом, от этого пересыхали и трескались губы – до крови. И сейчас – Оля посмотрела в зеркало над умывальником – появилась капелька крови.

– Ну-ка? – Люся повернула ее голову к себе и вдруг быстрым движением слизнула капельку крови. Оля удивленно застыла, а Люся, не терявшаяся ни в какой ситуации, спокойно объяснила:

– Я читала, человеческая слюна – целебная.

– Если своя!

– Любая.

И все, и больше ничего подобного не было, но Оля запомнила, каким был взгляд Люси. Почему-то печальным, почти тоскливым. Говорит весело, бодро, а глаза больные.

– Латентная лесбиянка? – догадалась я.

– Вряд ли. Не знаю. Все может быть.

И закончила рассказ о Люсе: после школы та поступила в торговый техникум, отлично училась, стала товароведом и еще до наступления новых времен, до расцвета кооперации, частной торговли и коммерческого бандитизма крутила легально и подпольно большими делами и большими деньгами, вступая в контакт, в том числе и с бандитами, которые уважали ее, но твердый процент со всех ее операций имели. К тридцати годам Люся была по макушку обеспечена, вышла замуж за красивого молодого человека и, как только родила от него сына, тут же прогнала его прочь. В сына, в своего Петю, вложила всю душу, но слишком много было увлекательной работы, заманчивых проектов, вечно была занята и недоглядела, Петя связался с наркоманами, их компанию накрыла милиция, Люся выкупила сына, а потом лечила за большие деньги где-то за границей, привезла оттуда, нашла ему невесту из первых красавиц Саратова, женила, но они не прожили вместе и трех месяцев, Петя опять сорвался, Люся опять его лечила, а потом Петя неожиданно влюбился в девушку Юлю, которая только вчера была соседкой-девчонкой из бедной семьи, из пятиэтажки напротив, и вдруг выросла, и чем-то Петю зацепила. Он привел ее в дом, стали жить без регистрации брака, но потом, когда Люся родила дочь, все же расписались. Люся души не чает в Юле, считая, что она спасла ей сына, а внучку Стешеньку, Степаниду любит до безумия, но при этом ее терзает опасение, что Петя опять сорвется. Она взяла его в свой бизнес, заняла делами, все хорошо, а Люсе то и дело снится – она приходит домой, а там и Петя, и Юля, и даже Стешенька в усмерть обдолбанные лежат на полу и помирают, и требуют дозу, а вокруг них россыпью – пустые шприцы. Этими страхами она делится с Олей, навещая ее. Правда, выговорившись, тут же начинает давать советы – как сделать ремонт в квартире, какие покупать продукты, как лечиться и вообще, как жить.

Новые гости вручили Оле подарки – Антоша серебряный браслет, а Люся коробку с настенными часами.

– Примерь, – сказал Антоша. – Мне кажется, твой размер.

Суров хмыкнул: надо же, размер помнит.

Оля примерила – да, оказалось впору. И тут же сняла.

– Спасибо, но я ведь ничего не ношу. Даже уши заросли.

– Ты всегда любила серебро, – сказал Антоша.

– Разве?

– Я помню, ты говорила, что золото тебе не нравится, а серебро нравится.

– Может быть. Нравится, но со стороны. Мне в принципе серебро нравится больше, чем золото. Но не ношу, извини.

– Ну, выкинь.

– Не обижайся, я его на гвоздик повешу и буду смотреть.

– Зачем, Наташе отдай, – посоветовал Антоша, оглядывая стол и кто как сидит.

Рядом с Колей был свободный стул и рядом с Ниной был свободный стул. А напротив сидели Суров и Оля, рядом с Олей тоже был свободный стул. А сбоку, с торца, размещались Наташа и Паша. Выбор был – оказаться между Коляом и Пашей, рядом с Олей или между Ниной и мной. Антоша выбрал Нину и меня, уселся, Нина дружески похлопала его по спине: милости просим! – и начала накладывать ему на тарелку всего понемногу.

Люся в это время не пережидала, не стояла бездельно, такие женщины стоять и пережидать не умеют, она распаковала коробку, велела Паше: «Унеси!» – и тот послушно унес коробку, тут же вернувшись, и получил новое задание – найти молоток и гвоздь. Паша порылся в кладовке, что была в прихожей, нашел и молоток, и гвоздь, залез на стул и вбил гвоздь там, где указала Люся. Пока он это делал, Люся вставила с тыльной стороны часов батарейку, а Сурову вручила бумажку-инструкцию.

– Почитай, как там настроить.

– Вслух?

– Юморист!

Суров, поглядывая в инструкцию, нажимал на кнопки. Время было выставлено, Паша повесил часы, можно было любоваться. По черному фону ползли слева направо и сверху вниз слова «двадцать пятое июня четверг».

– У меня такие же дома висят, я прямо балдею от них – и время знаешь, и элемент дизайна, правда? – так Люся косвенно похвалила свой подарок, садясь на свободное место рядом с Коляом.

Антоша смотрел на часы с долей ревности, Суров иронично, Нина почему-то неприязненно (это относилось не к часам, а к дарительнице), Коля с вежливым интересом, Наташа с легкой завистью, как и любая молодая хозяйка смотрела бы на красивую и полезную вещь, Паша с одобрением, ценя все техническое, а Оля так, как взрослые разглядывают забаву, которой перед ними хвастаются дети, делая вид, что эта забава и их забавляет. Впрочем, Оля особо не старалась, в ней заметно было нарастающее напряжение.

Люсе налили по ее желанию вина, а Антоше водки, Люся встала, чтобы произнести речь, при этом Антоша чуть нахмурился – ему не понравилось такое самоуправство, он тоже приготовил речь и хотел выступить первым, но не успел.

– Дорогая Олечка! – возгласила Люся.

И тут же раздался звонок.

– Ну вот, как всегда! – огорчилась Люся. – Кого там несет, кого еще ждешь, Оль? Камкина, что ль?

– Никого я не жду.

Паша, который наелся, напился и немного заскучал, был рад новому поводу размяться, пошел открывать.

Вошел высокий и стройный молодой человек.

Да, именно так я сказала бы при первом взгляде. И телосложение, и осанка, и темные, вьющиеся, густые волосы до плеч, все у пришедшего было молодое. Одежда подчеркивала: белая футболка с треугольным вырезом на рельефном торсе, белые джинсы в обтяжку на длинных ногах. Все остальные друзья Оли, да и она сама, тоже были как на подбор моложавыми, будто изо всех сил старались задержать увядание и ветшание, и все-таки это были пожилые люди, а для меня и совсем старики и старухи, но Альберт Петровский, он же Алик, в свои пятьдесят семь казался застрявшим где-то в тридцатилетнем возрасте. Но чуть позже, когда он сел рядом, между мной и Олей, я увидела и красную морщинистую шею, и сухую, скукоженную кожу на кистях рук, покрытых коричневыми пигментными пятнами.

Он был похож, вижу я теперь, зная намного больше и имея неограниченный материал для сравнения, на тех рок-музыкантов, которые начинали аж в шестидесятые годы прошлого века, будучи все сплошь поджарыми, – может, агрессивная музыка своими жаркими децибелами вытапливает из них лишний жир? – и такими остались до глубокой старости, и скачут на сцене бодрее многих молодых, тряся седыми патлами.

– Гляньте-ка! Трезвый Алик пришел! – такими словами встретила Люся Петровского. – И не обкуренный, не под кайфом!

– Обижаешь! – громко, как со сцены или издалека, ответил Алик. – Я всю жизнь под кайфом. Но это не алкоголь и не наркотики, а собственный мыслительный процесс!

С этими словами он подошел к Оле, встал перед ней, и она тоже встала, он обнял ее и троекратно поцеловал.

– Счастье мое, поздравляю!

– А подарок где? – не унималась Люся.

– Я сам подарок. Это вы вечно нанесете то, что ей не нужно. Тебе же ничего не нужно, да, Оль?

– Мне и тебя-то не очень нужно, – сказала Оля, но мне показалось, что Алика ей видеть приятней, чем других присутствующих мужчин.

Потом я узнала, что не ошиблась и что для этого были причины – Алик когда-то Оле по-настоящему нравился. И не только ей, у Нины он почти год был промежуточным мужем между

первым и вторым браком – жил у нее, кормился у нее, спал с ней, как настоящий супруг, но оба знали, что никаких перспектив у них нет – Алик ни с кем и никогда не был в долгих отношениях, институт брака презирал, детей терпеть не мог, при этом регулярно подживался у разных женщин, а в остальное время обитал у родителей, до сих пор крепких в свои восемьдесят с лишним, и оба трудятся – отец консультирует несколько небольших фирм по финансовой отчетности, всю жизнь проработав в банковской сфере, а мать – художница, пишет картины-фантазии о жизни идеально красивых мужчин и женщин, которые эротично, но целомудренно обнимаются на фоне ярких пейзажей далеких планет, наполненных стадами диковинных животных, пасущихся на фиолетовой или багровой травке, – все это Оля мне подробно описала. Картины неплохо продаются, заработок у отца тоже весомый, поэтому Алику нет нужды работать. Но не всегда он сидел без дела – закончив Саратовское театральное училище, несколько лет подвизался (господи, как нравятся мне эти редкие слова, которые я никогда не употребляла при жизни!), подвизался он актером на сценах то театра юного зрителя, то театра драмы, как и Денис, первый мужчина Оли, но, как опять же Денис, главных ролей не получал, а проходные уязвляли самолюбие, поэтому Алик, умея немного играть на гитаре и петь, стал сам себе театром, начал выступать в разных местах. Память у него, рассказывала Оля, всегда была бездонная, он знал наизусть сотни песен, из них составил несколько программ – для ветеранов армии в дни 23-го февраля и 9-го мая, для женщин в день 8-го марта, для милиционеров, железнодорожников, для медицинских работников, для всех государственных и профессиональных праздников. Особо ценилась его универсальная лирическо-юмористическая программа, с которой он каждый год летом объезжал причерноморские курорты; там у него были постоянные импресарио и заказчики, там они имели неизменный успех – пел что-нибудь задушевное для отдыхающих дам, а к концу выступления веселил отдыхающих кавалеров охальными стишками собственного сочинения, где остроумно высмеивались косность и лицемерие общества по отношению к половой жизни граждан. Отдыхающие кавалеры хохотали, дамы слегка смущались, но при этом ясно понимали, что у этого потрясающего красавца, проникающего в душу своим потрясающим баритоном, ни косности, ни лицемерия по отношению к половой жизни нет. И часто находили возможность убедиться в этом.

Все друзья и знакомые Оли принимали Алика таким, как есть, даже не завидуя – завидовать можно чему-то достижимому, Алик же был уникален.

Только Люся ненавидела его открыто и демонстративно, причины Оля не знала, а сама Люся ничего не говорила, Алик тоже загадочно молчал.

После объятий с Олей он сел рядом со мной, повернул ко мне голову и долго смотрел с подчеркнутым изумлением, дожидаясь, когда я сама не выдержу и что-то скажу. Я сказала:

– Ксения.

И протянула ему девичью ладошку. Я знала, что ему этого хочется.

Он взял ладошку двумя пальцами и покачал.

– Кто ты, дитя, откуда?

– Племянница из Москвы, – сказала Оля.

– Та самая, – добавила Нина.

– Какая та самая?

– Вот нужны вам подробности! – Люсе не терпелось начать речь.

– В подробностях суть жизни, – возразил Алик. И повернулся к Оле. – Кстати, о подробностях. Подарок я тебе сделал, но, извини, деньгами, перевел на карту. Пришло?

– Не видела.

– Ты посмотри.

– У меня и телефон выключен, кажется.

– А ты включи.

Оля включила телефон, посмотрела.

– Да, спасибо.

– Вот женщина! Будешь погибать, позвонишь насчет помощи – не ответит. Зачем тебе телефон, Оль?

– Сама не знаю.

– Так, мы отмечать уже будем или нет? – возмутилась Люся. –Алик, не волнуйся, все разглядели, какой ты красивый, не надо на себя все тянуть!

– А я и не тяну. Магнит не виноват, что он магнит.

– Фу! – скривилась Люся. – И ведь его умным считают! Ладно, все, поехали. Оля! Сейчас ты услышишь неожиданную вещь. Ты в моей жизни очень важный человек. Так все устроено, что нам от других что-то нужно, а им от нас тоже, правильно?

– Нет, но продолжай, – сказал Алик.

– Заткнись! Всем от всех что-то нужно, если они не совсем посторонние, конечно. А мне, Оль, от тебя никогда ничего не нужно. И тебе от меня. Но что важно. Что я тебя вспоминаю по ходу жизни, я серьезно, часто вспоминаю, даже если не видимся, и понимаю, что ты меня как бы греешь. Я вспомню, что ты есть, и мне становится как-то... Теплее, что ли, светлее. Понимаешь меня?

– Да, – сказала Оля, и я впервые за вечер заметила у нее интерес к чужим словам. Она не ожидала, что Люся скажет так хорошо и умно, и с удовольствием удивилась этому, и Люся увидела ее удивление, оглядела всех с победным видом: что, съели? Так, наверно, стояла она, активистка и отличница, перед всей школой, когда ей вручали очередную грамоту за успехи в учебе и общественной работе. Если бы не кончилось советское время, вдруг подумала я (сейчас подумала, не тогда), пошла бы Люся по партийной линии, поставили бы ее на высокий пост, и она искореняла бы инакомыслящих так же жестко, как теперь подавляет конкурентов, а живи она, к примеру, при нацистах, при Гитлере, она бы и тогда стала бы полезным и нужным работником. Таковы все люди с общественным, но послушным темпераментом, у меня вот этого темперамента нет, поэтому никогда не стану ни коммунисткой, ни нацисткой. И с темпераментом не стала бы.

– Вот в чем ценность таких людей, как ты, Оля! В том, что вы просто есть, но всем хорошо от одного этого факта. Вот как дерево за окном. Нет, от дерева польза, тень дает, прохладу, я какое-нибудь дерево имею в виду, которое далеко, от него тебе ни тени, ни прохлады, но ты на него смотришь, и тебе хорошо. Олечка, живи как можно дольше, пожалуйста! Будь здоровенькой! Обожаю тебя, да ты это и сама знаешь!

Последнее прозвучало как-то необычно, как какое-то скрытое признание, вижу и слышу я сейчас, когда вспоминаю не только это, но и рассказ о слизывании капельки крови в школьном туалете.

Никто этого, конечно, не заметил, Люся потянулась стаканом к Оле, и все потянулись. Выпили, вновь пришедшие начали закусывать, Оля пошла покурить, Коля отправился с ней за компанию, Паша поглядывал на Наташу: мы все тут устроили, маму твою поздравили, домой не пора?

Теперешним слухом я слышу, как Наташа шепчет Паше:

– А родители твои когда приедут?

– Отец звонил, скоро.

– Надо дождаться.

– Зачем?

– Затем. Сиди.

– Я и сижу.

– И сиди.

И Паша остался сидеть, но не за столом, а перешел в кресло, достал телефон, вставил наушники и начал что-то смотреть. Судя по лицу, что-то смешное, какие-то прикольные ролики в ютюбе.

– Ну что, Алик, все выступаешь? – спросила Люся.

– Некогда. Готовлюсь к соревнованиям на выживание.

– Да уж вижу, вон какой стал аполлонистый, сволочь. А все равно кости уже не те, организм не тот, с молодыми не сравнишься.

– Там возрастные группы, моя – от пятидесяти до шестидесяти.

Алик начал рассказывать об этих соревнованиях, которые проводятся где-то в Сибири, в тайге, их снимает телевидение, некоторые участники становятся звездами экрана, пусть и ненадолго.

– Зачем тебе это? – спросил Суров.

– Интересно. Испытать себя.

– Помнишь, что Камкин говорит? Проще пересечь в лодке Атлантику, чем заставить себя поменять текущий кран на кухне.

– При чем тут кран? И при чем тут Камкин?

– Камкин всегда при всем! – заявила Люся, не прекращая с аппетитом есть.

– Это точно, – согласилась Нина.

– Да ладно! – Всегда вы – Камкин! Чего он такого сделал? Посидел пару лет за политику – слава на всю жизнь!

Вернувшийся с Олей Коля сразу уловил нить разговора и закивал. Нина заметила:

– Ты-то чего балдой мотаешь, Коля, ты же его и посадил!

– Даже возражать не будут, все знают, что неправда.

– Да правда! – закричал ему Суров. – Не ты, так вся твоя система! Хватит уже отмазываться, Коля!

И Суров начал обличать и Колю, и ушедшую систему социализма, Брежнева, Андропова и всех прочих, однако и крушение социализма обличил, обвинив в скороспелости, заклеймил Горбачева и Ельцина, перешел к нулевым и десятым, осудил политику Путина, вменив ему в вину потворство жуликам и ворам, всему гнилому и архаичному, а не свежему и новому. Обращался он при этом не к Коле, для которого все было предназначено, а к Ольге – так умный и знающий муж разъясняет не очень сведущей жене, что к чему. Оля покачивала головой, как бы благодарила за мудрость, на самом деле это было почти машинально, но Колю, похоже, задело именно ее согласие, а не доводы Сурова. Он начал возражать, сказал, что при социализме было много хорошего, и мы сейчас это все больше используем.

– Кто мы? – закричал Суров. – Кто такие мы? Ты, что ли, сука, гэбня гнойная?

– А можно без оскорблений? – обиженный Коля махнул стопку водки и тут же налил еще.

А после этого дал и свою оценку ушедшим временам – Горбачева и Ельцина, как и Суров, безусловно осудил, а Путина по всем статьям оправдал, свалив вину на косное и инертное население, не понимающее своего счастья и, главное, на продажных либерастов, которые поют с чужих голосов, которым только тогда и хорошо, когда Родине плохо.

Спор разгорелся не на шутку. Коля отстаивал и социализм, и современность, приводя примеры хорошего и там, и здесь, Антоша тоже защищал социализм, но бичевал современность, а Суров ругал и то, и другое. Люся была солидарна с Колей, при этом старалась показать, что, разделяя позицию Коли, самому Коле не симпатизирует – у них, наверное, были свои счеты. Нина имела собственное оригинальное мнение – если человек хороший, он в любое время хороший, а если гад, он в любое время гад, но главное в том, что надо уметь быть счастливым при всех временах, а быть счастливым это – талант! Алик откровенно над всеми посмеивался и мягким, добродушно-покровительственным голосом выспрашивал, где учусь, чем в жизни интересуюсь, есть ли друг, если есть, то кто он, а если нет, то почему. Пытался помаленьку обаять, но без практической цели, применял наработанные навыки. Ради тренинга. Паша смотрел приколы, Наташа убирала опустевшие судки, чашки, салатницы, уносила, приносила новые, а Оля поставила перед собой тарелочку с маринованными грибами, которые ей понравились, и задумчиво, размеренно ела один грибок за другим, отпивая небольшими глотками вино. Увидев, что я наблюдаю, Оля улыбнулась и кивком спросила: хочешь? Я кивнула, подставила свою тарелку, Оля ссыпала мне половину грибов, и мы начали есть их на пару, причем, развлекая себя, синхронно: она накалывает вилкой гриб и отправляет в рот, и я накалываю, и я отправляю. Она отпивает вина, и я отпиваю. Нас это забавляло. В это время, кстати, после ареста папы, я как-то особенно ощущала вкус всего. Сначала почти болезненно, потом с любопытством. До этого была солидарна с папой, который терпеть не мог рассиживаться за столом, если к этому не вынуждал какой-нибудь праздник, говорил: «За-

втрак должен занимать пятнадцать минут, обед полчаса, ужин двадцать минут, все, что свыше – бездарная трата времени». Вот и в тот вечер я вникала в оттенки вкуса и запаха, впитывала в себя и мякоть соленых маленьких помидорчиков, домашних, из трехлитровой банки, в них мне почудилось что-то деревенское, хотя в деревне я не была и сроду ничего деревенского не пробовала, впитывала мягкие, податливые, тающие волоконца тушеного мяса, сытную мякоть картошки-пюре, хрусткую сладость перца и кажущуюся сначала вяловатой и пресной податливость листьев салата, проникая в их растительную робкую суть, и...

И тут пришли родители Паши, Бояринов Игорь и Бояринова Татьяна. Паша открыл им, Наташа встретила в двери комнаты, когда они входили, а остальные продолжали спорить, перейдя от общего к частному и вспомнив опять историю загадочного Камкина.

– Всем здравствуйте! – приветливо закричал от порога Бояринов-отец.

– Даже не надейся, иуда, мы тебе Камкина никогда не простим! – кричал Суров Коле.

– Задолбали со своим Камкиным, я к нему не имел никакого отношения! – кричал Коля.

– Мы ненадолго! – известила Бояринова-мать.

Я рассматриваю теперь, отсюда, ее глаза, которыми она охватила комнату, в одну секунду, оценив всех и каждого. Наши мозги работают так быстро, что мы не успеваем это осознать, поэтому принятые решения часто приняты не нами, а всем, что в нас заложено. Замечу, что язык это чутко подметил. Само выражение «принять решение» – всмотритесь в него, вслушайтесь. Подсказка: «принять во внимание», «принять участие», «принять подношение», «принять христианство, ислам». Еще одна подсказка: синонимы к слову «принять» – получить, взять, признать, обрести и так далее. Понимаете, да? Решения не создаются нами, мы их принимаем, как что-то готовое.

Так вот, Бояринова-мать успела за секунду что-то подумать о каждом – о Коляе, что человек не самый приятный на свете, но нужный, с ним надо поддерживать отношения, о Нине, что она хабалка, от которой надо держаться подальше и ее саму держать на расстоянии, не то испортишь себе репутацию, об Антоше, что он мужчина хоть и фактурный, но скучный, однако тоже полезный, преподаватель университета, вдруг кто-то из детей друзей и знакомых будет туда поступать, пригодится, о красивенькой девушке рядом с Антошей, племяннице Оли и дочке того самого Кухварева – что она, с одной стороны, пока не пригодится, но ведь отец ее рано или поздно выйдет и наверняка опять будет ворочать большими деньгами, так у них, в Москве, все устроено – чести лишить могут запросто, но бизнеса – ни за что, с ней лучше поддерживать теплые отношения, об Алике, что он, конечно, неувядаемый красавец, с которым хорошо бы разочек это самое, но нет, даже рисковать не стоит, да и заразу можно подцепить от такого беспутного мужика, об Оле – что несчастная она все-таки женщина, сидит сиротски за столом, в сиротском интерьере, среди этих убогих стен, обклеенных допотопными обоями в цветочек, совсем не умеет радоваться жизни, но это и понятно – больная; наверно, самая страшная болезнь – потерять интерес к жизни, болезнь самоубийц, о Сурове, что он чуть ли ни в отцы тут всем годится, а туда же, спорит по-молодому, вытягивая тощую петушиную шею, а ведь о Боге пора подумать, к которому скоро придется явиться, Бог круче любого прокурора, все знает и помнит, в том числе то, что отец ты, Суров, был поганый для нашей снохи, ничем ей не помог, ничем не поучаствовал в ее жизни, в отличие от нас, которые с утра до ночи колотятся, чтобы и себя обеспечить, и дочку, и будущих внуков, о Люсе, что – вот с кем дружить надо крепко и постоянно, женщина высокого полета, миллионерша, сам губернатор был у нее не так давно на дне рождения, да что губернатор, говорят, сам Володин, великий земляк, прилетал из Москвы на пару часов спецрейсом, у особняка Люси полиция по такому случаю дежурила, а охраны было больше, чем гостей. Одновременно Бояринова-мать успела подумать и о сыне, что таким гордиться можно – самостоятельный, маму любит, жену в порядке держит, которая хороша, грех хаять, и тоже девушка самостоятельная, но все же беспризорницей росла – при живых-то родителях!

Житейский опыт Бояриновой-матери сразу почуял – что-то зреет в этой разношерстной компании, пахнет сварой и скандалом, и лучше держаться от этого подальше. Так и возникло

решение, которое Бояринова-мать приняла и огласила, сказав, что они ненадолго. С мужем она это не обговаривала, поэтому на лице Бояринова-отца мелькнула тень легкого удивления, тут же перешедшего тоже в принятие, потому что он безоговорочно доверял супруге, и он на ходу кивнул, подтверждая: да, мы ненадолго. А сам нес большую коробку, на которой была изображена микроволновка.

– Оля, с юбилеем! – громко сказал Бояринов-отец, вернее, прокричал, чтобы перекрыть шум.

– Там куча функций! – закричала и Бояринова-мать. – И встроенный тостер, очень удобно!

– Да ладно тебе, Коля! – усовестил справедливый Антоша. – Я не знаю, сдавал ты его или нет, дело темное и недоказуемое, но что отношения не имел, это ты брешешь!

– Как сивый мерин! – хохотнула Нина.

– Вот именно, – нехотя согласилась Люся.

– Спасибо, спасибо, – Оля поднялась навстречу сватам, взяла коробку и озиралась, не зная, что с ней делать.

Паша выручил, схватил коробку и понес на кухню.

– Как жизнь, как дела? – спросил Алик Бояринова-отца.

– Лучше всех, но хуже многих, – смеялся тот.

– Вы садитесь, садитесь, вот сюда, – Наташа вела свекровь к тому месту, где сидела сама.

– А ты, а Паша? Мест, что ли, нет?

– Стулья есть, а за столом, ты же видишь, уже негде. Мы насиделись, мы скоро вообще пойдем.

– Куда это? Давайте вместе, я же сказала, мы на минутку.

– Точно, – подтвердил Бояринов-отец. – Да и ели недавно, так получись, с обедом затянули и буквально только что... А пить тем более нельзя, я за рулем.

– Знаете что, надоело! – выкрикнул Коля. – Вам козел отпущения нужен, так вот, я вам не козел, ясно?! И большой вопрос, кто кого сдавал, может, Камкин сам сексотом был, вот и стал потом грехи замаливать, в ангела превратился!

– Ну ты и гад! – развел руками Суров, сказав это почти с восторгом.

– Оль, скажи ему, ты же знаешь! – попросил Коля.

– Я знаю только одно, – ответила Оля, – что в нашем возрасте дни рождения напоминают поминки, только покойник не в гробу, а за столом. Быстро выясняется, что о покойнике сказать нечего, вот и начинают или анекдоты травить, или выяснять отношения.

– Почему же нечего? – не согласился Бояринов-отец. – О каждом всегда есть что сказать.

– Ошибаешься, Игорь. Если про каждого из нас попробовать написать историю жизни – странички хватит.

Наташа тут же ей возразила, причем возразила довольно умно:

– Ну и что, мам? Вон в Википедии даже про самых великих – несколько строчек.

– Смотря как рассказать! – поднял палец Алик. – Я могу в одной песне, в четырех куплетах отразить биографию любого исторического деятеля. Метафорами. А можно одну минуту расписать как «Войну и мир».

– Абсолютно! – с удовольствием подхватил Коля отвлеченную тему, но Суров это понял и осадил его:

– Вот ты и хочешь теперь расписать все по-своему, в свою пользу. Ничего, Камкин придет, мы его напрямую спросим.

– А он придет? – с тревогой спросила Бояринова-мать.

– Не знаю, – сказала Оля. – Может быть.

– Своеобразный человек! Отлично! – жуя, сказал Бояринов-отец.

«Отлично» относилось не к Камкину, а к голубцу, который Бояринов-отец попробовал. Наташа, довольная похвалой, улыбнулась. Паша, вернувшийся из кухни, стоял у косяка, застыв, уставившись на ползущую надпись часов. Он был похож на упитанного кота, который, заметив что-то движущееся, может долго не сводить глаз с объекта, погружаясь в нечувствительную прострацию.

У нас был котик, родители завели его для воспитания во мне эмпатии, но быстро выяснилось, что у меня аллергия. Котик исчез, я рыдала. Привели собачку-корги, не купив ее, для пробы – вдруг у меня и на собак аллергия? Да, и на собак оказалась аллергия, я рыдала еще горше. И всегда любила рассматривать фотографии котиков и собачек, всякие ролики про них. Заметила, что кошки и собаки отличаются способом смотрения на мир. Кошки наблюдают, застывая, потому что их способ охоты – выжидать, быть в засаде, стеречь. А если идти и выслеживать, то очень медленно, постоянно замирая. А собаки, как и волки, они ищут и рыщут, они крутят головой во все стороны, вглядываются. Вот почему собачий взгляд кажется таким умным – он более внимательный и вопросительный.

– Да, Камкин своеобразный! – раздраженно сказал Суров. – Сейчас таких нет!

– Как нет? Он-то есть! – засмеялся Бояринов-отец. – И хватит, Виталь Геннадич, про других кого-то разговаривать, у нас тут именинница есть.

Он встал, держа в руке стакан с соком. По уверенной улыбке было понятно, что он опытный тостер, да нет, я знаю, как правильно, захотелось пошутить, неудачно. Опытный тамада, толкатель речей, спикер. Скорее всего, у него есть домашняя заготовка, сейчас он всех ею угостит, все воздадут должное его обаянию и остроумию.

Но он не успел ничего сказать. Суров тоже встал и, опираясь руками о стол, клонясь в сторону Бояринова-отца, закричал:

– Не вам мне указывать, Игорь, е, Николаевич, о чем мне разговаривать, а о чем не разговаривать! Что за манера – сразу свои порядки устанавливать? Командуйте своими работничками, которые вам прибавочную стоимость приносят и от вас хамство терпят, видел я, как вы с ними общаетесь! Для вас люди – быдло!

– Пап, ты офигел! Напился? А ну, сядь! – закричала Наташа.

– Ничего, ничего, пусть выговорится! – вдруг сказала Бояринова-мать, высасывая мякоть из помидорчика и причмокивая, одобряя этим вкус помидорчика и себя, потому что сама солила, сама банки крутила, заботилась.

И ведь не хотела она скандала, но подлила масла в огонь – почему? Потому что надоело ей притворяться, имитировать уважение по отношению к людям, которых глубоко не уважала. Ведь это к чему приводит? К тому, что приходится общаться семьями, ходить друг к другу на дни рождения и другие праздники, тратить время. Зачем ей этот Суров, хилый и вздорный старик? Зачем Оля, больная женщина? – Бояринова-мать, как многие здоровые, но мнительные люди, всегда опасалась слишком близко общаться с больными, будто боясь заразы, даже если они совсем не заразные. Мало ли, вон по телевизору сказали, что психическое состояние на расстоянии запросто передается, не заметишь, как сам психом станешь!

– Спасибо, Татьяна Николаевна! Разрешили! – поклонился Суров.

Паша расценил это как покушение на оскорбление матери и решил предъявить свое веское мужское слово – слово верного сына и наследника.

– В самом деле, ты сядь и успокойся, – сказал он. – Тут нормальные люди общаться пришли, а не...

– Жене приказывай! – оборвал его Суров. – Я поражаюсь, какие все самодовольные тут! Каждый себя считает вправе указывать, кому что делать!

– Никто не считает, Суров, ты чего? – примиренчески сказала Нина. – Мы тебя все любим и ценим!

– Молчала бы! – огрызнулся Суров. – Ты даже не понимаешь, что то, что ты говоришь, еще хуже хамства! Ты же намекаешь, что любить и ценить не за что, а вы стараетесь, делаете вид, притворяетесь!

– О, понес! – растерялась Нина.

– А он всегда так, – объяснила Люся. – Он повод ищет, чтобы обидеться. У меня папа такой перед смертью стал, старики все обидчивые. Сразу оговариваюсь, Суров, что это не намек, а мое честное к тебе отношение. Не люблю я тебя.

– Благодарю за правду! – Суров вытянул руку, указывая на Люсю (как памятник Дзержинскому на привокзальной площади). – Если бы все такими были, все было бы проще! Да, Оля? Ведь мы тебя мучаем, тебе давно хочется всех выгнать! Я прав? Я прав?

– Прав, конечно, – сказала Оля. – Но социальный протокол, так положено, так принято. Терплю.

Повисла пауза, во время которой каждый думал, как ему поступить. И тут спасительно зазвенел телефон Коли. Он достал трубку.

– Да? Да. Да. Да, конечно. Да. Нет. Потом объясню. Ладно. Понял. Понял.

Суров в это время устало сел и начал старательно и жадно есть. Стало заметно, что он довольно пьян.

Коля, закончив разговор, аккуратно свернул салфетку, положил на стол, встал.

– Хороший повод – сказать, что меня вызывают по срочному делу. Но, в самом деле, иногда не хочется врать.

(«Иногда!» – потрясла Нина поднятым пальцем, призывая всех обратить на это внимание.)

– Да, иногда. Сейчас не хочу. Я к Оле пришел – повидаться. Повидался, рад. Ты знаешь, Оль, я всегда рад тебя видеть. Всегда люблю, как говорится.

– Знаю, – ответила Оля.

– Ну, и спасибо. Извините все, если что не так. До свидания.

И пошел к выходу.

– Дипломат! – вдогонку проговорил Антоша. – Надо отдать должное – умеет выкрутиться. И лирики подпустил. Ты по-своему талантливый, Коля!

– Не без этого, – ответил Коля с мягкостью милосердного победителя.

И ушел.

Бояриновой-матери стало жаль, что раздор не состоялся и придется дальше жить в тягомотине вынужденно-родственных отношений.

– Так я не поняла, Оль, ты и правда только терпишь нас, а сама не рада?

– Все ты поняла, Таня.

– Мам, хватит! – Наташа чуть не плакала. – Вы все вообще, что ли, сегодня? Давайте выпьем еще, посидим и разойдемся, только без разговоров, а?

– Да нет, Наташенька, поздно, разговоры уже были. Ты права, Оля, я все поняла, хотела только уточнить.

– А может, перестанем? – Бояринов-отец попытался взять все в свои руки. – Из ничего целую гору наворотили! Это только момент, дорогие мои! Мой отец, твой дед, – Бояринов-отец оглянулся на сына, – в таких случаях говорил: замри и подумай! Вот и нам пора замереть и подумать. В конце концов, мы все свои люди, нам делить нечего.

– Ну, насчет «свои» я бы не торопился! – подал голос Алик.

Он решил, то есть что-то имевшееся в нем решило, что пора и ему показать себя. До этого Алик баловался, играя со мной в соблазнителя, но понял, что на меня это не действует. Я не отзывалась на его приманки, внимательно слушала всех, значит, надо попробовать соблазнить меня красноречием. Опять же, соблазнить не соблазняя, для поддержания тонуса.

– А что, не свои? – спросила Бояринова-мать, продолжая провоцировать и нарываться.

– Нет, конечно. Вот сравнивают нации. Немцы такие, американцы такие, французы, японцы, русские, ну, и так далее. Полная чепуха. Внутри одной нации люди отличаются намного больше, чем сами эти нации. Люся вот у нас – чистая американка, бизнес-вумен, буря в пустыне, авианосец!

– Да пошел ты! – Люся сделала вид, что не купится на дешевые комплименты, однако они ей были приятны – даже от ненавистного Алика.

– Нина – хохлушка, украинка, у меня три хохлушки были, точно такой типаж.

– Скорее Люся хохлушка, она же Терещук! А я русская душою! – не согласилась Нина.

– Хохлушка, говорю тебе! Чувствительная, любвеобильная, но себе на уме, свою маленькую выгоду всегда знаешь.

– Неправда, от наивности и доброты всю жизнь в пролете!

– А я кто? – спросила Оля, заинтересовавшись.

– Ты вне нации.

– Потому что больная?

– В том числе, – не пощадил ее Алик. – А вы, герр Бояринов и фрау Бояринова – чистокровные породистые немцы, практичные и хозяйственные, и Паша такой же.

Все семейство в унисон польщенно улыбнулось – они были не против.

– Наташа наша – русская до последней косточки. Коня остановит, в избу горящую войдет – это про тебя, красавица.

– Да уж точно, – не стала спорить Наташа.

– Суров, Виталий Геннадьевич, алло, про тебя говорю, только в морду не бей.

– Чего? – поднял голову от тарелки Суров.

– Ты у нас мексиканец. Тебе давай революцию и текилу. Устроишь революцию и тут же ляжешь в гамак. Размышлять.

Суров хотел было обидеться, но слово «размышлять» примирило его с характеристикой Алика.

– Кто остался? – спросил Алик.

– Никто, – сказал Антоша.

– Ты остался. Не напрягайся, Антоша, я знаю, что ты патриот, и это в кон, потому что ты тоже, как Наташа, русский. Но, чтобы вы знали, русские женщины и русские мужчины это разные нации. Русская женщина коня остановит и в избу войдет, а русский мужик будет репу чесать. Он сомневаться будет. Зачем коня останавливать, может, это вольный конь и бежит по своим делам? Зачем избу тушить, она и старая, и надоела, пусть догорит, мы новую построим. Правда, новую он не построит, скорее землянку выроет, да еще будет говорить, что это самый лучший вид жилья.

– Пустослов ты, Алик.

– Возможно. А о тебе все в одно слово укладывается – тоскливый ты. Как русскому мужику и положено. Для тебя идеал всегда в прошлом. И даже не в прошлом, главное – не там, где ты.

Антоша неспешно налил стопку, выпил и сказал:

– Все это на поверхности. А если посмотреть вглубь...

– Потом посмотрим! Еще я остался и Ксения. Мы – граждане мира. Мы ваша надежда и ваше будущее, если хотите. Согласна, Ксюша?

Алик положил руку на мою. Возможно, все сказанное было сказано только для этого – положить на мою руку свою, еще красивую, еще мускулистую, но уже подсохшую, пожилую, с дрябловатой кожей...

– Странные мы все, – сказала Оля. – Вот, допустим, человека тащит к пропасти.

– Кто тащит? – очнулся Суров, который, поев, не протрезвел, а наоборот, стал совсем пьяным, начал задремывать, кренясь головой к тарелке.

– Неважно. Никто. Поток тащит. А он каждые сто метров празднует, что стал ближе к этой пропасти.

– Дни рождения имеешь в виду? – спросил Алик.

– Ну да.

– А я свой никогда не отмечаю.

– Потому что никто не придет, – сказала Люся.

Бояринова-мать, как человек, привыкший добиваться намеченной цели любым путем, даже если разонравились и цель, и путь, поставила вопрос прямо:

– Оля, если без теорий, по-честному, нам уйти, что ли?

– Да конечно, давно пора, – сказала Оля. – А еще лучше было бы – не приходить. И я это каждый раз говорю, а если не говорю, то намекаю всячески, а вы приходите и приходите. Я всех имею в виду.

– И меня тоже? – спросила Наташа.

– И тебя. Рада видеть, но не сегодня.

– Ясно! Спасибо! Паша, пойдем! За столом и стульями, за посудой потом приедем.

О столе, стульях и посуде было сказано для того, чтобы Оля вспомнила о трудах и стараниях дочери, чтобы ей стыдно стало. Но Оля лишь улыбнулась. Она всегда знала, как знаю теперь и я, что в любой ссоре обиженным быть выгодней, а часто и приятней, чем обижающим.

Наташа и Паша ушли, следом убрались и Бояриновы. Вылезали из-за стола и шли к двери молча, но в двери Бояринова-мать остановилась, повернулась и сказала:

– Ладно, Оль, будет как ты хочешь. Не только на дни рождения не придем, но и вообще тебя утомлять не будем. Да, Игорь? Всем до свидания!

Хлопнула дверь.

– Ну, Олечка... – начал было Антоша, но Олю аж передернуло.

– Хватит! Имейте совесть, уйдите, а? Ксю, пойдем покурим. Ребята, правда, сочтите за приступ, за что хотите, но давайте я вернусь, а вас уже никого не будет, хорошо?

Она вышла на балкон, я – с ней.

Что было в комнате, мы не видели, окно было задернуто шторой.

– А кто такой Камкин? – спросила я.

– Неважно.

Оля и потом не рассказала мне о нем. Обо всех рассказала, и довольно подробно, о Камкине же только то, что он уникальный человек, который появляется тогда, когда он нужен. Деньгами помочь не в силах, но всегда готов похлопотать по чужим делам, побегать по инстанциям, добиться решения житейской проблемы другого человека. А сам неустроенный и практически нищий, но всегда бодрый, неунывающий, одним этим поддерживает окружающих.

– Прямо святой какой-то, – сказала я.

– Скорее юродивый. Он ведь тоже в психушке побывал. А ведь самый нормальный из всех, кого я знаю.

– А почему на день рождения не пришел? Не нужен был?

– Без него все уладилось. Знаешь, что в нем самое необычное? Я много раз замечала – он куда-то входит, где компания или... Где кто-то уже есть, что-то говорят, а люди как говорят? – соревнуются, кто умней. А он входит, и всем сразу как-то совестно. И они уже не кажутся себе такими умными. У меня был знакомый писатель местный, сейчас уже не местный, в Москву уехал, он любил рассказы свои вслух читать. И вот пришел, у меня компания сидит, это когда муж в тюрьме был, человек пять, выпиваем, он говорит: хотите, новый рассказ прочитаю? Люди вежливые согласились. Некоторым нравилось.

– Тебе нет?

– Не очень. Может, неплохие рассказы, но у нас с ним история была довольно неприятная, я после этого не могла к нему объективно относиться.

– Домогался?

– Да, но из самолюбия. Чтобы себе доказать, что может.

– Смог?

– Кое-как. В общем, начал он читать. Сам читает, и сам посмеивается. И другие смеются, веселый рассказ был. И тут приходит Камкин.

– Как его зовут?

– Витя, как и мужа моего бывшего. Приходит Витя, тихий такой, в уголок садится, чтобы не мешать, я ему глазами на чайник, на вино показываю, он рукой машет: нет, потом, не надо. И слушает. По-доброму слушает. Но писатель этот как-то сразу увял, до этого читал с удовольствием, а тут, вижу, настрой у него сразу пропал, он сдулся, читать начал скороговоркой, и никто уже не смеялся. Суров этому даже название придумал – эффект Камкина. И ведь я его уже год не видела, а то и полтора. И не звонил. Может, даже умер.

– Если умер, будешь жалеть?

– Ксю, мне и себя-то не жаль. Посмотри, ушли?

Я заглянула в комнату:

– Ушли.

– Убираться теперь. Ненавижу.

– Я уберу.

– Спасибо.

После этого было несколько спокойных или, как выражались в старину, безмятежных дней. Оля рассказывала мне обо всех, кто был на дне рождения, заодно вспомнила многое из прежней жизни, я слушала и завидовала. Особенно понравилась история о том, как Суров поспорил с кем-то о каких-то стихах какого-то поэта и до того раскипятился, что дал оппоненту в морду. Или тот ему дал, неважно, главное – из-за стихов! Кто сейчас даст в морду из-за стихов?

А может, я и не права, читала ведь, будучи живой, как подрались две поклонницы из-за двух рэперов, а рэп тоже отчасти стихи.

Вдруг позвонил Аркадий, о котором я уже забыла. Позвонил в субботу утром. Сказал:

– Привет, Москва, извини, в прошлую субботу не мог. Вечером заеду, будь готова.

– Не уверена, что я хочу.

– Мы же договорились!

– Разве?

Мне стало смешно. Да и проветриться не мешает, хватит сидеть дома, надо посмотреть на их любимую Волгу, не городскую, а вольную, где нет многоэтажных домов и машин.

– Ладно, заезжайте.

Я помнила, что он говорил о компании друзей, но Аркадий приехал один. Стоял у машины, ждал меня, сразу же объяснил:

– Никто не смог, представляешь? Все хотели, а один вчера еще позвонил, авария у него, сегодня другой – жена заболела, нехорошо ее одну оставлять.

– А ваша жена, ваши дети?

– У них свои дела. Ну, чего? Едем, Москва?

– Я так Москва теперь и буду?

– Ты против?

– Нормально. Но я же хотела посмотреть, как рыбу ловят. Как леща коптят.

– А все и будет – и поймаем, и закоптим. Или, если неохота возиться, у рыбаков готового леща купим.

– Значит, друзья не смогли?

– Никак!

Я видела, что Аркадий врет, но врет честно, не очень-то вранье прячет и этим предлагает мне договор, оферту: если ты видишь мое вранье, но согласишься его принять и простить, значит, согласишься и на все остальное, а я тебя считай что предупредил.

Было ли у меня предчувствие, что это может кончиться плохо?

Было.

Но я была готова рискнуть. Мне, пожалуй, даже хотелось, чтобы это кончилось именно плохо. Пострадать мне хотелось.

Поэтому и села Мальвина к Карабасу Барабасу, прекрасно понимая, что тот может сильно измять ее платьишко, ее локоны и все остальное.

По дороге Аркадий рассказывал о том, как ему предложили купить в долю грузовик-фуру, и как он мается, не зная, соглашаться или нет. Согласиться – влезть в долги. Отказаться – упустить возможную выгоду.

– Фишка в чем, Москва? Конечно, возни с фурой много, а грузов для перевозки сейчас мало, кризис. Но кризис кончится когда-нибудь, или мы власть к ебеням свергнем. А может, все затя-

нется, что тогда? С другой стороны, я слышал, в следующем году запретят машины из рук в руки продавать, только через государственные какие-то конторы. Спрашивается, зачем? Отвечаю: на конторы посадят кого-то из путинских дружков, и он будет с нас деньги стричь за посредничество. Очередная кормушка. Вторая опасность – сейчас отменили вклады дольщиков в строительство. Чем грозит? Объясняю – грозит сокращением строек. А стройки – это что? Это транспорт! Все же надо привезти, правильно? С неба цемент не упадет! Следовательно что? Следовательно – сокращение парка машин. И я окажусь в полном пролете. Но, если куплю сейчас, могу успеть немного заработать. Логично?

– Если честно, запуталась.

– Вот и жена говорит: как ты, говорит, начинаешь объяснять про эти дела, у меня голова сразу пухнет. А у тебя родители кто? – неожиданно спросил Аркадий. Видимо, сообразил, что про жену вспомнил не вовремя.

– Преподаватели, – сказала я.

– Ясно, интеллигенция. Просрала она страну, интеллигенция наша. Покричали – и в кусты. Не уважаю.

И он начал подробно объяснять, почему и за что не уважает интеллигенцию.

А мне стало скучно, причем скучно до тоски. И Аркадий был невыносимо скучен, и то, что я видела из машины, а мы в это время выехали из города, слева была лесополоса, справа поле, за полем дачи, потом огороженный общим забором поселок коттеджей, и опять дачи. Вот поле, думала я. На нем что-то растет и колосится. Пшеница или рожь, или гречиха какая-нибудь. Об этих растениях песни сочиняли. Были праздники урожая. Ой ты рожь, хорошо поешь. На полях пшеница зреет, хлебороб ее лелеет. Но что такое, по сути, пшеница, рожь, гречиха? Это вещества, которыми человек удовлетворяет свою потребность в энергии. Еда. Поэтому можно сказать «нива золотистая», а можно – «поле еды».

И вот я смотрела на поле будущей еды, на строения, состоящие из стен и крыш для защиты от холода, осадков и посторонних взглядов, и все казалось страшно унылым, вынужденным, созданным по необходимости, человек ведь не может существовать без пропитания и жилья. Это можно уважать и ценить, но недаром же религиозные люди называют все окружающее бренным, тленным и так далее, недаром они мечтают о царствии небесном, которое, скажу сразу, таковым не является. Не царствием и не небесным. Недаром спрашивала героиня какой-то пьесы, которую мы проходили в школе: «Почему люди не летают?» (Сейчас-то помню – Катерина из пьесы «Гроза» Островского).

Что за чушь, думала я, зачем я с ним еду, какое приключение ищу на свою юную плоть, да еще плоть не тронутую? Ясно же, абсолютно ясно, чего он хочет – а я что? Тоже этого хочу? Да, хотела, еще полчаса назад хотела, при этом он мне даже не нравится, но как раз и хотела, чтобы это произошло с тем, кто не нравится. Зачем? Наказать себя за что-то? Получить запланированный стресс – чтобы заиметь навсегда отвращение к процессу? Или этим убить то, что возникло по отношению к Паше? Но как возникло, так и прошло. Или не прошло?

– Послушайте, Аркадий... – сказала я.

Этот не очень умный, но очень смекалистый в свою пользу человек сразу понял, что я хочу сказать. И нахмурился. Вернее, помрачнел. Вернее, разозлился. Но только на секунду, тут же с приятельской веселостью глянул на меня:

– Мы разве не на ты?

– Нет. И не будем. Я вам в дочери гожусь.

– Да хоть во внучки, не в возрасте дело!

– Согласна. Я вот что. У меня тетя больная, я как-то не подумала, а сейчас беспокоиться начинаю. Если я задержусь, ей плохо станет, она начнет в полицию и морги звонить.

– Это ты на что намекаешь? Не боись, Москва, поздно не вернешься!

– Я сейчас хочу.

– В смысле?

– Хочу обратно. Извините. Если вам некогда обратно ехать, высадите, я такси вызову.

Аркадий молчал, ехал с прежней скоростью.

– Вы слышите? Остановите, пожалуйста.

– Так не делается, Москва. Я тебя в машину не тащил, сама села. Я что, хуже твоих этих... Московских твоих? Гарантию даю, не только не хуже, а лучше. И намного. Сама убедишься. Только не говори, что не поняла, зачем едем.

– Я имею право передумать?

– Все имеют. Хотелось бы знать – почему? Скажи причину.

– Я сказала: у меня тетя...

– Врешь.

– Хорошо, вру. Расхотелось ехать, расхотелось лещей.

– Москва, объяснить, как жизнь устроена?

– Да, но не сейчас.

– А я объясню. Жизнь – это что? Это общение. Без общения человек полное никто. Про Робинзона Крузо читала?

– Конечно.

– Вот. Чем он занимался? Все ведь было у него – продукты, вещи он с корабля утонувшего натаскал, стадо себе завел. Но он лодки строил, плоты, рвался оттуда уплыть. К людям. Потому что без других людей человек не человек. Так вот, жизнь, она про общение, правильно?

– Допустим.

– А при общении, Москва, есть две стороны. Есть ты, и есть я. Ты хочешь назад, я хочу вперед. И как быть?

– Мужчины женщинам обычно уступают.

– Не в этот раз.

– Мне что, на ходу выпрыгивать?

Я взялась за ручку двери, она была заблокирована.

Это уже не шутки. Я всерьез испугалась и растерялась.

– Аркадий, мне в полицию звонить? Останови, сказала! Останови, хуже будет, у меня тут родственников полно, они тебя... Они тебе... Ты слышишь меня? Останови немедленно!

Я схватила телефон, он ловко вырвал его и сунул под себя.

– Оттуда не достанешь!

– Ты псих? Ты маньяк?

И тут Аркадий притормозил, а потом остановился, съехав на обочину. Повернулся ко мне. Медленно протянул руку, положил руку на плечо. Я отшатнулась.

– Ну чего ты, Ксюнь? – спросил он с ласковым упреком. – Клянусь, все будет хорошо. Я ни разу в жизни девушек не обижал, только наоборот. Ничего не сделаю, чего ты не захочешь. Отдохнем, пообщаемся, винца выпьем, рыбки поедим.

У меня и сейчас в ушах это его «поедим», после которого он всхлипнул ртом, проглатывая набежавшую слюну. Оно звучало жадно и до омерзения похотливо. Недаром же древнее слово «поять» так созвучно слову «поесть». Насытиться, удовлетвориться.

Он глядел на меня в упор. Я никогда не видела таких глаз, разве только в фильмах и сериалах о насильниках, но там все кажется отстраненным, тебя не касающимся. Сумасшедшие глаза, в которых почти ничего человеческого, голое желание и готовность взорваться, если это желание не утолят, взбеситься, уничтожить все препятствия и разорвать того, кто не дает овладеть объектом, включая и сам объект. И ты понимаешь, что не остановишь ничем – ни ответной агрессией, ни тем более уговорами, обращениями к разуму. Нет там никакого разума, не к чему обращаться. Можно попробовать обмануть, и я попробовала.

– Ладно, я тебе скажу, в чем дело. У меня кое-что началось. Обычно позже, а сегодня вот... У меня иногда бывает – от волнения. Тут магазин какой-нибудь есть, тампоны купить?

– Ксюнь, опять врешь? Ты меня этим очень обижаешь.

– Я правду говорю! Тебе дать посмотреть?

– А дай! Я не брезгливый. Я тебе больше скажу, мне это не помеха.

– Аркадий, вообще-то я на это не подписывалась. Ты про отдохнуть говорил, про рыбки поесть, а получается, что тебя только трах интересует?

Я перешла на интонацию простушки, пусть московской, но простушки. Такая девушка на районе. Словно хотела ему сказать этим, что я своя, я не столичная штучка – ведь он, возможно, на это и повелся, захотелось поиметь в коллекции центровую барышню, так как местными пресытился.

Аркадий ответил:

– Не только, но преимущественно. В комплексе. И рыбка, и остальное. Что случилось, Ксюнь? Нормально ехали, и тебя как укусило что-то. Кто укусил, где, дай посмотрю.

Он потянулся к моей талии, я ударила его по руке. Он среагировал мгновенно, шлепнул меня ладонью по щеке, после этого обхватил одной рукой, а второй что-то сделал, отчего передние сиденья упали. Он повалился на меня, вмял тяжелым телом, стаскивал джинсы, я не сопротивлялась, была в полном ступоре, в шоке, не верила, что это происходит в действительности. Аркадий дышал тяжело, яростно, из горла вырывалось что-то вроде рыканья, нет, скорее было похоже на хриплый стон человека, у которого что-то очень сильно болит, и он стоном превозмогает боль. Он стаскивал и рвал, добираясь до цели, и добрался; у меня не было ни одной четкой мысли, но вдруг, в тот момент, когда все могло кончиться, вернее, начаться, кто-то в моей голове прошептал: «Никогда меня так не обижали!» Детским почему-то голосом. Мне бы орать, кусаться, рваться, грызть насильника, бить ему коленями в пах, а я лежу с этой вот детской девчачьей мыслью: никогда меня так не обижали!

И я заревела.

Я заревела и почти сразу же начала икать. Ревела во весь рот, широко его раскрыв, истекала соплями, икала по несколько раз подряд с дурацким звуком, похожим на «я-а!», «я-а!», «я-а!» – и опять ревела, и опять икала.

Аркадий слез с меня. Сел рядом, натянул штаны, застегнулся, сказал:

– Оденься. Дура, блядь. И хватит уже, все, не трону. Сама виновата. У вас вечно так – обещаете, а до дела доходит... Хватит орать! Прекрати! Мне тебе рот заткнуть?

Но я не могла прекратить, и он не затыкал мне рот.

Закурил.

Дым был вонючим, противным, я закашлялась.

И этот кашель помог остановить рыдания, а потом прекратилась и икота.

Всхлипывая, я натянула на себя одежду.

Он оглядел меня. Сказал:

– Так. Сейчас выйдешь, возьмешь такси. Место поймешь по навигатору.

Он полез вперед, нашел на полу телефон, дал мне. Заодно поднял кресла, ноги при этом у меня дурацки вскинулись, я подобрала их, села на заднем сиденье, обхватив колени руками.

– И ничего не было, ясно? Со мной никому связываться не советую.

– Застрелишь?

– Ну, ты и дура! Ты редкостная дура, Москва. Не понимаешь, что мужика сейчас лучше не дразнить? Но да, если что, могу и стрельнуть. Ствол всегда при мне. Показать?

– Верю.

Он докурил, выбросил окурок, нажал кнопку на приборной панели, щелкнул замок двери.

А я вместо того, чтобы тут же выскочить, смотрела на его красную шею, вдыхала запах пота и табачного перегара и, в это трудно поверить, но врать мне незачем, думала: может, зря я так? Был бы у человека приятный вечер, вино, рыбка, девушка, жизнерадостные впечатления, а девушке пора становиться женщиной, так лучше там, где не будет ожиданий, не будет обмана, где запланировано разочарование. Но если вдруг понравится, что не исключено, это станет подарком, открытием...

– Не понял! – Аркадий посмотрел на меня в зеркало. – Я тебе ничего не задел, ничего не болит?

– Нет.

– А чего сидишь?

– Извини.

Я вышла, Аркадий тут же уехал. Я посмотрела в телефоне, где нахожусь, оказалось – между чем-то с названием «Родные просторы» и окружной городской дорогой, вызвала такси, которое приехало удивительно быстро, минуты через две.

– Как раз в Саратов пустой ехал, а тут ты, – сказал пожилой таксист.

В машине пахло чем-то нажитым, будто водитель тут и спал, и ел, и делал все остальное.

Я попросила на минутку остановиться, выскочила, побежала в лесополосу, обдирая руки и лицо, там согнулось и меня долго рвало – сначала тем, что ела, потом одной только слюной, а потом были пустые спазмы, когда желудок хотел все из себя извергнуть, но уже ничего не оставалась.

Я отдышалась, высморкалась, вытерла слезы, вернулась.

– Пить надо уметь, красавица, – сказал таксист.

– Я не пила. Отравилась чем-то.

– И с парнем, наверно, поссорилась?

– Почему?

– Если девушка одна в город возвращается...

– Я у подруги была.

– Парня, значит, нет? Очень частый вариант, у меня самого младшей дочке двадцать пять, а никого. Не уродка, фигура нормальная, все при ней, а вот так вот. Говорит – мне и одной отлично. А я думаю, это потому, что настоящих парней сейчас нет. У них отсутствует, как бы сказать... Азарта им не хватает. Мы были не такие! – И он сверкнул в мою сторону золотым зубом, гордо торчавшим среди желто-серых своих зубов. – Мне вот писят два недавно бомбануло, а я им всем фору дам!

Он так и сказал – «писят два». Прозвучало для меня так же отвратительно, как «поедим» Аркадия.

Ненавижу, думала я. Ненавижу вас всех, говорящих «писят», «поедим», «рыбки», «шашлычок», «коньячок». Ненавижу не меньше, чем Сулягина.

Не знаю, почему всплыл Сулягин.

Впрочем, он никуда и не девался.

Больше того, кто-то в моей голове отчетливо крикнул посторонним голосом:

– Ее тут насилуют, а он там, сука, жирует!

Я сама никогда не изъяснялась такими словами и таким голосом, он был похож на злой и сварливый голос журналиста Стаса в тот момент, когда его уводила полицейская парочка.

Оля заболела.

Я встала утром, пошла в туалет, она же ванная. Закрыто. Стою, жду. Слышу, как шумит вода. Прошло пять минут, десять. Я постучала.

– Оль, извини, ты надолго?

Молчание.

Я подождала, опять постучала.

Стало тревожно. Я несколько раз нажала на ручку – может, Оля заметит?

Под ручкой круглая штука – фиксатор замка с прорезью. Надо попробовать покрутить ножом. Я сходила за ножом, вставила в прорезь, повернула, открыла дверь, вошла.

Оля сидела в ванной, одетая, на нее лился дождь душа. Я попробовала рукой – вода была теплая. И то хорошо. Выключила душ. Оля была в такой же позе, в какой я была несколько дней назад на заднем сиденье машины Аркадия.

– Ты чего? – спросила я.

– А чего?

Оля подняла голову, увидела нож. Сказала:

– Ты зря. Не все так плохо.

Я положила нож на полку под зеркало.

– Вставай, пойдем.

– Куда? Включи воду, мне холодно.

– Пойдем, переоденемся.

– Зачем?

– Согреешься.

– Странная ты. Я и хочу согреться. Включи.

Оля сама включила душ. Повертела ручку, делая воду теплой, и приняла прежнюю позу. Улыбалась.

– Вот, теперь хорошо.

Я постояла и пошла звонить Наташе.

– Черт, – сказала Наташа. – Обычно осенью у нее бывает. Сейчас приеду. Мне бы только клиентку закончить. Часа полтора выдержишь?

– Наверно.

– Не дави на нее, если хочет сидеть в ванной, пусть дальше сидит. Не худший вариант.

– Ладно.

Я вернулась в ванну-туалет. Хотела задернуть Олю шторкой, чтобы сделать свои дела, но – вдруг она за шторкой испугается? Или что-то сотворит с собой? Не задергивала, обошлась так. Оля не обращала на меня внимания. Продолжала улыбаться, время от времени проводя руками по лицу, по глазам. Я включила воду над раковиной, чтобы умыться и почистить зубы. Включила тонкой струей, чтобы не обжечь Олю. Она повернула голову.

– Привет. Это ты?

– А кто же? Я, между прочим, тоже в душ хочу, а ты заняла.

– Вода – это жизнь, ты знаешь?

– Конечно.

– Мне один друг рассказывал... Камкин, помнишь его?

– Да.

– Рассказывал, что он мечтал стать подводным архитектором. И быть двоякодышащим, как Ихтиандр. И чтобы все люди такими были. И он бы строил подводные города. Люди под водой стали бы намного лучше. Там движения у всех плавные, медленные. Под водой драться невозможно. И воевать тоже. Он объяснил, почему. Потому что под водой видимость хуже, взрывные волны своих убьют, труднее воевать армия на армию. Поэтому акулы охотятся в одиночку. И все хищные рыбы. Дельфины тоже, но они не рыбы. А главное, это красиво – жить под водой. Сейчас сделаем.

Оля взяла висевшую на цепочке пробку, заткнула слив в ванной. Она начала наполняться водой.

– Давай вместе, – предложила Оля.

– Не поместимся.

– Жаль. Я тебе расскажу, как там.

Она дождалась, когда ванна наполнится почти до краев (лишнее вытекало в верхнюю дырку), повернулась лицом вниз, погрузилась с головой. Оставалась так довольно долго. Я испугалась, схватила ее за плечи. Оля вынырнула со счастливым смехом.

– Там так хорошо! Попробуй!

– После тебя.

– Давай сейчас! Там совсем другой мир!

Оля с шумом и плеском поднялась, вышагнула из ванны, покачнулась, я придержала ее.

– Ну, давай!

Я залезла.

– Ныряй! С головой!

Я легла, окунулась и тут же встала:

– Да, другой мир, спасибо.

– А я что говорила!

– Но на суше тоже надо жить. Под водой есть неудобно.

– Почему? Рыбы же едят.

– Люди не рыбы. Они едят на суше.

– Тоже верно.

– Пойдем позавтракаем?

– Пойдем.

Оля позволила переодеть себя, послушно поворачиваясь. Так матери одевают малых детей.

Потом она села в кресло и огляделась.

– Ничего, мне тут нравится. Вы тут живете? Скромно, но уютно. Только обои поменять. Жуткие обои.

– Поменяем.

Я приготовила тосты, кофе, подкатила это все к Оле на журнальном столике с колесиками. Она угощалась с большим удовольствием. Я тоже выпила кофе.

– Телевизор какой большой, – сказала Оля. – Что там?

Я включила. Она смотрела с большим интересом, как на диковинку. Подняла руку ладонью вверх, поводила в воздухе. Я догадалась, нашла пульт, вложила ей в руку. Оля переключала каналы. Смотрела, качала головой, удивлялась. Переключала дальше, но вдруг скривилась, нажала на кнопку, выключила. Стала грустной, о чем-то задумалась. С недоумением посмотрела на чашку с кофе и тарелку с остатками тоста, отодвинула от себя. Потом вгляделась в меня, спросила:

– Наташа?

– Ксения.

– Да я знаю. Наташа знает?

– Что?

Вопрос поставил ее в тупик. Она опять задумалась. Потерла лоб. Легонько хлопнула ладонью по столу и рассмеялась:

– Вот память! Ты на похороны приехала?

– Нет.

– Почему? А Наташа? Где Наташа?

Я совсем перестала понимать Олю, да она и сама себя не понимала, и это ее все больше беспокоило.

– Никто ничего не может объяснить, – сказала она с досадой. – А смысл? Рано или поздно я все узнаю. Я и сейчас уже все знаю. А ты?

– Я нет.

– Вот! А я – знаю. Тебе сколько лет?

– Девятнадцать.

– Старше выглядишь. Угадай, сколько мне?

– За сорок?

– Больше. Намного больше. Но в Москву все равно не поеду. Я знаешь, сколько там не была?

– Давно?

– Даже не помню, когда. А ты в Саратове была?

– Конечно.

– И как там?

– Неплохо.

– Этот город надо очень любить, чтобы его любить. Он страшный, уродливый, но весной и летом там хорошо. Ты когда была?

– Летом.

– Передавай привет, ладно?

– Передам.

Я, как могла, поддерживала бессвязный разговор, наконец приехала Наташа. Вошла бодро, энергично.

– Мам, ты готова? Душ приняла? Тогда поедем.

– Куда?

– Здрасьте! На обследование! Месяц ждали, пора!

– Да, конечно. В больницу?

– А куда еще?

– Ну да.

– Проверим твой позвоночник, а то жалуешься то и дело. Сейчас болит?

– Сейчас нет. Вообще ничего не болит.

– И хорошо. Тогда и надо обследоваться, когда ничего не болит, чтобы объективно все было. Врач так сказал.

– Врач?

– Врач.

– Хорошо.

Наташа быстро и привычно собрала вещи для больницы, что были в комнате Оли, в спальне. Я вошла, спросила:

– Это надолго?

– Должны сразу принять. Не первый раз.

– Нет, надолго ее оставят там?

– Месяца на два.

– Я, наверно, в Москву вернусь.

– Почему? Живи тут спокойно, отдыхай. Даже лучше.

– Не хочется. Без Оли тут будет...

Я представила, как будет тут без Оли. Как в доме, откуда вынесли покойника. Но, конечно, не сказала этого Наташе. Сказала:

– Будет тоскливо как-то. Чужая квартира, чужой город вокруг.

– Тогда давай на дачу. Там природа, она везде своя, одинаковая. Пашка отвезет, а я вечером тоже подрулю. Посидим заодно, отдохнем немного, а то какие-то сумасшедшие дни были. И от мамы впечатление заглажу, на меня это жутко действует.

Наташа шмыгнула носом. По лицу текли слезы.

Я попыталась утешить:

– Проходит же.

– Проходит, да. Но когда ее накрывает... Не дай бог тебе такое увидеть. Она же не просто другой человек, она вообще в это время не человек. Нет ее, понимаешь? Хорошо еще, она сейчас меня узнает, а то бывает – не помнит, как зовут, не понимает, где находится. У меня, чтоб ты знала, один раз тоже так было. Это между нами, никому не говори, Пашка тоже не знает. Ехала на машине, за городом, дорога пустая, сухая, настроение отличное, все хорошо. И бац! – стою на поле, вокруг кусты, дорога сзади. Я почему-то свернула, перелетала через кювет, могла ведь и перевернуться, и оказалась там, где оказалась. Как свернула, как летела – не помню. Начисто все вылетело, представляешь? Три месяца потом за руль не садилась, Пашке сказала, что у меня с глазами что-то, проверяюсь, ездить боюсь, подплывает все, он поверил, мужики в такие вещи легко верят – ну, глаза и глаза, мало ли. И я с тех пор боюсь, Ксюх, понимаешь? Что у меня это наследственное.

– Ерунда. Сознание и здоровые люди теряют. Я раза три теряла в детстве. Ни с того, ни с сего – обморок. Проверяли, ничего не нашли. Такое загадочное явление.

– А потом?

– Потом прошло.

– Да? И у меня уже года полтора после этого – ничего. Действительно, бывает. Так прислать Пашку? Поедешь?

– Поеду. Воздухом подышу.

– А я о чем?!

Паша приехал в полдень, повез меня на дачу.

Я узнавала дорогу – мы тут ехали с Аркадием.

«Той же дорогой за тем же самым?» – глумливо спросил посторонний голос. «Отстань, – ответила я. – Вовсе не за тем же, я об этом и не думала».

«А кто подумал?»

«Никто».

«Да? А с кем ты говоришь?»

«Исчезни!»

И голос послушно исчез.

И мне показалось, что мне хорошо.

Нет, мне и правда было хорошо. И все вокруг было хорошо. Вот лесополоса, это хорошо, что люди посадили и вырастили лесополосу, она защищает посевы от ветров, землю от эрозии, я об этом помню с уроков окружающего мира в школе. Вот золотится на солнце какая-то зерновая культура, это и красиво, и нужно людям. И дает им работу – надо вспахать, засеять, собрать, обмолотить, испечь хлеб, отвезти в магазин, продать, все заняты, все при деле, и это помогает забыть о том, что почти все виды физической деятельности существуют лишь потому, что пока не додумались, как от них избавиться. Но обязательно избавятся и займутся чем-то другим. А вот дачи, вот поселок с коттеджами, это тоже хорошо, люди хотят жить удобно, комфортно, и чтобы все вокруг видели, как они успешны, они хотят гордиться результатами своего труда, оставить потомкам что-то осязаемое. Дорога, по которой мы едем, ровная, гладкая, это очень хорошо – умеют, значит, и в провинции прокладывать нормальные дороги, человек едет, и в душе разливается чувство патриотического удовлетворения. Вроде бы, какая разница, мчаться по европейскому автобану, американскому хайвею или российскому шоссе, но разница огромная – там дороги строили чужие люди, а тут твои родственники по нации, а бывает, что и действительно родственники, твои братья и сестры.

И то, что Паша едет уверенно и спокойно, как хозяин необъятной родины своей, тоже хорошо. Ему при выезде из города кто-то позвонил по работе, начался долгий разговор о каких-то деталях, которые были заказаны в Москве, но привезли не те, и надо с этим как-то разбираться. Это прекрасно – когда мужчина увлечен работой, когда обсуждает что-то важное, он выглядит умным, значительным. Не волнуйтесь, женщины и девушки, вы тоже в такие моменты кажетесь умнее, особенность в том, что, если разговор при посторонних, женщина говорит и для них, ей природой велено – всем нравиться, всех обольщать каждую секунду своего существования, независимо от возраста и внешних данных. Правда, все понемногу выравнивается – и возможности, и роли в социуме, поэтому мужчины все чаще по-женски кокетничают, заигрывают, а женщины по-мужски сосредоточены на деле, не обращая внимания на других, но мне немного жаль той архаики, когда папа глава семьи, а мама его семейная подруга и воспитательница детей, когда папа приколачивает доски, а мама подает гвозди, папа зарабатывает деньги, а мама покупает на них продукты и вещи. Равенства ведь все равно никогда не будет – ни между полами, ни внутри пола, иначе жизнь на Земле прекратится, я читала подробные статьи об этом и согласна с авторами.

Примерно так я думала, когда мы ехали, или думаю сейчас и добавляю к тем благостным, но бессвязным мыслям, вернее – к настроению. Хотелось ехать куда-то далеко-далеко, как в роуд-муви, фильмах-путешествиях.

Паша в это время закончил разговор, я спросила:

– Эта дорога куда ведет?

– В Пристанное, куда же еще?

– А дальше что?

– Усть-Курдюм.

– Нет, если до конца ехать, что будет?

– Ничего не будет. Это местная трасса. Ты по карте посмотри.

Я посмотрела в телефоне. Да, эта дорога кончалась в Усть-Курдюме. Рядом была изображена Волга с изогнутым руслом и множеством проток, заливов, островков. Очень причудливо, напоминает гжельскую роспись. И названия мне понравились, я прочитала вслух:

– Сабуровка, Чардым... Надо же – Чардым, какое слово!

– Симпатичное, да.

– Да тут все – песня! Кошели, Букатовка, Славянка, Шевыревка! Обалдеть – Шевыревка!

– Смешно, да. А я привык, даже не думал. У меня бабка из Синеньких.

– ?

– Село так называется – Синенькие.

– Как здорово! И сейчас там живет? Или умерла, извини?

– Живая, но у нас давно. Тут поликлиника, а у нее болячки.

Мы свернули на полевую дорогу. Она тоже была гладкая, почти как асфальт, но мягче, уютнее.

– Там дальше поворот на асфальт, но он раздолбанный весь, – сказал Паша. – А тут в сухую погоду вполне ничего.

– Я как приехала, дождя ни разу не было.

– Ну, у нас не Москва и, тем более, не Питер, дожди летом редко. Климат почти континентальный.

– Зато солнца больше.

– Это да.

Мы разговаривали спокойно. Как некоторые выражаются – ничего личного. И оба были, мне кажется, довольны этим, но оба при этом затаились, спрятались друг от друга и от себя, ничем не касались этого самого личного, однако понимали, что оно возникнет. И пусть возникнет, но не сейчас. Сейчас, если что-то начать, то тут же надо и продолжить, а продолжать в дороге неудобно. Надо устроиться, осмотреться и приступить к личному со всеми удобствами.

Приехали к даче. Двухэтажный кирпичный дом, сбоку пристроен гараж, окна закрыты металлическими ставнями, металл не сплошной, а весь в дырочках, как у дуршлага. Поэтому в доме оказалось тенисто, но не темно, и прохладно. Да еще старые яблони, о которых рассказывал Паша, обступали и затеняли дом с двух сторон, а стены, примыкающие к забору с двух других боков, были глухие, без окон. Сам участок небольшой, вокруг виднелись крыши других дач. Паша сказал:

– Место хорошее, но все равно временное, потом построюсь или куплю там, где не подпирают со всех сторон. Чихнешь, и все слышат. Правда, привыкаешь, не обращаешь внимания. Я пацаном видел, как соседи на веранде у себя трахались. Маленький был, испугался, к отцу побежал. Папа, папа, там тетя с дядей чего-то делают голые! Он говорит: и пусть делают, а ты не смотри. Но я все равно запомнил. Некрасиво, если честно. Красиво только в кино бывает.

Паша замолчал. Ждал реакции. К примеру, я скажу: почему, в жизни тоже бывает красиво. А он скажет: если такая девушка, как ты, то да.

Но я тоже молчала.

– Поедим или Наташку подождем? – спросил Паша.

И его «поедим» меня не покоробило. Наоборот, показалось приятным. Домашним, семейным, мирным и заслуженным.

Я сказала, что мне все равно, Паша позвонил Наташе:

– Привет, мы уже тут. Ты когда будешь? Ясно. Мы хотим поесть чего-нибудь, тебя ждать? Ясно. Ладно, ждем.

Паша отключился, сказал мне:

– Какие-то там проблемы, ждет главврача, без никого никак, а он только к шести вернется. Так что, говорит, раньше восьми не приеду.

Так он обозначил наш дедлайн. Хотел это сделать или нет, не знаю, но – обозначил. А потом сказал:

– Вот что, давай на Волгу съездим, скупнемся, а потом пообедаем.

– Почему съездим, ты говорил – Волга рядом.

– Минут пятнадцать пешком. Но пешком туда хорошо, под горку, а обратно подниматься, опять вспотеем.

– Все равно, давай пешком. Хочу посмотреть, как тут что. Интересно же.

– Как скажешь. Но тогда я тебе кое-что покажу!

И Паша повел меня на соседнюю дачную улицу.

Она была необычной. Не длинная, пять-шесть участков с обеих сторон, дома все небольшие, аккуратные, многие увиты плющом, с резными ставнями на окнах, но главное было не в домах, а в цветниках, которые окружали эти дома. Высоких и сплошных заборов здесь не было, только сетки, металлические прутья, деревянные планки – чтобы сквозь них любой мог любоваться на красоту, которую устроили себе хозяева, вернее, хозяйки. Наверное, началось с любительницы, которая не яблонями, не грушами и вишневыми деревьями засадила участок, а весь отвела под клумбы, террасы, декоративный прудик, маленькие, тоже декоративные, деревца, тропинки, фонтанчики. Соседка восхитилась и сделала что-то похожее, но по-своему, а за ней другая, третья, и вот вся улица стала цветочной. Наверное, я не видела в своей жизни места оригинальнее и красивее. Конечно, я даже названий не знаю цветов и растений, которые там видела. Были яркие, огромные, с листьями в человеческий рост, прям-таки тропические, были и поскромнее, но удачно расположенные, окруженные или решетчатым заборчиком, или разноцветными и разновеликими, старательно подобранными камнями, или, наоборот, камни были строго одинаковые, но природные, не кирпичи, не из бетона.

– Оазис! – сказал Паша. – Нравится?

– Еще бы!

На одном из цветников трудилась женщина в пестром халате, в такой же пестрой косынке, она поливала клумбу из ведра-лейки.

– Здравствуйте! – сказала я ей.

– Здравствуйте! – ответила женщина.

– У вас так красиво, с ума сойти!

– Спасибо, – с достоинством ответила женщина.

Мне хотелось еще что-то сказать, как-то выразить свое восхищение, но от всего исходили такие волны гармонии и, главное, меры, что я догадалась: надо соблюдать эту меру, промолчать. И промолчала.

Мы постояли еще немного и пошли к Волге.

– Ты купальник-то надела? – вдруг озаботился Паша.

– А надо?

– Привет тебе! Мы зачем идем?

– Ты не обижайся, но я в прудах и реках опасаюсь плавать. В бассейне, в море – и то не везде.

– Это Волга, Ксюш, ты чего? Из нее рыбаки до сих пор воду пьют, прямо из воды! То есть – не кипятят. Нет, я бы пить не рискнул, но ты зря, давай зайдем, переоденешься.

Мы вернулись на дачу, я вошла в дом, достала три своих купальника, которые взяла с собой не глядя, когда наскоро собиралась. Раздельный красный, почти бикини, раздельный черный, более закрывающий, и черно-фиолетовый, сплошной спереди. Зеркало тут было только в старом

платяном шкафу, мутное. Я надела сначала бикини – чтобы убедиться, что это негодный вариант. Надела сплошной – зная, что и его забракую. Забраковала, надела черный. То, что нужно.

Вот так мы делаем вид, что выбираем, когда выбор уже сделан – мудрое замечание от теперешней мудрой Ксении. Грош цена этой мудрости.

На реку предложил съездить, про купальник вспомнил, думала я. Почему? Да потому, что заранее повод ищет. Понимаете, мужики, скажет он верным друзьям, когда выпьет с ними и будет с горьким удовольствием каяться, я, пока ее раздетой не видел, еще держался, а когда она в одном купальничке передо мной осталась... Журнал «Максим» отдыхает, таких там на обложках нет! Я даже сел. Реально сел, мужики, не потому что так обалдел, нет, конечно, обалдел, да, но у меня физическая причина была, весь пляж увидел бы, что со мной творится, сел и сумкой прикрылся. И так все время прикрывался, в воду зайти не мог! Я же не пойду в одних плавках к воде с сумкой, а без сумки – порнография в чистом виде, все выпирает! Девушки, конечно, в восторге были бы, но там же и женщины пожилые, и дети. Да и мужчины тоже, зачем их расстраивать? Так и просидел на песочке все время. Она в воду пошла, я успокоился, хотел раздеться и тоже побежать, а она уже выходит, и у меня все опять – аж судорогой сводит. Еле до дачи дотерпел.

«И там оттянулся?» – спросят мужики.

«По полной!» – сокрушенно ответит Паша.

Так разыгралась моя фантазия, на самом деле все было иначе.

Мы шли дачными улицами, несколько раз свернули, прошли мимо высоких металлических опор, под которыми были массивные трансформаторы, а рядом такие же дачи, как везде.

– И не боятся люди, – сказала я. – Вредно же.

– Было бы вредно, не разрешили бы дачи строить. Нет, вредно, да, а что не вредно? Микроволновки, холодильники, думаешь, не вредно? Излучают еще как. А телефоны? Смерть в ухе!

Потом мы спускались по крутой асфальтовой тропинке. Шли мимо высокого краснокирпичного забора, за которым виднелись купола с крестами.

– Это что? – спросила я.

– Какая-то резиденция церковная. Не интересовался.

Спустились к Волге, к пляжу. Справа виднелся мост – длинный, с плавным изгибом, а над пляжем, над крутым откосом, стояли большие, красивые дома.

– Вот где жить, – сказал Паша. – С другой стороны, очень на виду. И народ толпится перед глазами, как в городе. Нет, – отказался он. – Не вариант.

На песчаном пляже было много отдыхающих, мы не сразу нашли такое место, чтобы не вплотную к другим. Но все равно эти другие были близко. Сзади, ногами к нам, полулежал, опираясь на локти, мужчина лет тридцати, в бейсболке цвета хаки и темных очках, черноволосый и усатый. В руке у него была бутылка пива. Мужчина подолгу и внимательно смотрел то в одну сторону, то в другую, проверяя, все ли в порядке, и, убедившись, что причин беспокоиться нет, отпивал небольшой глоток и опять наблюдал. Справа лежала лицом вниз белокожая женщина с розовыми веснушчатыми плечами. Она развязала тесемки купальника, чтобы светлая полоска на спине тоже загорела. Конечно, плечи обгорят еще больше и будут болеть, но красота, как не нами сказано, требует жертв. Впереди, между нами и водой, мальчик лет десяти строил песчаный замок. Уже готовы были башенки и стены, теперь мальчик обкапывал замок рвом. Обкопав, начал рыть траншею к реке – чтобы ров заполнился водой, чтобы все было по-настоящему. А слева, на старом настенном коврике, где изображены были олени и озеро, расположилась женщина лет пятидесяти с таким большим животом, словно была беременна. Рядом с ней, на старой, белой, в пятнах, скатерти или простынке, в пластиковых контейнерах, на бумажках и картонках была разнообразная еда. Женщина брала ломтик огурца, окунала в соль, откусывала, клала остаток огурца в контейнер, брала дольку помидора, окунала в соль, съедала дольку, брала кружочек колбасы, отламывала от куска хлеба ровно столько, чтобы равно было колбасному кружочку, отправляла этот мини-бутерброд в рот, затем она вынимала из упаковки пластинку сыра, сворачивала вдвое, повторялась манипуляция с хлебом, потом женщина отпивала глоток газировки и все повторя-

лось: огурчик, помидорчик, колбаска, сырок, газировка, все в том же порядке и строго по разовой порции, ничто не откусывалось дважды. Очевидно, в этом чередовании для женщины было особое удовольствие. Но вот капля помидорного сока упала ей на живот, женщина нагнула голову и высунула язык. Неужели дотянется? – думала я. Шея у женщины оказалась на удивление гибкой, а живот бугрился высоко, она дотянулась, и слизнула каплю, а потом для верности вытерла рукой. Я отвернулась.

Паша достал из рюкзака полиэтиленовую пленку и плед, постелил на песок пленку, а плед – на нее.

– А то песок потом так въедается, что не очистишь, – сказал он. – Ну, кто первый?

– Не вместе пойдем?

– Я бумажник взял, а то мало ли. Ты же тоже с собой все взяла? – он кивнул на мой маленький рюкзачок. – Телефон, деньги?

– Да.

– И как мы пойдем? Вот почему на машине удобней – все оставить можно. Ладно, давай я. Но учти, я долго плаваю.

– Ничего, подожду.

Паша разделся, немного смущаясь. Был он довольно плотный, но ничего лишнего. Ничто не раздражало, но ничто и не восхищало, обычное телосложение, и это мне нравилось.

Он пошел к воде – размеренно переступая ногами, выпрямив спину, поводя плечами. Походкой человека, на которого смотрят сзади и который это чувствует. Вошел в воду, долго шел к глубине, но все еще было мелко, и он, оказавшись в воде по пояс, рухнул вперед, скрылся, тут же вынырнул и энергично заработал руками.

Я почувствовала облегчение. Паши нет рядом, он не смотрит, как ты на него смотришь, не прислушивается к твоему голосу, не приглядывается к твоим взглядам, можно расслабиться и отдохнуть. Отвлечься на то, что тебя не касается, на уже обжитый окружающий мир.

В окружающем мире продолжали совершаться разные события. Усатый дозорный устал от роли добровольного наблюдателя, допил пиво и растянулся на спине, раскинув руки. Мальчик докопался до воды, она хлынула через траншею в ров, и чуть не произошла катастрофа – вода подмыла стену, она в одном месте обрушилась, мальчик поспешно сооружал запруду, восстанавливал стену, я переживала за него и была рада, что он справился, ликвидировал последствия и придал замку законченный вид. Но чего-то еще не хватало, мальчик огляделся и пошел к мусорному баку, что стоял под откосом. Он был переполнен, вокруг образовалась небольшая свалка. Мальчик что-то искал там. В это время к женщине с животом подбежали молодая женщина и ее маленький сын, лет двух или трех, голенький, мокрый. Надо полагать, дочка и внучок. Внучок забрызгал бабушкину скатерть-самобранку водой и сыпанул песка, зачерпнув его ногой.

– Да что ж ты неаккуратный какой! Иди сюда!

Она накинула на внучка махровое полотенце, в котором он весь скрылся, высовывалось только личико, усадила рядом с собой, поднесла ему ломтик огурца:

– Съешь!

– Не хочу! – внучок постукивал зубами и дрожал.

– Докупались до трясучки! – сердито сказала мать дочери.

– А ты попробуй, выгони его. Орет сразу, – весело ответила дочь.

– Мало что орет, за руку, да и все.

– Я так и сделала. Где Митя?

– К машине пошел.

– Зачем?

– А я знаю?

Девушка посмотрела в сторону откоса. Над ним, между обрывом и домами, была дорога, и вдоль нее выстроилось множество машин.

Она смотрела туда, а я смотрела на нее и любовалась. Очень стройная была девушка, очень симпатичная, с широкими скулами снизу, что ей шло, с голубыми глазами, светлыми волосами, загорелая до смуглости, в желтом купальнике, в животе – тонкое золотое колечко.

И подошел ее Митя – в цветастой рубахе и шортах, с бадминтонными ракетками.

– Ксан, сыграем?

– Конечно!

Они отошли в сторону, к мусорному баку, где не было отдыхающих, был зато островок зелени среди песка, и начали играть. Бабушка, занятая кормежкой внука, не обращала на них внимания, а я глазела во все глаза, так славно они играли. Я и сама неплохо играю в бадминтон, папа научил, но мы играли по-настоящему, через сетку – и, кстати, не такая это простая и медленная игра, как думают некоторые, а Митя и Ксана перебрасывались для удовольствия, в такой игре искусство состоит в том, чтобы отбить точно на партнера или рядом с ним, рассчитать силу и направление удара, держать волан в воздухе как можно дольше. Сначала он у них довольно часто падал – наверное, долго не тренировались, но потом получалось все лучше и лучше, и вот они уже минуты две, не меньше, перекидываются, и волан все не падает и не падает. И чем дольше он не падал, тем старательнее они играли. Усатый мужчина, приподнявшись, тоже наблюдал и болел, как и я. Белокожая женщина приподняла голову и тоже заинтересованно смотрела. Возможно, весь пляж смотрел на эту игру, как зрители на соревнованиях, я не проверяла это, не осматривалась, чтобы не упустить драгоценных мгновений. Вот волан, неудачно отбитый Ксаной, полетел в сторону, Митя бросился к нему и успел, ударил по волану в падении, он взмыл высоко и далеко, Ксана помчалась к нему, ударила за спину, Митя отбил расчетливо, высокой дугой, чтобы у Ксаны было время успеть, вернуться на прежнее место, и она вернулась, игра опять стала ровной.

– Сколько уже держим? – спросил Митя.

– Надо было засечь.

– Пять минут, не меньше! – одобрительно сказал им усатый мужчина.

Девушка с удивлением глянула на него, впервые заметив, что тут кто-то еще есть, Митя уловил легкое неудовольствие в ее лице, игра сразу же утратила какой-то второй смысл, который в ней был, важный только для них двоих, и он размахнулся, далеко и высоко отведя руку с ракеткой, и вбил поданный ему волан перед собой в песок.

– Проиграл, – сказал он. – Все, хорош, есть охота.

Проиграть по своей воле не зазорно, поэтому Митя выглядел вполне довольным, как и его красавица-жена.

Тут вышел из воды Паша. Вернее, он вышел раньше, а сейчас оказался уже рядом. Он приглаживал руками мокрые волосы и смотрел на Ксану. И был мгновение, когда Ксана, садясь рядом с матерью на коврик, заботливо запахивая на сыне полотенце и дотягиваясь рукой до бутылки с газировкой, глянула на Пашу, и во взгляде было сначала простое желание увидеть, кто смотрит, а потом удовольствие – поняла, что молодой человек оценил ее по достоинству, потом взгляд скользнул сверху вниз, тоже оценивая, вернулся к лицу Паши, глаза встретились, заглянули друг в друга. Возможно? – спросили одни глаза, неважно чьи, может быть, и те, и те одновременно. Да, возможно, – был ответ. И все, и Ксана больше ни разу не посмотрела в сторону Паши, и он на нее не смотрел, но возникло ощущение быстрой измены – они сейчас успели побыть вместе и расстаться. И ничего страшного не произошло.

– Давай, иди, – сказал мне Паша, ложась на плед. – Вода отличная!

В голосе был призвук нетерпения. Ему хотелось поскорей меня увидеть во всей красе и заодно сравнить с загорелой красоткой, убедиться, что его девушка не хуже, а то и лучше. И этим успокоиться, не терзаться, что твоя девушка (а я была его уже потому, что была с ним), занимавшая бесспорное первое место по красоте и стройности, вдруг опустилась на второе места.

– Ну, чего ты? – понукал Паша.

Было бы странно отказываться. Я стеснительно разделась. В это время мальчик принес к замку бутылку, два вялых яблока и дощечку. Дощечкой перекрыл ров, получился мост, два яблока

утвердил в песке, бутылку положил на них горлышком вперед, стало похоже на пушку. Я подумала, что больше всего хотела бы сейчас остаться одна и смотреть на мальчика и его работу. Может быть, и помочь чем-то ему. Но положение обязывало закончить раздевание и идти в воду. Мы то и дело загоняем себя в кабалу, подумала я. Не хочу в воду, не люблю быть обнаженной, ненавижу, когда смотрят вслед – ноги заплетаются, руки висят, как неживые или как у моделей, которые иногда так ходят по подиуму, одновременно и движущиеся, и статичные...

Эти полтора десятка шагов до воды были мучительными, хотелось побежать, но человек в беге редко бывает красивым, если он не спортсмен.

Вошла наконец и, едва вода стала чуть выше колен, упала, поплыла, сначала касалась дна руками и ногами и не столько плыла, сколько ползла, как некое земноводное, каким мечтал стать таинственный друг Оли Камкин.

Отплыла и успокоилась, легла на спину, медленно поднимала и опускала руки, удаляясь от берега. Я и в бассейнах люблю плавать на спине, а в море нравится надеть маску с трубкой и не спеша плыть вдоль берега, рассматривая дно и рыбок, все больше вживаясь в подводный мир и забывая о мире наземном.

Вода была очень теплая на поверхности, внизу холоднее, я нырнула, как учил меня папа, ушла наискосок в глубину, вода становилась холодней и холодней, совсем ледяная, но я терпела, плыла горизонтально. Паша, если смотрит сейчас на меня, а не исподтишка на загорелую красавицу, может взволноваться. Пусть волнуется. Воздуху уже не хватало, я рванулась вверх и поняла, что занырнула глубже, чем собиралась, недаром же уши так сдавило. Нахлынул испуг, почти паника, я суматошно заработала ногами, гребла руками воду к себе, под себя, притягивала поверхность, спасительный воздух, но все еще было холодно, и вот теплее, теплее, совсем горячо, я вынырнула, жадно, с хриплым звуком вобрала в себя воздух, легла на спину

И был приступ счастья, такого счастья у меня никогда не было. В чем было это счастье – не выразить. В том, что вода, небо, воздух, что я живая и что, похоже, влюбилась в Пашу, влюбилась глупо и неправильно, но это как раз и хорошо. Я скучаю по нему, хочу к нему.

Я поплыла обратно.

Потом мы дружно обедали, если так можно сказать о компании из двух человек. Паша взялся сам все приготовить, обещая, что все будет быстро – шашлык он взял на рынке у знакомой торговки, уже замаринованный, в пластиковом ведерке, уголь для мангала ускорит процесс, а мне посоветовал походить по дачному дому, осмотреться.

В доме все было похоже на музей далекого советского прошлого. В кухне на первом этаже – облупленный столик с дверками, рядом плита на две конфорки, газовый шланг ведет куда-то за стену, у плиты застекленный шкаф с посудой. Судя по равномерно расположенным полкам, он был когда-то книжным, украшал собой гостиную, а потом купили новый, этот сослали сюда. В углу был небольшой холодильник «Саратов», я открыла, увидела, что морозильная камера не отдельная, а сверху, открытая, даже без дверки. Холодильник включался с резким звуком и тарахтел на всю дачу, но работал – как и тридцать, а то и сорок лет назад.

Возле холодильника умывальник, рядом с умывальником дверь, за дверью – санузел. Все, как в городе, ванна, унитаз, только какой-то слишком массивный. Наверное, биотуалет. Я открыла кран, он захрипел и заплевался, но тут же пошла вода – желтая, ржавая. Постепенно она светлела, и вот стала совсем белой. Я умылась.

Еще на первом этаже была крохотная комнатка с диваном. Диван узкий и короткий, бугрится серединой, спинка твердая и прямая, с зеркальцем наверху, по бокам сиденья валики. На нем неудобно и лежать, и сидеть (я попробовала), но обивка, вся затертая, – под гобелен, наверняка это считалось красиво и наверняка он, как и книжный шкаф, удостоен был царствовать в гостиной напротив другого царя комнаты – телевизора.

Из кухни дверь вела в большую кладовку, здесь на полках стояло множество банок, почти все – пустые. У противоположной стены, на стеллажах, размещались инструменты: лопаты, вилы,

грабли, топоры, молотки, что-то еще для сада, чего я не опознала, а также разные ключи и приспособления для автомобиля. И яма для ремонта машины была здесь, по центру, накрытая вдоль сколоченными досками.

Я вышла из дома и поднялась по металлической внешней лестнице на второй этаж. Здесь была большая комната с камином, обложенным белым кафелем, из нее двери в две спальни. Пространство было оборудовано единым мебельным гарнитуром: шкаф, сверху застекленный, снизу с ящиками, это раньше называлось сервант, еще один шкаф – платяной, с зеркалом, стулья, два кресла, диван. Стулья и кресло с полированным ножками, обтянуты, как и диван, красной материей, во многих местах потертой, в пятнах, но при этом все было целым, крепким, избавились не потому, что нельзя было пользоваться, а – надоело. Дача выручила, отправили сюда. Кресло мне понравилось – низкое, простое, без фокусов, без этих жирных сидений и боков, как у современных громоздких седалищных отдыхалищ, в которых тонешь, чувствуя себя крошечным, и рядом остается место для двух таких, как ты. Такие кресла, даже если в них сидят, продолжают показывать себя во всей красе, они – главные. А в старом, где две плоские поверхности для спины и ног скромно разместились меж ручками, под которыми по две ножки двумя косыми лучами, ты – главный. Правда, мода сейчас меняется, опять все идет к минимализму, и это правильно.

В спальнях были только кровати. В маленькой спаленке одна кровать, в спальне побольше – две, сдвинутые. И все – металлические, с набалдашниками на спинках, тронутые ржавчиной, на колесиках. Такие, наверно, были когда-то в больницах, а может, и сейчас есть. Их списали, а тот, кто списывал, был знакомым отца или матери Паши, вот и продал по дешевке для дачи или отдал даром. На кроватях горы матрасов, одеял и подушек. Я легла, покачалась, пружины заскрипели, по ощущениям похоже на батуты в парках аттракционов. Я вспомнила, как папа запустил меня на такой батут, я прыгала, влезала на надутых рыб и зверей, а другие дети храбро карабкались вверх, там была пасть дракона, и они скатывались из этой пасти с горки, которая казалась мне крутой и высокой. Я завидовала им, но полезть туда не решалась. Папу моя робость огорчала:

– Давай, скатись, ты чего?

– Сейчас! – отвечала я и продолжала прыгать внизу.

– Нам пора, или скатываешься, или пойдем!

– Ладно!

Я полезла вверх. Лезла медленно. Какой-то мальчишка, вдвое меньше меня, обогнал, озабоченно сопя, чуть не спихнул меня с надувных ступенек, там была сбоку веревка, я вцепилась в нее. Посмотрела вниз и застыла. Стало страшно.

– Ну? – кричал папа. – Или туда, или сюда, Ксю, мне уже некогда!

Я полезла вверх.

Села там, смотрела вниз и понимала, что не скачусь. Мальчишки и девчонки то и дело шмыгали мимо меня и кувыркались – кто на спине, кто на животе, кто даже головой вниз. Смелости от этого у меня не прибавилось, наоборот, было еще страшнее.

– Ксю, давай! В чем дело? Не хочешь – спускайся по лестнице!

Но по лестнице постоянно кто-то поднимался, если я сейчас полезу, сшибут. Да и как лезть, если ничего не видишь – ногами нащупывать? Все равно что вслепую. Тут я увидела, как папа, поговорив о чем-то с девушкой, продававшей билеты и наблюдавшей, разулся и залез на батут. Тот глубоко проминался под его ногами, папа смешно задирал колени, потом быстро взобрался наверх, сел рядом, обнял за плечи.

– Ну, чего ты? Никто не разбивается, все мягкое. Давай вместе?

– Не хочу.

– Боишься?

– Не хочу, и все.

Я готова была заплакать, но не успела, папа толкнул меня в спину. И я съехала, а потом съехал и он, дождавшись, когда на горке не будет детей. Внизу обнял меня, смеялся:

– Вот и все, и ничего страшного! Еще хочешь?

– Нет. Потом.

– Ну, потом.

Это «потом» не наступило, я обходила батуты с горками, я ненавидела их.

В большой спальне был балкон, весь закрытый диким виноградом. Я вышла на него, раздвинула листья, посмотрела наружу. По дачной улице на велосипеде ехал мальчишка лет двенадцати. Он увидел меня и вдруг нахмурился, стал сердитым. Вроде того: еду по своим делам, нечего отвлекать. И проехал дальше, вихляя рулем – наверно, недавно научился. Может, поэтому и сердился – неприятно, что кто-то увидел его пока не блестящую езду.

Я спустилась в сад. Паша трудился всерьез: на мангале исходили дымком и запахом куски мяса на шампурах , под яблоней поставлен был круглый пластиковый стол, на нем нарезанные помидоры, огурцы, хлеб, бутылка вина, бутылка водки, газировка разных сортов.

Я подошла к мангалу, протянула руки над тлеющими углями, хотя было довольно жарко. Инстинкт – раз огонь, значит, греться.

Спросила:

– Куда нам столько?

– А Наташка? Одна все съест и не подавится. Правда, уже холодное будет, но она и холодное с удовольствием ест. В этом свое своеобразие, я вот рыбу тоже люблю холодную, особенно если вареная, но и запеченную тоже. Жареную в любом виде можно, а вареная или печеная, у нее, когда горячая, запах специфический. Как бы слишком рыбный, на любителя. А когда холодная, вкус есть, а запаха нет. С черным хлебом особенно. Сейчас шашлык сниму, рыбу положу на угли, у меня есть две штуки.

– Да не надо, есть уже охота!

– А мы и будем есть. Мы едим, а она жарится. Как это – на Волге побывать, а рыбы не попробовать!

– Какая рыба? Не лещ?

– Угадала. Отец на прошлой неделе ловил, свежак. Конечно, в морозилке полежала, но за неделю ничего не сделалось.

Паша был в одних шортах, а я в парео, повязанном на бедрах. Купальник остался на мне – переодеваться на пляже было негде, пока мы возвращались, он высох. Обычно я не люблю разгуливать в таком виде, но в этот раз – нравилось. Чувствовала себя то слегка неловко, то слишком свободно, наблюдала за своими ощущениями, исследовала их.

Мы ели мясо, снимая его зубами с шампура, брали руками куски помидоров и огурцов, хлеб, листья салата. Я взяла бутылку с кетчупом, встряхнула, отвинтила крышку, перевернула, из бутылки хлынуло на мясо слишком много, я подставила ладонь под кетчуп, капавший с шампура, облизала ладонь, Паша протянул свой шампур – и мне! – я и ему щедро полила, и Паша впился в кусок с кетчупом, пачкая нос и щеки, урча, облизываясь, тараща глаза: умереть, как здорово! И тоже подставлял ладонь под капли кетчупа, и тоже облизывал. Ему капнуло на плечо, он приподнял его, повернул голову, скосил глаза, высунул язык, пытаясь дотянуться – как та женщина на пляже дотягивалась до живота, но она смогла, а он нет, вытер каплю пальцем и облизал его, а потом с благодарностью чмокнул палец: спасибо, родной, выручил! Я закатилась смехом так, что упала вместе со слишком легким стулом. На траве у меня начался прямо-таки какой-то припадок, я каталась по траве, вся испачканная кетчупом, хохотала, била руками о землю.

Кое-как успокоилась, увидела рядом склонившегося Пашу.

– С тобой все нормально? – спросил он с серьезной тревогой.

Не думаю – теперь не думаю – что тревога была настоящий. Но хороший повод – приблизиться, поинтересоваться состоянием.

– Все хорошо, – сказала я.

– А то вдруг ты тоже ненормальная, как тетка? – усмехнулся Паша. – Это по наследству передается?

– При чем тут наследство? Я не ее племянница. И не дочь своих родителей. Приемная я. Ты не знал?

– Откуда? Наташа и Оля не рассказывали. Значит, типа, семейный секрет. И давно тебя приняли?

– Давно, в глубоком детстве.

– Тогда легче.

– Что легче?

– Если он не родной отец, то как-то... Не так переживаешь, что его... Что посадили. Или нет?

– Нет.

– Значит, ты Наташке не сестра?

– Быстро соображаешь.

Паша взял со стола салфетки, сел рядом, начал вытирать мне лицо.

– Я сама.

– Ты же не видишь. Замазуря.

– Это что за слово?

– Мать так говорила, когда я маленький был. Сроду пачкался. Не грязнуля был, а – активный. Стой, еще не все. Вот тут.

Он вытер мои губы.

– Тут я сама.

Я облизала губы.

– Все?

– Вот тут осталось.

Он дотронулся губами до краешка моего рта, коротко прикоснулся горячим языком. И тут же впился в меня губами, одновременно обнял, и тут я поняла, что без купальника.

Я и сейчас, вспоминая абсолютно все, не могу вспомнить, как и когда это произошло – что на мне сверху ничего не осталось. И был горячий ожог от прикосновения тела к телу. И я тут же испытала уж точно такое счастье, которого раньше не было. Недавнее, в воде, оно было невесомое, бесплотное, а тут присоединилась осязаемость, – казалось, что капли на нашей коже, а мы были влажные, как из-под душа, сейчас зашипят в тех местах, где соприкасается кожа.

Паша и целовал, и бормотал несуразицу:

– Если бы ты ей сестра была... Я же не извращенец... А если так... Не надо было говорить... А теперь все...

– Что все?

– Сама знаешь.

– Нас увидеть могут, дачи кругом.

– Кому это надо?

– Нет. Не здесь.

– Пойдем. Идешь?

Паша встал торопливо пошел к дому. Оглядывался – иду или нет? Я шла, сняв с бедер парео и закрывшись им сверху.

У лестницы он остановился. Пропускал вперед. Джентльмен. Но я, как уже сказала, не люблю, когда смотрят сзади.

Он пошел вверх первым, топая ногами в резиновых босоножках. Пятки у него были розовые, как у младенца.

Мы поднялись наверх, прошли в спальню с двумя кроватями. Паша скинул покрывало, повернулся ко мне, обнял. Снял то, что осталось. Довольно аккуратно, без суеты, спасибо. Уложил на постель, аккуратно разместил там меня, неподвижную. Тоже без суеты и поспешности, опять спасибо. Закрыл дверь, задернул плотные шторы, спасибо еще раз. Я ожила, накрылась одеялом. Паша лег рядом, осторожно вполз под одеяло. Снял там с себя шорты и то, что под ними было. Лежал на боку, глядя мне в глаза, не торопился приблизиться, спасибо уже не знаю в который раз.

Довольно долго мы так лежали и смотрели друг на друга.

– Ты красивый и умный, – сказала я, потому что это было правдой.

– Ты тоже.

Мы начали целоваться, одной рукой он обнимал меня за плечо, другой поглаживал волосы. Потом руку с плеча переместил на талию, обхватил и вдруг рывком присоединил меня к себе. Всю, плотно, будто не было никаких изгибов, выпуклостей, зазоров, будто две совпадающие поверхности прильнули друг к другу, я чуть не закричала, это было до невыносимости хорошо.

Мы обнимались, как боролись, перекатываясь то в одну, то в другую сторону, вжимались друг в друга до боли, и тут мне показалось, что я проваливаюсь.

Не показалось: соединенные кровати разъехались, и мы оба сползли в мягкую яму из матраца, простыни, одеяла и подушек.

– Сейчас, – сказал Паша. – Встань пока.

Помог вылезти, я встала у стены, даже не прикрываясь.

– Лучше совсем отодвинуть и на одной, – сказала я.

– На одной не то.

Паша нашел в углу деревянные треугольные чурочки и подпер ими колесики кроватей.

– Кто-то убрал, – сказал он.

Я окидывала кровати и его скользящим взглядом – вроде бы и вижу, и не вижу.

Его деловые хозяйственные движения не то чтобы сбили с настроя, но напомнили, что я должна кое о чем его предупредить. Иначе будет нечестно. Вряд ли это его остановит, меня-то уж точно нет, но предупредить нужно.

Мы легли, накрылись, Паша потянулся ко мне, чтобы наверстать, я взяла его руку, сжала.

– Постой. Тут еще такая история...

– Презерватив? У меня есть. Но я и так могу. Сдерживаюсь до последнего.

– Хорошо, что напомнил, да, это нужно. Но ты еще должен знать, что я... У меня еще не было никого.

– Шутишь? Тебе сколько?

– Девятнадцать.

– И как это вышло?

– Неважно. Вышло и вышло. Тебя смущает?

– Если честно, я с такими... Я таких не трогаю.

– Не хочешь первым быть? Ответственность?

– При чем тут... В этих делах двое отвечают.

– Согласна.

– Но все-таки как-то... Не знаю... Ты не против?

– Нет. Неужели не видно?

– Видно, да...

Паша был сбит с толку. Ему хотелось, очень хотелось, но... Стать первым мужчиной – особая роль. Девушка обязательно будет рассчитывать на продолжение, а у него могут быть другие планы, и как тогда? Тут неприятностями пахнет, пора бы включить голову.

Я погладила его пальцами по щеке, успокаивая. Он поцеловал пальцы и вдруг закричал так, что я испугалась:

– Е!

– Что?

– Там же рыба сгорела!

И умчался.

Пришел через несколько минут. Не с пустыми руками, с полиэтиленовой пленкой, которую подстилал на пляже, и какой-то белой тряпкой.

– Как рыба? – спросила я.

– Нет рыбы. Даже костей не осталась, сгорела начисто.

Я встала, Паша застелил постель пленкой, а потом тряпкой, которая оказалась старой простыней, с дырками и застиранными пятнами.

– Извини, но я о последствиях думаю. За нас двоих.

– Да нет, все правильно.

– И вот! – он достал из кармана пакетик. – Стратегический запас!

Я легла. Пленка под простыней захрустела, простыня скользила по гладкому полиэтилену.

Паша сел на край, возился с пакетиком. Очень долго.

Я поняла, что он перегорел. Эти приготовления – полиэтилен, старая простынка, унизительно как-то это все. И возня с пакетиком унизительна. А на нем еще и написано что-нибудь унизительное, типа «Визит», «Маскулан» или «Оляля», я видела такие не раз, они в маркетах всегда около кассы.

Но Паша не мог сдаться первый. И я ему помогла. Спросила:

– А когда Наташа приедет?

– Говорила, после восьми, но...

– Я бы не рисковала.

– Думаешь? Вообще-то да, она может... Я у ее подруги был, мы вместе были, тоже на даче, Наташка по делу отъехала, сказала, что часа на три, а сама через минут пятнадцать вернулась: ой, я сумочку забыла!

– Проверяла? Ревнует?

– Есть такое дело.

– Тогда давай отложим. Я не хочу ей больно делать.

– А я хочу? Я люблю ее, между прочим.

И голос дрогнул тут у Паши, дрогнул он и потеплел, и была в этом голосе чистая правда – любил он Наташу. Скучал по ней. Хотел, чтобы побыстрей приехала.

– Ты иди, а я оденусь нормально, – сказала я.

Паша ушел, я оделась нормально – купальник сунула в сумку, на себя – обычное белье, джинсы, белую футболку (без рисунка и надписи – не люблю принтов), а сверху белую сетчатую кофточку. Белый – цвет невинности.

Спустилась вниз. Паша сидел за столом, в рубашке, перед ним стояла тарелка, на которую он счистил с шампура куски мяса. И бутылка водки, в которой осталось на донышке. Похоже, он ее опустошил за несколько минут. Паша, запрокинув голову, допивал – так не отпивают из стакана, если в нем было немного, так допивают полный. Выдохнул, со стуком поставил стакан на стол, взял большой кусок мяса, сунул его целиком в рот, усиленно зажевал. Спросил сквозь жевание, непослушным, уже запьяневшим ртом:

– У-е-а?

Или «о-е-а» он сказал. Или «а-е-а» Что-то среднее между «у», «о» и «а».

– Успела, – ответила я. И тут же: – В каком смысле?

Паша прожевал и повторил:

– Я говорю – оделась?

– А не видно?

– Да ладно тебе. Я вот что. Я сказал – отложим. Уточняю для ясности – отложим навсегда. Зря мы это.

– Согласна.

– Сестра, не сестра, а все равно почти родственница. И я Наташке в принципе не изменяю. Никогда. И сейчас ничего не было, а так... Увлеклись.

Он склонил голову, печально посмотрел на бутылку остекленевшими глазами и сообщил ей:

– Я за Наташку любому голову оторву!

И налил остатки в стакан, и выпил, и пошел в дачу. Вернулся с другой бутылкой, налил из нее, но очень немного. Выпил, сказал:

– Норма! Пол-литра и три капли, как отец говорит. Он тоже запросто пол-литра осваивает. И три капли. А пьянеть начинает после семьсот. Железный человек. Выпьет – и работает. И я буду.

Паша пошел к даче. Шел довольно странно – приподняв руки с опущенными вниз кистями, и ставя ступни внутрь, так ходят медведи в цирке.

Он появился с лопатой и принялся вскапывать землю. Работал рьяно, с размаху всаживал лопату в землю, ударял ногой, вбивая лезвие (я знаю теперь, что оно называется штык) в землю, поддевал пласт, переворачивал и тут же всаживал опять. Некоторое время молчал, а потом, не снижая темпа, начал рассказывать, как был подростком с родителями в Италии, гостили у двоюродной сестры матери, вышедшей замуж за итальянца, и этот итальянец был пожилой, но крепкий.

– И у него виноградник был, не промышленный, для себя. Он его лопатой вскапывал, без всякой техники. И показал мне ногу, и там у него вот такой вот бугор, – Паша показал кулак. – Вот здесь, где икра. Икра тоже здоровенная, а на ней еще бугор. Наработал лопатой. И по литру вина в день выпивает. Раньше, говорит, выпивал два, сейчас здоровье не то. Почему мы так работать не умеем? Климат другой? Хорошо, но они еще «феррари» сделали, они «ламборгини» сделали, при чем тут климат? Почему у нас ни одной такой машины даже близко не было? Фантазии не хватает? А я скажу – фантазии у нас полно. Я могу придумать что угодно. Но дальше надо что? Надо реализовывать. И тут я сталкиваюсь с кем? С людьми. С работничками. А они никто ничего не хочет делать! Вот отец твой, извини за тему. Я уверен, что он много работал. Так ведь?

– Так.

– В этом и корень. Много работаешь – много должен получать. Кто бы на его месте отказался?

Паша осмотрел лопату, огляделся, увидел дощечку, поднял, счистил с лезвия налипшую влажную землю

– Даже вот лопата, – сказал он. – Три сезона, и она ржавеет. И тупится. Липнет на нее. И конструкция тупая. А у этого итальянца, у него не лопата, у него инструмент! Вся сверкает, из нержавейки, грамотно заостренная, ручка удобная, изогнутая, в землю, как в масло, сама входит! Думают люди!

Паша прервался, подошел к столу, взял бутылку с водой и начал пить из нее, жадно хлюпая, проливая воду на себя.

И вернулся к лопате. Смешной своей медвежьей походкой. Она всегда такая была, или я только сейчас заметила? Как он мне мог понравиться, этот рассудительный и глуповатый большой-большой мальчик? Чем зацепил, привлек, прельстил, соблазнил, искусил – какие еще есть слова на этот случай? Личико симпатичное, но этого мало, да и видно, что личико это очень скоро превратится в неотличимую от миллионов сограждан безликую физиономию, как у его папаши, а потом, если повезет, в самодовольную харю, рожу, такую, как у Сулягина.

Стоп. Мне показалось – или он и правда похож на Сулягина?

Тогда, тем более, что это было?

Как что, ответила я себе. То как раз и было, ты с Пашей хотела потренироваться. Чтобы с Сулягиным, когда дойдет до дела, вести себя свободней. Заодно лишиться девственности, потому что вряд ли Сулягин захочет быть первым – как и Паша не захотел.

Но нет, возразила я себе, это не главное. Потренироваться можно было и со свободным молодым человеком или мужчиной, но я Пашу выбрала, мужа своей сестры, хоть она мне и не сестра. Чтобы стать – кем? Правильно, чтобы стать предательницей. Как кто? Правильно, как Сулягин. Для чего? Для того, чтобы быть с ним на равных. Ибо только на равных его можно победить, став такой же, как он.

Нет, и это нет, тут что-то другое. То, чего я так до сих пор и не поняла.

Или не хочется признавать, что все до элементарного просто. «Девушка созрела», как напевал иногда папа, с улыбкой глядя на меня, когда я умствовала. Или, как беспощадно написал Пушкин, «душа ждала... кого-нибудь».

Было еще светло, когда приехала Наташа.

Паша бросил лопату, пошел к ней, обнял.

– Счастье мое!

Наташе отпихнула его.

– Напился, что ли?

– Ни в коем случае! Выпил, да. В разумных пределах. Ты видишь? – он показал на вскопанный у забора угол.

– А септик?

– Что септик?

– Паша, ты же обещал!

Наташа подошла к высовывающейся из земли бетонной трубе, накрытой круглым деревянным щитом. Приподняла, заглянула.

– Так и думала! Скоро перельется же! И воняет!

– А ты закрой, и не будет вонять. Наташ, я объяснял, это надо машину вызывать. Не ведерком же вычерпывать.

– Так вызвал бы! Почему я обо всем должна думать?

– Неправда, я тоже думаю. Побольше тебя!

Наташа махнула рукой:

– С тобой говорить!

Ушла в дачу, вернулась с полотенцем, вытирая руки. Села за стол, налила себе полстакана водки, сказала мне:

– Ладно, отдыхаем. Будешь?

– Водку нет.

– Вино есть.

Наташа налила мне почти полный стакан. Подняла руку для чоканья. Отказаться было невозможно, мы чокнулись, я отпила.

– Нет уж, давай на равных будем, – сказала Наташа. – Терпеть не могу, когда меня кто-то пьяной видит.

– Все равно же увижу.

– Значит, тоже должна быть пьяная! Пей!

Это был приказ. Я выпила. А Паша опять взялся за лопату. Работал с яростной обидой. Вот такая жизнь – бабы отдыхают, а мужик впахивает.

– Хватит, садись, поешь! – пожалела его Наташа. – Но выпить больше не дам.

– Я и не собирался, мне с утра за руль. Как там Оля?

– Догадался, спросил!

– Ты не дала, наехала сразу.

– Все в порядке, даже лучше чем обычно. Она еще в дороге в себя пришла. Смотрит вокруг: постой, Наташ, мы куда едем, зачем? Я рассказала, как она в одежде мылась. Вижу – критично все воспринимает, сознательно. Говорит: это временно было, давай домой. Мам, какое домой, а если опять? Илья Дмитриевич в тебе хорошо разбирается, лишним не будет пичкать, понаблюдаешься пару дней, и все. Чисто для страховки.

Наташа рассказывала, с аппетитом ела, была спокойной, обычной, но мне казалось, что спокойствие это слишком спокойное, обычность слишком обычная. Наташа даже не глядела на меня, на Пашу или глядела вскользь, без признаков того, что называют испытующим взглядом, но мне чудилось, что она этим умело прячет какой-то невидимый внутренний взгляд, которым оценивает все – как мы с Пашей сидим, как едим, как смотрим друг на друга. Или, наоборот, не смотрим, но если не смотрим – почему?

Я налила себе еще вина, выпила, чтобы стало полегче. И да, немного отпустило. А в Паше был еще прежний хмель, он помогал ему быть естественным. Если же что-то кому-то покажется в его поведении не так, то, опять же, хмель виноват.

– Понравилась дача? – спросила Наташа.

– Да, очень.

– Дикая она. Паш, ты водил Ксению смотреть, какие тут дачи на соседней улице?

Вопрос с подвохом, подумала я.

Паша ответил правильно:

– На пляж ходили, завернули туда, она в восторге.

– Еще бы. На пляж ходили? Пешком?

– Да, – сказала я. – Хотелось тут все посмотреть.

– Места хорошие. А дачу надо до ума доводить. И участок, и дом. Родители Пашины, как новую построили, забросили тут все. Сначала продать хотели, а потом отдали нам. Дом понравился?

– Очень.

– Я там всем переделать собираюсь. Пойдем, покажу.

Мы пошли к дому, Паша поплелся за нами.

– Ты куда? – спросила Наташа. – Ты все равно вечно против, что я хочу сделать.

– И буду против. Вот и расскажи еще раз. Может, соглашусь.

– Из кладовки еще одну комнату сделаем, а все барахло в гараж, – рассказывала Наташа. – Кухню облагородить, ванную и туалет нормальные оборудовать, раздельные, котел поставить, чтобы вода была горячая.

Она не пошла туда, а сразу направилась к лестнице, второй этаж заботил ее больше.

Показывала и рассказывала, мы ходили за ней.

– Тут можно еще один санузел сделать, слышишь, Паша? Хотя бы только туалет. Чтобы не бегать ночью по лестнице. А лестницу сделать, кстати, внутреннюю.

– Я уже говорил – негде! И тут, – Паша постучал ногой по полу, – серьезные перекрытия, железобетонные плиты, их долбить – с ума сойдешь.

– При желании не сойдешь.

– Проще новую дачу построить. Или купить.

– У тебя есть лишние деньги? А тут все обшить брусом, не целым, типа имитации, но выглядит очень красиво, я видела. И камин не кафелем, а керамикой отделать. Пашка дома ванную и кухню сам отделал, отлично смотрится.

– Хоть раз похвалила, – проворчал Паша.

– За дело – всегда пожалуйста. А вещи вот разбросал где попало.

Наташа пнула ногой рюкзак Паши, который лежал не где попало, а в углу. На него брошены были плед, с которым мы ходили на пляж, а также пленка и простыня. И мне казалось, что Наташа все видит, все понимает про пленку и простыню.

Она прошла в комнату с двумя кроватями.

– Тут так и останется спальня, только эти чудовища выкинем. Спать невозможно, катаются. А колеса намертво приделаны, не отвинтишь. Клинья подкладываем. Я вижу, ты уже вставил, Паш?

И тут Паша совершил ошибку. Он растерялся. Всего на миг, на долю мига, но Наташа уловила это.

– Так и было.

– Не было, Паш. Я прошлый раз тут пол мыла, кровати двигала, а чурочки в уголок положила.

– Слушай, я выпил и чего-то тут... Порядок наводил. Вставил, да. На ночь все равно же...

– Заботливый какой. Ты вот что, ты иди еще сделай шашлык свежий. И рыбу запеки, ты же хотел Ксению угостить. Пробовала леща запеченного, Ксюш?

– Нет.

– Рыбу я сжег, – сказал Паша. – Не доглядел.

– Почему это?

– Работал! Землю копал! Пойду... Насчет шашлыка...

Паша ушел.

Наташа приподняла покрывала, осмотрела постель, искала какие-то следы. Повернулась ко мне:

– Ну, колись, сестренка. Только не врать.

Глаза у меня сразу же стали мокрыми, я вытерла их ладонями.

– Наташ, честное слово...

– Рассказывай!

– Ну... Выпили... Поцеловались... И все.

– Прямо все?

– Все. Оба поняли, что... Занесло... Что не надо... Что... Он сказал, что тебя любит. Клянусь.

– Верю. Наверно, всем говорит, что меня любит. Трахает кого-то, а сам: я так жену люблю!

– Он сказал, что никогда тебе не изменял.

– А с тобой?

– Я же сказала...

– Лучше молчи. А то не выдержу и... Сейчас бы тебе в нос дать, чтобы кровь пошла, – мечтательно сказала Наташа и потрясла кулачком перед моим лицом.

– Дай.

– Обойдешься. Я с первого дня все заметила. Надеялась, что у тебя совести хватит.

– Наташ, я завтра же уеду. Или сегодня. Такси вызову, сюда можно такси вызвать?

– Конечно, но не надо. Так. Делаем вид, что ничего не случилось, поняла? Разборки Пашке устраивать не буду, только дуры на мужей орут. Пусть лучше не знает, знаю я что-то или нет, пусть мучается. На цыпочках передо мной будет бегать. И ты молчи. Спросит, о чем говорили, – ни о чем, о доме, как что сделать. Подозревает что-то? Нет. Или в легкую, но уже успокоилась. Ясно?

– Ясно.

Мы вернулись к столу. Паша колдовал у мангала.

– Не успеете соскучиться, все готово будет, – сказал он, глядя на Наташу, на меня, на нас обеих. Я старательно улыбалась, а у Наташе и стараться не надо было, она выглядела веселой и ясной, подошла к Паше, потрепала по плечу:

– Люблю, когда ты такой заботливый!

– Я всегда такой, – ответил Паша и чмокнул супругу в щеку.

Чмокая, смотрел через ее плечо, округлил глаза, спрашивая ими: ну как? Я кивнула: все обошлось.

– Мы пока пройдемся, – сказала Наташа. – Покажу места своего детства.

И повела меня дачными улицами к Волге, но не к пляжу, а в другую сторону.

– Там турбаза, – объясняла Наташа. – Турбаза «Волга», мы с матерью каждое лето там отдыхали, какие-то знакомые устраивали с большой скидкой. Или вообще задаром. У нее же везде полно друзей, хотя она ни с кем не дружит. Они с ней дружат, а она... Особенность психики, что тут сделаешь.

Мы подошли к решетчатым воротам меж двумя кубическими бетонными домиками. За воротами стоял и неспешно курил пожилой человек, с густой седой шевелюрой, высокий, худой, в черной форме.

– Привет, Наталья, – сказал он, открывая металлическую дверцу. – Купаться?

– Гуляем.

– Хорошо. Подруга твоя?

– Сестра.

– Ох, какие вы, девушки... Нестерпимые!

Наташа засмеялась:

– Чего-чего?

– Нестерпимой вы красоты. Заметил: сколько живу, и с каждым годом девушки становятся все красивее. Это мне так кажется или объективно?

– Объективно, дядь Миш.

– Тогда ладно, – согласился охранник. – И вообще, ваше поколение лучше. Пьют намного меньше. Не курят многие. Вы не курите?

– Нет.

– Умницы! А я вот никак не брошу! – весело огорчился дядя Миша. – Раньше не сумел, а теперь уже поздно. Как считаете?

– Кури дальше, – разрешила Наташа.

– Придется, – смирился дядя Миша.

Мы пошли по асфальтовой дороге, наполовину заросшей пробившейся травой. По сторонам были треугольные домики, похожие на шалаши, с шиферным крышами до земли.

– Убожество, – сказала Наташа.

– А в детстве, наверно, нравилось?

– В детстве все нравится.

Мы дошли до спуска к Волге. Вниз вела деревянная лестница с поворотами и площадками. Берег тут был очень высоким.

– Сейчас любимое место покажу.

Наташа повела меня вдоль берега, мы пробирались сквозь кусты и оказались на выступе, под которым был крутой обрыв, почти отвесный. Внизу неширокая полоска песка.

– Я сюда приходила и мечтала прыгнуть, – сказала Наташа.

– Зачем? Жить не хотелось?

– Да нет. Стояла и думала: если разбежаться и прыгнуть, долечу до воды или нет?

– Ясно, что нет. Только кажется, что с высоты улетишь дальше. И разбегаться тут негде.

– Я и не говорю, что собиралась в самом деле. Мечтала. Стою, а сама к краешку все ближе, ближе... – Наташа встала на самый край. – И меня так штырило от этого! И сейчас тоже. Иди сюда.

– Высоты боюсь. Тут упадешь – и до смерти.

– Не исключено. Иди, я поддержу.

– Не надо.

Я сделала шаг, другой.

– Ближе! Вниз загляни, под себя, не бойся!

Я сделала еще шаг, встала рядом с Наташей. Осторожно, вытягивая шею, заглянула вниз, под ноги.

– Штырит? – спросила Наташа.

– Не очень.

– Ну, извини, – сказала она и толкнула меня в плечо.

Мария ГАЛИНА

Север

Я была на краю земли
Я видела такие места,
Где из глаз местных жителей выглядывает пустота,
Говорил со мной
Человек, который гонялся с топором за своей женой
Не потому, что она была ему неверна,
А потому, что это была не она. Того, кто прост,
Проще подменить существам со звезд.
Бетельгейзе, Сириус, Процион
Ей отмеряют суточный рацион.
По ночам над пустыми селами стоит свет,
Сириус, как слышишь, прием, прием,
Он храпит, отвернувшись лицом к стене,
Она передает:
Отзовите десантные катера
Эта земля убивает даже своих...
На деревьях лопается кора,
Бляшка луны в крестовине окна стоит,
На пригорке подле пустой избы
Мертвецы стоят, как вкопанные столбы.
Применительно к паре Земля-Луна
Из всех разведчиков выжила я одна...
Она не владеет тонким искусством сна.
Она осторожно пристраивается на краю,
Поправляет расползшееся лицо,
Слышит, как он бормочет – сука, убью...
Весть уносится в небо косым лучом,
В направленье созвездия Близнецов.
Кто-то тяжелый ворочается за стеной.
Она трясет его за плечо:
– Мне страшно. Поговори со мной.

Мария Галина родилась в Твери, закончила Одесский государственный университет. Биолог, кандидат биологических наук по специальностям гидробиология, ихтиология. Дебютировала в 1991 году подборкой стихов в журнале «Юность». Участник нескольких международных поэтических фестивалей и антологий. Лауреат многих премий, в том числе «Московский счет» (дважды) и Anthologia. В «Волге» публикуется с 2000 года.

Малинник

Мать ему говорила – улетаешь
на испытанье аппарата Хейфица
в поясе Койпера
благословляю
будущее человечества
зависит от этих испытаний
но не заглядывай в малинник за домом
перед отлетом
по возвращении
никогда не заглядывай в малинник за домом.
Он возвратился
через сто девятнадцать лет
поседевший
с обожженной сетчаткой
с биопротезом правой кисти
три искусственных клапана в регенерированном сердце
лучевое поражение второй степени.
Дом благодарное человечество сохранило
на крыльце сухие листья, трупики насекомых,
на стене фотографии в пыльных рамках
он в скафандре перед полетом молодой белозубый
он в коротких штанишках под мышкой мячик
он с собакой которую звали рыжик...
он в ползунках за домом растет малинник
через дверь ведущую в сад видно как он разросся
пчелы гудят ягоды малины разной
степени зрелости будь ты
проклято человечество
при вручении
ему премьером ордена славы в огромном зале
в громе аплодисментов
он достанет
карманный аннигилятор (кто же будет
обыскивать героя)
пускай малинник
растет где хочет

Делается в Китае

...Делается в Китае
Жалкие сувениры
Пластиковые Лондон Нью-Йорк и Дели
Зиккураты и небоскребы

Красные телефонные будки
Бесполезные в силу прогресса мобильной связи
Все, что увозят в своих чемоданах бедные люди
Из городов в которые не вернутся
Делается в Китае
Йоши Ямамото Джозеф и Гуччи
Воздушная кукуруза жареные каштаны
Картошка фри нарезанная соломкой
Кока кола, пепси и амаретто
Якутские алмазы ямайский ром сигареты Кэмел
Делаются в Китае
Жалкие вспышки света
Жалость и нежность
Бедные наши маленькие любови
Наши партнёры ходят почти как люди
Неотличимы на ощупь от настоящих
Все они выписаны в Китае трудолюбивой кистью
Все они любовно выписаны по почте с али экспресса
Там в Китае упаковщиков труд в почете
Там в Китае только грузчиков сто миллионов
Там в Китае добрый начальник цеха
Смотрит сверху с добрым таким прищуром
Все поглаживает реденькую бородку
Холосо говорит у нас получилось
Очень холосо у нас опять получилось
Наша смерть делается в Китае
как и все остальное – массового производства
с крохотным логотипом на упаковке
Маленький мир большой Китай столько работы
Столько интересных трудновыполнимых проектов
хотя на всех и не угодишь конечно

Ольга БРАГИНА

МОЖНО В ЛЮБОЙ МОМЕНТ ВЫЙТИ ИЗ ДОМА

***

зря что ли тебя в средней школе ставили на гречку возили на Черную речку
чтобы воспитать эффективного человечка работницу мать
чтобы ничего плохого не знать не ведать по режиму обедать
страдания вредны и чувство вины и многосложные сны
серьги серебряных пуль в мочках ушей говорили тебе пошей платье с воланами
с этими снами странными не оглядывайся назад там огни не горят
там столько дней подряд забытые праздники в которые дарят привычный одеколон
потом сертификат в спа или фитнес
лёд расходится ты говоришь хоть теперь спаси нас
эти холодные черные воды реки твою кровь заменяют собой неба севера контур слепой
манит ретушью темной пустой синевой
это камни которые тянут ко дну там тепло и спокойно наверное
там наваристый суп на первое потом пюре с котлетой компот там каждый
как должно живет
«нет никакого мифического народа, я – это и есть народ», – повторяешь про себя
февральская мерзлая земля обжигает ладони
нет кажется это не я за руку тебя держала всё что ты велишь выполнить обещала
страна дарила тебе дорогие ленты потому что здесь никем ты не станешь
будешь повешен после на них после износа уже не дорогих
это и есть высшее проявление любви подумай только недолго
зря что ли тебе внушали чувство долга чувство что всё верно иначе никак
зря что ли выжигали словно третий глаз на лбу невидимый знак
по которому ближестоящих узнавали в золотой фольге невкусные эти медали
самым лучшим горстями потом раздавали

***

эта детская щелочь страны победившей крови
ты всегда хранишь паспорт и карточку наготове
еще загран пока не закончился его срок учишься читать между строк
понимаешь что так надо что мир жесток
чтобы не спрашивали каких ты кровей или стенки левей
чтобы не вырезал по фунту барбершоповский брадобрей
на курсах ненасильственной коммуникации нас учат становиться добрей

Ольга Брагина – поэт, прозаик, переводчик. Родилась в Киеве. Автор книг «Аппликации» (2011), «Неймдроппинг» (2012), «Фоновый свет» (2018). Публикации в журналах «Воздух», «Новая Юность», «Интерпоэзия», «Дети Ра», «День и ночь», «Зинзивер» и др. В «Волге» публиковались стихи (2015, № 11-12; 2018, № 9-10).

каждому дню улыбаться никакой полиции не бояться
показания потом все равно разнятся
эта детская щелочь страны где все должны были быть равны
каждому от рождения первородное чувство вины
держаться можно только за рукоятку ручку к которой язык твой примерз
несколько лепестков ромашки несколько вялых роз
держишься за груз который не нужен только он и держит тебя на плаву
твоих друзей и соседей давно отправили на войну
иногда от них приходят вести один вернулся второй убит
выходишь вечером в продуктовый мирное небо спит

***

когда мы были молодыми эффективными менеджерами этой страны
когда было восемь лет до начала войны
когда мы выходили утром из трамвая за счет гормонов стресса и свежевыжатых
соков выживая
когда дегустаторы предлагали нам сыр и сою уже двадцать шесть только одна
жизнь у тебя есть
нельзя объять необъятное не съеденное доесть
мы читали классику литературы двадцатого века утром дергалось веко от недосыпа
весной ждали авитаминоза осенью гриппа
в нашем парке цвела липа мы собирали ее и заливали спирт
верили что у того кто делает так ничего не болит
или это была акация их цветы похожи мы были словно дети без кожи
одна страна умерла другая не родилась под окном лежала зимняя грязь
смотрела в зеркало не понимала откуда ты такая взялась
нет нас не учили любить кого-то объясняя жизнь это работа
и если ты не справишься с ней у тебя спишут деньги со счета
солнце вставало и заходило над этой страной
обещая дополнительный выходной

***

как существуешь в теле словно в трехзвездочном отеле мы поедем в Прагу
но пока на мели
они содрали с кожей фрески мылом дегтярным как они могли
они проверяют все ли на месте полотенца тебе некуда из этого тела деться
учись разговаривать с ним на языке глухонемых
оно сигнализирует что устало тебе говорят у тебя мало запала
о чем ты можешь судить если тебя осколком не задевало взрывной волной не сносило
отражение в зеркале тебя не узнавало с каждого не отмеченного на карте вокзала
мы думали не уедем отсюда никуда со лба капала вода
как ты существуешь в теле словно в сердце твое смотрели
всё о тебе ведали как пирожными Sacher вместо хлеба обедали плоти крови
чужой отведали
вот тебе медаль золотая вот февраль пока мы не видели рая он таков
когда падут осколки оков когда свобода больше не спросит кто ты

зачем обходишь соседские огороды
по вечерам отдаешь купоны на храм
пересчитывая мелочь где первый универсам
как существуешь в теле словно в свободной артели пошива шуб
каждый то любит то скажет что глуп
а ты то ли человек то ли живой полушубок из цигейки завернутый в артерию мехом
могла бы пользоваться у скорняков успехом но где там
как существуешь в теле своем словно водоем
пишешь письма друг другу словно ты здесь вдвоем
нет мы не собираем фишки стикеры не берем
идем по кромке озера видим пустой дом

***

мы забыли родную бель Франс столько дел невозможных у нас говорит Гертруда:
мы росли поперек этой страны выжили говорили это выжимки сколько вас
вас много, а я одна, затем ли я вас растила, чтобы твоего друга забрала могила
восемнадцатилетний афганец, в одном отделе ГУМа купили ранец
еще бубнил там ту би ор нот ту би иностранец
сын мой разве тебя кто попрекал, почему ты живешь с мамой
разве воздух нашей страны был для тебя отравой
разве девушка, чистая, словно лён, спрашивала, или ты разведен
разве тебя обвиняли со всех сторон
говорит Гамлет: я не знаю, кто нами правит
призрак отца – но кровь нам не пить с лица
здесь каждая ждет заезжего молодца
какого-то там юнца, чтобы столетней войны, столетнего мора,
им только дай волю, Офелия говорит: нам нужно собраться и поговорить
просто поговорить и всё сложится, в родничке затянется кожица
нас держали тут под норильским морозом лампочка на двенадцать,
научили ничего не бояться
переводить «Дон Жуана» по памяти, насвистывать арии из «Паяца»
мы сильны, но у нас нет прав, хотя для всех здесь один устав
а разве не ко мне ты приходишь жаловаться, устав
говорит призрак отца: этой смерти не будет конца
этой теплой войне за наследство, но все наши травмы из детства
Офелии, превращенной серой в лужицу на полу
тело собирает в подворотнях встречную мглу
говорит Офелия: я ли не была слову верна
я ли не собирала морошку в детдомовском одеяле
я ли не зажимала твои уши ладонями, когда не стреляли
я ли колыбельные тебе не пела, не для моего ли тела,
сочного, как перепел или куропатка, соус из пороха и крови был всегда наготове
не меня ли ловили на каждом слове
не нас ли строила эта страна, словно завтра война
завтра в поход, тебя превратят в пепел вот-вот,
а говоришь: «не трогай мои коленки, вот идиот»
если нас атомной бомбой на миллионы звездных частиц не разорвет,
у нас будет дочка, у которой будут мои глаза,
цвета воды – кажется, бирюза

***

обними меня говорит словно ничего не болит
словно лошадки да олени карусели детской скрипят усталость металла преодолевая
словно линия жизни их ножевая линию горизонта пересекает
заката кровавый след мы любим то чего нет
у нас нет особых примет по которым узнать нас могли бы
мы дышим во тьме как рыбы выброшенные на берег прибоем
иногда от немоты врожденной воем в теле одном вдвоем сиамскими близнецами
разбитыми о стену сердцами сервизов советских любовью отжившей свой век
где ты живешь теперь балерины пастушки обнять пустоту не отпускать никогда
пустота обретает очертания города в котором мы учимся есть ножом и вилкой
идем за прививкой кормим в парке голубей
корни оплетают асфальт нам не жаль ни любви ни покоя дремлем в троллейбусе стоя
этот троллейбус наверное ездит по кругу мы столь же чужие друг другу
как были и будем передаем талончик рядом стоящим людям
обними говорит пустоту этот город и этих пастушек фарфоровых
детские книги не читаны прежде теперь уж зачем от морщин чудодейственный крем
нет семерка не едет туда вы ошиблись маршрутом его расписав по минутам
но сердце мое невозможною нежностью полнится к этой земле
к искусству ее и ремеслам ты ей в оправдание послан
собери ее по крупицам словно петли на спице считать никого не узнавать
заново создавать речь детские локоны беречь
обними и не отпускай ничье весенним паводком глинистым ручьем
сознанием разорванным в клочья
город придумавший тебя разве могу помочь я все клеточки заполнить
вот память вот другая память они не пересекаются вот ель-красавица
вот гастроном вот хоровод кто в теремке живет разбивает весенний лёд
кто не поймет если ты протянешь руки совсем не поймет

***

мама забери эти игрушки эти мертвые тушки зверей
мы должны стать добрей принять эту жизнь помириться с ней
красные тельца ртути собрать у дверей
отчего у тебя глаза красны мало спишь сны такие
мама забери их домой они не разговаривают со мной
молчат только согласно кивают в такт головой
я родилась совой жаворонком не стала сердце еще внутри пустоты устало
никого не любить потому что себя нам мало
мама забери эти обломки лего тень первого снега
у нас что ни день то всему помеха что ни день то война
спрячь их от солнечного света надо же их приютить где-то
их вина еще не доказана
их кровь по асфальту набойками чужими размазана
как память о том что здесь ничего не исправить любовь это любовь
поэтому иглы готовь и раствор мы не видели солнце с тех пор
мама забери их отсюда заканчивается разговор не докричаться

я хотела бы уметь ничего не бояться
в поручни руками так не впиваться
незнакомым людям приветливо улыбаться
плотью ягненка в герметической упаковке на скидочной полке
купите себе немного праздника обиды обновки
научи их забывать плохое оставить себя в покое
выбрать себе для счастья другое такое же грустное тело брошенное во тьму
хорошо сдачу стикерами возьму
кому тут жаловаться правду скрывать о себе кому
где на двери написано выход я уже не пойму
из тепла выходишь в зимнюю тьму
замечаешь объявление «маникюр на дому»

***

Донна встречается с агентом Купером глазами говорит кажется вы сейчас не с нами
где-то витаете в облаках каждой надежды крах оставляет кровь засохшую на губах
желеобразное небо севера застывает во мрак медленно сохнет красный лак
нет мы не такие как наши родители у нас всё будет не так
мы остались где-то в портале стерегущего лес так и не переиграли
нужно было тогда свернуть в самом начале изо всех своих одиночеств
выбрать не самое сложное для понимания что да как
ломать ветки оставлять на коре зарубки времени прошедшего брак
выбрасывать за насыпь эта любовь к себе никого не красит
это отчаяние никого не молодит вот на опушке дом какой-то стоит
принцесса спит в стеклянной банке из-под просроченной манки
стилет в груди только счастливая жизнь впереди говорит нет не гляди
как я постарела как мое детское тело жизнью болело как дешевый трикотаж село
у нас тут берутся все загадки разгадывать смело
кроить ткань бытия нет это была не я разве это могла быть я
на курсах кройки и шитья последней была обрезки собирала из-под стола
на дом только скуку брала из чьего я сотворена ребра лишнего
по утрам покупаю пирог с вишнею и среднюю колу слишком часто прогуливаю школу
нет моя подпись больше не соответствует протоколу
нет мы не будем такими пустыми как праздничная коробка птичьего молока
начинать издалека и ни к чему не приходить только научишься это время любить
а оно тебя разрежет на части разложит в пакеты никто не напишет сообщение «где ты?»
потому что ты никому не нужен через неделю найдут твой остывший ужин
через неделю это будет уже в апреле
скажут поговорить о важном так и не успели о чем-то важном только тебе да им
почерком своим косым рассказать вселенную
не ради красного слова ничто здесь не ново
нет я не нашел ничего такого ни одной зацепки
только в сжатой руке какие-то канцелярские скрепки
да улыбка словно увидели что-то такое о чем нам еще не узнать
завтра будильник на пять
ты проводишь кисточкой разрушая мирную гладь

***

наша публика занимает места телефоном светит в билет
спрашивает есть ли буфет ветчина из папье-маше несколько окаменевших конфет
сейчас на сцене будет признание в любви потом кого-то убьют потом
антракт через двадцать минут
здесь не дают опомниться заскучать не дают
снимать лица актеров крупным планом фото- и видеосъемка запрещена
возмущаются из-за чужих рингтонов несмотря на запрет
кто-то всё равно берет трубку объясняет что в театре разговаривать времени нет
актеры повторяют текст сто раз повторенный подчеркнутый внутренней немотой
аварийный выход горит во тьме простуженных коридоров
кто приближается к вешалке раньше всех это наш бесполезный норов тонкость
локтей пестрота затей
самовлюбленные капризы взрослых детей кровь из вены картонные Карфагены
темное облако дыма где остров Святой Елены
нашим зрителям никого не жаль потому что скоро февраль этот город не годится
для жизни
отдай свою клюквенную кровь своей картонной отчизне потом включается свет
я достаю телефон читаю рекламу такси «Секрет»

***

собери себя заново из воспоминаний детства плюшевых медвежат
разбитых коленок северной столицы застенок сливовой косточкой в горле болит
каждый первый будет убит каждый второй забыт
собери себя заново между Обводным каналом и Мойкой маршрутка скучающих душ
водостойкая тушь на ресницах
если номер нечетный уже ничего не случится
собери себя заново смыслом наполни случайные фразы в случайном порядке молчи
не теряя надежду как будто от прежних квартир ключи
это книги твои это фальшивого жемчуга нить
счета за воду мемуары опального князя хлеб на столе
за столом говорят если о Наполеоне лучше читать Тарле
потом выходят в осеннюю мглу растворяются в ней
сколько дней оставалось для счастья считай их потом зачеркни
аварийные эти огни за окном ни к чему не обяжут мы вяжем сейчас горловину
отстали вы в общем отставшим мы кости полощем на солнце кладем
собери себя заново в памяти прежней храни эти книги и жемчуга нить
ничего не забыть не забрать на квартиру другую
отражением стать говорить я тоскую по телу и шарфу
и варежкам теплым и детям что санки везут едкий воздух вдыхая
это линия жизни ты спросишь нет здесь пересадка другая

***

вот вы и живете при коммунизме, дорогие потомки
манной каши комки, орбитальных станций обломки

бесконечная юность перебивает дыхание, словно узел шнуровки
вот вы и живете там, гадаете по городам, из которых вестей не дождаться
на канале «Культура» трансляция лучших арий «Паяца»
резкие перепады температур, Меркурий в четвертом доме
лекция «Умные грибы в истории мира», кто мы,
чтобы судить надежду на счастье, вот его клочок за батареей
руки над темной водой до окончания мира греем
вам досталась эта судьба запомнить то, что помнить не надо
как новогодние подарки из гуманитарной помощи, шоколада
молочный вкус, откуси голову всем, кто не согласен
подливу с эзоповым языком позднесоветских басен
отнеси обратно, живет ли кто в этих домах, по вечерам свет не горит
лебеди из покрышек, и домофон разбит

***

кем ты хочешь стать когда вырастешь
говорить взрослые это мы у стен прежней тюрьмы
строить новые стены клумбы окучивать цветы сажать
одним закон другим благодать
в этом сезоне фиолетовый в моде как у тебя дела на работе
здесь курить запрещено дети в соседском сквоте включают проектор смотрят кино
очередное кино скучно всем а куда не пойдешь со скуки
тишину различая в звуке немоту в рифмованном тексте
но будем мы вместе еще непременно пускай мы боялись взрослеть
кровь на наших набойках чужая
никого здесь не узнавая даже себя в зеркалах старых школьных столовых
где пахнет вчерашним борщом
но придется грустить нам придется грустить ни о чем
кто первый скажет я угощаю это кровь нового урожая
когда пена сошла мы слушаем старый винил
грустим немного о том что нас никто не любил
кроме маркетолога фокус-группы
пересыпаем в жестянки из целлофана крупы
кем ты хочешь стать решай только воду доведи до кипения размешай
эта бесконечная смена дня и ночи очередной не собранный урожай
за окном туман словно балтийский чай разбавленный дымом
я научусь писать бумажные письма своим любимым
словно кто-то будет их жечь над открытым огнем родную речь вспоминая и тьма иная
тепло обнимет тебя всё лишнее забирая

***

говорит запомни меня живой с этой отрубленной головой
готовила для Хэллоуина потом потянула спину
все-таки это развлечения уже не для наших лет
прихожу в театр первым делом спрашиваю где буфет
старый добрый советский буфет с бужениной и сыром «Шостка»

красная линия проходит по горлу спрашивает лежать вам не жестко
в камере одиночной отопления нет кто-то пишет тебе сонет
кто-то приносит винтовку в школу
угощение в пачке с легкими на этикетке столько лет
а до сих пор боишься укола
мы ничего тебе не продадим вдыхай отчизны дым
бог весть какой отчизны дым теперь их много
под окнами сломан светофор не выходи из комнаты там дорога
на обочине мертвые птицы Мария она говорит я совсем потеряла стыд
перехожу дорогу вместе со всеми не смотрю что там за цвет горит
что там за тени в переходе подземном
играют французскую классику на пианино
твой сын займет престол но у тебя нет сына
собери всю кровь этой столетней войны сделай из нее грим
о чем-нибудь хорошем поговорим
о прошлом которое здесь как тушь в картонном коробке
оставь реквизит иди налегке
с мятной конфетой спросит в какой руке

***

ты был моим guilty pleasure, но мы виделись с тобою всё реже
как в старых ремарках пишут, что Иванов и те же
на осенних бульварах кислую красную жидкость наливая в пластик стакана,
сначала отказываться, говоря, что просыпаться рано,
потом пригубить, история не знает, как могло бы всё быть иначе
мы идем за добавкой в киоск, сколько там оставалось от сдачи
так мы ходим по кругу – здесь выхода нет, в переулок сверни, исчезни
возле метро молодежь поёт советские песни
сколько мы взяли фальшивых нот, чтобы никогда не видеть друг друга
пустое стекло под ноги твои упадет и разобьется глухо
мы уходим, сор за собой собрав, поговорив о том, что будущее нелепо
обещая себе купить сбор целебных трав, полезного фитнес-хлеба
я говорю, что давно тебя не люблю, но когда слова здесь значили что-то
возле метро молодежь поёт, из шапки пересчитывает по рублю у закрытого входа

***

люди с красивыми лицами живут в пустых городах не видятся больше с соседями
по лестничной клетке
выносят объедки животным каких-то пород всё равно здесь никто не живет но
побег невозможен в итоге
иногда в дверь звонят предлагают поговорить о Боге предлагают брошюры
из девяностых вздыхают что тогда всё было в общем-то просто
люди с красивыми лицами говорят что их тут нет все ушли на войну никто
не признал свою вину
но это неважно признание уже доказательствам не царица
если во мрак твоей души углубиться разве не ты виновен во всём

разве не мы первородный грех как паленый Stone Island по району несем
разве не мы каждый день этот мир разрушаем в порыве бесстрастной любви
нарушая все правила быта
но посмотрите на стол ваша дама убита
люди с красивыми лицами мониторят билеты на лоукост напевают под нос
песню родителей «мир не прост»
не выносят после захода солнца сор из квартиры
листают брошюру думают написано сыро
идут перечитывать избранные места из «Войны и мира»

***

кто-кто в этом теремке живет твои любимые игрушки не отдает требует
пояснить за шмот
кто-кто из твоей чашки «Любимой сестре» пьет
так крепко заваривает бергамот вместо тебя в офис идет
вечером пьет вино с твоими друзьями из пакета на Яме или в дорогом ресторане
кто-кто в твоей голове живет не сеет не жнет
уснуть не дает и проснуться не дает
говорит тебе пошел бы ледоруб к твоему изгибу бровей
говорит вокруг слишком много людей
кто-кто достает из облака твои стихи и читает
но в лицо тебя никогда не узнает вечером краску с лица смывает
что не делает нас сильнее наверное убивает
смотрит в зеркало говорит я далеко
жила-была курочка Ряба в золоте жила кококо

***

понимаешь и вспомнить нечего будет как мы ездили в разные города
тщательно продумывали маршрут покупали билеты туда
и обратно сразу чтоб на дольше чем нужно в этом городе не застрять
и выбирать новый город для поездки опять
понимаешь и вспомнить нечего будет как мы говорили с чужими людьми ни о чем
питались в забегаловках бывшего Союза холодным борщом
думали что должен быть смысл какой-то должен быть какой-то секрет
не научились темноты не бояться по ночам экономить свет
вместо того чтобы в рифму складывать то чего нет
вспомнить нечего будет кроме грусти осенней слякоти листьев на каблуках
линии жизни линии сердца линий изломанных на руках
рецептов из журнала «Работница» это шарлотка это фаршированный баклажан
карты никогда не виденных в жизни стран
так и вспомнить нечего будет и никому о небывшем не рассказать
бабочка летает над чашкой смотрит в мутную гладь
бабочка кружится над чашкой а потом на подоконнике упадет
холод крыльев узорчатых в чашке с вишнями лёд

***

кому принадлежит эта страна
кому принадлежит эта вечная вина
разрисованная мишенями стена, цельсяпрямо в сердце
кто расставил на дороге силки, мимо которых едут грузовики
девушек выбрасывают на дорогу говорят вот подумаешь недотрога вас тут таких много
кто расставил эти силки для покемонов в храме-тюрьме, на ничейной земле
не слушай эти голоса в голове, которые велят слушать старших,
потом переключаться на военные марши
не слушай их, что бы там ни было дальше
кому принадлежит эта вечная вина, отрицание, бегство
в переходах, где рук не разжать, я не помню, как звали тебя
кровь на светлой рубашке, всё придется сжечь
твое фото повесил на стену кто-то
на стену разобранного по кирпичику сквота
нет, не твоя она и не общая наша, сердца холодная сажа
на теплом асфальте страны, где не любят тебя
ну чужой ты здесь просто, здесь рады люди простым понятным вещам
собирают деньги на храм, едят креветок-гриль,
на мосту разбивают кредитный автомобиль, в артерии осколок стекла
разве ты полюбить бы могла это серое небо и дым
но дорога здесь всюду у нас молодым, говорят, на цветах распыляют яд
повтори всё, что запомнила, несколько раз подряд

***

посмотри Бонни как много боли в мире этом как много пуль разрывных каждый
кто погибнет от них
кто пытался прошептать что-то важное но затих
прежде чем любящий взгляд смерти его выхватил из толпы таких как ты полуживых
мы потом узнали из книг как всё было на самом деле
посмотри Бонни что это за квартира на пятом этаже
без отопления но с соседями-стукачами с их выпечкой и свечами по количеству лет
нет каждому здесь нужен пистолет или окно с выходом на крышу
но я ничего больше не слышу открываю блокнот
думаю что-то напишется вот сейчас ведь в каждой жизни должен быть смысл
если можешь молись или ванну водой горячей наполни
посмотри как о тело твое плещутся волны
посмотри Бонни как мало в мире любви как много штрих-кодов без выигрышей
под ними
никому не уйти живыми в форме сердечка сердоликом
и прочими мелочами только сердцу бывшему дорогими что унесут соседи
для распродаж
но ты ведь так просто не сдашься правда всё это не отдашь этот мираж
рассеется скоро из-под принесенного нами сора вырастет синий цветок
к нему подведут ток никто в этом не виноват
посмотри моя Бонни как огоньки горят

***

мы не пишем друг другу письма несколько лет не обсуждаем просмотренные
фильмы тридцатых-сороковых
обсуждать черно-белые фильмы это опция только для живых
мертвые актрисы с грустью в глазах или с комсомольским задором говорят что
любовь сильнее чем смерть
я знаю все их реплики но продолжаю дальше смотреть
мы не пишем друг другу письма наверное нам больше нечего обсуждать
твоя книга вот уже скоро год как ушла в печать
продается на амазоне я прочитала ее несколько раз
почему получается так что наши книги добрее нас
мы не пишем друг другу письма которые можно будет издать эпистолярный жанр
устарел
наверное любовь один из видов бытованья белковых тел
и не самый лучший наверное судя по тому что сейчас излишним многим кажется он
но какое было счастье думать что не только в себя влюблен
волноваться о том чтобы ты что-то съел на обед
как в детстве разглаживать фантики от принесенных тобой конфет
смотреть на актеров черно-белых засыпать под их остроумный разговор
мы не пишем друг другу письма или пишем их до сих пор

***

говорит мы не будем жить в этой стране ни дня разве это наша земля
за что она поила нас березовым ядом колокольчиком-лимонадом
прощала нам нелюбови и самострелы выдавала справки что все целы
ни кровинки в лице так белым-бело на губах
что мы строили здесь брачный чертог или склеп кирпичей подвозили неполный прицеп
оправдывались за каждый пропущенный день объяснительные писали
давай вернем всё как было тогда как было в самом начале
во времена первой любви революции на граните
гранитных стен йодной сеткой для вен
не будет здесь никаких тебе перемен только переучет
ушла на пятнадцать минут нечего ждать но всё равно ждем у окошка
говорит да разве нам ее не жаль да мы вспоминаем об этом каждый февраль
поименно всех перечисляем свечи зажигаем выкладываем фото
пусть нас попробует в чем-то винить кто-то
да разве она нам не родная в чем вина ее в чем наша вина
почему здесь в каждом переулке война
кровь на каждых руках сводки с фронта
колокол звонит здесь всегда по ком-то
захлебывается плачем ни мы ничего не значим ни она
кто обвинит нас в чем-то где наша вина
остывшая земля нагреется к лету

***

они тебя держат в этом темном лесу
иногда предлагают сыграть в колобка и лису
в казаков-разбойников, водителя и выживших на последней войне
жен, которым страшно думать «зачем ты вернулся ко мне?»
каждую ночь просыпаться от шума салютов или скрипа входных дверей
они тебя держат в этом лесу, где много хищных зверей

они тебя держат, слишком часто сигареты заканчиваются в этой квартире
в переходах больше не рисуют портреты на листах А4
влюбленные держатся за руки,
а потом разъезжаются по своим домам умирать
в пыльных райцентрах реклама гранит ксерокс печать

они тебя держат, но, кажется, можно в любой момент выйти из дома
без сообщений на странице, никому не сказав ни слова
где-нибудь здесь заблудиться в лабиринте новостроек восьмидесятых
мир забывать среди обрывков газет измятых
выкурить всё до последней, после этого бросить курить навсегда
больше не думать, что это за станция, есть ли еще какие-то города

Григорий СТАРИКОВСКИЙ

ПРОВОЖАТЫЙ

повесть

айпа – гл. пер. 1. дотягиваться, доставать (рукой); 2. протягивать руку (за чем-л.); 3. хватать, быть достаточным; 4. достигать; прибывать (куда-л.)
Большой кечуа-русский словарь

I

только что было холодно: утренняя тень долго держалась в ущелье, тянулась по склонам, известняковым вздутиям и уступам. мы поднимались по узкой тропе и не могли согреться; накопленная с ночи стынь прохватывала насквозь. наконец, солнце взлетело над ущельем. свет, как текучая дюна, расползся по белесым камням. всё стало другим: вкус воздуха, его плотность: сухой зной сыпался за воротник штормовки, обжигал щеки и лоб. кустарники с желтыми цветками лепились к скале. жухлая трава терлась о камни. приземистые кактусы в белой пене цветения, будто снегом присыпаны. джемма остановилась, посмотрела вниз: склон обрывался к реке. воды видно не было; мы даже не слышали, как скулила она, бросаясь в просветы между вросшими в дно валунами. я спросил:
– ты устала?
она не ответила. вытерла пот со лба рукавом куртки, села на камень. широкие поля черной негнущейся шляпы наполовину закрывали ее лицо. я видел рваный румянец на правой щеке и спутанные волосы возле уха. плотная куртка висела колокольным куполом.
– джемма, сними куртку.
она наклонилась вперед и застыла, как морская фигура из детской игры. ее взгляд – намертво вогнанный в землю столб, не качнуть, не вырвать.
– хочешь, я понесу твою куртку?
я повторил вопрос. она ответила:
– мне и так хорошо.
– сними, говорю, куртку и выпей воды.
джемма стягивала куртку исступленно; боролась с ней, как с диким зверем. сняла и повязала вокруг поясницы. прямые рукава топорщились сбоку, точно просили милостыню. колыхнулось желеобразное туловище, обтянутое взмокшей тишеткой с названием пенсильванского университета. пухлые кисти рук и предплечья в розовых пятнах пота. правое плечо чуть выше левого. сняла шляпу, голова круглая, тыковкой. джемма – огородное чучело, набитое влажной соломой.

Григорий Стариковский родился (1971) и вырос в Москве. В США с 1992 года. Закончил Колумбийский университет (кафедра классической филологии). Переводил «Одиссею», Пиндара, Вергилия, Проперция, Авла Персия. Сборники стихов «Левиты и певцы» (2013) и «Автономный источник» (2017). Живет в пригороде Нью-Йорка. Преподает латынь и мифологию. В «Волге» публикуется с 2014 г. (в том числе под псевдонимом Герман Бер).

подобрала походные палки.
– эти овцы, помните...
– какие овцы?
– ну, эти, вчера. выбегали навстречу, кричали. я думала, это они меня зовут «джэ-э-эмма, джэ-эмма».
– овцы не умеют говорить, как люди.
– а эти говорили, и я хотела ответить им, но не знала, как сделать, чтобы они поняли... может быть, они разговаривали не со мной, а с мулами или лошадьми?
– давай лучше пойдем быстрее... мы и так очень сильно отстали... смотри, никого на тропе нет, все уже наверху.

утром она впервые установила *зрительный контакт,* если ее мутный взгляд – так один человек смотрит на другого сквозь грязное окно – можно назвать *контактным*. ее глаза – серые радужки в белесом киселе склеры. она смотрела на меня, одновременно устанавливая и отменяя зрительную связь между нами. возможно, она видела лишь очертания человека, стоявшего перед ней, да и те, скорее всего, были произвольны и сбивчивы.
– вы сегодня будете моим провожатым?
подавляя отвращение, ответил: *– да, конечно, буду*... больше, собственно говоря, некому; на полторы дюжины подростков нас – двое взрослых, вероника и я. проводник антонио не в счет, он сопровождал основную группу, на привалах увивался возле вероники, скалил крепкие зубы, пробовал шутить, но юмор у него – местный, грубоватый. назовет кого-нибудь жареной рыбой или маисовым киселем, или святым петром со связкой ключей, и сам смеется, и смех у него такой, словно ключи позвякивают. вероника, присланная английской турфирмой, руководила всей экспедицией. я помогал веронике, *обеспечивал*, по ее словам, *моральную поддержку тем, кто в ней нуждался*. одутловатая джемма досталась мне.

джемма двигалась черепашьим шагом. походные палки не ускоряли и не смягчали движение; наоборот, служили помехой, беспорядочно ударяясь о закраины тропы. джемма быстро выдыхалась, наклоняясь вперед всем отечным туловищем. ловила разреженный воздух, высунув кончик языка.
– вы обещали, что тропа будет ровной.
– ничего я тебе не обещал.
джемма часто останавливалась. постоянное выражение коровьей, вязкой глупости на ее лице. я поторапливал джемму; наверху нас ждала остальная группа. вдруг она нахмурилась, губы скривились, как рот паралитика. закричала, что это я виноват в ее ожесточенной беспомощности, в том, что голова кружится, и ноги устали, и руки тоже; она пожалуется на меня своим родителям, веронике, директору школы, в которой она учится, а я работаю.
– отдохни немного, и мы пойдем дальше.
мы медленно продвигались наверх. я смотрел на изрезанную льдом вершину на другой стороне ущелья, на андийских гусей, летевших на уровне наших глаз. тропа вилась вдоль скалы; казалось, она тоже ползла наверх вместе с нами.

джемма остановилась и заплакала. размазывала слезы кулаками по скулам.
– успокойся, джемма.
она плакала и говорила, что хочет домой. я обвел рукой то, что лежало рядом или вздымалось над нами.
– здесь одни горы, джемма, ни дорог, ни машин... мы не сможем отправить тебя домой, пока не придем в город.

– далеко до города?
– еще два дня и две ночи. выпей немного воды, успокойся.
больше я ничего не мог ей сказать. слезы прекратились так же внезапно, как начались. я протянул бутылку, толстобокую, из прозрачной голубой пластмассы.
– сделай десять глотков, хотя бы десять...
иногда она проявляла интерес к вещной стороне бытия, например, к запаху жидкого клубничного мыла или к подгорелой корочке оладьев, которыми нас кормили по утрам. она хитро улыбнулась, два узелка завязались по краям губ, пританцовывали пухлые щеки. взгляд прояснился, она посмотрела мне в глаза, кажется, в первый раз. спросила, сколько капель я нацедил в воду. мысль джеммы прозрачна, как полуденный воздух. я действительно переборщил с дезинфекцией, вместо шести выцедил восемь или девять, кто их считает. вода получилась горше, чем обычно.
– зато мы устроили знатное избиение всякой обитавшей там микробистой швали.

джемма втягивала воду медленно. первый глоток длился, как ночной гудок товарняка в нью-йоркском предместье, куда я перебрался лет десять назад из города. когда составы неторопливо проезжают мимо, соседние дома, стоящие на песчаной почве, исходят дрожью; трясутся кровати; покачиваются люстры. в первый раз я подумал, что начинается землетрясение, посмотрел в окно, – в соседних домах света не было, все спали... джемма протянула мне бутылку; я не взял ее.
– помнишь наше условие? нужно еще девять.
она сделала еще девять и возвратила бутылку, отводя взгляд.
– интересно, как там сейчас наши курицы?
картонные коробки с курицами перевозили на мулах, по две коробки на каждом мульем боку. курочки тесно прижимались одна к другой, боялись выглянуть наружу, а если выглядывали, то сразу же втягивали в себя круглые головки, похожие на мячи для гольфа. по вечерам в палаточном лагере курочек выпускали, подкармливали, наливали ледяной воды в глубокую алюминиевую тарелку.
– главное, чтобы их не съели до вечера.

мы выбрались на плато и присоединились к остальной группе. к полудню джемму стошнило. она стояла возле полуразрушенной каменной стены, держалась обеими руками за камни. белесая жижа медленно выползала из ее рыбьего рта. я достал из рюкзака салфетки. она отерла губы и подбородок. я спросил, не стало ли ей легче; может, дать воды или еще чего-нибудь. она сказала, что ее немного покачивает и голова кружится сильно, будто она до сих пор ходила с завязанными глазами, а теперь повязка упала, и всё, что она видит, находится в круговом движении.

пока остальные обедали супом и картошкой с яйцом, я посадил джемму под дерево (тогда еще попадались деревья и прохладная тень под ними, размазанная по траве), покормил с ложки. суп не всегда проглатывался, иногда выплевывался или проливался на землю; зернышки киноа прилипали к подбородку; я смахивал их салфеткой. джемма сидела, привалившись спиной к стволу дерева; то открывала, то закрывала глаза, как большая кукла. сказала, что хочет в туалет, но не может подняться. я помог ей встать. опираясь на мою руку, дошла до отхожей палатки, которую антонио прозвал *волшебным домиком*. на обратном пути положила пухлую руку мне на плечо. я почувствовал ее противное туловище, прижатое к моему. меня чуть не вырвало. я отвел ее обратно в тень. джемма легла на спину, закрыла глаза. казалось, что она спит, но она не спала. так бывает, когда закрывают глаза и бодрствуют.
– вам здесь нравится?
– да, очень. а тебе, джемма?
– совсем нет... отправьте меня домой.

2

автомобильное месиво лимы, продавцы газет на разделительной полосе между потоками транспорта; грузовики, их открытые тряские кузова; городские автобусы, люди в них, утонувшие в смартфонах. на детскую площадку возле широкой авениды волокут раскладные стулья, столы; рядом с качелями на асфальте – пять-шесть двухлитровых бутылок с питьевой водой и желтоватой инка-колой; разноцветные шарики *с днем рождения* привязаны к столбу качелей.

выезд на коста верде, внезапный разрыв, освобождение взгляда: длинные серые волны, наползание одной на другую. я видел черные фигурки серферов, похожие на мертвых дельфинов. образ океана – брешь в лице города, его последний обморок, окончательная тишина. берег изогнулся подковой, будто хочет втянуть в себя всю эту многослойную влагу. на другой стороне подковы оранжевел электрический крест в память приезда римского папы. между трассой и океаном на плохо освещенном футбольном поле бегали люди и пинали мяч, он вертелся в луче прожектора и выскальзывал из него. стояла перуанская зима.

накрапывал дождик, тонкая, ювелирная взвесь. тяжелые сырые облака застилали небо, как будто в нем, этом небе, отразился серый войлок океана.

на паспортном контроле со мной разговаривал пограничник с круглым, как циферблат, лицом. он полистал паспорт, апатично произнес имя города, в котором я родился; потом спросил: *кто тебе больше нравится, президент твоей новой страны или президент прежней?* я ответил, объяснив свою точку зрения. он поморщился, пожал плечами, поставил печать, высокомерно кивнул: *welcome to peru.* возле багажной карусели джемма читала вслух с экрана мобильника: *жила девочка, у нее была большая белая собака; однажды девочка лежала в постели и не могла заснуть, вдруг она услышала звуки, будто кто-то скулил; ей стало страшно. родителей дома не было, сначала она боялась встать с кровати, потом отважилась. в ванной увидела большое красное пятно на стене, поглядела в зеркало, оттуда на нее смотрели два темно-коричневых собачьих глаза.* сидевшие рядом подростки сказали:
– ну и дерьмо эта твоя история.

мы приехали в мирафлорес, выгрузились возле хостела. ко мне подошел человек небольшого роста, с перекошенной физиономией, будто у него болели зубы. он прошамкал что-то, но я ничего не понял, кроме: *английский... куда собираетесь? не на мачу ли пикчу?* я ответил, что да, собираемся. он сказал, что это хорошо, и попросил дать ему немного денег на еду и ночлег. он теребил край своей грязной байковой рубашки, прочищал глотку мелким кашлем, как полосканием. я протянул ему две-три монеты. он схватил их длинными заскорузлыми пальцами с грязными ногтями, прищурился и попросил еще, на прокорм семьи. я ответил, что и этого достаточно, *суфисьенте, суфисьенте...* человек ухмыльнулся половиной рта и через мгновение исчез в толпе. подошла вероника:
– соришь тут деньгами.
– с ними легко расставаться.
– этот жуликоватый тип – профессиональный нищий, морочит людям голову, а сам наверное живет неплохо, не хуже других.
– да, я знаю, что он хитрил.
– мы их только развращаем подачками.

подростки научились заказывать стол на двадцать персон. вскоре я знал все окрестные рестораны, рассчитанные на средний бюджет.

– уложимся в бюджет?
– не проблема, уложимся.
мы поглощали гамбургеры, картошку фри, салаты из авокадо и кукурузы чокло, суп из киноа, ломо-сальтадо, севиче, жареных морских свинок. официанты подбегали расторопно, спрашивали нараспев:
– пить что-нибудь желаете?
– да, желаю чаю из листьев муньи.
– *прекрасный выбор, прекрасный,* – напевал официант и исчезал на кухне.

в первый вечер после прилета мы с вероникой сидели в кондитерской, пили капучино и обсуждали, как нам быть с джеммой. хрупкая, как птичка, вероника чирикала:
– о чем думали родители, отправляя девочку в таком состоянии? это безмозглое существо притащилось сюда без свитера. я ей говорю: – где твой свитер? а она, представь себе, в глаза даже не смотрит, точно не о ней речь. знаешь, что она мне сказала? зачем мне свитер, в лиме пятнадцать градусов тепла. я хотела сказать: дура ты, дура набитая, в лиме мы несколько дней, а потом в анды, там по ночам минусовые температуры... намучаемся мы с ней. вероника отпила из высокого стакана, внимательно посмотрела на меня и улыбнулась, раздвинув горизонтальную скобку тонких губ: – *мучиться будешь ты.*

я не видел кафедрального собора в лиме, не заходил в музей пирамиды в мирафлоресе, не рассматривал золота инков, не гулял в роскошном парке над береговой подковой. *о, колючие сейбы с красными и розоватыми цветами; дорожки, обсаженные невысокими сучилями, жакарандами, шелковицами; террасы, увитые плющом и жимолостью...*[1] время, проведенное в городе марио льосы, было отдано на откуп подросткам. странное, давно забытое ощущение зависимости от других, как в детстве, когда хочется побыстрей вырасти, забыть людей и обстоятельства, подчиняющих тебя своей воле... всё, что осталось мне от лимы – вид из окон автобуса или хостела.

хостел «летающий пес»». второй этаж в обшарпанном строении на углу сквера, скрипучие половицы, осклизлая душевая с двумя кабинками. комнатка с балкончиком. на балкончике – два высоких стула; между ними столик на витой металлической ножке, на столешнице дешевая китайская пепельница в темно-серых потеках. балкон нависает над входом в сквер. только что закончился музыкальный фестиваль. стенды, арматура, какие-то доски лежат на газоне. рабочие разбирают эстрадный мусор.

дождик слезен и ненастойчив. очертания однотипных домов смягчаются. дворник в помятых синих штанах с белыми лампасами метет выложенную плиткой дорожку. небольшой стенд возле входа предлагает взять в питомцы бездомного кота или кошечку. на крыше супермаркета широкий экран. сообщение о распродаже. сперва появляется кареглазая красавица в белой рубашке (рукава вразлет) и синих расклешенных брюках. вскоре на месте, где сиял ее ангельский взор, возникают ботинки, свитера, сумки, рюкзаки.

кот (или кошечка) закинул(а) передние лапки на решетку сквера; выгибает спинку. полицейский с автоматом наперевес дежурит возле мусорного бака, несколько голубей сидят на фонарном тролистнике. пожилой человек в длинном плаще и очках проходит мимо. женщина в зеленой курточке собирает листья оранжевыми граблями. труд, похожий на игру в теннис невидимыми ракетками, поверх невидимой сетки: палые листья давно убрали, деревья и газоны ждут теплого времени года. парень обнимает девушку с таким усердием, будто хочет ее задушить. она осторожно держит

[1]Марио Варгас Льоса. Похождения скверной девчонки.

его за плечи, охлаждая горячность юноши. на ее голове смешная шапка с помпоном. проходит белокурый турист (немец, скандинав?) в шерстяной перуанской кофте. несколько человек в синих строительных комбинезонах чинят дорогу. уборщица невидимых листьев что-то говорит парню; он делает вид, что не слышит ее, – обнимает свою подружку, целует ее в губы.

3

вечером возле палатки, в которой трудился повар модесто, вытянули эллипсом проволочную сетку; внутри сетки поставили алюминиевую тарелку с ледяной водой, рядом насыпали кукурузных зерен. поджарые, как стервятники, курочки – черные и рыжие, с алыми хохолками – не сразу подходили к корму, сперва разгребали лапками мягкую землю, поклевывали ее, издавая негромкое квохтанье, похожее на хлюпанье грязи после дождя. подергивались охвостья. отрывистые движения головками вперед-назад. блестели пуговичные, будто приклеенные, глазки. одна курочка перемахнула через сетку, пустилась прочь. антонио крикнул: – *ловите ее скорей.* мы побежали за ней, но не успели догнать. беглянка забилась в расщелину.
джемма сказала:
– *не мешайте мне, я сама ее достану.*
запустила руку в расщелину, некоторое время нащупывала курочку. вдруг взвизгнула, рыхлое тело скрутила игольчатая боль. опустилась на землю, подула на указательный палец, из которого сочилась кровь. я принес аптечку, протер ранку перекисью водорода, сверху заклеил пластырем, обмотал марлей.
– *попробуй согнуть. сгибается?*
– *да, сгибается.*
– *завтра переменю повязку.*

я лег на живот и увидел рыжий куриный бок. просунул походную палку в расщелину, ударил курочку резиновым наконечником, потом осторожно приподнял снизу, чтобы не размозжить голову. она сдалась и вышла на свет, выражая безразличие дробным подергиванием головы. я взял ее на руки, ощутил мягкость перьев, теплоту бугрящейся жизни, опустил внутрь проволочного эллипса. она отряхнулась; приблизилась, как заведенная механическая игрушка, к оставшимся зернам, склевала несколько. заходящее солнце на мгновенье осветило ее пуговичный глаз, наполнило мнимой осмысленностью.

измотанные за день, мы заползали каждый в свою палатку. моя – треккинговая, для восхождений. стеклопластиковая дуга, защита от воды, но изморозь все равно насквозь. двухслойная – тент и внутренняя палатка, материал дышащий, даже, пожалуй, слишком; окошко для вентиляции; спальный коврик, надувной; система растяжек, дно из капрона, швы проклеены. пластмассовые крепления лопались одно за другим. палатка сморщилась, как ворох только что постиранного белья. внутри едва хватало места, чтобы разместить надувной коврик, спальник и рюкзак, ютившийся возле ног. спальник китайский, дешевый. плохо защищал от холода; ночью приходилось обматывать ноги грязными майками. наставало время, принадлежащее мне одному, можно было читать или записывать; я доставал тетрадку и книгу.

джемма подошла к палатке, дернула за край тента, окликнула меня по имени.
– *что случилось, джемма?*
– *у вас нет таблеток от поноса?*
– *у тебя понос?*
– *да, шесть раз бегала.*
говорила она так, будто живот болел у другого.
– *вероника сказала, что сразу давать не надо. потерпишь до утра?*

– да, попробую.
– спокойной ночи. сладких снов.
я открыл единственную книгу, взятую в экспедицию, – кропотливый разбор одной греческой драмы. она начинается описанием чумы, насланной богами за преступление, которое надо расследовать, – тогда чума закончится. главный герой ведет дознание, а на самом деле разматывает клубок собственной жизни, постепенно вступая в черную воду безумия. остальные говорят герою: остановись, но он продолжает вглядываться в себя, в одну бесконечную ночь своей жизни... я отложил книгу в сторону, на небольшой островок капрона между спальником и индевеющей стенкой палатки.

– как тебе спалось? – вероника смотрела на меня из-под двух капюшонов, курточного и свитерного. ее взгляд – смесь деланой доброжелательности и брезгливости. ритуальная вежливость на все случаи жизни. неужели ей действительно интересно, как я провел прошлую ночь? под широким белым навесом на раскладном столике несколько тарелок с пригорелыми оладьями; на темно-коричневой корочке – тонкой полоской крема – парабола улыбки или перекошенная звездочка. антонио спросил:
– тебе какого чаю налить, черного, ромашкового, или из листьев муньи?
– налейте черного.

после завтрака джемму посадили на приземистую, бокастую лошадку. которую вел на веревке погонщик энрике; его лицо, покрытое сетью шевелившихся при ходьбе морщин. в свободной руке он держал небольшой радиоприемник, с матовым корпусом под мрамор. джемма вцепилась в седельную луку.
– тебе нравится ехать на лошади?
она не ответила.
– ты когда-нибудь ездила верхом?
– нет, это – в первый раз.
я умолял энрике не спешить, но он не слушался. когда энрике останавливался, чтобы дать передышку своей лошадке, я нагибался к земле, как человек, получивший удар в солнечное сплетение; ловил воздух сухими, растрескавшимися губами...

каждым шагом я вбивал в тропу гулкое *быть-быть-быть*. если повторять это слово много раз, можно услышать, как замкнуто оно в себе, самодостаточно, не то что английское *be*, которое, как лодка под парусом, – куда ветер дует, туда ее и несет. идешь, проговаривая каждым соприкасанием подошвы с тропой *быть-быть-быть*; протискиваешься между створками двух согласных, «б» и смягченного «т» – в средоточье сло́ва, в надрывное «ы-ы-ы», в сердцевину своей судьбы. теперь, на крутом склоне, створки казались разбитыми, и желток весь вытек. во мне жила пустота, как внутри гипсового слепка собаки, засыпанной пеплом везувия. окончательность взгляда, слуха, воздуха. постепенно я переставал ощущать себя, забывал о своем присутствии здесь; исчезал, как музыкальная фраза, – прозвучала и стерлась. обтрепанная бахрома сознания, расщепление бытия, его мельчайших форм.

я – свеча, брошенная в кувшин, оставленная под кроватью. я – связка старых газет, которая вывалилась из мусорной машины на мостовую; начался дождь, и газеты вымокли; связка ужалась, а дождь всё лился и лился. на следующее утро связка еще больше приплющилась, а через день – дождь затяжной, жирными струями – осталось пятно на проезжей части... я – раковина, выброшенная на пустынный берег, никто не поднимет меня, не поднесет к уху, не услышит шепот, исходящий оттуда. меня бросили в воду, я не могу оттолкнуться от вязкого дна, чтобы выплыть наверх, надышаться всласть. я тащился за лошаденкой, которая то пускала ветры мне в лицо, то вываливала под ноги зеленоватые, текучие, парные лепехи.

я полз на перевал, поддерживая себя походными палками, чтобы не упасть на колкую траву, не разодрать лицо в кровь. наверх, наверх, наверх, как три сестры – *в москву, в москву, в москву.* воздух пустой почти, весь сок из него вышел... я превращался в зверя, в желтый звериный оскал, разрывал в клочья сизые осыпи и пыль над склоном, пожирал мясо земли и кости камней. набивал рот лишайником, как ребенок – сластями. я взошел на перевал и увидел дальнюю вершину в ледяных зализах. мне насвистывал голодный, злой ветер.

я фотографировал горы и сразу удалял снимки. на фотографиях вершины были похожи на черновые, необязательные наброски вскользь. настоящие горы высились рядом, в рваной, нетленной сбитости, как стихи державина. джемма сказала:
– *пока мы поднимались на перевал, я думала, зачем нам всё это нужно.*
– *что – нужно?*
– *ну, эти ноги, которые у нас...*
– *чтобы ходить, наверное...*
– *помните окно подвального ресторана в лиме. там ноги как люди, вместо людей.*

4

выбирали между археологическим музеем и танцами. выбрали танцы. по *лос пинос* пять минут прогулочного шага до *т*-образной бетонной пятиэтажки. на первом этаже светилась неоновая вывеска секс-шопа. рэймонд предложил заглянуть в магазинчик. я ответил, что при случае обязательно, а сейчас никак. рэймонд сказал:
– *если ты одинок, тебе поможет резиновая кукла.*
– *мы обсудим кукольную тему после танцев.*
я неплохо знал рэймонда, преподавал ему латинский язык. дальше amo-amas-amat он не продвинулся. если бы рэймонд изучал латынь с таким же усердием, с каким осваивал азы женской анатомии, дошел бы, наверное, до *сдохшего воробышка моей подружки*[1]. в школе подбегал ко мне, пожимал руку или бил кулачком в кулачок, спрашивал вкрадчиво: *правду говорят, что в детстве вы разбирали автомат калашникова?* я отвечал, что да, разбирали и собирали, ничего сложного в этом нет.
– *я это проделывал с завязанными глазами.*
– *вы что, к войне готовились?*
– *нет, на всякий случай.*

мы поднялись на второй этаж: длинные коридоры без окон, на дверях – жирные металлические решетки. одна дверь отворилась, в проеме появился смуглый женоподобный юноша в черном трико. он улыбнулся, назвался даниэлем и провел нас в продолговатую комнату. наблюдать за мягким шагом, гибким телом даниэля – всё равно что разминать пальцами кусок пластилина. зеркало, занимавшее всю стену, постепенно затуманивалось. вскоре я едва различал напряженно-внимательные лица подростков, их неумелое подражание скользящему шагу наставника. вероника сидела на стуле в углу комнаты, кивала на танцующих и смеялась, она была похожа на дрессированного пуделя, который сучит передними лапками и тянет нос кверху.

даниэль расставил подростков в шахматном порядке и начал учить счету: *сначала идем вперед,* он гладко ступал с левой ноги, *уно-дос-трес*, *а теперь три шага назад*. возвращался в исходную позицию, отсчитывая *синко-сеи-сьете*. так они вышагивали туда и обратно, с пропуском четверки-*куатро*. досчитав до трех, даниэль замирал. казалось, он вслушивался в четвертый, неосуществлен-

[1] Гай Валерий Катулл, вольный перевод.

ный шаг. брал паузу, стряхивал с себя дурман танца. просыпался на мгновение внутри разрыва, в этом почти элегическом зиянии, чтобы сейчас же забыться в выверенной, шелковистой поступи *синко-сеи-сьете*.

в комнате стало жарко, на лицах подростков выступили капли пота. одеты они были не потанцевальному: кроксы, широкие перуанские штаны, купленные в сувенирных лавках мирафлореса. на юношах – красно-белые футболки национальной сборной. заиграла песня: омерзительный женский голос, как теннисный мячик, метался по комнате. речь шла о деньгах: то ли ухажер должен осчастливить девушку внушительной суммой, то ли девушка собиралась напропалую сорить деньгами, полученными от воздыхателя. даниэль учил подростков, как следует – осторожным шагом пумы – подходить к помутневшему зеркалу, в котором плыли их потекшие силуэты, и выставлять перед собой одну ладонь, а другой смахивать деньги на пол, выражая нечто промежуточное между равнодушием и презрением. подростки приближались к зеркалу и, открывая левую ладонь, сорили невидимыми деньгами.

на улице ко мне подошла вероника.
– *надо поговорить о важном.*
ее губы почти касались моей щеки. глаза как две стоящие рядом чашечки кофе, если смотреть на них сверху. в ее голосе была доверительность, почти нежность. ее дыхание растекалось по моей щеке. я долго не мог уловить смысла пружинящих слов; пришлось повторить сказанное, прежде чем я начал понимать:
– *у нас проблема... мне надо с тобой посоветоваться.*
– *что случилось?*
она быстро и шепотно продолжила. я снова ощутил ее дыхание.
– *если хочешь, я сама поговорю с ними.*
– *нет, мы поговорим с ними вместе.*
в знак благодарности она дотронулась до моей руки. когда мы вошли в ресторан, все уже сидели за столом, вернее, за двумя столами. за вторым, что поменьше, расположились наши юноши и девушка; на ее шее алела продолговатая отметина, напоминавшая карту португалии. несколько дней назад, в экспедиции, во время ужина мы недосчитались двоих. я отправился на поиски. проходя мимо крайней палатки, услышал сопение, глубокие вздохи, периодические причмокивания. подумал, *неужели на такой высоте они еще могут заниматься этим? удивительны дела твои, афродита...* вернулся и сказал веронике:
– *всё в порядке, они скоро придут.*

в ресторане подростки громко разговаривали. их голоса сливались в один голос, в лоскутное одеяльце, сшитое из ничего не значащих фраз, в которые можно не вникать, до того они очевидны. каждое слово выражало самый поверхностный смысл, вроде плоской белой тарелки, которую забыли убрать в буфет. подростки как будто стояли в очереди к умывальнику; когда один заканчивал мыть руки, следующий начинал, а тот кто закончил, сразу же становился в конец очереди.

когда их спросят, что вы там делали, они ответят: *ели одно и другое.* скажут: *мы познакомились с их культурой.* перечислят супы, салаты, вторые блюда, десерты. *их культура не похожа на нашу культуру,* скажут они. я им отвечу: вот вам яблоки или морковь, скушайте яблоко, погрызите морковь. выжмите сок и выпейте его. я съедаю вашу культуру, а потом она покидает мое тело, в виде сами знаете какой субстанции... *нет, нет,* говорят они: *ты лучше поешь чего-нибудь нежного, чем вглядываться в этот мир, да и что ты увидишь за стеной ресторана, – тени, как змеи, текущие за пазуху гор; морщинистых тусклых людей, погонщиков и носильщиков с лицами будто обмазанными суглинком; пегую пыль, которую вдыхаешь на подъеме; услышишь хруст заиндевелой травы, выползая из палатки. нет*, скажут они, *если хочешь оплакать этот мир, начни с себя.*

5

я лег лицом к речной воде, зачерпнул прозрачной и льдистой. почувствовал колючий холод на щеках и верхней губе, будто с лица содрали прежнюю кожу и обтянули новой. возле излучины валялся конский череп, выбеленный ветром до свадебной белизны, вроде музыкального инструмента, на котором играет смерть, – надо только приникнуть и вслушаться. джемма принесла череп в лагерь, поглаживая носовую кость, заглядывая в пустые глазницы.

местные говорили, – *здравствуй, брат.* брат на языке индейцев кечуа – *вайку.* все, живущие в андах, – братья. повар модесто резал и ощипывал куриц, готовил питательные супы, лил ледяную воду на руки подростков до и после обеда; ни слова лишнего, вообще ни слова, от силы два-три междометия, *младенческие ау-ау-ау или аи-аи-аи.* мне, конечно, другое слышалось, пушкинское: *к аи я больше не способен, аи любовнице подобен.* модесто появлялся из кухонной палатки, садился на табурет, потрошил куриную тушку. он был похож на камень, даже когда орудовал ножом. сутулый погонщик эмилио, напротив, всё время куда-то спешил, задавал корму лошадям и мулам, обслуживал *волшебный домик*, ставил и собирал палатки. вечером садился в стороне и включал радио. слушал трансляции футбольных матчей, не обнаруживая никаких эмоций, кто бы ни побеждал на поле, свои или противник.

после обеда я достал из рюкзака тетрадь, начал записывать, но далеко не продвинулся, – меня прервал антонио. подошел и спросил, чем я занимаюсь. получив ответ, сказал, что тоже хочет написать книгу.
– давай начнем твою книгу прямо сейчас. вот – тетрадь, вот – чистый лист. говори, я буду записывать.
он, кажется, смутился. ответил, что всего лишь собирает материал. я поинтересовался, какого рода материал.
– о любви. в последнее время я разочаровался в женщинах. городские перуанки – такие собственницы. знакомлюсь с девушкой, вроде нравимся друг другу, всё нормально. а потом она хочет, чтобы я был у нее под боком, как пуфик какой-нибудь. понимаешь, брат, если ты ходишь в экспедиции, личная жизнь летит к чертям.
– понимаю, брат... был такой поэт, гесиод, он говорил, что женщина – вообще разочарование. может, эти городские собственницы, не желая иметь с тобой дело, спасают тебя.

после обеда мы снова с джеммой. тропа несложная, даже для нее. она разговорилась, сказала, что выгуливает собак и сидит с детьми, смотрит с ними мультфильмы, играет в настольные игры и в прятки. в детстве боялась, что спрячется где-нибудь, а найдет ее совсем не тот, кто должен искать. выудила и показала мобильник, два дня как сдохший, купленный на заработанное. ее монолог прервался внезапно, – я снова увидел опустелое, без выражения, лицо, как брошенный дом, одни голые стены и скрипучие половицы. джемма остановилась. в одной руке она держала походные палки, другой подтягивала штаны.

– мне нужен новый ремень, старый порвался. где можно купить новый?
– подожди меня здесь.
я отошел в сторону, к промоине. нарвал тростника, кое-как сплел из стеблей ремешок, пропустил сквозь шлевки, завязал двойным узлом спереди. джемма равнодушно отнеслась к моим прикосновениям, даже когда я потянул вверх куртку, повязанную вокруг бедер, – на выпирающий живот, даже когда дотронулся до него. это оплывшее тело было ей навсегда чужим. мы двинулись дальше. некоторое время она молчала, потом вдруг спросила, что происходит с человеком, когда тот умирает.

– ничего не происходит. он улетает на небо, превращается в тонкий воздух, а потом о нем все забывают. посмотри на небо, как много там места.
она сказала, что есть такие телепередачи, в которых всё объясняют, даже про смерть. заговорила о лунном заговоре: американцы никогда не высаживались на луну, а документальные кадры высадки – подделка: флаг был неправильный, и прыгали они слишком высоко в своих скафандрах. потом вдруг добавила:
– когда мы были в аризоне, в большом каньоне, я думала, что всё это – ненастоящее.
мы смотрели на снежную вершину, загромождавшую горизонт.
– если это – картинка, зачем я на нее смотрю?

джемма снова замолчала. я тоже не говорил ничего. мне казалось, я забывал свой язык, вернее, *свои* – родной и приемный, переходил на безгласие, на узелковую речь анд. узелок на счет и на память, нити альпаки или ламы. я говорил нитяными взгорбиями молчания: *летит кондор в небесной полынье между двумя вершинами*. инки помещали всё, что было вокруг, в нитяные наросты, сплетенье и цвет: сколько жителей в этом селении, мужчин и женщин, здоровы ли они. в тонкие нити разной окраски вплетали ракушки или кусочки растений, делали несхожими узелки, – узел простой, большой узел, узел в форме восьмерки. черный цвет нити – время или болезнь, красный – война, желтый – золото или урожай, белый – серебро или мир, палевый – отсутствие чего-нибудь, например, тепла или радости.

я и джемма – две нити между небом и андами. ее нить покачивалась, не достигая твердой поверхности, как голая лампочка на шнуре. вся ее жизнь становилась зримой, в мелких вздутиях узелков: вот отец приносит розы в родильную палату, мать сидит на койке, кормит ребенка грудью; родственники возле купели, мужчины в костюмах, женщины в нарядных платьях (не забыть воскресные шляпки); крестный держит девочку на ладонях, осторожно, чтобы не соскользнула; падре поливает ее святой водой. несколько сквозных узелков о предместье, в котором она живет: станция пригородной электрички, желтая надпись «не приближайтесь к путям»; фермерский рынок; небо сползает за пазуху сквера; на флагштоке мэрии льются и льются звезды и полосы по белому полю материи. возле коробчатого здания почты – машины; кажется, единственные здесь люди – посетители почты, особенно много их перед рождеством, будто все эти люди отправляют посылки самим себе и через день возвращаются, чтобы получить посланное. главная улица, зимняя, бесснежная, выцветшая; тротуар с потеками и неглубокими повторяющимися надрезами, чтоб не скользила обувь. дома двухэтажные, дышат наружу. плоские крыши магазинов, рестораны итальянский и греческий, в церквях не звонят больше, электричка-экспресс не останавливается, проносится мимо, посылая протяжный, глухой сигнал, прохватывающий тишину.

другая нить, потемней, от нее пахнет дымом. льдистая вершина, как гитарный колок, держит ее. всякий раз возвращаюсь в горы, чтобы притронуться к этой *моей* нити, каждому ее узелку, чтобы каждый издал свой комариный писк, прожег память... прикоснуться и вспомнить себя как чужого. узелок палевый, рождение в ночь с понедельника на вторник; шел снег, последний, апрельский, московский. узелок черный с красным – школа, ее построили на месте кладбища; два мальчика-мушкетера фехтуют на берцовых костях, найденных в траншее. ночной отъезд сквозь сеющий косо снег – палевый узелок с подвязанным камушком, и еще несколько палевых. вот она, бугорчатая сладость исчезновения, с каким прилежанием я исчезал, – лови меня, ветер, лови меня, снег, не поймаешь. дальше – белым узелочком, хоть что-нибудь белым: станция *168 улица*, в последнем вагоне – она, в сереньком дождевичке, усталая после работы. машет рукой. вбегаю в вагон, мы едем до ее станции, проходим по грязному осклизлому тоннелю, выныриваем на улицу, облепленную пятнами тающего снега. улица изгибается, как река; мы идем вдоль ее излучины, вдыхаем подмороженный воздух с можжевеловым привкусом.

тропа плавно забирала вверх. джемма не нуждалась в частых передышках. теперь я не мог представить себя без ее черепашьего хода, без пустоватого постукивания походных палок, без рваного румянца на пухлых щеках. наши нити переплелись, я становился продолжением джеммы, а она – моим. перуанцы говорят: *от древа молчания – плоды покоя.* джемма – безмолвное дерево, заплывшее коростой в глубоких кривых трещинах. я тоже превращался в дерево, вернее, мы – с общей сердцевиной – были покрыты одной коростой. а еще говорят перуанцы: *только тот, кто несет крест, знает, насколько он тяжел.* слова эти правдивы лишь отчасти. человек привыкает к любому бремени, забывая о нем, или перестает быть, исчезает из списка живущих. мы не можем мучиться вечно; для этого придумали ад.

6

поезд из ольянтайтамбо в агуас кальентес. колесная стукотня назойлива. кажется, колотишь кулаком в дверь, а она заперта; тебя грызет неотвязная мысль, что там, за дверью, кто-то стоит, таящий дыхание. скорее бы, чтобы с ума не сойти, вжиться в этот рахманиновский перестук, клавишный перебор *allegro ma non tanto.* успокойся, нет здесь дверей, кроме двух тамбурных, – приложи ладонь к фотоэлементу, и они поползут, одна – вправо, другая – влево.

передняя дверь скользнула, впустив двухъярусную тележку и девушку в сиреневой униформе. матовое, лунное, нелепое лицо: зауженный подбородок острием клинка; утиный нос с широкими ноздревыми крыльями; темный, прилипчивый взгляд.
– вам чай или кофе?
– чаю из муньи, пожалуйста.
на лацкане имя, как бабочка, – цинтия. безмолвно наливает кипяток в бумажный стаканчик, протягивает пакетик с чаем, и другой, с подсласткой. руки тоже некрасивые: мартышечьи ладони, короткие пальцы, волнистая бороздка шрама на указательном правом от ногтя вверх.

сквозь колесную дробь – словесный трепет, связность звуков и фраз, внезапно открывшаяся внятность: *цинтия первая на меня взглянула так, что я оказался, несчастный, в плену ее глаз, ведь прежде не был отмечен страстью, и вот амур заставил меня потупить вечно надменный взгляд, сдавил мою голову, встав на нее*[1]. железнодорожное *там-та-там-та-там.* гекзаметрический вальсок, воскрешение звука, казалось, мертвого, – учащенным дыханьем колес.

в окне – щербатые, вросшие в землю строения. не успеешь вдохнуть и выдохнуть, – пронеслась широкая площадь. размалеванный герой на пьедестале: алый кушак, яйцевидная голова под синим сомбреро. ноги чуть согнуты в коленях, еще немного – и пойдет вприсядку камаринский сеньор. он воевал, он проливал кровь за независимость; скорее всего, – не свою кровь. хорошо ему здесь стоять, в центре площади, выкаблучиваться (в прямом смысле) на солнцепеке. вот брызнули, сказал бы сесар вальехо, *мельничные крылья позолоченного циферблата.* джемма спала, положив голову на мое плечо. улыбалась во сне: сперва завязь, потом избыток улыбки, которая, как влажная тряпка, свисала с ее губ.

барышня на соседнем сидении за ноутбуком. на правом запястье электронные часы с розовым корпусом, в носу нечто сережкообразное с двумя металлическими шариками по краям. левая ноздря проколота в двух местах. на лбу солнцезащитные очки в зеленой пластмассовой оправе, виски выбриты до нежного подшерстка, остальные волосы собраны в пучок на макушке. голова круглая, как слегка сдувшийся футбольный мяч. китаец, спешивший по проходу, нечаянно ударил ее локтем. барышня покачнулась всем своим мощным туловищем, грязно выругалась по-английски. на

[1]Секст Проперций. Любовные элегии 1.1-4.

крышке ноутбука готическим шрифтом *empowered women empower women.* мужчина средних лет, сидевший через проход, зубами разорвал пакетик с сахаром. бумажка прилипла к нижней губе.

пыльные, чуть не написал *полые,* деревья с обеих сторон полотна, каменистые берега. бойкая порывистая речка. поезд двигался вниз по течению. сплошняком кустарники в сочной листве. высокие кактусы, их колючие лопасти. в горах преломлялись зеленые тени. расщелины гор, как искривлённые рты, застывшие в крике. горный кряж – изношенная маска, под которой нет лица. деревья ложились на ветер. склоны обрызганы солью лишайников. зыбились бедные крыши хлипких домов. под навесом сушилось белье, как застывшая пена солнца. собрание путейцев, их фигуры полукругом, оранжевый полумесяц спецовок, ослиные уши кактусов. скучная сочность зелени. река перекрыта плотиной, вниз от плотины – вся в отмелях, совсем кисельная.

как только поезд тронулся, подростки заснули. одни спали, запрокинув головы и приоткрыв рты, будто хотели сказать что-то важное, но не могли; другие, посапывая, пластались щеками по оконным стеклам. я смотрел в окно. священная долина сужалась в ущелье. ближе подступали горные цепи, будто стремились приклеиться друг к другу лбами вершин. во мне открывалось – глубоким, вещим колодцем – второе зрение: я казался себе песчинкой, ненужным сором, едва заметной точкой на ландскарте, навсегда покинутым населенным пунктом, – пора взять ластик и стереть его. но было еще и другое: зернышко, гранула собственной малости вдруг вырастала, – я видел себя персонажем непрерывной драмы; обращался к горам, как фиванский царь – к несчастным старцам: *почему вы стоите здесь столь просительно?* я наблюдал за ними, свидетельствовал о них перед корявым миром, давал им право – быть.

***

толпа перед турникетом и на территории мертвого города. гид (ее звали норма) подвижная полная женщина в лопушиной панаме и огромных, в пол-лица, солнцезащитных очках, скверно говорила по-английски, настолько скверно, что нельзя было ничего понять. рэймонд спросил, не желаю ли я закрутить с ней роман. я ответил, что нет, она – не моя чашка чая. туристы снимали руины на мобильники. вытягивали руки в стороны, подражая кондору; девушка восточной внешности гнулась, выбрасывая одну руку вверх; другую отводила назад; опускала очки на переносицу, распахивала кукольные глазки. некоторые позировали, указывая рукой на руины, одновременно отворачиваясь от них, точно хотели сказать: *это я здесь стою, за мной – чудо света, каменный город*. фотографировались с остервенением, будто жизнь начиналась и заканчивалась здесь и сейчас, и больше не будет ее. снимались на фоне ламы, обгладывающей газон, *смотрите, смотрите, ламы – лапочки, какие у них симпатичные мордочки.*

два каменных блюдца, в одно глядит солнце, в другое – ночью – луна. окошко в храме, сквозь которое простреливают солнечные лучи во время летнего и зимнего солнцестояний. храм кондора – два камня, как два крыла. вступая в каменный город, попадаешь в лабиринт. ощущение пойманности, обреченности в толпе туристов, даже если идешь по стрелке и знаешь, как выйти к турникету. маслянистые, сытые глаза посетителей. исступленная щелкотня камер. самые свободные существа здесь – ламы, они перепрыгивают с террасы на террасу. рэймонд решил подурачиться, выхватил складной нож; сверкнуло лезвие. подбежал охранник, выбил нож, повалил рэймонда на дорожку лицом вниз, налег всем корпусом сверху.
– *я больше не буду,* – лепетнул рэймонд.
– *сеньор,* – сказал я, заступаясь за подростка, – он *больше не будет. нож можете оставить себе на память.*

пока подростки бегали по сувенирным лавкам возле станции, мы с вероникой сидели в кафе и пили лимонад с мятой. река текла глубоко внизу. чтобы увидеть воду, надо приложить усилие, – перегнуться через парапет моста. краснокирпичная крыша, подсвеченные балкончики в доме напротив. статуя властителя инков с вытянутой бляхой на груди, издали похожей на потекшую голову медузы горгоны. вождь с некоторым вызовом смотрел в сторону новой гостиницы; оттуда доносилась танцевальная музыка. слева от статуи вырезанная из дерева голова индейца с крючковатым носом; справа – голова птичья. листовки на гофрированной жести заборов предлагают голосовать за гомеса или за суареса; эти двое похожи друг на друга, как близнецы. возле моста мелькнула лопушиная панама нормы, она предводительствовала очередной группой. главная улица постепенно пустела. мусорные баки раскрыли свои лягушачьи рты.

7

пойдем быстрее. небо, гляди, провисло на той стороне, где гора под снегом и льдом светилась только что, огненный шар опускался, как голова рыжего клоуна. она, отсеченная, катилась по склону. прощай, рыжий, прощай, мой август, я плесну паленого виски на твой пыльный, вихрастый парик, поцелую в темя, в холодный прозрачный воздух, зарою в рыхлом грунте. тебе не стоять посреди арены, не доставать из кармана пачки ассигнаций, не сжигать их перед хохочущей публикой, не падать с лошади в огромном, не по росту, балахоне, чтобы тыкали в тебя пальцами и говорили: – вот он, вот он, до слез, до слез.

смотри, джемма, скользящий воздух мутнеет слева. тень, говоришь ты, но это не тень, то есть да, тень, ее густой замес, она – осязаемей, сплоченней всякой горы, сама из себя рожденная, из своей пустоты. вот она творожится серой массой, – бывшее влажное пятнышко, прежнее перышко на взлобье уступа. провисшее небо тянется к нам. быстрее пойдем, поторопимся, прибавим шаг, взойдем к храму. оттуда, сказал антонио, тропа спускается к лагерю, такая пологая, что идешь как по воздуху, ноги сами несут, только переставляй их. я вижу лестницу и ты видишь, смотри, дурочка, как костенеют плиты ступеней, направляя взгляд к проему, за которым – ничего нет, только – суглинистое тело тьмы.

говоришь, они придут на помощь. прийти не смогут, они давно в лагере, пьют чай с печеньями, да и не знают они, где нас застигнет мгла. а индейцы, местные, спрашиваешь ты, помогут нам? вон там, показываешь рукой, жилая постройка. да, вижу, дом, крыша – копна подгнившего тростника, рядом с домом загон для овец за низкой – полметра от силы – кособокой стеной, за которой – поле картофельное... жилая да неживая, – ни людей, ни овец. куда исчезли люди? не знаю, куда. исчезли и всё. не спрашивай больше, продолжай движение, не смотри на меня, как ночничок в пустой комнате, в углу мерцающий. смотри туда, где приливает сумрак, слизывая камни со склонов, и нас слижет, если мы не пойдем быстрее. я хотел бы отмыть твои глаза, джемма, выпрямить твой взгляд, похожий на эту предгрозовую хмарь. взгляд, покрытый тенью, как столешница – сложенной вдвое скатертью...

лестница к храму, к вратам солнца. трава сквозь растресканные ступени. наверху, в проеме между стенами, ветер – цепной пес, трехголовый. кажется, у меня вынули сердце, и вложили взамен полый огонь сквозняка. одинокая стоит стена, подкрашена лишайниками. возле стены несколько ямок с приношениями пачамаме, богине земли: листики коки, игрушечные фигурки мальчика и девочки, пластмассовый спортивный мерседес с поднятыми вверх дверцами-крыльями, искусственные цветы на прямых зеленых стеблях. я отдал бы пачамаме все свои сокровища – зажигалку, складной нож, яблоко в фольге, сдохший мобильник, фляжечку с виски. забирай, о madre tierra, всё, только сжалься, выведи нас отсюда.

спустились к подножию лестницы. сразу начался дождь со льдом, частые колкие дробины – вода ощетинилась – впивались в губы и щеки, зацеловывали до глухоты. дыханье ветра сворачивалось в темь. тропы видно не было, даже джемма – одни очертанья остались, хоть и стояла рядом. в льдистом сумраке я едва различал свои ботинки. я дырявил походными палками густой воздух, нашаривал основание лестницы. палка ударилась о нижнюю, показалось мне, ступень. я прокричал джемме, чтобы она шла за мной. джемма ответила, но я не расслышал. от холодного ветра путалось дыхание, дождь проникал за пазуху, струйками стекал по животу

– джемма, повтори...

– мы умрем здесь, вы умрете и я умру...

она замычала, как мычат коровы, протяжно, просительно, навстречу взбешенному ветру, будто хотела, чтобы тот ее выслушал, но ветер гудел всем своим раздувшимся брюхом, потворствуя сумраку.

мы продирались сквозь высокую траву. начался спуск. я выставлял палки вперед, прощупывал грунт, чтобы не упасть, и все-таки потерял равновесие: палки выскользнули из рук, я покатился вниз по отлогому склону, как бильярдный шар, оттолкнувшийся от бортика, легко и свободно. закрыл лицо ладонями. переворачивался с боку на бок, стремительно набирая скорость на мягком откосе. качение прекратилось внезапно. я встал на колени, затем на ноги. воздух потеплел. лед уже не сыпался с неба, дождь стал обычным холодным ливнем. ветра не было, от него защищал склон. сумрак, разлитый вокруг, как густой, тяжелый дым. я услышал над собой пронзительный вопль джеммы: *– а-а-а, где вы*?! отозвался, прокричал, чтобы она спускалась: *– осторожнее, осторожнее.* джемма сползала на животе, пластаясь по склону, лицом вверх. достигла подножия, поднялась, схватила и стиснула мою руку. мы отправились дальше сквозь высокую, ломкую траву. я держал ее пухлую, влажную ладонь в своей. мы вымокли насквозь. в моем рюкзаке лежал сухой шерстяной свитер в целлофановом пакете. я решил приберечь его. ливень сменился дождем, дождь астеничной моросью. я сказал:

– нам надо больше двигаться, чтобы согреться.

– не выпускайте мою руку из своей.

– не бойся, всё будет хорошо. еще посмеемся, когда вспомним, как мы тут продрогли.

джемма прижалась к моему плечу.

– не бросайте меня, пожалуйста.

я высвободил свою ладонь, вынул из рюкзака фляжечку с виски; оставалось немного, не больше четверти.

– на вот, выпей, согрейся.

ее лицо было совсем рядом: страх сменился идиотской, амикошонской улыбкой. мол, всё с вами ясно, поддаете, когда никто не видит. от виски отказалась.

– не буду пить эту гадость.

я закричал на нее:

– пей, говорят тебе, пей! хоть немного согреешься.

улыбка сползла с ее губ. нижняя губа выпятилась. джемма приготовилась плакать, но не стала. взяла фляжечку, сделала глоток, закашлялась. я тоже отпил. мы отправились дальше. туман постепенно рассеивался, клубился на отрогах, уступая место прохладному, шелковистому андийскому воздуху. небо снова становилось небом, на его широком взлобье выступили первые прыщики звезд.

прошли метров двести, остановились. перед нами лежала черная, неподвижная вода. я разглядел противоположный берег, заросший тростником. полоса воды терялась в наступающей ночи. я взял у джеммы походную палку, нащупал дно.

вода едва доходила до колен. внезапная стынь протащила меня сквозь игольное ушко озноба.

я посмотрел вниз и увидел свои колени, раздвигающие неживую воду. сделал несколько шагов, остановился. джемма скулила, жаловалась на холод. я протянул ей виски. она не артачилась, отпила немного. вода, казалось, состояла из множества лоскутов, сшитых начерно. она задерживала нас, не хотела пропускать сквозь себя. берег не приближался, тростники сплоченно росли в отдалении. джемма канючила:
– *мы никогда не придем на тот берег.*
я шел, приоткрывая сомкнутость воды, как поднимают край занавеса в театре, чтобы посмотреть в зал, сколько зрителей собралось к спектаклю. тростник приближался постепенно, я различал зазоры в его, как представлялось прежде, сплоченной массе. мы выбрались на берег, прошли между рядами тростников, оказались у подножия скалы, которая уходила куда-то в сторону. земля, на которой мы стояли, была бугристой, в неясных отлогостях.

8

за прилавком стоит она, самоварная баба. *целебная соль*, выкрикивает, *целебная, подходи кто хочет*. пересыпает гранулы из одной ладони в другую. *на вот, понюхай, сынок*. подсовывает ладонь, которая пахнет бог знает чем, – стиркой, варкой, какими-то специями, только не солью. соль, серая, как снег с грязцой, не пахнет ничем. в этой местности всякая вещь осолилась: пыльные склоны, прилавки, заставленные сувенирами; подростки, покрытые коростой пота. не унимается баба: *подойди сюда, любезный сеньор, примерь-ка шляпу, вылитый будешь кабальеро*. смело говорит по-английски, владея лишь мелкотой слов, ветошью скомканных звуков. ее тело оседает к земле, пышная мякоть сзади. спереди тоже пышет дородностью. это хорошо, когда много мякоти; значит соль еще не потеряла свой вкус. не унимается самоварная: *подойди, родимый, не хочешь соли, не хочешь шикарной шляпы, купи хоть чая из листьев коки.* я купил бы. заваришь такой, и дышится легче на высоте, правда на вкус горьковат, пить лучше с подсласткой, а еще лучше разжевывать листья, втягивать выступивший сок.
– *нельзя нам с кокой, а чай из муньи есть?*
она достает две коробочки, протягивает мне.
– *эту упаковку или эту*?
– *ни ту, ни другую.*
отхожу от прилавка. ничего мне не надо, оставьте меня в покое. подростки покупают всё подряд, рюкзаки круглятся обновками. мимо проходит щеголеватый рэймонд.
– *нравится вам мой новый свитер*?
свитер шерстяной, чудовищной машинной вязки.
– *да, нравится. носи на здоровье.*

подростки сидели на камнях, щурились на солнце. антонио говорил:
– *вы представляете, как тяжело было стаскивать такое в долину?*
кивнул на каменную плиту: одна сторона стесана, остальные бугрятся. ее не успели обработать и спустить в город. плита называется «ленивой». антонио показал испанскую гравюру: толпа людей, обвязанных веревками, тащит огромный валун. люди похожи на муравьев, вставших на задние лапки.
– *майонез или кетчуп?* – рэймонд спросил соседа.
– *кетчуп, конечно,* – ответил тот.

шесть лет назад, сообщил антонио, журналисты из би-би-си провели эксперимент: собрали сотню местных индейцев; предложили протащить каменную глыбу несколько десятков метров. в эксперименте участвовали юноши, мужчины в летах, женщины с детьми (дети, как в люльке, лежали-сидели в разноцветных пончо). журналисты пообещали участникам немного денег. нашлись желающие, обмотались веревками, свитыми из тростника. усилие было приложено, и – валун

сдвинулся, пополз. потом субтильный репортер в розовом джемпере, полыхнув белоснежной улыбкой, рассказывал телезрителям о наследниках инков.

в автобусе разговаривал с вероникой.
она: *если мы попадаем куда-нибудь дважды, значит, наше путешествие закольцовано: мы всегда возвращаемся туда, где начинали.*
я: *совпадения тоже бывают. если подростки решили поплавать на гребных досках, мы обязательно окажемся на берегу единственного в округе озера. где же им еще плавать?*
у вероники узкое лицо с острым подбородком. роста она небольшого, вначале я путал ее с подростками. красивые, раскосые темные глаза, с зеленоватой поволокой, русалочьи. лоб и щеки смазывает кремом, отчего они немного лоснятся, но пахнут приятно. носик ее остр и загибается книзу, как птичий клювик. она говорила, что у нее обязательно будет свой дом и дети, *она уже все продумала.*
– у тебя всё получится. ты – сильная женщина, у сильных получается.
– так уж прямо и сильная. – кокетливо отвела русалочьи глазки.

высадились возле лодочной станции. стены раздевалки обмазаны глиной. красные крючки; чёрные плечики висят на них. возле раздевалки паслась лама. вероника улыбнулась:
– мордочка у нее обезьянья.
подростки переоделись, отволокли гребные доски к воде. я остался на берегу, под навесом. мимо прошла босая женщина в сиреневой кофте, голубом переднике и плотной юбке. присела на стул, сложила руки крестом на груди. работницы обедали: киноа с овощами, картофель, еще что-то. работницы неспешно переговаривались, поглядывали одна на другую. на голове босоногой женщины потрепанная шляпа чолиты с высоким верхом. возле озера, у самых тростников лежали два быка с заскорузлой бурой шерстью. третий стоял неподалёку, возле старой ободранной лодки. заходящее солнце просачивалось сквозь прорехи обшивки.

подростки выплывали на середину озера, превращались в цвета своих футболок. им, наверное, зябко было стоять босиком на досках. одна работница говорила громко и неровно, другие кивали, соглашались с ней. подул ветер; деревья завели свой шаманский танец, жались друг к другу, отталкивались. пролетела птица, отчаянно работая крыльями. горы, их упрямая геометрия, кадыки, локти, колени, шишковатые взлобья. леггинсы на ногах работницы – снежинки и олени в круговом повторе. сидящая рядом с ней женщина улыбнулась, прошамкала что-то беззубым ртом. дети выплывали на солнечную дорожку. от яркого света их фигуры чернели.

кургузый погонщик – сперва я не заметил его – сидел за столом с работницами. потом подошел к лежавшему быку и хлестнул его хворостиной. босая женщина в сиреневой кофте выхватила хворостину, замахнулась, но не ударила. подняла суковатую палку, кинула в быка; тот даже не пошевелился. через минуту я услышал крики, две женщины дрались возле раздевалки: одна, в цветастой юбке, набрасывалась на другую, в чёрном замаранном пиджачке; разнимавшие их мужчины уныло переругивались. работница в коричневом переднике смотрела на дерущихся и всхлипывала. я вернулся к столу, на котором стоял кувшин с полевыми цветами. на берегу разложили циновку, там сидела девочка, играла с безрукой куклой, подносила ее к своему лицу, целовала в нос и звонко говорила *хорошая моя*. работница, с которой мы наблюдали драку, убирала тарелки и чашки, обтряхивала клеенчатые скатерти.

подростки работали веслами, лопасти впивались в озерный студень. кто-то из нашей группы упал в воду, барахтался там. ослиная голова появилась из тростников. босая женщина в сиреневой кофте стояла, уперши руку в широкий бок. ее ступни распухли, загрубели до резиновой непроницаемости. она смотрела на тростники, на озеро, сморщенное ветром. осел шевелил ушами. на

берег вышла вероника, сказала, что дети столкнули ее в воду и теперь ей надо согреться. быков погнали к дороге, женщина в сиреневой кофте настегивала их хворостиной. осел испустил унылый звук.

молчаливость гор, уступчивость и упорство. их складки наполнялись тенями, каждая складка, выемка, закраина, – как рисунок внутри другого рисунка, – так, наверное, ослепший смотрит на себя из сердцевины своей слепоты. джемма вышла на берег, забралась в гамак, раскачивалась лениво. солнце садилось, слизывая дневное тепло. снежные вершины на горизонте убывали в последний отлив синевы.

9

луч налобного фонарика обжимал ночь, сеялся над островерхой травой, или пузырился, надувал щеки до черных прорех на зыбкой луковой кожице света; дышал нараспев в темноту. я спускался по склону, боясь оступиться. небо – огромный парус; на его просевшей – точно ветер подул сверху – холстине желтели звезды. казалось, до них можно было дотянуться или хотя бы окликнуть, так дети на тротуаре зовут приятеля с четвертого или пятого этажа: – *выходи, поиграем*!

трава, политая дождем, начала индеветь и теперь похрустывала, когда я наступал на нее. она была похожа на чуть выгнутые сосульки, растущие вверх. джемма шла позади; луч ее фонарика лежал на моем правом плече. я ощущал присутствие света, будто вместо желтого пятна там сидела птица и насвитывала мне на ухо клейкую песню. луч сдвинулся в сторону. я оглянулся. джемма упала на колени, завалилась на бок. я подошел к ней, взял за руку, потянул.
– *я не могу идти дальше.*
– *постарайся, джемма. мы отыщем сухое место, соберем хвороста, разведем костер... кроме нас здесь нет никого, мы и ночь.*
– *а если нас никто не найдет и мы умрем с голоду?*
– *только не с голоду. у меня есть яблоко. утром они нас найдут, или мы их найдем.*

высокая трава закончилась, луч налобника уперся в скопление камней. я просовывал походную палку в щели между ними, осторожно переставлял ноги, нащупывая гладкую поверхность или небольшую вдавленность. мы скользили по влажным покатостям, теряли равновесие, падали. казалось, мы останемся здесь навсегда, будем поскальзываться и падать, вставать и опять скользить, ухватываясь за склизкие выступы. я сел на камень, джемма пристроилась рядом. пока мы перелезали через камни, движение согревало нас; теперь внутреннее тепло выветривалось, как тополиный пух, на который только подуешь, и он улетает куда-то. я засыпал, убаюканный, как мальчик из стихотворения гете. мне снилось: человек в синем плаще стоит возле конной статуи полководца. появляется гончая, подбегает к человеку, заглядывает в глаза. он знает, но не может вспомнить, как зовут собаку. вдруг она превращается в женщину, которую он ждал; на ней веселая ушанка и тесная заячья шубка. ее губы пахнут яблоком. падает скошенный снег, облепляет гранитный постамент. бронзовый полководец подносит подзорную трубу к своему единственному глазу, наводит ее на этих двоих...

приснился длинный стол. мы сидим за столом с антонио, пьем чай, разговариваем.
я: *наше прошлое всегда с нами, оно живет в наших костях, крови, кормится нами, от него не отделаться.*
антонио: *ты слишком просто смотришь на вещи... время похоже на тощую лисицу, которая одновременно разоряет три курятника: один опустошается прямо сейчас, пока мы с тобой беседуем; другой давно разорен, но разорение все еще длится, как одно повторяемое действие. есть еще и третий курятник, о котором лиса пока не знает, но обязательно попробует проникнуть в него. у тебя*

есть выбор: ты позволишь лисице делать всё, что ей вздумается, или поймаешь ее и убьешь. тогда прошлое, настоящее и будущее столкнутся восковыми лбами, и ты приручишь время, и оно, наконец, станет твоим, а не серой рекой, текущей мимо, не звездами, чей свет колосится впустую. тогда воскреснут все курицы, сожранные лисой, и даже та, которую мы съели на ужин вчера в лагере, и вот она снова у тебя в руках – мягкий, послушливый, дышащий комок перьев.

я открыл глаза. джемма спала рядом, на плоском камне, лежала на боку, подогнув колени под живот. я тронул ее за плечо:
– здесь оставаться нельзя, надо спускаться до первых деревьев, там разведем костер, иначе – замерзнем.
она приоткрыла глаза. ей было всё равно, замерзнем или нет.
– вставай джемма, вставай же, будь сильной...
поднялась неуклюже, подобрала желтую палку. луч моего налобника на миг ослепил ее, взгляд – тяжелый, вязкая коровья покорность. мы пошли дальше. снова скользили и падали. иногда ложились на живот и, обхватывая камни, переползали через них.
– джемма, ты в церковь ходишь?
– да, иногда с семьей по воскресеньям.
– молитвы какие-нибудь знаешь?
– одну или две.
– повторяй их, тогда будет легче. попробуешь?
– hail mary full of grace, the lord is with thee. blessed are thou amongst women... а вы?
– что я?
– вы верите в бога?
– смотря когда.
– сейчас верите?
– сейчас нет.

мы выбрались на комковатую мягкую поверхность. приблизились к краю то ли пропасти, то ли того, что казалось пропастью: земля резко обрывалась вниз, луч фонарика рассеивался в пустоте. захотелось шагнуть в слепой бархат ночи, пройтись по черному воздуху, как ходят по улице. я двинулся вдоль обрыва. иногда останавливался и прислушивался к глубокой тьме. джемма сказала, что дальше не пойдет. села на землю, подогнула колени, уткнулась в них лбом. я достал из рюкзака зажигалку и книгу. вырвал несколько страниц, поджег их: бумага весело загорелась. я положил пылавшие страницы поверх раскрытой книги. огонь занимался нехотя, сначала облизывал книгу, потом она запылала вся, осветив джемму и пространство возле нас. я пододвинул книгу поближе к джемме. она протянула руки к огню, держала их ладонями вниз над угасающим пламенем. я заметил узкий изгиб тропы. сказал почти шепотом, будто боялся спугнуть эту вытоптанную мулами и людьми индевеющую грязь,
– вставай, вставай, мы нашли тропу... теперь будет легче.
– ...
– видишь, здесь тропа... мы спустимся к деревьям.
– вы опять меня обманете.

деревья появились из темноты, луч фонарика скользнул по гладкой коре, осветил две-три ветви. я собрал немного хвороста, попытался развести костер: отыскал в рюкзаке рваную картонку; она тихо сгорела. отсыревшие ветки не занялись, даже дыма от них не было. я отдал джемме сухой свитер, сказал, чтобы она надела его под куртку, на голое тело. пока переодевалась, бормотала что-то себе под нос, наверное, жаловалась на холод. из рюкзачного кармана я вынул яблоко, разделил его пополам. одну половинку отдал джемме; она быстро ее съела, я – тоже быстро – свою. я набрел на невысокое каменное ограждение, вероятно, загон для овец; рядом – под дощатым на-

весом – несколько стожков сена, похожих на приземистых индейских женщин в широких юбках. джемма легла на стожок, примяв его до земли. я укрыл ее несколькими охапками сена, его колкой, холодной тяжестью, щекочущей горло и щеки. она заснула, лицом к звездному небу. я соединил два стожка в один и зарылся в сено, подложив рюкзак под голову. долго ворочался, сухая трава залезала в рот, мешала дыханию

10

виракоча – *тук моря*, *ожирение морской пены*. виракоча создал человека, но возненавидел свое творение и навел потоп на землю. он вывел на небо солнце, луну и звезды, повторно сотворил человека: создал тела мужчин и женщин из мягкого, податливого известняка. разделил людей на племена; дал каждому племени свой язык, песни, которые они будут петь, одежду, которую будут носить, семена овощей, чтобы употреблять их в пищу. бросил цветки пупуны на землю, она покрылась сетью оросительных каналов.

виракоча носил белые одежды, спускавшиеся до щиколоток. выстригал макушку головы. ходил по деревням. люди не узнавали своего создателя, выкрикивали оскорбления. повстречалась ему красивая женщина по имени кавилака. он захотел возлечь с ней, но она отвергла бога. однажды кавилака сидела под лукумой и пряла, виракоча превратился в птицу, сел на ветку, излил семя на созревший плод лукумы и бросил его к ногам девушки. кавилака очистила плод от тонкой кожицы, попробовала желтой мучнистой мякоти и через девять месяцев родила мальчика.

прошел год. виракоча явился к кавилаке в обличье нищего странника. мальчик обрадовался, подполз к виракоче; тот посадил его на колени. тогда кавилака схватила сына и побежала в сторону океана, в направлении смерти. она вошла в воду и превратилась в остров. ребенок тоже стал островом. два острова, обросших пахотной землей. виракоча искал кавилаку повсюду, в горах и на побережье, расспрашивал птиц и животных, не видел ли кто-нибудь молодую женщину с годовалым сыном. кондор пообещал виракоче, что он непременно найдет кавилаку. тогда виракоча благословил кондора: кондоры будут жить долго, питаться падалью, которой в андах всегда в избытке. никто не посмеет убить кондора, а если убьет, то погибнет.

взгляд проскальзывает сквозь каркас легенды, выныривает в пустоту. самое важное упущено, недосказано, например, – *что* чувствовал человек, проснувшийся в жизнь? когда наступил момент понимания, что он – *человек,* а не камень-известняк, заеденный ветром? когда он в первый раз сказал себе: – *мне жарко* или *я голоден?* что ощутил первый мужчина, когда сблизился с первой женщиной, легкий озноб или сонливость? я хочу знать, что подумала кавилака, когда у нее под сердцем шевельнулся ребенок. почему она побежала навстречу смерти? повествование бугрится над ржавой водой упущенных подробностей, не дает покоя.

***

автобус из урубамбы. урубамба – город и река, на окраине города лесопилка, стволы разрезают на доски, древесная мякоть издает еле слышное *ох*. трещины, изъяны в каждой доске. выбор невелик, но и люди здесь невзыскательны. рядом хозяйственный магазин. пахнет машинным маслом, резиной. бурые коровы щиплют травку возле площади. чолиты в высоких шляпах, в широких юбках, несут покупки за спиной, в просторных пончо. покупки покачиваются, как дитя в колыбели. недостроенные дома с арматурой, дырявящей воздух. пыльный проселок. возле дома стоит молодая женщина, держит на веревке большую бурую свинью, глядит на нее с восхищением и нежностью, до блеска в темных глазах.

во дворе усадьбы нас встретили женщины в национальных костюмах. с ними был мужчина, тоже в костюме, похожем на мадьярский. только на голове – разноцветная, плотно пригнанная к черепу шапочка. женщины затянули песню, мужчина ударил в барабан. одна чолита взяла меня за руку и вывела в центр двора. начала пританцовывать, двигала своими и моими руками, как поршнями. другие женщины танцевали с подростками. они подарили нам гирлянды из полевых цветов, сделали несколько фотографий на память. вечером резкое падение температуры. холод, идущий от озера, ощущаешь всем существом, будто сам превращаешься в камень.

весь день мы рыли гнезда для опорных столбов сарая. три передних и промежуточных выдалбливали на 40 см, три задних – на 50. землю крошили строительным ломом. в одних лунках земля была податлива; она быстро превращалась в пыль. в других, где змеились, переплетаясь, корни, пользы от лома не было: он проскальзывал мимо узловатых сплетений. мы вручную рвали цепкие корни. джемма трудилась яростно, до грязных капелек пота на лбу и подбородке; спешила закончить работу, хотя ее никто не торопил. остальные девочки сидели на досках в чистых оранжевых перчатках и по очереди обнимали чумазую дочку плотника, которая иногда убегала от них и пряталась; потом возвращалась, выпрыгнув из кустов, и хлопала в ладоши; танцевала и лепетала что-то.

сметанные стога, одни с еще зеленою травой, другие – выцветшие, подгнившие. индейцы кидали охапки травы в раструб шумного агрегата. из другого, зауженного, отверстия вылетала светлая пыль, задерживалась в воздухе, ложилась на землю, слоилась бархатно. возле выходного отверстия индеец орудовал лопатой, похожей на весло с широкой лопастью. птицы летели над озером неправильным треугольником, точно собранный пазл запустили в небо, и он рассыпáлся в полёте. другая стая пролетела над самой водой. фонари вспыхивали по краям озера. слезная влажность озерного вечера. подошла чолита, сказала, что в этой деревне народ не бедствует; сюда приезжают туристы из европы и сша, покупают изделия народного промысла. показала постер, на котором широкоплечий увалень в тирольской шляпе обменивался сувенирами с местными жителями. осклабилась; тень самодовольства пробежала по морщинистому, губчатому лицу. она махнула нам рукой и отправилась по своим делам. шла вразвалочку, как приручeнный медвежонок.

после ужина чолиты пели хором. их испанский отрывист, как разрезанный лист бумаги. девочка в розовой кофте прочитала наизусть стихотворение на языке кечуа: *овцы возвращаются домой с выпаса, их шерсть запаршивела, над озером плывет чёрная туча, старый пастух не знает, что будет дальше*. чолита рассказала легенду о возникновении озера: на месте озера стоял город. однажды там праздновали свадьбу. наряженные гости угощались и веселились. в город пришел старик в рубище, грязный, с почерневшим от пыли лицом. он явился на свадьбу. гости не обратили на старика внимание. несколько человек хотели прогнать его. лишь кухарка пожалела странника, привела на кухню, накормила. он сказал кухарке, чтобы та немедленно покинула город. предостерег ее: *уходя из города, не смей оглядываться*. она стала подниматься по склону *вон той горы.* чолита указала на черневшие вдали склоны. кухарка не сумела перебороть любопытство: поднявшись наверх, оглянулась и увидела, – на месте города голубело, как огромный глаз неба, озеро. ужас не успел проникнуть в сердце женщины, – она превратилась в камень. *этот камень до сих пор можно видеть на самом верху горы*.

чолиты провожали нас, весело махали вслед, будто радовались нашему отъезду. наверное, так оно и было. автобус медленно ехал разбитым проселком, подскакивал на ухабинах. по дороге трусили овцы, за ними бежал мальчик, пиная желтый футбольный мяч. на мальчике была красно-белая футболка национальной сборной. в правой руке он держал железные прутья, на голове

– грязная серая шляпа. мяч отскакивал от стен домов и возвращался к мальчику. возле крайнего дома сидела чолита и пряла шерсть. через поле шли люди с лопатами. овраги, россыпи камней, складчатые горы вдалеке, холмики щебня поблизости. подсобные помещения без окон, как тело легенды, просматривались насквозь. на стенах лепились листовки *голосуйте за гомеса*. мул плелся по пыльному склону. дерево наклонилось в сторону дороги, заламывая кривые ветви. накрапывал дождик, земля выгибала шерстяную спину.

II

сено, в которое я зарылся, расползалось. я просыпался от холода и снова громоздил колючие охапки одну на другую. я знал, что можно замерзнуть, растеряв телесное тепло, навсегда отдав его стылой ночи. я лежал, как дотлевающее полено, с последними, бессильными язычками огня. иногда я засыпал, хотя сном назвать это было нельзя, – вязкое забытье, какие-то случайные люди и события появлялись ниоткуда и исчезали, не успев обозначиться. утром я открыл глаза и увидел полоску света с обеих сторон снеговой вершины. свечение ширилось, вытягивалось вверх, будто кто-то перебинтовывал размякшее тело тьмы. джемма проспала всю ночь; ее сон был глубок; лицо, как маска мумии, выглядывало из сена. я разбудил ее. в рюкзаке отыскал несколько миндальных печений. она молниеносно сжевала их, ничего не сказав. мы отправились вниз по тропе.

взошло солнце; началась шершавая, усушливая жара. наши лица раскраснелись от зноя. джемму томила жажда, но она продолжала движение, хоть и медленно, но без частых остановок, без обычного своего нытья. я молчал, она тоже ничего не говорила. от ее пришаркиваний поднималась пыль, заслоняла солнечный свет, забивалась в глаза, ноздри, рот. мы оставляли в ней отметины рифлеными подошвами: лесенки, вздутия, ямки. я написал бы победную оду пыли, превознес бы ее, похожую на высохший речной поток. пыль как скопище духов, растаявшие тела людей, обитавших здесь, их бессловесно длящийся разговор. мне казалось, я вдыхаю в себя их жизни, всё то, что принадлежало им, – звериную выдержку, дубленый рассудок, гнутые песни, аляповатые наряды, землистость кожи, въедливую сутулость.

мы шли вдоль акведука, видели полустесанные плиты. из таких инки возводили стены храмов, дворцов, хранилищ. плиты подгоняли одну к другой так, что бумажный лист не просунуть в шов. одна плита служила продолжением другой, продлевала эту безвоздушную спаянность, будто они, эти плиты, – вода, ведь только влага может вот так же льнуть к самой себе. я вспомнил уступчивость камней в мачу пикчу: плиты облегают выступ скалы, как перчатка – руку. они перетекают одна в другую, как образ мира, его текучести (и сознания, растворенного в нем), и моя оплывающая на жаре жизнь – продолжение другой, к которой я прилепился, не оставив зазоров.

мы остановились, присели на камни. джемма наклонилась вперед, подперев кулаком подбородок. наши тела отбрасывали мешковатые тени поверх камней и жухлой травы, липнущей к ним. тропа поворачивала вправо и исчезала за тупорылым выступом скалы. из-за поворота появились две фигуры. впереди шел мужчина, мельчил шаги, поднимая пыль; синий джемпер обтягивал круглящийся живот. следом мягко ступала женщина, двигалась с удивительной легкостью, будто ее рюкзак был набит пухом. густые каштановые волосы до плеч. тоненькая косичка с вплетенными в нее разноцветными ниточками змеилась возле левого виска вниз, к щеке и тонкой шее. они поравнялись с нами. мужчина вытер пот рукавом джемпера. я поздоровался, спросил, далеко ли до священной долины. мужчина ответил, что недалеко, несколько часов хода. приглушенный голос, вроде бы и не голос даже, а отзвук голоса. женщина говорила отчетливей. я уловил знакомую червоточинку в ее английском выговоре; почему-то вспомнилась порыжелая в подмышках эстакада бруклинского метро.
– откуда вы, ребята?

они ответили, откуда, и назвали город. имя города прозвучало как итальянское слово, сверкнуло бутылочным осколком. я сказал, что в их городе течет чудная река; я видел ее однажды в детстве: отец взял меня с собой в командировку; мы стояли на берегу, и отец говорил мне: смотри, какая река, широкая, судоходная, впадает в волгу. мужчина заметил джемму.
– *дочка-то по-русски понимает?*
– *нет, не понимает.*
– *как же это ужасно, когда дети не знают языка родителей,* – воскликнула женщина. встрепенулась ее косичка.
– *ничего ужасного.*
– *она, наверное, даже не знает, кто такой пушкин.*
– *а кто он такой?*
ужас изобразился на ее лице. она была прекрасна, – такой, наверное, должна быть гертруда, мать гамлета.
– *плохо, когда ребенок не знает вашего языка. я, например, пишу детские книжки и не могу представить, чтобы мой сын не смог их прочесть.*
– *видите, как вам повезло.*
джемма подняла голову и замычала. ее мычание нарастало, как дерево, которое желает обнять весь воздух ветвями; была в этой гортанно-носовой жалобе сладкая, безумная глубина. мужчина и женщина переглянулись и, не попрощавшись, отправились прочь. джемма перестала мычать и спросила:
– *что это были за люди?*
– *понятия не имею.*
– *на каком языке ты говорил с ними?*
– *ни на каком...*

ольянтайтамбо появлялся постепенно из-за спины отрога. лоснящееся имя города, точно листья салата поливают оливковым маслом. мы проходили вдоль окраинных домов. нам попадались чолиты в цветастых нарядах. я обратился к одной из них: *привет, сестра*. она прислонилась к стене, чтобы нас пропустить; промолчала, даже в нашу сторону не взглянула. мы прошли мимо прачечной, где в ногах у молодой женщины возились две маленькие девочки (та, что постарше, держала в руках пустую литровую бутылку из-под сока); мимо китайской забегаловки, там обедали сутулые носильщики, мы видели их бурые затылки, вихрастые головы, склоненные над тарелками с куриным супом; мимо сувенирной лавки, в витрине – игрушечные ламы, широкие штаны в полоску, магниты с видами куско и мачу пикчу, чашки с названиями городов; мимо пансионов с щербатыми стенами; мимо будки, чуть приподнятой над мостовой, там сидел полицейский и лениво руководил движением; мимо какого-то то ли канальца, то ли водостока, в который можно свалиться и сломать ногу. мы шарахались от грузовиков и маршрутных автобусов, заполнявших собой почти всю улицу. солнце наводняло священную долину, залащивало руины инкских хранилищ. туристы, ждущие своего поезда в куско или в агуас кальентес, выходили покурить на привокзальную улицу. женщина в белой панаме продавала с лотка пирожки и бутерброды, переговаривалась с точильщиком ножей, он сидел без дела на бетонной тумбе и улыбался беззубым ртом. в воздухе висела золотистая пыль.

нью-сити, июль ‘19 – февраль ‘20.

Александр СКИДАН

***

ты заперта на ключ
это как скрип уключ-

инь и ян во дворе
в каком-нибудь мартобре

что ты помнишь ещё
когда плечо горячо

и ещё и ещё
с переносом <а чё>

***

все перечислить что любила ты
и звать тебя на ты

все перечислить что не так
и звать тебя никак

все перечислить и уйти на ты
не в близлежащие кусты

а в кущи елисейские
где все такие свойские

голые прекрасные
добрые внутри

на лицо ужасные
добрые внутри

Александр Скидан родился в 1965 году в Ленинграде. Автор многих журнальных публикаций (поэзия, проза, критика, переводы): «Комментарии», «Митин журнал», «Место печати», «Октябрь», «Знамя», «НЛО» и др., нескольких книг, в том числе «Путеводитель по N» (2018) и «Сыр букв мел: об Аркадии Драгомощенко» (2019). Лауреат Премии Андрея Белого (2006). Стипендиат фонда Бродского (2018). Стихи переводились на английский, французский, эстонский, литовский, шведский, финский, итальянский языки, иврит. С 2009 года заведует отделом «Практика» (современной литературы) в журнале «Новое литературное обозрение». Живёт в Санкт-Петербурге. В «Волге» печатается с 1993 года, предыдущая публикация: «Труды и дни Даниила Ивановича» (2018, № 3-4).

добрые внутри
добрые внутри

***

в тот день всю тебя
и я тебя

в тот день всю тебя
и я тебя

от заколок до ног
от заколок до ног

и да от
и до

***

какое-нибудь утешение
вроде пяти углов
над разверстой траншеей
где у розы ветров

срезан под корень стебель
но не кровоточит
просто торчит как кабель
многоочит

какое-нибудь свечение
лица без значения
но не столоверчение
но не столоверчение

это мы проходили
в околоплодном тире
вот и асфальт залили
тили-тили

***

в какой из дней мы больше не читали
когда самих себя перечитали
слово за слово
плыли в широком окне
в ледяном океане печали

***

подобно острову плывешь ничей
как будто в шахматы играешь
довольствуясь ничьей
любимую любимой называешь

и если доску вдруг смахнёшь
у друга в доску ты слезу смахнёшь

***

какой-нибудь стишок
на посошок

или снежок-снежок
когда на ногах не стоит человек

стежок
еще стежок

Сергей КУЛАКОВ

ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ

Рассказ

Наступило время покинуть убежище, так сказать, свою ветхую гавань, пустынную стоянку, которой пользуюсь я, как только в темном небе она – светлая – оборачивает лик свой бледный, чтобы получше разглядеть мое существование здесь, вдали. Нечего на меня пялиться! Можно подумать, своих забот не хватает. Итак, я покидаю свою маленькую итаку (неплохой, неплохой каламбур). Там мне особо нечего делать, разве только забиться на ночь (кажется, об этом уже говорил – эхэ-хэ, годы-годы, ничего не поделаешь), чтобы ненадолго ускользнуть от харибдовых водоворотов внешнего мира. Вместе со зверем и птицей мне пока есть где преклонить голову.

Думаю, не стоит описывать моё укромное логово – там нет ничего примечательного, ибо никогда я не затевал его обустройство. Или затевал? Когда-то давно, очень давно? Сомневаюсь, сомневаюсь, по крайней мере, не припомню. Столько было всяких событий, всяких нелепых происшествий... Столько всего, что память не удерживает таких пустяков, впрочем, ничего она не удерживает. Кто знает, плохо это или нет, да и было ли то, о чем я говорю, на самом деле? Может, чудится мне? Возможно и такое – поди теперь разберись в ворохе дней, месяцев, лет, перемешанных с хламом всего случившегося тогда. Кто в силах определить, что было по-настоящему, что взросло из трухи зыбким призраком, а потом ещё и отпечаталось кривой тенью вавилоновой башни?.. Ладно, не время, не время для рефлексий, для печальных элегий, сопровождаемых посвистом флейт. Пора отправляться в путь.

Чего мне не сидится там, где сухо (не скажу: тепло), где крыша над головой? Под лежачий камень вода не потечет... Странно, насколько помню, именно под лежачее что-то всегда течет. Тем древним умникам было виднее, или всё там у них было по-другому... Не уверен. Ну, что по-другому у них было? С чего им быть другими, или – нам меняться? Все дело в нашей лени, в нежелании стать иными... или мы попросту не в силах совершить такое самостоятельно? Не знаю, не знаю, но... пора, пора в дорогу.

Другие меня не зовут. Мне не нужно собирать дюжину кораблей. Я сам и корабль и команда. Мною движет необходимость, жжет, выпекает изнутри, выталкивает из четырех стен... Вообще-то стен больше, но мы слишком зависим от того, что навыдумывали те, кто дышал раньше нас,

---

Сергей Кулаков родился в 1964 году в Архангельске. Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Студия» (Германия), «©оюз писателей» (Харьков), «Южная звезда», «Урал», «Журнал ПОэтов», «Слово» (Нью-Йорк), «Дон», «7 искусств» (Германия), «Кольцо А», «День и ночь», «Интерпоэзия» (США). Предыдущая публикация в «Волге» – рассказ «Лавка ненужностей» (2018, № 3-4).

кто снабдил нас своей словесной мишурой, напитал её скрытыми смыслами, хотя если вдуматься трещащей головой, жаждущими, пропитанными алкоголем мозгами, смыслы эти весьма, весьма сомнительны. Пора отправляться. Не исключено, что сегодня встретится человек, не ведавший прежде о соли, который за лопату примет весло... Кто бы знал, как надоело столько лет каждый день отправляться в путь. Делать нечего, делать нечего. Затворяется дверь, лязкает металлом замок. Несколько оверштагов по бетонному спуску подъезда, напитанного запахом мочи. Человечьей, кошачьей – не важно. Глухо захлопывается за спиной хлипкая дверь. Зассанная гавань позади, впереди – открытый простор, бурное море бытия. Непросто после нескольких лавирований по бетонной лестнице вниз – ветра нет в парусах, легкие сдулись, обвисли. Надо помочь старому кораблю, но кто сделает это? Пусто, пустынно, опустошенно... Где команда? Старые, полудохлые крысы – забились там, затихли. Чего хотят эти отщепенцы? Никакого геройства от них не жди! Скорее всего, отсидеться задумали в сумраке. Ни шороха, ни шепотка, почти не дышат, только какой-то мерзкий хрип... Мне нужно выдержать ещё немного: сердце стучит, взмок хребет и загривок, а они затихли, умолкли, замерли, молчат... Надеются на дармовщинку проскочить? Ну уж нет, не удастся им отсидеться! Хрип и чертыхание... Разве оно исходит из моего нутра? Разве эти долбанные звуки, предвещающие полный провал сомнительного похода, мои? Кажется, нет. Доносится сверху... да, сверху. Надеюсь, не Господь... Впрочем, пожалуй, так было бы лучше. Конец, каюк, кранты, крышка, кабздец старой развалине, наконец-то она отправится ко дну. Смею надеяться, то будет лишь физическое направление последнего движения моего тела, душа же направится в области прямо противоположные. Хрупкие надежды, личные мечты, сугубые предположения, хотя и крайне, крайне желанные.

Смотрю вверх, опираясь о ствол дерева. Там, на ветке, освещенная солнечным светом, сидит черная птица таинственного ада. Она изрыгает свою нескончаемую, жуткую песнь-пророчество, про грядущий мрак, из которой (вероятно, в целях конспирации) выброшена первая буква, а само слово анаграммно вывернуто в протяжно-хриплый вопль с глухим, раскатистым «рррр». Не было сил даже запустить камнем в этого глашатая грядущих ужаса и тьмы. Ограничился пинком по стволу дерева-трибуны. Вибраций злобы и неприязни, передавшейся от нутра – ноге, от ноги – дереву, от дерева – птице, оказалось достаточно, чтобы шугнуть наглую провозвестницу, и она (или он, если только тварям этим, подобно древнему прорицателю, не дана возможность побывать в обоих шкурах), тяжело взмахивая черными крыльями, улетела прочь.

Позволю себе вернуться к хитрым, но не очень-то смышленым крысам, попрятавшимся в сумрак грязных нор. Они засели там, им хорошо. Они знают, как трудно дается мне путешествие, но они знают и его необходимость. Что с того? Им нет никакого дела до моих трудностей! Вряд ли им хорошо. Им тоже желается того, за чем я отправился в путь. Того, за чем я, вот уже столько лет, без всяких выходных и праздников, а порой и вопреки удручающему состоянию своего изношенного здоровья, отправляюсь в ежедневное странствие. Улиссова страсть к перемещению... Лишь одним отличаюсь я от древнего собрата-грека. Нет, это вовсе не отсутствие приключений, всяких чудесных событий и встреч, такого добра вполне хватает: любителей лотоса, извергов-людоедов, каменносердных гигантов и хитрых, изворотливых волшебниц, сладкопевных сирен и ужасных чудовищ... Бывает, случается ещё и такое, о чем не довелось слышать даже Улиссу. Нет, это не время, потраченное на путешествие (мы оба знаем, что обречены скитаться до скончания дней). Нас различает то, что меня никто не ждет. Путешествие мое может показаться короче по времени. Можно предположить, что оно завершается с наступлением ночи, если, конечно, грубый сон не застает меня на земле, или не забрасывает в канаву, или не укладывает на какую-нибудь скамейку... Но это не так, это не так. Мое путешествие куда дольше путешествия знаменитого греческого

царя. Бесконечные возвращения – всего лишь обман, мираж, ширма для отвода глаз. Пока тебя не встретит тот, кто провожал в путь, путешествие не кончено, нет, не кончено. Выходит, Улиссов образ не к месту? По-видимому, да. Ничего не поделаешь... Подходит образ старого корабля, обреченного скитаться, пока не выйдет положенный заклятьем срок, чтобы смог он вновь пристать к родному берегу.

Потрепанный, полуживой фрегат... Старый, мать его, голландец, обреченный на вечное скитание по бурным волнам со всеми потрохами, с мерзким его содержимым, с увесистыми, раскормленными крысами, с их туповатыми мордами, с хитрыми бусинками глаз, зыркающих из удобных, обжитых нор, где обустроились они надолго, надолго... Эти хитрюги не так уж глупы. Они не побегут, не оставят насиженных своих мест, будут терпеливо ждать пока, наконец, не польется пойло, которое заставит их преобразиться, сделает теми, кем они вообразили себя. К оружию! К оружию! Гхааа-а-а... бам... бах... утс, утс, утс... Битва! Да здравствует битва! Эти крысы, те крысы... Они всего лишь крысы. Эти чуть лучше, те чуть хуже – какая, в общем, разница? Карррамба! Так, стоп, стоп, нужно сбавить ход. Я слишком слаб, чтобы оказать сопротивление. Земля уходит из под ног. Откуда здесь земля? Свежий ветер подул – пора расставлять паруса, лавировать, уходить прочь от возникшей кучки досужих болтуний. В мозгу, как тень альбатроса по волнам, промелькнуло и исчезло: Я берег покидал... Нужно повернуть на левый галс, оставить опасность справа, миновать их и выйти на простор. Не торопись, не торопись, они внимательно смотрят. Они не должны обнаружить, заподозрить... Они все понимают. Эй, ноги, держите меня, держите... Пусть вы слабы, пускай мышцы трясутся; вперед, вперед, прямо, прямо... Прямо? Пусть думают, что прямо (предположим, запах не достигнет их ноздрей...). Вот они, рядом. Запах бриза (не скажу свежего) веет с подветренной стороны, им не учуять. Ну, ещё немного, вот так... Попутный ветер, вей в ветрила кораблей.

Все эти мысли, все эти взгляды, все эти слова, все эти звуки – там, позади за кормой. Деревья, кусты, балконы, скамейки, асфальт, на который наброшены легкие тени деревьев. Впереди только путь к моей цели. Она близко, очень близко (вон сверкают большие витринные окна), но как видение – всегда ускользает, едва только удастся достичь её. И так – день за днем, день за днем... Плоть получает свое, душа же томится.

Всё ликует, все довольно: извне и внутри. Вон отличное место – у ствола дерева на склоне, на мягкой зеленой траве... Вдалеке, поверх крон деревьев, виднеется синь моря. Давно, давно не был на берегу. Что если затеять путешествие туда, пока ещё не наступила жара? Но и осенью тоже неплохо, осенью даже лучше... Сел. Земля не холодная. Оперся спиной о ствол дерева. Пожалуй, наступило время... Надеюсь, Дионис не станет оскоплять меня. Ну что ж, плоть, получай – бульбульбуль...

Кажется, что-то даже снилось. Не уверен. Кто-то толкает в спину. Что ему надо? Повернулся на спину. Открыл глаза. Сумрак. Далекая, мерцающая звезда насмешливо пялится прямо в лицо. Какой-то темный силуэт, склонившись, спросил: «Ты там живой?»

Там – это где? Если я действительно там, то какого хрена ты туда влез?

– Чего тебе? – недовольно вопросил к сердобольному силуэту.

– Живой. – удостоверился тот, не замечая моего недовольства.

Ну чего, легче стало, что живой? Счастьем, видать, обзавелся?

– Дорогу домой найдешь? – не унимался силуэт.

– Чего её искать? Сейчас встану и пойду.

– Ладно, – ответил он. Кажется, запас его любви к ближнему иссяк. Силуэт, вместе с этим иссякшим запасом, пропал.

Что толку лежать? Теперь не заснуть. Надо подниматься. Одна штанина мокрая... Кое-как встал. Покачивает, штормит... Эх, не впервой возвращаться в шторм домой. Не впервой... пусть внутри и погано. Сейчас бы полстакана засадить, вмиг бы штиль образовался. Да где взять? Негде! Стою. Покачиваюсь. Рукой держусь за дерево. Пора, пора... Оттолкнулся. Двинулся. Поплыл, переваливаясь с борта на борт. Покачивает... Ничего, дорогу найду, даже звезд не нужно. Ещё немного отдохнуть, и снова в путь, и снова в путь... Где-то там, во мраке – море. Шумит, набегает на берег прибой, а старый корабль возвращался домой... Моряк вернется из плаванья, охотник придет с холмов... Я иду с холма. Спускаюсь... Потом по бетонной лестнице, во мраке, вознесусь туда, где моя хижина, моя гавань, мое временное пристанище. Говорят, когда-то давным-давно один еврей видел во сне лестницу, ведущую к небесам. Вот невидаль, я вижу её почти каждый Божий день, если довелось выползти из своего логова наружу. Мало того, в отличие от того еврея, я восхожу по ней (а куда деться!) чуть не сказал домой. Нет-нет, всего лишь в мое логово, в мое временное пристанище. Двенадцать ступеней, небольшая площадка, поворот налево, ещё двенадцать ступеней, вновь площадка, и опять поворот налево к другим двенадцати ступеням... Невысоко от грешной земли. Ещё бы, кесарю – кесарево! Вот так не торопясь, шажок за шажком, взбираюсь к двери в мое убежище, расположенной на одной из площадок, на лестнице, ведущей к самым небесам. Эта на первый взгляд обычная лестница приводит моё тело сюда. Туда, выше, пока не могу, возможно, потому, что силенок не достаёт. Увы! Я стою перед входом, пошатываясь. Штормит не так сильно. Плаванье мое закончилось. Вложатся ключи, отворится замок, и двери впустят меня... Тьма, одна только тьма, ничего кроме тьмы... Нет свежего ветра. Нет грохочущих волн. Нет бурного моря, солнца, луны, звезд, света, ничего, ничего... Только я. Один, один в этой пустынной, стылой тьме. Нет никого... Там никого нет... Я и тьма. И меня нет, одна жуткая тьма... Конец странствию. Исчез, растворился, перестал быть собой навсегда, навсегда... Что ж, должно быть тогда станет легче?

Геннадий КАНЕВСКИЙ

ПУСТЬ ТЕЧЕТ

***

j.k.

геотег сообщает «город серебряный бор».
это побратим твоего города в., здесь такие же
туманы и морось, много воды внутри и снаружи,
но вместо брусчатки и ратуши – глухие заборы,
за которыми дачи чиновников первого класса,
ванов с пятью платиновыми шариками,
жезлами из бамбука и стержнями из нефрита.
я по инерции набираю твое имя,
набираю твой адрес, пишу «построить маршрут».
долго скрипят латунные шестерни,
поворачиваются костяные шпыньки, открываются клапаны,
и на серебряной табличке медными литерами
возникает надпись на древлепольском,
расшифровываемая мною с трудом примерно так:
«утренний дилижанс нерегулярным рейсом,
обязательны два пакетика протоплазмы,
медленные клятвы из лучшего твида,
полное сердце репейника и сорок,
десять крапивных рубах, пять пар башмаков железных,
дырчатые очки от встречного света,
кто говорит? – это новый путеводитель,
сколько платить? – ассигнации за обшлагами,
и не спеши, ведь этот путь навсегда».

Геннадий Каневский родился (1965) и живет в Москве. Закончил Московский институт радиотехники, электроники и автоматики. Публиковался в журналах «Знамя», «Октябрь», «Воздух», «Новый мир», «Новый берег» и мн. др. Автор восьми книг поэзии, выходивших в издательствах Санкт-Петербурга, Москвы, Киева и Нью-Йорка. Стихи переводились на английский, шведский, итальянский, венгерский, украинский и удмуртский языки. Лауреат премии «Московский наблюдатель» за заметки о литературной жизни (2013), премии журнала «Октябрь» (2015), спецпремии «Московский счет» за книгу «Сеанс» (2016). В «Волге» публикуется с 2009 года.

с.н.г.

всю зиму не давали снега –
для свежих мёртвых берегли
на праздник запирали небо
чтоб не гремело от земли
сквозь щели нежно и ненужно
под лепетание госслужбы
и преткновенье языка
просачивалась музыка
а утром за сквозняк обычный
как за конфету холодок
досмотр вчиняли пограничный
на весь уездный городок
и заменителем гламура
на мир поглядывая хмуро
шёл жёлтый месяц наверху
лимонной долькой – к коньяку

***

«а это, – сказал он, – поклонник моей жены».
я повернулся и, стараясь сохранить достоинство
и обнулить унижение, вышел из зала.
но потом так и шло, стоило лишь появиться
где-нибудь, кто-то всегда произносил
что-либо, подчёркивавшее «не наш
и ни на что претендовать не может».
и я взглянул на свою жизнь: она
всегда давала ясно понять – моё
существованье случайно, вот это, задуманное
мною месяц назад, лучше бы сделал вон тот,
эта предназначена вон тому –
все уже поняли, ты лишь, дурак, не понял,
не смотри, не жди, не лови на каждом углу
гипотетические секретные знаки.
помнишь, в двадцатые модные два беллетриста,
трикстеры, писавшие вместе, русские братья гонкуры,
утверждали, что есть два параллельных мира:
в первом всюду грохочут великие стройки,
делают открытия, сочиняют романы,
во втором придумывают танец кекуок,
новую форму галстука, чёртика «уйди-уйди».
но есть ещё третий – мир несуществованья,
глухие окольные тропы, серая мгла,
вогнутая внутрь себя слепая воронка,
схлопыванье вселенной, минус-приём.

***

свет открывает глаза и видит тьму
двери не отворяются никому
день утекает маслом ко дну воронки
премия всем работникам оборонки
выдана кровью
всё идёт по уму

или ты не желаешь томиться зря
ждать появленья первого снегиря?
он не появится нынче зима без снега
даром к печоре приведена онега
лишние воды коротко говоря

тихие годы вот и поёт кларнет
миру что правых и виноватых нет
мир замирает шепчет ему внимая
это из всех инструментов нашего края
самый всепобеждающий инструмент

***

будет долгой и тёмной грядущая ночь искусств.
старенькие искусства, глуховатые, с палочками, в морщинах,
суетятся, бегают по полуразрушенным
музеям, театрам и библиотекам,
пытаясь расспрашивать, как всё это было,
как проходили ночь музеев, ночь театра, библиотечная ночь.
утешают себя: «ну вот же, не всё разрушено,
кое-что сохранилось, есть описи фондов,
ставят пока что фонвизина и островского...»
по сторонам не глядят, не обращают внимания
на яркие вывески в стиле третьей империи –
«ночь длинных ножей» – на хозяйственном магазине,
«хрустальная ночь» – на магазине посуды,
«ночь безоблачного неба над всей страной» –
над конструктивистским зданием гидрометцентра.
все эти ночи пройдут, и тогда настанет
dolce vita nuova, где будут запрещены
следующие организации, приравненные к террористическим:
союз писателей, союз художников, союз композиторов,
союз театральных деятелей, союз архитекторов.
(союз журналистов пока оставят – они поклянутся
на правительственной газете ни в чём не участвовать).
и фрилансерам будет дано задание –
маникюрными ножницами вырезать всю эту нечисть
с групповых фотографий прошедших лет.

***

набив соломой тело, через рот
дыхательные вставили таблички,
и вот готов и на ладье плывет –
на утренней похмельной электричке
народа, как всегда, невпроворот,
трясись, солоноватый чай глотай,
но помни темный остров голодай,
могилу пятерых. подобен снегу,
чернеющему с мартовской зарёй,
твой чёрный рот. так окунись с разбегу
в чужую речь. утопнуть не даёт

она душе.

рогатой головой из-за угла
я чуть кивну, явившись в пересменок.
я, как и ты, работать не люблю.
и смейся осторожней, чтобы швы
не разъезжались. мастер бритвы правил
и кисти заострял не для того
а кто там амулеты переставил
и заслонил тебе обратный путь –
ты, может быть, и помнил, но забудь.

так безопасней.

***

среди наших людей были люди с могучими затылками
по этому признаку их часто принимали за ненаших
если бы они ещё были покрыты шерстью
в ней терялся бы свет и они поглощали бы свет

мы нашили на левых рукавах их накидок
различимые издали кокарды цветов нашего флага
но всё-таки затылки вводили наших стрелков в заблуждение
и к сожалению некоторые погибли от своих же пуль

они не были покрыты шерстью и свет не знал где теряться
свет этой земли живой это наш общий домашний питомец
каждый вечер он умирает и ему обязательно надо скрыться
в неудобья и пустоши подальше от наших глаз

сначала наши колонизаторы и первопроходцы этого не понимали
играли со светом запускали пальцы в мерцающие волны
задерживали свет не давали ему уйти
нарушали естественный порядок вещей

сбивались ритмы ломались машины перемещенья
сама альфа-материя переставала выполнять свою работу
пока главный не прикрикнул хреновы исусы навины –
впрочем вы не в курсе – что вы вообразили о себе

и с тех пор мы уяснили как бы мы ни продвигались
как бы ни обживали время ни заполняли пространство
мы обязательно должны оставлять за собой
неудобья и пустоши точки сгущения пустоты

дайте покой напряжённым членам прикройте глаза плёнкой
когтями задних лап упритесь во что-нибудь твёрдое
во что-нибудь надёжное думайте о сияющем вдалеке
свете о бесконечной жизни о новых колониях

в конце концов запустите пальцы в мою волну
в мои мерцанья мои переливы я не навсегда с вами
день подходит к концу я бледнею я ухожу от вас
в неудобья и пустоши неудобья и пустоши неудобья

***

кто весь вечер пел ничего не должен
перед сном выглядывает наружу
золотой фонарь качается в небе
под ногой брусчатка и невесомость

кто лесничий тел и чиновник позже
талисман оправдывая не дышит
той золой она отчаявшись нежность
под ногой гвоздя каину бессониц

кто освенцим тем не стихи а рожи
перестань дотла довоенный скрежет
зорко токовал а часто нелепо
под ногой где чай там и бедный сахар

кто весь нетерпенье и через площадь
о лесном отряде и богу душу
солью той по нам на площадке лета
под ногой спасибо и до свиданья

***

как бывает в воздушно-капельном сне под утро
сопряжённом с медленным падением глазных яблок
от перетёршихся нервных жгутиков в неизвестность
в почву пространства перепаханную небесными червяками
ткнёшь пальцем в небо и на нем образуется точка
от которой во все стороны разлетаются брызги смыслов
эталонные звуки крошечные сэмплы текста
кувыркающиеся в воздухе иероглифы разночтений
а проснешься когда глаза вернутся на место
что у тебя в руках за протокол несогласья?
в каком беспросветном бреду он тобой подписан?
кто остальные трое подписавшие рядом?
кто построил вокруг сте́ны перископной рубки?
на какой глубине зависла твоя подлодка?
дизельная не сомневаюсь но с секретным оружьем
проект скат североморские верфи
каждый день как последний каждый вечер как тычок в спину
каждое утро как новая жизнь непонятно за что
и непонятно кем данная тебе придурку

***

покупателям нашего тура
поглотителям бонусных миль –
чёрно-белые лики дарфура
ароматного йемена пыль
добродушные тутси и хуту
в серенгети расстрел наугад
и жираф приготовленный круто
на костре возле озера чад

расскажи мне про всё что увидишь
не дождавшись последнего дня
если ты не меня ненавидишь
значит время пришло – и меня
свет вечерен владение частно
у ворот где фигура с мечом
кто-то спросит «бывал ли ты счастлив?»
нет пожалуй
бывал развлечён

***

устаревшую от рождения воду пою
воду вышедшую из сна в путь по ржавым колосникам по ключу на шнурке
и по гальке
по отдельным тельцам кровяным опасаясь фрагментов крупнее
слышишь шепчет боится
кто избегнет ночного звонка ожиданья удара тупого
поворота нежданного тут где завязаны в узел все реки
и ручьи у них учатся с детства
и в ванных не срывает краны и водой не смывает
черепичные крыши с домов по чешуйке

след запутай закрой это русло набрось что-нибудь неприлично
забросай его хвоей заставами глиной таможней
что таишься и зыркаешь знаем привык отражаться в воде
развели тут нарциссов на голову нашу гвоздика хороший и скромный цветок
лишь бы белой была а вода для полива – стоячей

состоим из чего? – эй заткнись что несёшь нас услышат
нас закроют и так отовсюду мы слышим журчанье
невозбранного племени непреступимую влагу
на границе травы где растрескались глины сухие
где подходит уже подползает я слышу ну что же плевать пусть уволят
пусть приходят и бьют пусть зудят пусть стреляют нас много
пусть ничем не заменят пусть падают ниц пусть течёт

Алексей КОЛЕСНИКОВ

НА РЫНКЕ

Рассказ

Утром пес Космос, оторвав ремешок от будки, убежал со двора. Его искали по окрестностям; дошли до самого пруда, но безрезультатно.

– Сдохнет, – сказала мать. – Никогда раньше не отвязывался, гад такой! Или собаки загрызут, или кто-нибудь пристрелит. Ладно, ехать надо. Вспотела я вся.

В дороге Илья думал о том, что, конечно, Космос выживет, но почему он выживет – этого Илья придумать не мог. Впрочем, вскоре он увлекся картинками над лобовым стеклом автобуса и как-то, не по-товарищески, забыл о псине.

Два часа с небольшим они ехали из деревни в город на пазике, потом еще два часа по городу на троллейбусе, с двумя пересадками и потом от остановки «Стадион» шли пешком; Илья стеснялся держать мать за полную теплую руку, но когда переходили дорогу, как-то нечаянно ухватился за нее, думая: «Пот смешался».

Ветра почти не было; выходя их тени от зданий или деревьев, люди как бы пугались солнечной мощи, поэтому начинали идти медленно, точно крадучись.

Как много в городе уродливых людей, думал Илья. Каждый со своим дефектом: у этого покореженные черные ногти (зачем сандалии?), у этой вон родинка у глаза болтается на ниточке, можно играться ею как ёлочной игрушкой. Встречаются и горбатые, есть с отслаивающейся кожей на руках, и с вмятыми носами встречаются. Все одеты расхлябано: у мужиков голые толстые руки, а у женщин короткие платья, даже у старых. Много белых потрескавшихся пяток с грязными ручейками. Иногда встречаются молодые, но их мало; они одеты в рубашки и носят очки. Видимо, вышли пообедать.

В центре города пахнет горелым жиром и булками. У входа в рынок к этому аромату примешиваются табачная вонь, человеческая и резиновая. Кое-где пахнет кофейными зернами и цветами.

Мать, только войдя на рынок, сразу задержалась у солнцезащитных очков, поэтому Илья, от нечего делать, стал рассматривать тетку в лосинах, которая сидела на хлипком стуле, расставив ноги.

Затянувшись сигаретой, она вопросительно кивнула: «Чего тебе?»

Илья пожал плечами: ничего, мол.

В этот момент он решил, что хорошо бы, когда вырастешь, стать продавцом. Ведь здорово: сидишь целый день среди разнообразного народа и думаешь о чем-то своем. Музыка все время

Алексей Колесников родился в 1993 году в Белгороде. Работает юристом. Публиковался (рассказы и эссе) в журналах «Дружба народов», «Нева», «Новый берег», «Дон», «Вопросы литературы», «Новая Юность», в альманахе «Рукопись». В «Волге» публикуется впервые.

звучит как в ДК. От скуки можно хлебать кофе. Однако кофе родители Илье еще не разрешали, но он представлял вкус: сладкий-сладкий. А еще он подумал, что хорошо бы выпросить у матери новый футбольный мяч, а то Космос прогрыз старый со звездами. Кобель паршивый.

Мать окликнула его:

– Чего рот раззявил? Идем! Двенадцатый час уже!

Они долго толкались в тесных рядах, и некоторые продавцы говорили:

– Заходите. Костюмчик на мальчика есть к школе. «Троечка». Можно отдельно брючки, отдельно пиджачок.

Или по-другому:

– Женщина, подходите. Платье на вас посмотрим. Большие размерчики есть. Турция.

– Спасибо, – отбивалась мать, а шепотом добавляла: «Знаю я вашу Турцию».

Они приехали за костюмом для матери. К ним в больницу приедут с телевиденья снимать репортаж про директора, которая в этом году родила четвертого ребенка. Мать Ильи, как самую сообразительную медсестру, попросили подготовить «несколько слов» на камеру. По этому случаю решено было сделать прическу и купить приличный костюм, который потом можно будет и на планерку надеть, и вообще, таскать на работу, когда не жарко.

Илье идти в школу на следующий год, поэтому никакой костюм ему не нужен еще, но осеннюю куртку посмотреть планировали. Хотя и не сезон.

Они долго раздумывали возле худой девушки в джинсовой юбке, которая уверяла мать Ильи, что оранжевый костюм с красными цветами потянется – и уже на вторую носку будет сидеть «как верхняя кожа». Мать уверяла, что в пиджаке руки не скрестить и что пуговичка на юбке не сходится. Продавщица упрямо уверяла, невероятно глубоко прогибаясь в спине:

– Это от жары. Вы вспотели вся, вот юбка и не сходится. А дома спокойно померяете натощак, и все на вас, женщина, сядет как влитое. А пуговичку можно и не застегивать. Можно перешить еще.

Было видно, что матери хочется купить костюм, но в то же время было ясно, что ходить она в нем не сможет. Мал – и все тут, стервец синтетический!

Выбрав момент, мать кивнула сыну: мол, ну как?

Илья честно помотал головой отрицательно.

– Нет, – сказала мать. – Пойду я еще посмотрю.

Продавщица вздохнула, жалея потраченное время, а мать ушла за дырявую ширму переодеваться. Илья отвел глаза.

– Вы приходите, – попросила на прощание продавщица, закуривая. – Ничего лучше с вашей комплекцией не найдете.

– Подойдем, – сказал мать, но было ясно, что не подойдут.

Потом они съели по беляшу и выпили лимонада (мать купила бутылочку и два пластиковых стаканчика). Илья, допив сладкий «Курский лимонад», отдающий содой, еще долго жевал стаканчик, пока мать чуть ли не с зубами выдрала его и швырнула в переполненную урну. Стаканчик ударился и отлетел – Илья засмеялся.

Скоро послышался протяжный вой седого мужика с тележкой:

– Чай-кофе, чай-кофе, пирожки.

Он рекламировал сначала бодро, а потом, объехав тот ряд, где Илья с матерью застряли, стал филонить. Илья посторонился, прижавшись к высокомерному манекену, одетому лишь в трусы и в бусы, чтобы мужчина проехал. Мать между тем примеряла юбку, к которой жилистый армянин-продавец с курчавыми руками обещал подобрать блузку и «под глаза платок».

– И пиджак никакой не нужен тебе. Блузка бери и все. У тебя формы для блузка.

Илья заскучал. Бабка, перебирающая черными от загара пальцами фасоль в стаканчике, сидела напротив и что-то напевала. Помимо фасоли она продавала шиповник, терн, капусту, лук и какой-то цветок в горшке.

К ней подошел молодой парень в черном спортивном костюме.

– Маша, – обратился он к старухе. – Тебе котенок не нужен?

– На шо он мне?

– Будете вместе квасолю лущить.

Старуха махнула рукой, парень засмеялся, а потом закашлялся. Илья с интересом выслушал его рассказ про то, что какой-то Гоша Челнок обнаружил утром под лавкой белого котенка, которого теперь необходимо накормить. У котенка синие глаза, но один глаз – левый – заплыл гноем. Парень звал старуху посмотреть, но она, точно прослушав весь рассказ, только сказала:

– Мухи кусючие, как черти.

– Сосиську отнесу, – объявил парень, расстегнул олимпийку. У него была мокрая волосатая грудь. Он почесал ее и убежал с ряда.

Илья глянул на мать, которая в лифчике за простыней вертела блузку, похожую на салфетку, постоял немного в нерешительности и пошел наконец смотреть на котенка.

На удивление, котенок был откормленным и совершенно не грязным. Лениво он подкусывал краем челюсти какую-то кровавую гадость, помогая себе испачканной лапой. Мурчал. В деревне такое зрелище на каждой помойке.

Разочарованный Илья побрел обратно, натыкаясь на внезапно стопорящихся посреди дороги теток. Он ориентировался на манекен с грудью в синих трусах и красных бусах, но везде ему встречались совсем другие манекены.

Илья прошел весь ряд и уже понял, что кудрявый дед, отчищающий от голубых джинсов пятнышко, приметил его. Это успокаивало.

Решив спокойно поразмыслить, Илья постоял некоторое время возле палатки с женскими купальниками, а потом, ничего не решив, отшатнулся в сторону – ему мешали какие-то пацаны с велосипедным колесом.

Сильно он не паниковал сначала, но когда из-за очередного поворота показалась не попадавшаяся раньше палатка: «РАСПРОДАЖА ШУБ И ДУБЛЕНОК» («ПЫЛЬНЫХ» – захотелось приписать Илье), страх без спросу разбежался миллионом муравьев по организму; руки прилипли к карманам шорт, а глаза запекло как от спирта.

Отчаявшись, Илья выискивал понимающий взгляд доброго человека, но взгляд такой куда-то запропастился, видимо, в какую-то добрую книжку слинял. Из всех сторон на Илью смотрели лишь равнодушные глаза торгашей, переполненные заваркой и табачным дымом. Ревела бодрая музыка, поэтому люди переговаривались, повышая голос до хрипоты.

Быстрее, чем хотелось (сандалии сами несли), он направился к выходу с рынка. Рассматривая всех сразу и никого конкретно, Илья дошел до продуктового отдела и встал подумать возле свиной вырезки – от нее веяло холодком. Он было решил спросить помощи у мужика в сомбреро, который продавал разноцветные, похожие на карту пустыни специи, но тот заболтался с молодым напарником о том, что земля без дождей пересохла. Илья все ждал, когда они закончат, но мужик, оборвав свой бестолковый рассказ, непонятно чему усмехнулся, а потом сказал:

– Пойду в туалет.

Мать кинется на поиски, думал Илья, и они непременно разминутся; она, не найдя его, уедет за отцом и вернётся только на следующий день, а он, Илья, видимо, останется на этом рынке. Будет с тем сытым котом сражаться за пищу, а потом переночует под прилавком с овощами. Подумав так, он ощутил голод.

Дернувшись от плеч до пяток, он опрометью рванул в самую, как ему казалось, гущу рынка. Ничего он уже не видел вокруг, всех расталкивал, шептал детские проклятья, веря, что случится, обязательно самой собой случится счастье – мама выйдет из-за очередного поворота или огромный метеорит рухнет на солнце и все это закончится.

Курсируя между рядами, он видел одно и то же и слышал одно и то же. Запахи все давно перемешались, превратившись в неразделимую пряную вонь, лишь кое-где разбавленную резиной от покрышек и кед. Там, где Илья оставил маму, пахло кукурузой, но где это место?

Плохо соображающий, нервный, Илья вдруг заметил седого мужика с тачанкой, который рекламировал «чай-кофе». Он подбежал к нему и спросил:

– Где тут дядька нерусский юбками торгует?

Седой не опуская головы, глянул себе по ноги и сказал:

– Они тут везде.

– А тетка с кукурузой?

– И они везде, – отозвался мужик.

Илья пнул мужика в толстую брючину носком сандалика, вскрикнул и убежал в сторону того ряда, где блестели звонки велосипедов. Он бежал и проклинал себя за беспечность, молился богу, повторяя некоторые такие слова, какие говорила бабушка во время молитвы, вернее, не слова даже, а звуки, потому, что никогда нельзя было разобрать, чего там бабушка говорит иконе. Отчаянный вопль ломился наружу из груди, но Илья не смел плакать, потому что слезы его были никому не нужны, а самому для себя плакать не хотелось. Ему казалось, что хоть со слезами и уйдет мука из груди, но и сила тоже уйдет.

Устав, он пошел по рядам, никому не уступая дорогу. Взрослые, все как один развернутые к нему задом, вздрагивали от злых тычков рук. Илья решил, что найдет место с тенью и будет ждать, пока закроется рынок, а потом, когда явятся его выгонять, он сам прогонит явившихся; будет сидеть на одном месте, пока не умрет от голода. Гордый.

На самом деле Илья потерялся минут на десять. Ему же казалось, что он бродил по опостылевшему рынку несколько часов. Такое впечатление усилилось, когда солнце ушло за тучи, и рынок потемнел.

Завернув на ряд, где продавались в основном детские вещи, он увидел мать, одетую в сиреневый костюм с белыми ромбами. На плечах, будто погоны, у нее дрожали гигантские перья. Она вертелась у зеркала, а продавец, почесывая влажную шею, обещал подобрать к платью туфли на танкетке.

– Тебе как, Илюх? Брать это или то – второе?

Будто теплой пыли насыпали Илье в горло. Мать ждала ответа, но Илья отвернулся, будто оглох. Голова отсырела от сдержанных слез; ему даже на миг показалось, что он не справится и заплачет, но нет, он вздохнул и успокоился.

Никто во всем мире не заметил, что Илья пропал – теперь это ясно. Никто не был в этом виноват, никто не пытался его воспитывать – не заметили просто, и все тут. Потом бы мать кинулась, конечно; полиция бы подключилась, и собаки бы взяли след. Но этого не случится, потому что Илья сам пропал и сам нашелся.

Сначала ему было себя жалко, потом сделалось смешно, а потом заклокотало в желудке от голода. Он крикнул матери:

– Скоро? Я есть хочу!

Мать глянула на Илью так, как в тот раз, когда он впервые обрезал сам ногти, и сказала:

– Сейчас идем, сыночка. Переодеваюсь уже.

Выбравшееся из-за туч солнце обрушилось на Илью – он сощурился, отвернулся и до боли стал тереть ладонью веки. В этот самый момент он понял, что не испугается больше никогда.

Ирина МАШИНСКАЯ

***

Змеи непостижимое движенье,
ее ходьба,
ее ведет невидимое тренье –
сгибания и прямизны борьба,
змея идет, приподнимая тело
и мой страх
ей разом сообщает ускоренье,
змея уже почти чеканит шаг

Стиви

М.Степановой

У Стиви-жокея чёлка торчком,
она вразгон обгоняет всех –
всех-всех,

когда летит, то сидит торчком,
а не припав ничком
летит
на теле коня.

Стиви честней меня.

Поплавок

хоть на семь метров затолкай
в зеленый смерть соленый мрак
я выпрыгну дурак

Ирина Машинская родилась в Москве, окончила географический факультет и аспирантуру МГУ. В 1991 эмигрировала в США. Главный редактор основанного вместе с Олегом Вулфом журнала «Стороны света» и литературного проекта «СтоСвет» (США). Соредактор (совместно с Р. Чандлером и Б. Дралюком) англоязычной антологии русской поэзии, The Penguin Book of Russian Poetry (London: Penguin Classics, 2015). Автор многих журнальных публикаций («Арион», «Новый мир», «Звезда», «Знамя», «НЛО», «Интерпоэзия» и др.) и десяти книг стихов и переводов. Стихи и эссе переведены на несколько языков и опубликованы в антологиях и журналах США и Европы. В «Волге» публиковались стихи (2016, № 9-10).

Канат

лодка тычется в док
кончает прижавшись

лодка и док
лодка и плот
сводит-разводит

высь ли вниз ли
дергается канат

вспучивается вода
приливна́я волна
стоит не уходит

Ось

Острожничать осторожничать бродить в стороне в тени уступать лыжню
Но как ни тяни рано ли поздно игла соскальзывает
и скользит к целому

каждый охотник скользит к счастью белому
к центру где 33 и 1/3 – если смотреть
с краю –

прямо туда к дыре где стоит ось –
поверх ровного поля царапин борозд
лыжни

в поздних сумерках на краю леса
только звенит на ветру свитер ее в леденцах – ее несет к полюсу
где уже все сошлось

и над ней раскрытый скрытый не сдерживаемый ни облачком
ни световой грязью
раскачивается Polaris
– чуть сбоку всегда чуть в стороне

Макс НЕВОЛОШИН

НЕ НРАВИТСЯ – ВАЛИ

Рассказ

А славно бы увидеть Москву глазами иностранного туриста, какого-нибудь доброго, рассеянного шведа. Без провинциальных комплексов, без эмигрантской оглядки... Или глазами местного долгожителя, наблюдателя, созерцателя. Чуть не сказал «коренного москвича» – тухлая фраза, даже слово «прописка» звучит веселее. Я всегда был здесь по делам, жил здесь по делам. Первый вагон из центра и сразу налево. Бег с препятствиями из ненужных людей, чтобы отловить искомых. Людей вокруг меня образовалось чересчур. Некоторым я был что-то должен, остальные – должны мне, и требовалось срочно с них это получить.

Думал: получу своё, выдохну и осмотрюсь. Москва лет восемь оставалась функцией, ступенькой. Перешагнул и осмотрелся – но уже в другом месте. Жаль, а что поделаешь? Столица понаехавшим не друг. Явился завоёвывать Париж – оперируй шпагой, а не глазей по сторонам. Нет, кремль я видел. И мавзолей, включая содержимое. И большой театр, включая изнутри. Регулярно эскортировал туда заморских гостей. У меня был лучший и единственный на кафедре английский. А также, по мнению начальства, избыток свободного времени. Как сказано гением, балеты долго я терпел.

Я не люблю работать вообще, и с людьми – особенно. Такая работа помимо других неудобств выключает меня из контекста. Посетив десятки интересных мест, я ни черта не видел, кроме лиц в аудитории и бухгалтерии. В Москве есть нюанс: сложное, не всегда уловимое ощущение, что ты здесь шпион. Из него потом вырастает мысль об эмиграции.

Москва – вэдээнха эпохи эсэсэра. Город – сноб, витрина, китч. Улицы имперской ширины, архитектура в стиле «поздний Джугашвили». В теплом бензиновом смоге на десяти полосах звереют авто. Сверху давит угрюмое небо. В пространство въелся запах фанты, горячих собак, хрустящих денег... Можно притвориться, что это твоя жизнь. Можно даже часть её купить и заблеять от самодовольства. Только этот город избалован, капризен. Он не любит выскочек. У него другие планы. Засунь под хвост свои купюры и амбиции. Ты сюда не принадлежишь. Тебя пустили посмотреть.

Дорогие москвичи и гости столицы... Не друзья, товарищи, сограждане, а гости и хозяева. Москве важна определённость. Потому что отдельные шустрые гости норовят задержаться. Праздник кончился, а они все ещё тут. И уже неясно, в качестве кого.

Макс Неволошин родился в Самаре. Работал учителем средней школы; после защиты кандидатской диссертации по психологии занимался преподавательской и научно-исследовательской деятельностью в России, Новой Зеландии и Австралии. Публиковался в «Новом журнале», «Топосе», «Дружбе народов» и др. Автор двух сборников рассказов: «Шла шаша по соше» (2015) и «Срез» (2018). С 2003 года живёт и работает в Сиднее. В «Волге» печатался рассказ «Уходишь – счастливо, приходишь – привет» (2016, № 7-8).

Цветные штаны не прокатят, штаны сейчас у всех одинаковые. И остальное тоже: лица, походка, речь... Вместе толкаемся в разные стороны, шмыгаем под землю и обратно. Но если у метро проверят документы, выявляется существенная разница. Многие уедут дальше. А тебя уведут куда следует. Трудно остаться собой. Лицо, одежда – ерунда, главное – беспечный взгляд. Именно его читают физиономисты у метро. Взгляд обязан излучать уверенность в том, что ты поедешь дальше. И слово «обезьянник» знаешь только по кино.

Про обезьянник расскажу. Но вначале о достоинстве самарской прописки. У неё, как выяснилось, есть одно достоинство. Однажды меня взяли на гоп-стоп. Дело было на автовокзале, ст. м. Щелковская, первый вагон из центра, из стеклянных дверей налево. На мне стандарт: кожаный верх, джинсовый низ, сумка adidas – типичный фраер ушастый. Купил билет, закурил, углубился в себя... Чувствую движение сбоку. Слышу:

– Брат, угости сигареткой.

Сунул руку в карман, а вынуть не могу, перехватили. И вторую ломят за спину. Я даже испугаться не успел. Только что был один, и уже нас трое.

– Давай-ка отойдём, поговорим.

Утолкали за ларёк, там ещё двое без особых примет. Среднего роста, плечистые, крепкие. Нежно извлекают паспорт, кошелёк. Граждане озабоченно спешат мимо. Вокзальный секьюрити нам кивнул.

Кошелёк должен был их огорчить, а паспорт – наоборот. За обложкой – сложенная вдвое купюра с Эндрю Джексоном. Дяденька полицейский, возьми меня. Этим маловато, но шанс уйти здоровым.

– Паспорт хоть отдайте, – говорю.

Старший полистал мою книжицу.

– Ты из Самары, что ли?

– Ну.

– Держи.

Отдают имущество, хлопают по спине.

– Вали, братан. Повезло тебе сегодня.

Запоздалый потный страх, мягкость в ногах, тошнота... Реакции организма, не успевшего за темпом событий. Меня грабили. Что-то пошло не так. Дважды проверил – всё на месте. Кошелёк, билет, сигареты, паспорт... Эндрю с удивлённой половиной лица... Что это был за сюр? Что за полёт шмеля вокруг гранаты?! Вечером звоню сообразительному другу.

– Это наши, казанские гопники, – объяснил друг, – их территория.

– Ты-то откуда знаешь?

– Бывшие ученики, восьмой «г». Видел их там пару раз. У них правило: земляков не трогать.

Двадцать баксов из паспорта могли взять трижды. Следующим был мент в переходе у вокзалов. Сытый, добродушный, непохожий на мента. Почему из сотен людей он выбрал меня? Этот вопрос не даёт мне покоя. Что во мне не так? Обычное лицо славянской национальности. Финский пуховик, сделанный в Китае. Норковая шапка из котика. Сумка большевата, так вокзалы же. Каждый второй с баулом.

– Регистрации нет, угум... Когда приехал?

– Только что.

– Ну-ну... Билет есть?

– Оставил у проводника. Мне он ни к чему.

– Разумеется... Цель прибытия?

– Осмотр достопримечательностей.
– Где будешь жить?
– У родственников в Кучино.
– Кто автор «Болеро» Равеля?
– Э-мм...
– Расслабься, я шучу. А это что? Взятка?
– Где? Аа... не, заначка. На всякий случай.
– Ладно. На регистрацию – трое суток. И билет чтобы всегда. Ясно?
Он вернул паспорт. Я не выдержал.
– Можно вопрос? Почему ты меня остановил? Что во мне подозрительного?
Мент ненадолго завис.
– Опыт, интуиция... – произнёс он наконец. – У тебя сумка большая. И лицо такое, знаешь... Будто ты задумал...
– Теракт, – подсказал я.
– Вот что, умник, – его добродушие вмиг исчезло, – пройдём-ка в отделение...
– Не надо в отделение, – испугался я, – глупо вышло. Извини.

Вот значит как. Задумчивое лицо стало подозрительным. Исправим. Кстати, размышлял я тогда над статьёй для «Вопросов психологии». Конкретно оттачивал следующую мысль. «В общем виде, главной целью развитой когнитивной системы является прогнозирование будущего».

Вскоре я полностью слился с толпой. На моей уличной физиономии закрепилось выражение лёгкого слабоумия. Иногда, вернувшись домой, я забывал его снять, за что подвергался насмешкам жены. Надевать дебила приходилось часто – работал я в семи местах. Читал лекции в двух университетах. Халтурил консультантом в пяти детсадах. Вёл договорные курсы в банках, страховых компаниях, центрах профориентации. Даже, как ни странно, в Зеленоградском РОВД. Психология была в моде, работа валялась под ногами. За ужином я выключался, не доев.

Москва охотно забирала наши силы, но отказывала в статусе легальных душ. Мы были людьми вне сорта. Наше бытие вызывало сомнения. Заболей мы – не станут лечить. Пропади – не кинутся искать. Жалобы, претензии? Вали, страна большая. Тема регистрации печальна и скучна. Но как мне избежать её? Как обойти тему жилья? Я пересматриваю образы Москвы, в голове тихо кликает слайд-проектор. Сейчас увижу что-нибудь изящное. Романтическое, возвышенное, как мини-юбки летом на Тверской. Чистые пруды, застенчивые ивы, переулочки Арбата... Но упираюсь лбом в бетонную конструкцию. Работа, регистрация, жильё. За неубитую однушку хотели ежемесячно двести баксов плюс. Раз в полгода, обновляя договор, хозяева накидывали чирик. Не нравится – вали. Я понял, что такое классовая ненависть. Это когда твоя жизнь напоминает бег за фальшивым зайцем, собачий ипподром. Ты конвертируешь её в зеленые бумажки и скармливаешь жадным паразитам. Этот город меня потихоньку съедал.

Ресентимент... – поморщится какой-нибудь эстет. К людям надо помягше и на вопросы смотреть ширше. Так смотрите. Кого я оскорбил? Своих работодателей? Никоим образом, а мог бы. Ментов? Безосновательно – менты встречались разные. Но все мои лендлорды были редкие жлобы. Не знаю, как там власть, а халява развращает абсолютно.

Помню бодрую тётушку, владелицу жилья на улице Расплетина. Лицо простое, будто кукиш. Обыкновенно суетлива, возбуждена получением денег.

– Ребятки, не заплатите вперёд? За месяц или два. Присмотрела телек «Сони Тринитрон». Красавец, большущий такой, диагональ – семьдесят! Надо брать, пока скидки…

– Так у нас столько нет.

– Ну, давайте сколько есть. Давайте, давайте! Забегу ещё к одним жильцам, недалеко. Может, они выручат.

Господи, – думаю, – за что ты подарил ей три квартиры? За какие свершения и подвиги? Мне, кандидату грёбаных наук, – ни одной, а ей – три. Если это сообщение для меня, выражайся пояснее.

Ещё был алкоголик Николай, сдавал пенал в хрущёвке на Филях. Сам где-то обитал на иждивении матери, деньги за квартиру пропивал. И ему, понятно, не хватало. Слишком тонка грань между опохмелиться и закрепить успех. Поговорить на эту тему Николай любил со мной. Пару раз в месяц ему удавалось застать меня дома.

– Макс, такое дело… У тебя не будет… сам понимаешь… взаймы?

Николай чешет кадык. Я вынимаю деньги. Через полчаса хозяин возвращается с бутылкой.

– Твоя дома? Давай махнём по рюмке.

– Слушай, – говорю, – вообще-то я работаю…

– Работа не волк, по сто – и я убёг. Не могу один, как ханыга.

Сперва я по наивности решил, что это в счёт квартплаты. Ты занял, я вычел, правильно? Неправильно.

– Я с вас по-божески беру, – обиделся Николай, – такая квартира дороже стоит. Мне знающие люди сказали: продешевил ты, Коль, продешевил. Такая квартира – двести пятьдесят самое малое…

Бог заговорил со мной о регистрации, хозяевах и жизненном пути в неподходящей обстановке. Или в самой подходящей – ему видней. Есть гипотеза о том, что навязчивые мысли сбываются. Якобы мы задаём себе цель. Четыре года я боялся попасть в обезьянник. Четыре года (и потом ещё двадцать) бегал от ментов в ночных кошмарах по тоннелям и эскалаторам. И вот я здесь, в набитой аутсайдерами клетке Бабушкинского РОВД. Запах блевотины и хлорки выедает глаза. Ещё пахнет мочой, бомжами, страхом, но это общий фон.

Как меня поймали? Cherchez la femme. Со мной на кафедре работала Татьяна Анастасьева. По документам – русская, москвичка. А по фейсу – что угодно от вокзальной гадалки до Пенелопы Круз. Уместно смотрелась бы на корриде, верблюде, стамбульском базаре. Однажды, смеясь, рассказала историю. На улице пристали цыгане. Балаболили по-своему, одна схватила за руку. Татьяна вырвалась, брезгливо оттолкнула. «Пхагэл тут одэл! – крикнул цыганка. – Давно, коза, из табора отмылась?!»

На Бабушкинской мы читали курс «Стресс учителей и методы его преодоления». Я – бывший учитель, Татьяна – бывший методист. Кто мог лучше раскрыть эту тему? Раскрыли, двинулись к метро. Я не хотел идти с Татьяной, её часто останавливали. Броская внешность, цветастая шаль, менты тоже скучают…

– Молодые люди, документы предъявляем.

Меховой зверёк из пяти букв шевельнулся в животе.

– Так-та-ак… Вы, девушка, свободны, а ты – пойдёшь с нами.

Паспорт исчезает в недрах серого бушлата.

– Куда?

– В зоопарк. Пошли, чего стоим!

– Я тоже пойду! – Татьяна пристроилась рядом. – Ребят, отпустите, ну в чём проблема? Человек в командировке, нас люди ждут...

– Где временная регистрация? Командировочное, билет?

– Нету, – говорю, – так вышло...

– Значит, посидишь до выяснения.

Я вспомнил про двадцать баксов.

– Командир, может, договоримся? У меня штраф в паспорте, за обложкой.

Менты переглянулись.

– В следующий раз.

– Не повезло тебе, земляк. У нас план не выполнен, и смена кончается.

Идём сквозь мини-рынок. Группа чеченцев шумит у ларька. Татьяна вновь заговорила:

– Мы же свои, русские люди! Вон – их проверьте, и будет вам план.

– Ошибаетесь, девушка, – старший качнул головой, – они все с регистрацией.

В РОВД били двоих. Сначала одного – гуманизатором по рёбрам, затем второго – ногами. Менты тут были злые, красномордые, усталые. Я сразу понял, как себя вести – молча. Да. Нет. Готов заплатить штраф. «Заплатишь, – сказали мне, – потом». Забрали сигареты, кошелёк, толкнули в обезьянник. Внутри тесно стоял народ. Многие кашляли. Кто-то вполголоса матерился. Кто-то долго и трудно блевал. Хотелось скомкаться, не дышать, в идеале – стать мыслью.

Миллионы безвинных людей отсидели в лагерях. Позорно жалеть себя, и всё-таки... Конец двадцатого века. Почти цивилизованная страна. Трезвый человек идёт с работы – его бросают в клетку. За что? Государство считает меня недостойным витрины. «Место!» – командует оно и похлопывает дубинкой о ладонь...

– А не послать ли это государство на хер? – произнесли над ухом. Голос привёл в движение ряд смутных образов. Пыль, сдуваемая с грампластинки. Тикающий часовой механизм. Липкий шелест фотоальбома... Я зачем-то оглянулся и сказал:

– Давно пора, но... страшно. Опять всё с нуля. Ты бы вытащил меня отсюда, Господи.

– Сами отпустят. Я по другому вопросу. И оставь эту архаику, называй меня...

– Высший разум?

– Фу, как пошло. Голос вселенной.

Я хотел сострить, но промолчал. Он догадался.

– Слушай и не перебивай. Ты говоришь: «за что?», «несправедливо», «разные стартовые позиции». Ты ноешь: кому-то – много, бесплатно и сразу, а тебе – остатки, втридорога и потом...

– Я такого не говорил.

– Молчать! Запомни: важно не имманентное, а трансцендентное. Не то что дано, а как использовать. Попытка сделать рывок, качественный скачок из одного мира в другой. Привилегия нескольких жизней. Шанс узнать, человек ты или мох. В этом – твой смысл. Завтра едешь в австралийское посольство. Потом – в новозеландское. Берёшь анкеты, формы, списки документов. Решаешь, куда проще отвалить. Затем – нотариус, подтвердить квалификацию, сдать языковой тест. Канительно, дорого, но выполнимо. Готов?

Я кивнул. Тотчас лязгнул засов, решётка в новую жизнь отворилась.

– Неволошин! На выход.

Иван ГОБЗЕВ

ЛОЖИТЬСЯ НАДО СЕЙЧАС

Рассказ

...Всем известно, как престижно Нежненское кладбище в центре города. Редко кому выпадает честь быть захороненным там – рядом с величайшими умами, деятелями, подвижниками страны.

На самом деле почти никому не выпадает, только по высочайшему указу за заслуги. А мечтает каждый, и вот почему. Кладбище находится в самом центре, как уже было сказано, города. Но его окружают не пыльные бензиновые шоссе, не серые дома и убитые дворы, а красивый большой парк. То есть оно располагается прямо в парке. Поэтому вокруг – вековые клёны вечно колышут едва слышно кроны, величественные, словно само время, и осыпают листьями аккуратные холмики могил, застилая их уютным и тёплым покровом на зиму! А весной, только проснётся земля и потянется зеленями к теплеющему с каждым днём солнцу, дающему миру всё больше и больше света, клёны украшаются серёжками будущих роскошных многоугольников. Тихо и безлюдно в парке, только птицы, да и те благородные – нет тут ни голубей, ни ворон. Петляющие и изогнутые дорожки как в сказке уводят лабиринтом в глубины старинного погоста. Чего тут только не увидишь!

Чу! Вон, в глубине, под старым вязом, накренившимся и дуплистым, как замаскированный старый тролль, упёрлась в его кору невысокая, но добротная плита из оникса. Она старше вяза – видно, как складки его обтекают благородную черноту камня. Калитка ограждения чуть отворена, сам заборчик покосился от старости. Всё тут древнее. Холм сравнялся с землёй, скамейки и след простыл. Нет искусственных цветов, конфет и прочих подношений родственников, из чего видно, что и самих родственников, должно быть, давно уже нет на свете. Но есть то, что лучше всякой человеческой заботы – забота самой природы. Земля тут покрылась нежной порослью незабудок, наивно смотрящих синевой своих глаз на случайного посетителя. А сорной травы нет. Потому что служители, конечно, следят за порядком на территории.

Кто похоронен здесь? Уже и не поймёшь – время и дожди стёрли с камня все следы этого выдающегося человека. Но что ему с того? Может именно это и нужно – вечный покой в забытье – не это ли и есть истинная свобода?..

...Пётр Сергеевич отложил рекламный проспект. Хорошо написано – он был доволен своей работой. Его даже самого тронуло, и он вдруг остро захотел, чтобы эта могила с плитой из оникса, под въевшимся в неё вязом, была его могилой. Как, должно быть, там покойно и уютно! Как безмятежно!

Но это место не для него. Ему светит только то же самое, что и всем – унылое кладбище на далёких окраинах области, в десятках километрах от города. Да и там ещё платить придётся, чтобы лечь хоть немного поближе, и немалые деньги! А иначе вообще запихнут в какую-то дыру, куда

Иван Гобзев родился в 1978 году. Окончил философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Кандидат философских наук. Работает в должности доцента в НИУ «Высшая школа экономики». Печатался в журналах «Нева», «Новая Юность», «Зинзивер», «Дружба народов» и др. Автор четырех книг прозы. В «Волге» публикуется впервые.

родственники и не доберутся, да и саму могилу не найдёшь, потому что ни указателей, ни дорог, а персонал пьяный. Родственники поездят-поездят, а потом и плюнут.

Пётр Сергеевич, разумеется, не собирался умирать. Ему только исполнилось пятьдесят, чувствовал он себя отлично и никаких хронических заболеваний не имел. На жизнь не жаловался, депрессией не страдал. На своей работе при Нежненском кладбище получал хорошую зарплату, социальный пакет и медстраховку. Имел квартиру в городе недалеко от офиса, дом за городом с бассейном, две машины, добрую жену, троих любимых детей и большую мохнатую собаку.

– Петя! Петя! Тебя к телефону!

– Кто?

– Не знаю! Мужчина!

Пётр Сергеевич отложил планшет, потрепал собаку за ухом и поднялся из кресла. Он был ещё в пижаме, только накинул сверху халат. В выходной он никогда не торопился совершать утренний туалет – пока не выпьет кофе со свежеиспечённым пончиком и не почитает новости.

Наверное, сотрудники банка, – подумал он, – собираются предложить очередной кредит, как «особо важному клиенту». Его начальник, Стрекал Моисеевич, рассказывал шутку по этому поводу. Как ему позвонили так же и стали навязывать кредит под тем предлогом, что он для них очень ценный и уважаемый клиент. На что тот ответил сотруднику банка: «Под такой процент я и сам вам готов дать кредит! Возьмёте?» Последовал ожидаемый отказ. Все долго смеялись, а Стрекал Моисеевич ещё несколько раз повторил окончание истории. Конечно, подчинённые восхищались остроумием начальника несколько сильнее, чем оно того стоило, но это обычные издержки любого предприятия!

– Да? – заготовленным ироничным тоном сказал Пётр Сергеевич в трубку.

– Караганда! Петь, это Егор! Как ты?

Егор был коллега из отдела продаж. Они не дружили, но пересекались на планёрках и нередко обедали вместе, что послужило причинной относительного частого общения. Егор был из тех людей, которые постоянно пребывают в шутливом расположении духа и нелепо острят по любому поводу, отчего некоторым кажется, что они настроены добродушно, хотя это мнение ошибочно. Правильнее про таких говорить «себе на уме», и Пётр Сергеевич хорошо понимал это. Была у Егора черта, особенно неприятная – он легко переходил личные границы и вступал в фамильярные отношения – но только с равными или теми, кто ниже.

Пётр Сергеевич дождался пока Егор отсмеётся в трубку и спросил как можно дружелюбнее:

– Чем обязан, Егор?

– Короче! У нас ситуация внештатная, один клиент отказался. Ну как отказался, его признали банкротом. Место получается свободное. Но выставить на продажу не может – в бухгалтерии не пройдёт, там по отчётности налог уже уплачен, числится как снятое с хозрасчёта! В общем продажа как бы есть, но её и нет! Можем держать только до понедельника.

Пётр Сергеевич попытался сообразить, при чём тут он, но не смог ничего придумать.

– И? Что ты предлагаешь, Егор? Ты знаешь, я ведь из отдела рекламы...

– Да хоть из пилорамы! Я про то, что можешь за бесценок взять. Ты говорил, что хотел бы для себя место на нашем кладбище.

– А, понял! Да-да, Егор, хотел бы!

– Ну, сам понимаешь, земля как бы ушла, так что скидка девяносто процентов... Так, сейчас, посчитаю... Триста пятнадцать тысяч, девятьсот сорок два рубля.

Пётр Сергеевич мигом покрылся испариной. Это, конечно, смешная цена, и думать тут было не о чём.

– Какой разговор, Егор, конечно, беру! Спасибо! Твой должник!

– Да ты подожди со спасибо! Земля-то ушла по бумаге. Значит, ложиться надо сейчас, и как можно скорее!

– Куда сейчас?

– Ну не прямо сию секунду – крайний срок понедельник!

– Подожди, куда ложиться-то?

– Петь, ну ты что, тупой? Мы о чём сейчас вообще говорим? В могилу, куда ещё!

– Но так я же живой ещё!

– Я в курсе, Петь! Я же не с трупом разговариваю ! Ладно, у меня барбекю тут, ты давай думай, до завтра время есть! Отбой!

И Пётр Сергеевич услышал в трубке тишину.

– Петя, обедать будешь?

Это жена. Все уже за столом, дети, собака, и даже мама приехала.

Но ему было не до обеда. Тем более мама тут – она же станет приставать, расспрашивать, что он такой грустный, в чём дело? И будет мысленно обвинять его жену в том, что она плохо о нём заботится.

Семейные ужины он всегда очень любил. Вкусная еда, хорошее вино, потом чтение у камина. Дети играют вокруг. Собака у ног смотрит в глаза. Жена пьёт чай за сериалом.

Покой и уют, а за плотно закрытым окном, в вырезе цветочных занавесок, ненастье – там дождь и задувают холодные ветра, отчего в доме только уютнее.

Но Пётр Сергеевич не настроен на добрый лад.

– Нет, нет, спасибо! Мне что-то не по себе! Мне в аптеку надо!

– Тебе плохо?

– Нет, всё хорошо, но я пройдусь!

Он накинул плащ, схватил зонт и под проверяющим взглядом жены вышел наружу.

– Разумеется, нет, – сказал он себе. – Что за бред! Что мне теперь, покончить с собой из-за этого? Но зачем он мне это предложил? За кого он меня принимает?! Тут и думать не о чём!

И тем не менее он думал. Думал о том, что это вообще-то единственный шанс туда попасть. Но ладно если бы он был тяжело болен, если бы он был очень стар, ну тогда да, тогда ещё можно было бы подумать, тогда по крайней мере ситуация была бы более подходящая! И вдруг он поймал себя на мысли, что сожалеет о своём относительно молодом возрасте и хорошем здоровье. Как назло, как назло! Не сходится! И он ударил кулаком по перилам каменной ограды.

Оглядевшись, он обнаружил, что оказался на кладбище.

Что же, что плохого в том, что он посмотрит хотя бы на место, которое ему предложили? Посмотрит и успокоится, место-то вряд ли хорошее, точно не в центре в окружении вековых клёнов, и ещё более сомнительно, что в окружении достойных соседей! Уж наверно у самой стены, где замурованы всякие негодяи! Там и бесплатно не захочешь! – уверял он себя.

И, ободрившись, решительным шагом двинулся по витиеватому лабиринту пасмурного, тёмного в это время суток парка, который он, впрочем, знал как свои пять пальцев.

По мере приближения к участку, названному Егором, сердце Сергея Петровича колотилось всё чаще. Это уж точно было не у стены и не на окраине.

Тем временем выпал снег, и хотя не обильный и не плотный, а мелкий лёгкий порошок – его хватило, чтобы аккуратными навершиями быстро украсить надгробия. И вот уже трава за оградами припорошена, и дорога покрыта белой вуалью, и Сергей Петрович, оглядываясь, видит на ней свои быстро мокнущие следы. Он был в лёгком пальто, шляпе с полями и в туфлях на тонкой подошве, но холода не ощущал.

Освободиться от тревог, от забот, от гнёта и забыться, – думал он, – и разве найдёшь на свете более подходящее место, чем это? Закрыть глаза и уйти в вечный сон, раствориться, исчезнуть, развеяться в вечернем снегопаде...

Он остановился, испытывая то неприятное чувство, когда вдруг, из-за какой-то стрессовой ситуации, мгновенно потеет тело и начинает покалывать кожу.

Он пришёл на место. Эта был соседний участок – рядом с тем, из разработанного им рекламного проспекта. Вот она, древняя ониксовая плита в буроватой плесени со стёртой временем надписью, вот вяз, разверзший складчатый рот коры и поедающий камень словно само время, вот засохшие незабудки с каплями снега.

Вокруг эти стволы толстых, быстро уходящих в небо лип, тишина и безмятежность. Пётр Сергеевич поднял голову. Там, в вышине, в круге, образованном кронами, прыгала белка. Он толкнул калитку, и так специально приоткрытую – в рекламных целях, – и рухнул на гранитную сырую скамью, даже не потрудившись её вытереть перчаткой.

Лучшего места было не найти во всей вселенной.

Пётр Сергеевич лежал на скамье до полуночи, в надежде, что он умрёт от холода и отчаяния. Телефон он выключил. Но потом сообразил, что вообще-то не перечислял оплату за место, и если и умрёт, то похоронят его совсем не здесь, а где-нибудь на окраине, на самом обычном кладбище, которого он так не хотел. Эта мысль так напугала его, что он вскочил и быстром шагом направился домой, весь трясясь от холода.

Вечером поднялась температура. Тридцать восемь и два.

Вызвали врача.

Врач осмотрел Петра Сергеевича, но признаков гриппа или пневмонии не нашёл.

– Очень агрессивная ОРВИ... – покачал он головой, прописал лекарства и ушёл, пообещав напуганной жене, что всё будет хорошо.

А Пётр Сергеевич не мог высунуть руку из-под одеяла – его сразу охватывал такой озноб, как будто он оказался голым на улице. Но и под одеялом было непросто – простыня и подушка мгновенно мокли от пота, и значит нужно было переползать в сухое место и переворачивать подушку, да и намокшее одеяло тоже, а это значит опять же холод.

Есть он не мог, только пил что-то кисло-сладкое и горячее, приносимое женой.

Днём, после недолгого сна, в котором ему были навязчивые видения чёрной потресканной плиты, до тошноты резко вздымавшейся в серое небо, он померил себе температуру. Тридцать девять и пять.

Жену он обманул, сказав, что стало ниже, лишь бы не видеть её глаз.

В этом состоянии ему было совсем не до забот о кладбище, но зачем-то он велел принести планшет и стал смотреть план, периодически переставая понимать, что делает. Это мучение продолжалось по его ощущению долго, и наступили уже сумерки, а он все держал в бесчувственных руках завалившийся планшет. Время от времени к нему заглядывали жена и дети, вырывая его из мучительного напряжённого бреда, и он говорил им одно и то же: «Мне лучше», не совсем понимая, что это значит, но повторяя как какое-то заклинание, осевшее в памяти с бесконечно давних времён.

Стоило ему провалиться в этот свой болезненный полусон, как он снова видел картины с кладбища – столбы лип, дрожащие незабудки, плиты... Это было навязчиво до муки, но он ничего не мог поделать.

Очнувшись в очередной раз, он написал Егору краткое сообщение: «Беру. Реквизиты». Егор увидел сообщение сразу и тотчас выслал счёт на оплату. Пётр Сергеевич совершил перевод, уронил на пол планшет и откинулся на подушке, обессиленный.

Fais ce que dois, advienne que pourra[1], – пробормотал он.

Пётр Сергеевич умер. В последний путь его провожали коллеги и семья. Он был похоронен именно так, как хотел – в уютном местечке, рядом с плитой из оникса и под старым вязом. Имей он возможность увидеть это со стороны, он бы улыбнулся сейчас. Хотя все, особенно его жена и

[1] Делай что должно, и будь что будет (фр.).

дети, были скорбны. Жена плакала, прижимая к лицу белый платок в разводах туши, дети стояли печальные вокруг в своих смешных пальтишках, так вполне и не осознавшие, что произошло.

Егор, считавшийся ошибочно его близким другом, сказал обычную в таких случаях речь: о том, каким удивительным, особенным, талантливым человеком был покойник, безвременно покинувший мир. Из его речи выяснилось, что Петра Сергеевича все очень любили, высоко ценили, и вообще – он был лучшим из лучших.

После все пошли за стол – пить вино, водку, коньяк и вкусно есть. Хороший стол, конечно, не мог никому заменить Петра Сергеевича, но это хоть какое утешение. Да и как приятно – выпить в узком кругу породнённых горем!

А Пётр Сергеевич лежал в одиночестве, в темноте и полнейшей тишине. Сквозь закрытые глаза и толщу земли он смотрел в пасмурное небо, окружённое сходящимися вековыми липами. Наступала зима, задувал холодный ветер и моросило дождём со снегом. Незабудки совсем пожухли и выстлались по земле – до весны.

Но в одной из бесконечного множества параллельных вселенных, отделённой от нас незначительной случайностью – всего лишь другим выбором положений некоторых молекул в больном теле Петра Сергеевича – он выздоровел. Он болел долго, две недели борясь с призраками на грани жизни и смерти. И победил. Но полное выздоровление было длительным – прошли месяцы, прежде чем он смог без посторонней помощи дойти до ванной. За время болезни он исхудал и ослаб, и превратился в карикатуру на того пышного, здорового и большого Петра Сергеевича, каким был прежде.

Жена первое время много плакала, сидя перед ним, но постепенно успокоилась и всё чаще улыбалась, уверившись, что он от неё никуда не уйдёт. Дети вели себя поначалу тоже неуверенно, но потом, по мере улучшения, стали с ним обращаться как с прежним папой – рассказывать ему всякие глупости, целовать в небритую щёку и пытаться прыгать на нём, несмотря на протесты мамы. А самая младшая приходила перед сном читать ему книгу, чтобы ему хорошо спалось, но поскольку читать она ещё не умела, читать приходилось самому. Спал он со всякими мягкими игрушками – свинками, мишками и зайчиками – чтобы никого не обидеть.

Его навещали коллеги, приносили гостинцы и цветы. Начальник подразделения заверил его, что рабочее место Петра Сергеевича ждёт его выздоровления, и что вообще все ждут его, и намекнул, что можно обойтись без оформления больничного.

Егор пришёл без гостинцев, но сидел долго, пил чай и ел конфеты. К сожалению, как объяснил он, вернуть деньги за место на кладбище не получится. Но и место сохранить оказалось невозможно – пришлось перевести под хозяйственные нужны, там теперь будет стоять будка с инвентарём.

Пётр Сергеевич слушал в основном молча из-за слабости, иногда односложно отвечая. Мысли его были далеки и от работы, и от связанного с ней кладбища, и вообще он не был уверен, что после выздоровления вернётся на прежнее место.

Люк ГРЮВЕС

Из книги «НЕИЗБЫВНОЕ»[1]

Перевод Анастасии Андреевой

От переводчика: Люк Грювес (родился в 1953 году в Кортрейке, Западная Фландрия; живет в Хасселте, Бельгия) вошел в нидерландскую литературу уже в 70-х годах. С тех пор было издано более двадцати книг стихов, прозы и эссе. Некоторые стихи переведены и изданы на французском, испанском языках и на языке африкаанс. Публиковался в трех важнейших антологиях нидерландской поэзии (Йозефа Дело, Геррита Комрея и Илиа Леонарда Пфейфера), лауреат престижных премий.

Критики относят Грювеса к неоромантикам. Его произведения очень личностны, они наполнены ощущением трагичности и скоротечности жизни. Но поэт раскрывает и красоту, и волшебство этого мира, противопоставляя их несовершенству и временности. А тонкая ирония, часто свойственная его стихам, не позволяет прорваться пафосу и, как бы удерживая на некотором расстоянии от темы произведения, на самом деле помогает увидеть все более полно и отчетливо. Это поэзия многогранного восприятия мира, улавливания тончайших нюансов и оттенков, в том числе и на эмоциональном уровне.

Для меня еще дорого в его поэзии то, что это всегда искренний, задушевный разговор поэта со своим читателем. Так что в какой-то момент читатель невольно начинает чувствовать, что и его самого – понимают. Что не только он читает эти замечательные стихи, но и стихи заглядывают в его душу и будто читают о его жизни. И, наряду с эстетическим удовольствием, дарят утешение и поддержку.

Таласса, Таласса

Считается, что умирающих не судят, что им видней.
Они слегка всплакнут и, обретая почву под ногами,
дают предать себя земле. Но что если я вспоминаю,
здесь, сейчас, ее и как она ушла так много лет назад?

Как бабушка, уже совсем беспомощна и слабоумна,
ни на секунду не могла смириться с тем, что все ее
покойники мертвы. Из носа струйкой кровь. Из ниоткуда
вздох. Шепчу ей на ухо: *Ты еще здесь?* О да, конечно, да, –

[1] Luuk Gruwez. De eindelozen. Amsterdam: De Arbeiderspers, 2015.

ракушка рта, в которой раздавался шум морской волны.
Море, музей воды, я тебя слышу, море, говори.
Тогда мне приходилось ее хрип переводить. В то время
как под ее окном больничным неторопливей, чем обычно,

струились воды милой Лейе к другим, еще обширней
и гостеприимней, водам, – в то время кашель, всхлипы, стоны
меня ее лишали, и ее – меня. Потом вдруг все
прерва́лось. Не осталось ничего. Одно лишь море, море.

День последнего стихотворения

это последнее стихотворение одиноко[1]
Брейтен Брейтенбах

В день последнего стихотворения тишайшие из нас
еще едва лишь овладеют речью. Теперь,
когда ничто не терпит отлагательств, некто Люкас
будет в отчаянье просить руки, допустим, Лиз,

Челси или Анны, и одолеет всех тоска
высокая, как башня. В день последнего
стихотворения последнее стихотворение
устроится в радушной нише рта,

пока высотники с косматыми бровями,
с морщинами на лбу от беспокойств,
на лестницы длиннющие забравшись,
будут буравить вереницу облаков.

Это свершится в день последнего стихотворения.
Тогда вернутся динозавры и моллюски,
пусть даже вымершие в меловой период,
в те времена еще стихов ни сном ни духом

и не было печальных слухов о том, что
исчезновения не избежать. А дальше
девочка, обычная девчушка с косичками,
поднимется и вслух прочтет, как все:

«мама – мыла – раму», но, если
рядом никого не будет, ей станут петься строки,
которые заставят замолчать любого, и после этого
поэзия начаться сможет снова. И снова.

[1] *die laaste gedig paar nie* (африкаанс) – слово «рааг» дословно переводится как «не имеет пары, не вступает в брак».

Баллада о бомбе

Я – бомба, я скоро упаду на домик
Йонаса, на голову влюбленной Эвелины
или красавицу Элен с ее младенцем.
Прошу знакомиться с моим искусным свистом,

секущим воздух, в котором воронье орет.
Моя задача – смерть, я никого вниманием
не обделю, и ни одной стене не уцелеть.
После чего я неподвижно лягу, и сначала

раздастся вопль, затем удушливая тишина
наступит, и вот, я – бомба, которая упала.
С высот небесных я обозревала соборы,
казармы, госпитали, луна-парки, зоопарки.

Ибо могу я мыслить, потому что всемогущий
и вездесущий такую мне возможность даровал,
пока я падаю. И вот я размышляю: почему?
А главное, с чего вдруг я, какая-то там бомба?

Когда неплохо справляются вулканы и торнадо,
землетрясения и даже то, что всякой осени
присуще или, скорее, милой, милой весне,
чья беспощадность не оценена вполне.

Что мне нужно сделать, чтобы увидеть море

Мне нужно душу пеликана покорить,
изматывать себя, воображая,
как чайки кружатся над головой
пока вдали не исчезают.

Услышать в раковине уха твоего,
когда нашепчет ветер давние стихи
или прошелестит просоленным бельем,
точно фольгой или уступчивой волной.

Мне нужно воздухом из дирижаблей
и надувных шаров наполнить
чахоточные легкие, но прежде –
такое смочь, что не под силу никому.

Лишь так, возможно, я смогу увидеть
море. Пока я пребываю в тишине,

оно под звездами себя врасплох застать
позволит в едва ли приручаемой воде.

Парикмахер

Не знает он, кем населен мой череп,
и ножницами и машинкой для бритья
он добивается того, что все они
без промедлений в такую даль сбегают,

где лучше бы жить вовсе без меня.
Так медленно молчит мой парикмахер,
что слышно, как вскипают в нем вопросы.
О, те вопросы мне он не задаст.

Но с кресла я встаю и ощущаю
себя обкорнанным и выспрошенным вдрызг.
Взмывает мой последний ангел: видишь,
он разбивается о зеркала стекло.

Месяц ангелов

Декабрь. Обнажает лунный свет
ту, что танцует перед нами
под гимн рождественский, она бледна
смертельно, и после, туфельки
держа в руке, нас покидает.

Декабрь, старший месяц, он
наполнен «было» и «сейчас»,
о будущем так мало нам
известно, что декабрит
вовсю и повсеместно.

Декабрь месяц, и ему
сил не хватает там и тут
отправить год в последний путь.
Дни истонченные, как
незабудковое «не – забудь».

И я пишу о декабре.
Он полон ангелов сусальных,
он полон тем, что происходит,
а будущее не известно.
И декабрит. И здесь, и повсеместно.

Сюрпляс[1]

И вот я здесь, но чтоб уйти на мили
вглубь собственного сна, он мне необходим,
в том сне, на время отдалившись от себя,
смогу приблизиться к всесильным матерям,
у них кипят не так, как дома, страсти
и все друг к другу обращаются на вы.

Я здесь, чтобы уйти от суеты
снаружи и внутри меня,
остаться между дольним и бездонным,
где к небесам подвешен транспарант,
на нем написано «С тебя довольно».

Я здесь, но чтобы окчазаться дома,
когда опустится на Бевер мягко ночь,
сравнимая по нежности с пыльцой,
сахарной ватой или снежной пудрой.
Я лишь затем здесь, что хочу отныне
быть вне *откуда* и *когда.*

[1] Сюрпляс – название маленькой гостиницы для поэтов при культурном центре (расположенном в бывшем аббатстве), находящемся во фламандской деревне Бевер. В этой гостинице каждая комната посвящена одному из ведущих современных фламандских поэтов. В комнате Люка Грювеса представлены его книги, а на стене висит это стихотворение. Название «Сюрпляс» метафорично. В велоспорте – (франц. ***surplace*** – букв. «на месте») – это трюк, используемый гонщиками, когда они балансируя на велосипеде, не опираясь ногами о землю, стоят на месте. Так годами удерживает равновесие этот культурный центр на границе Фландрии и Валонии, его стены дышат покоем, и время будто остановилось.

Евгений ХОРВАТ

ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО

Публикация, вступление Владимира Орлова

Пандемия! Самое время заняться архивами, чтобы проверить, не завалялось ли в них что-нибудь прекрасное. И оно завалялось.

Рассказ «Из всех искусств» был получен от Игоря Бурихина вскоре после выхода книги Евгения Хорвата «Раскатанный слепок лица»[1]. Это объясняет, почему он не попал в книгу, но не объясняет, почему я о нем забыл. Рассказ этот, как следует из надписи автора на нем, является пробой к другой, «большой» прозе под названием «Ready-tan»: «Дорогой Игорь, вверяю твоему беспристрастию сиё испражнение неопытного пера – заготовка к нем[ецкой] книге больше по сюжету, чем ритмом письма». «Ready-tan» для публикации в «Раскатанном слепке лица» действительно пришлось переводить на русский с немецкого, на который окончательно перешел автор в начале 1990-х. «Из всех искусств» же написан еще по-русски, этим (но не только этим!) и интересен.

Публикуемые вслед за рассказом стихи Хорвата ожидаемо нашлись в фонде Константина Кузьминского из архива Русского центра колледжа Амхерст (США). Ожидаемо – поскольку упоминались в письмах автора к Кузьминскому, опубликованных в знаменитой антологии последнего «У Голубой Лагуны». Однако при жизни Константин Константинович найти их у себя дома не сумел. Разбирайте архивы вовремя!

Из всех искусств

Николаевов проснулся, как он раньше острил, в посттеле, в комнате, вглядываясь постепенно в усеянное каплями стекло перед ним и то, что за ним. И обмер, подскочив на локоть: красная длина, растянутая метров за 30 отсюда – лозунг – была...

хух – втянул в юзасе Николаевов, ощущая живот с беззвучно разрастаявшей темлотой.

«ДА ЗДРАВСТВУЕТ ИИСУС ХРИСТОС» – стояло на лозунге. Было небо, стена здания, окна. Николаевов бросился.

---

[1] Евгений Хорват. Раскатанный слепок лица. Стихи, проза, письма. Сост. и коммент. И. Ахметьева и В. Орлова. – М.: Культурный слой, 2005. – 488 с.

Евгений Анатольевич Хорват (1961–1993). Поэт, прозаик, художник. Родился в Москве, с 1976 жил в Кишиневе, где посещал литобъединение «Орбита». Со школьных лет публиковался в местной периодике. В 1980 вместе с матерью и сестрой перебирается в Петрозаводск. Тогда же задержан органами КГБ Ленинграда за распространение антисоветских листовок, после чего вся семья подает документы на выезд и в начале 1981 эмигрирует в Германию. Некоторое время работал на радиостанции «Немецкая волна». В 1988 закончил Гамбургский университет (диплом по теме «Философия общего дела Н. Фёдорова»). В мае 1985 прекратил писать стихи и затем занимался в основном визуальным искусством. Покончил с собой в г. Хенштедт-Ульцбург, под Гамбургом.

Выкрутившись из постели, натянув в спешке штанину, штанину... да нет, наоборот... штанину, и на футболку свитер... ах, ты! – Николаевов бросился через коридор к двери, схватил медную ручку, сжал и... Нет, момент. Так.

Николаевов всё ещё нервно отдёрнул руку от готовившейся повернуться круглой ручки и глянул вниз. Под взглядом тело его побежало по самому себе: от груди до ног. Они стояли на полу. Николаевов заметил это, это бросилось ему в глаза. И босиком, а сапоги-то – в двух шагах! наскоро натянуть... нет! Николаевов успокаивался и решительно тряхнул головой. Головой. И потом сдержанно, воздержанно прошёл к умывальнику. Зубы.

С торчащей щёткой Николаевов поднял глаза и впервые встретился с изображением сегодняшних суммы ощущений. Глаза в зеркале вспомнили ему, что ведь каждый день он встаёт сперва помолиться, а зубы после. Чуть не прокусив щётку... но нет, юноша, не так уж поспешно! – наскоро поводив ею, зубастый Николаевов выплюнул всё и от раковины – прямо к лампадке. Боми-бу-ми-му-го-бо-по-мя... – застрочил Николаевов и через полминуты осёкся на нощи сей сон прейти в мире. Таковые-то утренние молитвы изумили Николаевова, который почёл за лучшее благоговейно перекреститься и замолчать. Нарушение положенной последовательности событий вконец спугнуло бы Николаевова, если б не сознавал он правильно, что она в его воле: в неволе.

Закрыв многоэтажный дом дверью, Николаевов для начала, поёживаясь, уставился в кустики, в край досок, обносящих песочницу, в плетёную проволоку дворика, между зеленоватым... каким-то серым... в миг проплывшим, смешиваясь, вниз под взглядом Николаевова и обрубилось. Красным лозунгом – содержания как выше.

Убедившись, Николаевов прошёл мимо дворика и пошёл по улице, всё мимо окон верхних этажей и потом вновь первых-вторых, дверей, проёмов, чтоб не споткнуться – и потом опять пятнадцатых, двадцатых, шёл он безо всяких деталей, подробностей, в этом не было никакой убедительности, никакого художественного капитала. Всё вокруг Николаевова было описано столь небрежно, что когда взгляд его наконец наткнулся на ещё один плакат, то воспринял его уже по-домашнему уютно на уровне четвёртого этажа, взятым в окаймляющую гирлянду медовых лампочек:

«СЛАВА БОГУ!»

Николаевов независимо, как бы невозмутимо прошёл дальше – но через несколько шагов его остановило как вкопанного. Вкопанного. С усилием он повернулся и заново, по складам вчитался в лозунг. Ага... ага. За какой же это я теперь заграницей, попробовал пошутить про себя Николаевов. Он двинулся дальше, завернул за угол – и вот на площади, далеко ввысь над фонарём:

«БУДИ ИМЯ ГОСПОДНЕ БЛАГОСЛОВЕННО ОТ НЫНЕ И ДО ВЕКА!»

Это что же, пародия на Рай? – ошеломленно пролепетало в Николаевове.

Ладно. Дальше.

Ошеломленно пролепетало. Вот именно, вот и... Николаевов не мог сообразить ничего помимо снова нарастающего восторга. Да, это Москва, Москва! Что же раньше нам ничего не говорили! Вот оно как! Царство Божие. Я что же, внутри себя?

Рядом была автобусная остановка. Не зная зачем ехать, Николаевов очутился рядом с нею – и неожиданно защипало ему глаза расписание:

9^{08} Рождество Пресвятыя Богородицы
9^{14} Воздвижение честнаго и животворящаго Креста Господня
11^{21} Вход во храм Пресвятыя Богородицы
12^{25} Рождество Господа нашего Иисуса Христа
13^{06} Крещение Господа нашего Иисуса Христа
14^{02} Сретение Господа нашего Иисуса Христа
15^{25} Благовещение Пресвятыя Богородицы

Всё расплылось в мире Николаевова, он не успел дочитать. Но тело его было ещё формным, и он невольно вдруг схватился за своё имя и твёрдо причитал его: Николаевов. Вдруг выглянуло округлое как комок теста солнце, сквозь Николаевова моментальное затмение приглянувшееся луной. Какой язык? язык какой? – силился лбом Николаевов. Встряхнувшись и забыв, чего он хотел, он обошёл столб расписания, где оно с другой стороны продолжалось:

16^{06} Преображение Господа нашего Иисуса Христа

16^{15} Успение Пресвятыя Богородицы

– вернее, оканчивалось. Николаевов отошёл от остановки и пошёл насквозь уже по всему городу. Он входил в какие-то подъезды, где двери подвалов и кладовых на висячих замках подавались под его лёгким, но точным прикосновением; и вот он оказывался на всё новых улицах, возвышающихся и разливающихся вдоль... И чем высотнее захватывают дух этажи алмазно сверкающих зданий, тем крупнобуквеннее плакаты:

«ПОМИЛУЙ НАС ГОСПОДИ, ПОМИЛУЙ НАС!»
«ЧАЕМ ВОСКРЕСЕНИЯ МЕРТВЫХ И ЖИЗНИ БУДУЩАГО ВЕКА»
«ВСИ СВЯТИИ ЗЕМЛИ РУССКОЙ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!» «ГОРЕ ИМЕИМ СЕРДЦА»

Кружевами точились фонтаны, автомобили шли косым потоком – но пространство пересекалось Николаевовым легко, свободно, не убыстряя шага и не глядя по сторонам. Иногда только Николаевов выпивал у киоска стакан лимонада или газировки, придающий ему невиданную силу; шутил насчёт денег, лез в карман за воображаемым медяком... Людей на тротуарах было больше, чем раньше, и прибавлялось на глазах, но рос и простор, и от этой ровности соотношения в ушах стояло мощное гудение, героическое как в пору войн, катастроф, концов. Николаевов видел взгляд каждого, все знали друг друга по имени – а что же, это нормально, не так уж имён и много. Ульрих, ты не знаешь, это Москва? – невзначай обратился он к проходившему пожилому господину. – Да, Николай, Берлин, – подмигнул тот ответно. Так это вот как, – ещё раз радостно качнулось в Николаевове, – ну конечно, а как же ещё? как же раньше мы до этого не додумались.

Вдруг рывком достигло пика колебавшееся прежде предчувствие, что за этими рядами строений – горы. Воздух был не просто свежим, а каким-то переменившимся, и сладкий тёплый ветёр иногда охватывал Николаевова. Некое дуновение шло и от людей, – когда он к ним приближался – ладан, снег, сахар? Уже просто насквозь пройдя мягкий слой бетона, Николаевов взглянул и снова опомнился. Да, это были горы, но горы воздвигнутые, воздвигнутые из непривычно-бледно-розового и белого камня, инкрустованных перламутром, подножиями лишь немногим шире вершин, – гигантские сталактиты. Это был памятник, монументальная группа – Николаевов благоговейно всмотрелся – три праздника: Вход Господень во Иерусалим, Воскресение Христово и Вознесения. Правая гора была фигурой на осле, представляя собой довольно классическую для памятников композицию. Левая начиналась одновременно в небе и в земле, и кончалась там же, что тоже просто. Николаев<ов> успел окинуть её лишь краем глаза, поскольку взор сразу же приковался к центральному, наиболее развёрнутому памятнику Воскресения Господа Нашего Иисуса Христа с белоснежной, высеченной в глубине искрящейся аббревиатурой ГНИХ в пышном чёрновишнёвом обрамлении. Там не было движения, и этот покой, страшнее всяких молний, ужаснул Николаевова и разом поставил его на место.

Вдруг устал и, ходя по улицам, избегал видеть по сторонам. Бедный Николаевов, разом трезвый и угнетённый, сгорбился, стал ломиться: егда приидеши во Царствии Твоем – помяни мя, Господи Иисусе Христе. За другим один зажигаться фонари начали, было светло ещё хотя. Пошёл дождь? Николаевов обнаружил себя посредине строительной площадки, где бугры образовывали впадины. Какие-то марли, шланги, а вот бутылочки с масляной жидкостью на костяной доске. Друг против друга стояли два снятые с колёс вагона, из двери одного торчал канат, и Николаевов подтянул его и вставил в проём другого вагона. Дедушка! – вскрикнул он, всмотревшись в одно из

жестяных плотно закрытых вёдер, и ласково провёл дрожащей рукой по овальной крышке. Горки серой извёстки, бледные дощечки окружили Николаевова.

– Ты, пиздюлина, куда залез! – К Николаевову скорым ходом приближался рабочий. Николаевов не успел ответить, как тот схватил его всей рукой за нижнюю часть лица и пхнул от себя. Николаевов повалился, какое-то железо дало ему по голове над ухом, ободрал локоть, в глаза и рот попал песок. Но это было не всё. Николаевов, боязливо сжимаясь, поднялся, ухватившись для опоры за врытую в землю балку. Рванув с треском его свитер, рабочий привлёк его к себе и со злобой выговорив:

– Я тебе говорю, не трожь эти кости! –

коротко замахнулся. Оглушаемый ударом, Николаевов осознал, что тот ему чуть заметно, ободряюще, подмаргивает обоими глазами – держись, мол. И, уже падая – что от него вблизи исходил всё тот же чудный, сладостный запах, как от плащаницы в Страстную Пятницу. Николаевова потащили, и он весь отдался трению мелких камней, осколков, прожигающихся целыми галактиками сквозь хлопок штанов. Ну, вставай давай – приказали сверху и силой начали поднимать. Уже на ногах Николаевов различил двоих – того же рабочего и хмурого костлявого другого, как видно прораба. Чтоб тебя здесь не было, – отчётливо пробормотал прораб, и, выводя Николаевова за забор, добавил: здесь нельзя копаться. Инструкцию видели? – Какую... – прохрипел Николаевов, но тут опять появился рабочий: да гони ты его в шею! И действительно, он подошёл к Николаевову сзади и своей широкой ладонью влепил Николаевову ниже затылка. Споткнувшись, Николаевов упал в третий раз, но лишь на секунду. Рабочие исчезли за забором. На нём, действительно, была какая-то инструкция, бумажка, прикнопленная под прозрачной клеёнкой. Надписи было не прочесть из-за темноты и грязи. Николаевов трясущимися руками достал спички, отёр рукавом клеёнку и стал читать:

«Господь пасет мя, и ничтоже мя лишит. На месте злачне, тамо всели мя: на воде покойне воспита мя. Душу мою обрати, настави мя на стези правды имени ради Своего. Аще бо и пойду посреде сени смертныя, не убоюся зла, яко Ты со мною еси: жезл Твой, и палица Твоя та мя утешиста. Уготовал еси предо мною трапезу сопротив стужающим мне: умастил еси елеом главу мою, и чаша Твоя упоявающи мя яко державна. И милость Твоя поженет мя вся дни живота моего: и еже вселитимися в дом Господень, в долготу дний».

Звенели колокола, блестя златотканными шинами, во многоэтажных деревьях празднично горел газ. Было глубоко. Всё как хочешь, так и есть, понимал Николаевов, слова теперь ноль, и те на стройке говорили и делали совсем другое. И били они меня только потому, что я это так понял. Чтобы я понял, сентиментальничал с собой Николаевов.

Повсюду пелись песнопения – об ангелах, о брани с Сатаной, о предстоящем Воскресении: «в царство свободы дорогу грудью проложим себе», «за лучший мир, за святую свободу», «вы жертвою пали» вечернюю – слышал Николаевов уже дома из радиоприёмника, опустив голову на руки на стол на пол на дом под ним на землю на небо под ней. Ангельские хоры, за ними поля, туманы, рощи, ночные влажные поля боёв, смертей за веру в великое дело. «Царю Небесный» – проговорилось Николаев<ов>у – «Утешителю, Душе Истины» – всё с больших букв, чем дальше, тем огромнее, и он лёг и стал вжиматься, вживаться в постель, уплощаясь, выжимая из себя остатки пространства, продираясь сквозь простыню и матрас в сон, зная, что этим видом транспорта можно уйти, очнуться в новом теле в дальнем времени, взлететь на другую звезду – так, чтобы, заглянув в комнату, нашли только «ризы лежащя».

Не знаю, чем я не угодил моему герою, спроецировав внутренний его мир на внешний. Конечно, от такого оборота событий человек теряется, как если бы ему поутру предложили в зеркале вместо черт лица, например, кишечник. Во всяком случае, заснуть достаточно глубоко ему в тот раз удалось или не удалось.

1/89

Стихотворения из архива К. Кузьминского

***

В соснах заблудившись трёх,
прервав тривиальный трёп,
ты видишь одну из троп
от стула к ней:

не глядя, тот камень пнуть,
тебе преградивший путь,
потом, не споткнувшись об
один из пней,

рукой отведя ту ветвь,
нагнуться, где низкий сук,
другой вырубая свет, –
и, молнией новых брюк

(неужто сейчас заест? –
сдержав облегченья вздох –)
сверкнув, как второй Зевес,
прижаться... но что-то вбок,

куда-то во тьму пролив,
ни ей, ни себе не дашь
войдя в тот воздушный лифт,
на этот взлететь этаж.

***

Полюбив меня прошлой зимой,
но ни лавров, ни терний
не пожаловав, вспомнишь ли мой
тенорок характерный

в дни разлуки? За твой интерес
лишь к тому, что так бренно и тленно,
– вот тебе мой безжизненный текст
вместо крепкого члена!

Декабрь 1981

***

Там больше братских могил, чем стран.
Там вечный огонь горит, как т а м,
да в нем – никого.
И бес, возлагая венок и газ
сильней разжигая, не спросит вас, –
ну что? каково?

Там Церковь взорвана изнутри,
и не на Кресте горит INRI,
но – КПСС
на каждом лбу и, увы, – лобке!
И у жида не гвоздь в кулаке,
но лишь о б р е з.

Чего подлез ты ко мне, мудак, –
когда, мол, кончится, мол, бардак?!
НЕ КОНЧИТСЯ НИКОГДА.
Кустарь доволен. Технарь несмел.
И даже самый большой нацмен –
отчаянная пизда.

Спасибо, Боже, что не дал вервь
порвать нам. Ибо мы раб и червь.
Спасибо, что мы – не Ты,
что нас, когда мы ни в зуб ногой,
простит Который-нибудь другой
с такой высоты!..

9.10.1982

***

Чернота белизны этой талой,
желтизна этой зелени палой –
всё, что впалой тебе не вдохнуть,
не собрать и не сжать в пятипалой.

Потому и собравшись бежать,
мстишь природе, в которой лежать:
твоего ей не выдохнуть слова,
не рассыпать его, не разжать.

15.10.1982

Из «Василисок»

На боку себя в перья зароешь,
И уже не в себе воплотишься,
А сожмёшься во тьме, как зародыш,
Да и вправду ещё зародишься.

Вот и сердце в крови потонуло
И всё больше под ложечкой веры,
И уж если на «И» потянуло,
То утянет в грядущие еры.

...Это будет беззвучная мягкость
В опрокинутом образе Рыка,
И зима там цветнеет, как лакмус,
Но покойника первого крика

Мы не слышим, как Мать в умиленье,
Что у райской стоит колыбели,
Где родятся в самом Искупленье,
Как при жизни в церковной купели.

26 окт. 82

Из «Улик для ада»

Когда берёт Левиафан
Тебя в тиски, –
Сквозь мозг ползёт ещё туман,
Пески, пески,

И с ними выползаешь из
Своих телес,
Как Богу этакий сюрприз,
Под свод небес.

В мозгу действительно серо,
И Дарвин прав, –
Но вылезаешь, где светло,
Как червь и раб.

И Царство Божие кишит,
И дождь идёт,
Пока земля уже лежит,
Ещё падёт.

31 окт. 82

***

Я дверью стучал, так долго, что я
почти не заметил, как время прошло.
И вот я снаружи увидел, как я
увидел всё то, что в ложбину вошло.

И я закружился на чёрном столе,
с чужой головою и членом в петле.

От той-то межи, от тех соловьёв,
что изредка лезут в промежность меж всем,
что вьётся в тумане, что твой долбоёб,
что входит из леса, когда я не ем.

Прости, не скучай. В клозете кончай.
И зорким коленом живот примечай.

Рассказ мой окончен. Ложбина ползёт
по тем облакам, что не снились тебе.
Клозет провалился. Промежность грызёт.
Перо соловьёв присыхает к губе.

Читатель, бодрись! К туману стремись!
Столом прикрывайся и с другом ебись.

1984

Михаил БАРУ

«ЖИВЯ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА В ОТДАЛЕНИИ...»

Пудож

Историю Пудожа, как и любого другого русского города, нужно начинать с первого упоминания в летописях, берестяных грамотах, каких-нибудь приходно-расходных книгах монастырей, духовных, закладных, накладных... Есть и берестяная грамота, как не быть, да только история Пудожа особенная – ее надо начинать с петроглифов. Правду говоря, петроглифов, которыми было бы зашифровано в виде пляшущих человечков или медведей с оленями название города, не найдено. Собственно, и эти петроглифы в тридцати верстах от того места, где теперь находится город, но...

Начнем все же с самого начала. Вернее, с середины девятнадцатого века, когда хранитель минералогического музея Академии наук в Санкт-Петербурге Константин Гревингк, путешествуя по Архангельской и Олонецкой губерниям, обнаружил в Пудожском уезде, на берегу Онежского озера, выбитые на прибрежных гранитных валунах изображения животных и людей. Скорее всего, он бы их не обнаружил, если бы ему не подсказали местные жители места обитания всех этих птиц, рыб, деревьев и людей. Так или иначе, а он их нашел на мысах под названием Пери Нос и Бесов Нос. Радиоуглеродного метода определения возраста подобного рода находок тогда не существовало, а потому можно было на предмет происхождения петроглифов строить самые различные гипотезы, что ученые с большим удовольствием и делали. Теперь все куда скучнее – известно, что петроглифы родом из мезолита и им отроду от шести до семи тысяч лет. К инопланетянам они никакого отношения не имеют, хотя самый большой из них, называемый бесом, носит на плечах квадратную, как у телевизора, голову и смотрит на мир глазами размером с розетки для варенья. Вообще, всех петроглифов уже найдено больше тысячи – тут тебе и собаки, и лебеди, и медведи, и ящерицы, и стерлядь, и налим, и мужчины, и женщины, и луна, и солнце на тонких стебельках, и длинные лодки с гребцами, похожие на облысевшие зубные щетки, и просто треугольники на ножках, и даже православный крест, которым в четырнадцатом веке неугомонные монахи близлежащего Муромского Свято-Успенского монастыря на всякий случай заклеймили беса.

Между прочим, беса нужно кормить. Таков обычай, как сказал мне гид. Пришел к нему – покорми. Хорошо, что тешить не заставляют. Процедура кормления состоит в том, чтобы в щель, которая проходит через все тело валуна, на котором бес выбит, запихнуть какой-нибудь еды. Я затолкал туда немного хлеба, немного докторской колбасы и кусочек огурца, а гид... Не будем, однако, отвлекаться от петроглифов. После их открытия Гревингком оказалось, что незадолго до него петроглифы открыл учитель петрозаводской гимназии Петр Швед, о чем и написал статью в журнал Русского географического общества. Ему, как и Гревингку, местные крестьяне рассказали легенду о происхождении онежского беса. Только по Гревингку «В народе ходит легенда, будто бы много-много лет назад здесь обитали черт и его жена (бес и бесиха), и они удостоверили свое пребывание здесь в странных фигурах на скале. Но тут пришел живой Христос и истинная вера, и он якобы поставил кресты на дьявольских картинах. Злые духи должны были немедленно уйти: они хотели, отправляясь в путь, взять с собой на память о своем любимом месте часть скалы, но при исполнении своего намерения они обрушились вместе с блоком скалы в озеро и утонули»[1], а по Шведу у бесов была дружная и крепкая семья, но черт дернул беса перенести свой дом подальше, и он потащил на веревке мыс в озеро, но смог оторвать от скалы только небольшой угол, упал

вместе с ним в воду и утонул. С тех пор жена беса живет на скале одна. Кстати, ученые тоже думают, что оставшийся бес этот женского полу, поскольку ноги у него расставлены так, как у рожающей женщины. И вообще в неолите рисовали все как есть. Мужчину и рисовали вместе со всем, что ему полагалось – не только с каменным топором, копьем и луком, но и с морковью. После открытия петроглифов началось их неспешное, как и все в позапрошлом веке, изучение. Власти тоже заинтересовались находкой. От имени олонецкого губернатора был сделан запрос о надписях на камнях. Пудожский исправник в начале ноября восемьсот сорок восьмого года посетил мыс Бесов Нос и отправил в канцелярию отчет, в котором сообщал о том, что из-за сильного волнения на озере и мороза ни одной фигуры он увидеть не смог, а крестьяне, как он их ни спрашивал, так и не вспомнили, хотя и старались, кто и когда петроглифы на камнях выбил. Летом следующего года пудожский уездный землемер часть рисунков скопировал и отправил в Петрозаводск, в губернаторскую канцелярию. Там их след затерялся. Ученые тем временем строили гипотезы. Один считал, что петроглифы дело рук племени самоедов, обитавших в этих местах в незапамятные времена, другой – что самоеды здесь ни при чем и Бесов Нос был местом, где лопари, чудь и проезжавшие мимо новгородские ушкуйники приносили жертвы, чтобы умилостивить богов – каждый своих. Третий утверждал, что местные финские племена до петроглифов своим умом дорасти не могли и скорее всего это дело рук более развитого новгородского племени, которое жило на берегах Онежского озера в незапамятные языческие времена. Приезжали посмотреть на петроглифы ученые шведы из Стокгольма и привозили с собой ученого англичанина из Кембриджа. Приезжали и другие, но никому из них и в голову не пришло петроглифы забирать с собой, поскольку они были выбиты на огромных гранитных валунах. В девятьсот тридцать пятом году, однако, это случилось – четыре фрагмента скалы с мыса Пери Нос перевезли в Эрмитаж. Понятное дело, что скала просто так не сдалась – пришлось ее взрывать. Во время взрыва уничтожили целую сцену, изображавшую рождение ребенка. Самый крупный фрагмент из привезенных в Эрмитаж теперь представлен в экспозиции музея. Этот зал посетители обычно пробегают не останавливаясь, чтобы сэкономить время, отведенное на Рембрандта и Тициана.

Увы, Пудожскому краеведческому музею не обломилось (ни в прямом ни в переносном смысле этого глагола) ни одного кусочка, на котором были бы изображены петроглифы. В зале, посвященном петроглифам, стоят в рамках фотографии с бесом в натуральную величину, ящерицей, лебедями, лосями, лодками и собаками. Тем, кому этого мало, покажут четырехминутное кино на экране компьютерного монитора.

В две тысячи восьмом году археологом из Петрозаводского государственного университета Александром Жульниковым были случайно, во время экскурсии, открыты почти два десятка новых петроглифов. К счастью, они оказались уже на отколотой каменной плите, лежавшей под корнями упавшей сосны. Пудожский музей не стал терять время даром и быстро эту плиту отвез к себе. То есть сначала Пудожский РОВД изъял у археолога его находку, поскольку тот не имел открытого листа на проведение раскопок, а потом уже плиту отвезли в музей. Плита была большая, и пришлось даже разбирать часть стены, чтобы ее поместить в экспозицию, но... Жульников от своей находки не отступился и в суде стал доказывать, что ее необходимо отвезти туда, где петроглифы можно исследовать, а в Пудожском краеведческом музее условий для исследований нет. То есть не просто нет, а нет совсем. Вмешались другие археологи, считавшие, что Жульников неправ, вмешалось министерство культуры Карелии, разразился скандал, потом состоялся суд и... мировой судья постановил, что плиты с иероглифами Пудожу не принадлежат. Теперь в Пудожском музее стоят, прислоненные к стене, фотографии петроглифов в рамках, а сами каменные плиты находятся в Петрозаводске, в Национальном музее республики Карелия.

Оставим, наконец, петроглифы и перейдем к берестяным грамотам. Авторы петроглифов, как говорят ученые, пришли в эти богатые пушным зверем и рыбой края со стороны Урала и верхней Волги. Через несколько тысяч лет, уже в неолите, к ним добавились пришедшие сюда из мест, находящихся между Волгой и Окой. Все эти племена, наверное, как-то назывались, но петроглифы

не иероглифы, а тем более не буквы, и глядя на лосей, собак, рыб и людей в лодках, сложно делать какие-либо предположения на этот счет. К концу первого тысячелетия нашей эры, когда в эти леса начали проникать первые славяне, аборигенов стали называть чудью. Кого только чудью славяне не называли – и весь, и вепсов, и карелов, и... но сейчас не об этом. Сейчас о славянах, которые приходили сюда из Великого Новгорода. Сначала приходили крестьяне, которые основывали новые деревни или подселялись в существующие. Крестьяне приходили сюда не от хорошей жизни – в тринадцатом веке всю Новгородскую землю поразил ужасный голод, ну и постоянные княжеские междоусобицы никто не отменял – сыновья Всеволода Большое Гнездо – Михаил и Ярослав так боролись за новгородский стол, что у крестьян трещали не только чубы. Вот они и решили уйти от всех этих напастей в места, где, может быть, и не текут молочные реки с кисельными берегами, но незанятой земли, рыбы в реках и озерах, всякого зверя в лесах достаточно, чтобы пропитаться. Вслед за крестьянами, которым новгородский князь Михаил Всеволодович разрешил пять лет не платить дань, пришел и сам господин Великий Новгород с купцами, монахами, боярами и податями. Началось в Пудожском крае, как говорят историки, обояривание – всех посчитали, поделили, приписали к разным боярским вотчинам и обложили налогами. В низовьях реки Водлы, впадающей в Онежское озеро неподалеку от Бесова Носа, образовалось несколько погостов, одним из которых стал Никольский Пудожский погост. В погостах были еще и церкви, и потому у них были такие сложносочиненные имена. К счастью, гипотез о происхождении названия города всего две – серьезная говорит о том, что *puvas* на языке карелов означает рукав реки или протоку, а приверженцы несерьезной утверждают, что происхождение свое название города ведет от древнерусского *пуд*, поскольку торговали местные жители пудами ржи, овса, рыбы, дичи и всем, что родит тамошняя земля.

Первое письменное упоминание о Никольском Пудожском погосте содержится в отчете сборщика податей своему господину в Новгород. Найденный в Новгороде отчет написан на бересте и датируется второй половиной четырнадцатого века. Если точнее, то семидесятыми или восьмидесятыми годами. Добрался сборщик до Пудоги как раз в тот день, когда там был праздник под названием *русалий*. Одни ученые утверждают, что праздник не был связан с русалками, водившимися тогда в каждом втором ручье, не говоря о реках и озерах, а представлял собой самое обычное моление о дожде. Другие говорят, что без культа русалок здесь не обошлось. Его устраивали в самом начале лета с целью поднятия плодородия. Скорее всего, крестьяне платили своему новгородскому боярину рыбный оброк, поскольку рожь в тех местах росла, но, в отличие от рыбы, урожай ее был, несмотря на усердные молитвы, очень скуден, а пшеницу сеять даже и не пытались. Подати платили и пушниной – в основном белками и куницами. Все же основным занятием пудожских крестьян было подсечно-огневое земледелие. Сеяли рожь, овес, лен и ячмень. Земли у крестьян было достаточно. Аборигены – чудь и лопари – были кочевыми племенами и земледелием не занимались. Да и не осталось их почти к концу четырнадцатого века – все они обрусели и смешались с пришлым русским населением.

Не на бересте, а на бумаге Пудож был упомянут в первый раз в триста девяносто первом году в Обводной книге Юрьева монастыря, в качестве его олонецкой вотчины. Пудож с самого начала был мирным поселением. Никогда у него не было ни крепостных стен, ни башен, не стоял в нем гарнизон и пушкари со стрельцами не палили из пушек и пищалей по набегающим татарам, ногайцам или черемисам. Впрочем, в эту глухомань ни татары, ни ногайцы с черемисами не добегали. Другое дело москвичи. В середине пятнадцатого века московский князь Дмитрий Шемяка, разбитый другим московским князем Василием Темным, бежал с остатками своего войска на север, а по пути захватил и разграбил маленькую беззащитную Пудогу.

Через тридцать лет после разорения Пудоги войском Шемяки Новгород со всеми своими землями был присоединен к Москве. Земельные владения новгородских бояр (одной только Марфе Борецкой, которую мы все знаем как Марфу-посадницу, в Никольском Пудожском погосте принадлежало около полусотни деревень) перешли к Ивану Третьему, а крестьяне, жившие в деревнях

на этих землях, были записаны в черносошные и должны были платить налоги в московскую казну за пользование землей. Москва умела собирать налоги, и так она их умело собирала, что через сто с небольшим лет московской власти в Пудожском погосте образовалось десять пустых деревень и почти шестьдесят пустошей. Это при том, что медведей с волками в те времена здесь проживало куда больше, чем людей. Деревни тогда дорастали в лучшем случае до молочной спелости. Еще в начале семнадцатого века в Пудожском крае деревень с десятью и более дворами было всего три. Во всех остальных имелось по семь, по пять, по четыре, а то и по три двора. Да и всех-то дворов насчитывалось восемьдесят пять. Проживало в них немногим менее двухсот душ мужского пола, а значит, и всех остальных, включая баб и детишек, никак не более тысячи.

Собирать подати в Никольский Пудожский погост приезжали целовальники и таможенные головы из соседнего Повенца. Само собой, и целовальники и таможенные головы своим служебным положением злоупотребляли и облагали крестьян дополнительными сборами. Мало того, все эти налоговые инспекторы приезжали к крестьянам не на один день собрать налоги и уехать. Как писали пудожские крестьяне в своих челобитных вышестоящему начальству: «...и стоят многие дни человек по десять и больше, и пьют, и едят, и подводы емлют у монастырских и у государевых крестьян всякому человеку по подводе, да под запас подводы ж... и по подводе емлют в обе стороны – от Повенца едучи и назад на Повенец – и в бездорожье лошадей многих замучат»[2]. Способов взимания налогов, если они не были уплачены в срок, у целовальников и таможенных голов было немного – примерно один. Назывался он правеж. «...И деньги имали смертным правежом, и на правеже били и мучали, а в Новгородском-де во всем уезде таких сборов и мучения нигде нету»·[3]. И это не все. Жаловались крестьяне на множество гонцов и посыльных, которые на ямских станциях «емлют без указу кормы и харчи себе многие и крестьян бьют на правеже, и от тех кормов и харчей убытки бывают многие, от того они, крестьяне до конца разорились»[4].

Тяжелее всего приходилось монастырским крестьянам. С них драли не семь, но семьдесят семь шкур. Они обязаны были платить подушную подать, кабальный хлеб, рублевый оброк, пятину, помольные, свиточные, куничные, выводные, свадебные, за косцов, за приказчиков, с водяных мельниц, за конюшенные припасы, за кровельный тес, а кроме того натурой нужно было отдать рожь, ячмень, коноплю, горох, соленые и сухие грибы, малину, смородину, бруснику, чернику, холсты... ~~Теперь-то можно бесплатно собирать валежник, а тогда и этого не разрешали.~~

И все же рыба в Водле и Онежском озере была. Крестьяне Пудожского погоста владели рыбными ловлями на Водле неподалеку от ее впадения в Онежское озеро. Большую часть лососей, сигов, судаков и щук, ежегодно поставляемых в новгородский Юрьев монастырь, ловили именно там[5]. В больших количествах пудожане ловили налимов, иногда огромных, из-за чего получили прозвище меньков-толстоголовиков, поскольку мень или менек – старинное название налима. Низовья Водлы в девятнадцатом веке считались местом, где производились самые большие уловы налима в России.

Раз уж зашла речь о прозвищах пудожан, то упомянем и еще одно – балахонники. Одежду тогдашних пудожан составляли домотканые балахоны и лапти. Балахоны и вообще крестьянская одежда, как правило, была льняной. Лен в тех местах сеяли с незапамятных времен. Правда, северный климат не позволяет ему вызреть, но именно из такого недозревшего льна получаются ткани самой тонкой выделки, которыми в конце девятнадцатого века прославились пудожские мастера и на лондонской выставке...Не будем, однако, отвлекаться и забегать далеко вперед. Вернемся в начало семнадцатого века.

Смута не принесла Пудожу ничего хорошего. Олонецкий край наводнили воровские шайки, состоявшие из поляков, запорожских казаков и просто разного сброда. Двумя самыми крупными отрядами разбойников командовали польский полковник Барышполец и атаман Сидор Острожский.

В декабре шестьсот двенадцатого года воры разграбили монастырь на Муромском озере и соседний Андомский погост, от которого до Пудожа всего семьдесят верст. К счастью, дороги к Пу-

дожу вели плохие, места здесь болотистые, но... Встревоженные крестьяне Пудожского погоста и уезда вместе со своими старостами и целовальниками отправили гонца в Каргополь к тамошнему воеводе Алексею Ивановичу Зюзину с просьбой о помощи, в которой писали «Было-де воров триста человек, а ныне-де к ним идут триста человек... и вам бы господа, нас ворам не подати; а стать бы вместе на литовских людей и засеки, где пригоже крепити, а воров бы в поречья не пропустити...»[6]

Каргополю, который в этом же году несколько раз осаждали поляки и литовцы, было совсем не до Пудожа. Ответа каргопольского воеводы пудожане не дождались. Правда, в шестьсот тринадцатом году в эти места послали воеводу Богдана Чулкова, собравшего под свою команду местных крестьян. Отряд Чулкова сумел отбить поляков, литовцев и казаков, хотевших взять приступом Андомский погост и отогнать разбойников, которые вскоре отошли на Север, к Холмогорам. Правда, часть разбойников откололась от своих основных сил и еще три долгих года не давала покоя своими набегами пудожским и андомским деревням.

С одной стороны, документов о том, что Пудожский погост был разграблен разбойничьими шайками, не найдено, но с другой... половина деревень Пудожского погоста за время Смуты обезлюдела. Впервые на погосте появились дворы бобылей. Всего на погосте в шестьсот шестнадцатом году по данным писцовой книги проживало менее двухсот человек, включая священников и монахов. Оправиться от последствий Смуты Пудожский край смог только к середине семнадцатого века.

Тут бы и написать, что вторая половина семнадцатого века прошла в Пудожском крае тихо и спокойно. Старик ловил неводом рыбу, старуха пряла свою пряжу... Тем более, что рыба в Водле и в Онежском озере по-прежнему была, неводы приходили не с тиной, а с налимами, лососями и сигами, лен рос, холсты ткались и даже корыта... но нет. Москва стала укреплять границу со шведами, от которых настрадалась во время Смуты, и по всей Карелии начали создавать полки пашенных солдат. Пашенные солдаты были чем-то вроде пограничников, у которых в одной руке была сабля, бердыш, пистолет и пищаль, а в другой соха, борона, веялка и молотилка. Понятное дело, что при таком количестве оружия и сельскохозяйственных орудий руки у крестьян просто опускались и даже отваливались. Нужно было нести пограничную службу, если необходимо – принимать участие в военных походах против Швеции или Польши, а в промежутках межу дозорами и походами успевать сеять, веять и молотить, не забывая о воспроизводстве самих себя. Дьячок Пудожского погоста Алексей Калинин, служивший писарем в одном из пашенных полков, писал в своей челобитной: «Приходилось мне писать беспрестанно во всякий день у тех солдат во всех трех ротах, а мой деревенский участок пахать некому. Обнищал я и осиротел... я человек одинокий погиб и питаться нечем»[7].

В шестьсот шестьдесят шестом году власти смилостивились и отменили службу в пашенных полках, но... увеличили налоги. Так увеличили, что разорили крестьян, и без того разоренных службой в пашенных полках. Потом налоговое бремя немного уменьшили, потом снова увеличили... Крестьяне стали убегать. В шестьсот семьдесят восьмом году в Пудожском крае опустело более двух десятков деревень – их жители уходили в соседние и не только в соседние уезды. Наконец оставшиеся решили жаловаться. В семьдесят седьмом году уговорили пудожане крестьянина Кондратия Прокопьева завернуть коллективную жалобу в чистую тряпицу, спрятать ее под нагольный тулуп и отправиться в Москву. Пришел он в Москву и там обнаружил таких же, как и он, ходоков из Олонецкого, Кижского, Андомского и других погостов. Собрались ходоки вместе, скинулись по копеечке, а то и по гривеннику, наняли приказного, почесал он пером за ухом и написал общую жалобу ото всех погостов и эту жалобу жалоб они отнесли в Новгородский приказ. Два года ее приказные крючки рассматривали. Два года челобитчики жили в столице, работали разносчиками сбитня и горохового киселя, плотниками, укладчиками деревянных тротуаров, подавали овес и сено на лошадиных заправках, наконец просто побирались Христовым именем, пока жалобу... не признали ложной, а самих ходоков не велено было бить кнутом.

Вторая половина семнадцатого века сделала Пудожский погост, как сказали бы нынешние политические обозреватели, ареной драматических событий, связанных с раскольниками. Последние бежали в эти глухие края в надежде укрыться от всевидящего глаза и всеслышащих ушей Москвы. Раскольников было здесь так много, что в июле шестьсот девяносто третьего года их вооруженный отряд из находившейся неподалеку Рогозерской пустыни сумел захватить Пудожский погост. Нехватки в продовольствии раскольники не испытывали – хлеб им приносили жители окрестных деревень. Двадцать дней погост находился во власти раскольников. Чернец Тимошка, руководивший вооруженным отрядом, крестил всех приходящих к нему и «говорил де он, чернец, всем людям, что ныне вера худая, и четвероконечный крест называет крыжем»[8]. Чернец Тимошка речами не ограничился – он со товарищи захватил и переосвятил местный приходской храм, священников из него выгнал, избил, а дома их разграбил. Священники решили пожаловаться земскому старосте Пудожского погоста, но тот тоже ушел в раскол, и тогда они подали челобитную царям Ивану и Петру Алексеевичам. Из Олонца власти выслали отряд стрельцов под командой сотника Никиты Ижорина и подьячего Ивана Буракова для наведения порядка. Указания им были даны строгие: «...велено смотреть накрепко, чтоб церковные раскольники в лесах и в волостях не жили, а где объявятся и их велено сыскивать, и имать, и пристанища их разорять, чтоб ту их богомерзкую ересь искоренить, и впредь бы не возрастала; а животы их раскольнические, всякие, по оценке велено продавать и деньги присылать к Москве, в новгородский Приказ»[9].

Раскольники времени даром тоже не теряли. Оружия у них было достаточно – больше ста пищалей и к ним восемь пудов пороха. Они понимали, что долго сопротивляться стрельцам не смогут, и решили отойти из Пудожского погоста к деревне Строкиной, где у них были подготовлены дома, в которых они собирались себя сжечь. Перед тем как покинуть погост, они совершили крестный ход, перекрестили своих сторонников, освятили воду в Водле, совершили в церквях богослужения по старым дониконовским правилам, забрали Евангелие и другие церковные книги, которые собирались сжечь вместе с собой.

Тем временем подоспел стрелецкий отряд из Олонца и окружил раскольников в четырех избах. Поначалу «сотник и подьячей с стрельцами и с понятыми людьми, их, воров, уговаривали, чтоб они от такой своей богомерзкой ереси перестали и принесли бы покаяние и повиновение, и они де воры, повиновения не принесли и говорили всякие богомерзкие слова, и на церковь Божию и на четвероконечный крест велику хулу износили...»[10]. От слов раскольники перешли к делу и стали стрелять в людей Никиты Ижорина, но как только стрельцы, подбежав к избам, начали прорубать стены, «оне де воры, зажглись вскоре и сгорели все без остатку, потому что де изготовлены были у них к тому пожегу всякие припасы, порох и солома и сено сухое»[11]. Сгорело в четырех избах восемьсот совершенно живых людей.

Ни от Рогозерской пустыни, ни от деревни Строкиной теперь не осталось и следа – Рогозерская пустынь опустела еще в девятнадцатом веке и заросла бурьяном, а деревню Строкино сколько не искали – так и не нашли. Только старообрядцы в районе и остались. Правда, в очень небольшом количестве.

В восемнадцатом веке Пудож, как и все остальные физические и юридические лица нашего государства, помогал строить новую столицу империи – посылал плотников, каменотесов, кузнецов, просто мужиков для выполнения разных работ и всех, кого полагается посылать в таких случаях[12].

И еще рекрутов для непрерывно воевавшей армии и, чтобы уж два раза не вставать, всех крестьян Пудожского погоста, в числе других погостов и волостей, Петр Алексеевич в семьсот третьем году приписал к олонецким горным заводам, выполнявшими во время Северной войны военные заказы. Мало того, что приказали строить новые заводы, так еще и велели заготавливать для них дрова, возить руду и при этом успевать пахать землю, сеять, веять, молотить, платить бесчисленные налоги, пошлины, оброки и не забывать о воспроизводстве самих себя. Освободили пудожан от этой заводской кабалы только в семьсот двадцать пятом году, когда Северная война закончилась и олонецкие горные заводы начали сворачивать производство.

Вот, собственно, и все о Пудожском погосте в эпоху петровских реформ. Разве только добавить, что во всем известном довоенном фильме «Петр Первый» в батальных сценах снимался Петр Макарович Анкудинов – уроженец деревни Кубовская Пудожского района[13].

Добралась промышленность и до Пудожского края. В семьсот шестьдесят третьем году купцы Ольхины из соседней с Пудожем Вытегры построили железоделательный завод на реке Тубе в Тубозерской волости неподалеку от Пудожа. Правда, проработал он всего одиннадцать лет и разорился, но во времена своего недолгого расцвета производил до тысячи пудов железа в год.

Вообще с промышленностью на первых порах в Пудожском крае не заладилось. В восьмидесятые годы в устьях реки Водлы и Черной двумя петербургскими и одним вытегорским купцом были устроены три стекольных завода. Четвертый завод в том же месте завел губернский секретарь Захар Щербаков. Производили на этих заводах разных размеров бутылки и банки. Самые обычные – ни тебе узоров на них, ни позолоты. Готовую продукцию на судах увозили в столицу. Все четыре завода умерли уже в начале девятнадцатого века. Может, потому, что глина для печей была привозная, а может, по какой-нибудь другой причине. От заводов осталось только название поселка Стеклянное на берегу Водлы, да осколки старинных бутылок, которые время от времени находят местные жители в своих огородах.

В семьсот восемьдесят пятом году Пудожский погост по указу Екатерины Второй превратился в уездный город Пудож. И город и уезд стали по царскому указу частью Олонецкого наместничества. Указ предписывал: «Из отдаленных частей Вытегорского и Каргопольского округов составить особый уезд, устроив уездным городом Пудожский погост под именем Пудож»[14]. Указ датирован шестнадцатым мая, а уже четвертого июля в новорожденный город приехал генерал-губернатор Архангельской и Олонецкой губерний генерал-поручик Тимофей Иванович Тутолмин. Военного парада, фейерверка и бала в дворянском собрании по сему случаю предусмотрено не было за отсутствием военного гарнизона, достаточного количества дворян и дворянского собрания. Ограничились зачитыванием указа Екатерины, литургией, благодарственным молебном и крестным ходом по... теперь уже городу.

Да, городу, хоть и было в этом городе всего две улицы и ни одного каменного дома. За девять лет до объявления городом Пудожский погост сгорел практически дотла от очередного пожара, и потому все полсотни домов были новыми. «Жителей в оных до ста двадцати человек»[15], – пишет олонецкий гражданский губернатор Гавриил Романович Державин в своей «Поденной записке, учиненной во время обозрения губернии». (В скобках заметим, что генерал-губернатор Тутолмин, желая приукрасить положение дел во вверенных ему губерниях, количество домов в Пудоже умножил на два.) Он приехал в Пудож через три недели после визита Тутолмина и пробыл в городе целую неделю. «Город Пудож... расположен на хребте идущей полукружием горы, внизу коей лежит прекрасный дол, пересекаемый многими глухими и прохладными разливами. По одной стороне обтекает его река Водла, текущая из Водлозера и впадающая в Онего, с прочих же окружен полянами и лугами»[16]. Как хорошо было бы повесить памятную доску с этим красивым описанием на дом, в котором останавливался поэт в Пудоже. Увы, здания этого не сохранилось. И вообще в городе не осталось ни одного здания восемнадцатого века. Если честно, то и зданий девятнадцатого века осталось очень мало.

Державин оставил нам довольно подробное описание Пудожа и его жителей, а также их занятий, отметив, что «главный торг граждан и поселян уезда состоит в продаже льна, оного вывозят на гальотах в Санкт-Петербург, гужем через Юшкозеро в Швецию и во все уезды Олонецкой губернии»[17]. Всего в год вывозилось двадцать пять тысяч пудов льна. Надо сказать, что весь пудожский лен скупали купцы соседней Вытегры, завозили его на свои фабрики, где очищали волокна от кострики – одревесневших частей стеблей. Лен помещен и на герб Пудожа «в знак того, что сей город славится льном, которым снабжаются все уезды наместничества, и отпускается заграницу».

Хлеб в Пудожском уезде рос плохо, и потому его обычно в случае нехватки покупали в соседних уездах – Вытегорском и Каргопольском. Ко времени превращения Пудожского погоста в город

в нем уже имелось две годовых ярмарки – Никольская и Троицкая, а к ним в придачу дюжина лавок. Внимательный гражданский губернатор не забыл ни про домашнюю скотину, ни про птицу, и теперь мы знаем, что в конце восемнадцатого века пудожане «дворовых птиц, кроме куриц, совсем не водят». Наверное, им и не нужно было водить другую, если местные охотники «из дичи стреляют диких уток и гусей, ряпчиков и тетеревов, мошников, куропаток, лебедей, журавлей и куликов»[18]. Что же касается самих жителей уездного города Пудожа, то они «ласковы, обходительны и довольно трудолюбивы, но, живя от правительства в отдалении, своевольны и несколько грубы к ближним начальникам»[19]. И такая цитата прекрасно смотрелась бы на памятной доске... Нет, такую памятную доску местное начальство вешать не позволит ни в каком случае.

Державин посетил тогда еще вовсю работающий стекольный завод петербургского купца Козлова в устье Водлы и сделал запись о том, что «бутылок в год выделывают до сорока тысяч, кроме многого количества разных банок, продают на десять тысяч рублей и получают три тысячи барыша»[20]. Интересно, у кого он узнал об этих трех тысячах барыша... Небось, с управляющим беседовал. Быть не может, чтобы тот не преуменьшил цифру. Вообще же, по данным Державина, Пудожский уезд продавал своих товаров, включая лен, тес, стеклянную посуду и рыбу на двадцать тысяч рублей. Что касается леса, то его вырубали в основном для нужд флота, и занималось этим государство. Кстати, о рыбе. Ее продолжали ловить. В Водле и других местных реках ее было так много, что «лов был весьма успешный лососей, сигов, лещей, щук, налимов, судаков и прочей рыбы; ловля производилась большими мордами (мережами), и в сутки вылавливали до 500 сигов, иногда до 30 пуд лососей»[21]. Правда, Державин замечает, что такие уловы остались в прошлом, поскольку власти запретили перегораживать реки сетями.

Пудож недолго успел побыть уездным городом Олонецкого наместничества – буквально через год он был преобразован в посад и включен в состав Онежского уезда Архангельской губернии, через три года его восстановили в статусе заштатного города и включили в состав Новгородской губернии, а еще через два года вновь вошел в состав восстановленной Олонецкой губернии. Наконец в октябре восемьсот второго года специальным указом было подтверждено возвращение уездного статуса Пудожа. Воображаю, сколько испорченной гербовой бумаги было выброшено в печки или употреблено на разного рода хозяйственные нужды пудожскими чиновниками из уездной канцелярии, окружного суда или дворянской опеки. Что же касается остальных пудожан, то, поскольку они жили от правительства в отдалении, то продолжали как ни в чем не бывало своевольничать, грубить местному начальству, разводить кур, стрелять рябчиков, тетеревов, диких уток, куликов и ловить мережами сигов, судаков и лососей.

Екатерина Вторая подарила жителям новоиспеченного города еще одну привилегию. Через год, после указа о превращении Пудожского погоста в уездный Пудож вышел еще один указ «О дозволении жителям городов Пудожа, Лодейного поля и Кеми записываться в купечество и мещанство». По этому указу в городские сословия можно было записываться тем, кто жил в черте города и не более чем в двухверстном расстоянии от этой черты. Деревни в этих местах были маленькие, и потому в двухверстную черту вокруг города их попала целая дюжина. В дальнейшем они и стали городскими районами. В случае Пудожа, конечно, уместнее говорить о микрорайонах. Первым городничим губернские власти назначили секунд-майора Петра Спадаренкова. Тогда какого городничего ни возьми – почти все были секунд-майорами. Подчинялся городничий губернатору. Город стали отстраивать по-новому, теперь уже городскому плану, утвержденному Екатериной Второй. В семьсот восемьдесят шестом году в Пудоже появилось первое каменное здание, выстроенное для казначейства. Все остальное оставалось деревянным – и здание присутственных мест, и казенные соляные и винные магазины. Появилась почтовая контора. Устроили за городской чертой новое кладбище, и при кладбище со временем построили церковь. Избрали городскую Думу, в которой, кроме городского головы, было всего два гласных – один от купеческого сословия, а второй от мещанского. Наметили построить каменный собор, но средства... Вообще весь город был, мягко говоря, небольшим – три с половиной квадратных километра. За городом закрепили большой вы-

гон, поскольку город городом, а коров, овец и коз у горожан никто не отменял. Деревню из Пудожа, кажется, и до сих пор не вывели – коровы по улицам ходят... Впрочем, до нынешних коров мы еще доберемся.

Через два года после того, как Пудож стал городом, в нем, по официальным данным, проживало девятьсот шесть человек обоего пола. Появились в городе и первые купцы. В купеческое сословие записалось шестьдесят с лишним человек. Три с половиной десятка лиц духовного сословия, одиннадцать разночинцев, чертова дюжина государственных крестьян, сто с лишним человек «временно проживающих при разных должностях»[22], но более всего было мещан.

Кстати, о мещанах. В семьсот девяносто седьмом году в Пудоже при невозможности возвратить долг кредитор имел право заставить должника отрабатывать его. Сколько нужно для возвращения долга – столько и отрабатывать. Пудожский мещанин Иван Баканин «по разным несчастным случаям впал в неоплатные долги сумма которых простиралась до десяти тысяч трехсот рублей»[23]. Один из баканинских кредиторов согласился взять его на отработку с условием каждый год списывать с общей суммы долга двадцать четыре рубля. Иски о взыскании этих долгов были предъявлены в городской магистрат, а тот определил: «как векселедавец мещанин Баканин, по несостоянию своему, впал в неоплатный долг, которого заплатить у себя наличной суммы денег и имения не имеет, а для того учинить с ним следующее: на основании Высочайшего 19 июля 1736 года указа, отдать его, векселедавца Баканина... кредитору Ерофееву... на четыреста тридцать лет и десять с половиной месяцев в работу, с тем, чтобы он выжил у него те годы и с работы его не отлучался и не бежал; а если же убежит, то отдан будет, как вышеописанной закон повелевает без зачету в каторжную работу...»[24]. Такое долговое рабство называлось «в зажив головою». Кабы мещанин Баканин не отдал Богу душу через два года, то и сейчас продолжал бы отрабатывать свои долги. Уже больше половины и отработал бы.

Война с французами Пудож стороной не обошла. Хоть и был он далеко от театра боевых действий, пудожане в боевых действиях против Бонапарта принять участие успели. В уезде в двенадцатом году было проведено два рекрутских набора. Один еще до войны, в апреле, когда брали по два человека с пятисот ревизских душ, а второй – в разгар боевых действий, в июле, когда брали уже по два человека со ста душ[25].

Уже поздней осенью двенадцатого года в Пудоже появились первые пленные французы. Было их всего девять человек – два капитана и семь нижних чинов, включая рядовых. С одним из этих нижних чинов приехала жена, родившая спустя некоторое время дочь, которую местный батюшка окрестил Дарьей. Разместили их по домам пудожан, и жили они на пособие, выдаваемое казной. Вернее, с трудом выживали. Рядовым выдавали по пяти копеек ассигнациями в сутки на продовольствие, а офицеры получали больше. Чтобы с голоду не опухнуть, французы плели на продажу кольца из волос, которые тогда были в моде, и изящные корзиночки из соломы, красили заборы и дома. «Кого они в особенности бранили, так это Наполеона, за то, что завел их в такую негостеприимную страну, и казаков, которые колотили их немилосердно, никому не давая пардону»[26]. В марте четырнадцатого года, как раз тогда, когда союзные войска брали Париж, в Пудож прислали еще три десятка французских военнопленных, но уже через месяц, после заключения Парижского мирного договора, их всех отправили домой, во Францию.

В память о победе или, как тогда говорили, в память об избавлении России от нашествия Наполеона, пудожане к восемьсот двадцатому году выстроили каменный Троицкий храм на месте одноименной старой деревянной церкви на высоком берегу Водлы. В восемьсот девяностом его на средства купца первой гильдии Базегского расширили, пристроили колокольню и огородили чугунной решеткой на каменном фундаменте. Храм и украшал город до начала сороковых годов прошлого века, пока в него не попала финская авиабомба. После войны его на кирпичи разобрали немецкие военнопленные, и теперь на месте храма стоит крест.

Если судить по Памятным книжкам Олонецкой губернии, то жизнь в Пудоже девятнадцатого века протекала тихо и сонно. Обыватели пасли своих коров и овец, крестьяне выращивали лен с

капустой и горохом, а купцы торговали. Чем торговали в восемнадцатом веке – тем и продолжали в девятнадцатом. Вот разве что в восемьсот двадцать шестом году на Онежском озере власти завели два парохода для перевозки корабельных лиственниц из уезда в столицу. Город жил скромно – доходная часть бюджета в сорок третьем году составляла всего полторы тысячи рублей. На эти деньги тогда можно было купить три десятка коров средней упитанности. Не много, что и говорить.

В Памятной книжке Олонецкой губернии за 1858 год в разделе «Купцы и замечательнейшие промышленники Олонецкой губернии» среди купцов, производящих торговлю в городе, указаны только четыре купца третьей гильдии: Василий Малокрошечный, Иван Малокрошечный, Иван Плоскирев и Александр Гардин, а в уезде и вовсе указан всего один льнопромышленник Иван Малокрошечный, про которого сказано, что он имеет собственный завод по обработке льна, отправляемого в значительном количестве в Петербург для заграничного отпуска.

Пудожское купечество к середине века сильно поредело. От шестидесяти с лишним пудожан, записавшихся в купеческое сословие при основании города, не осталось и следа. Девятнадцатый век был вместе и серебряным и золотым веком пудожского льна. В тридцать девятом местный лен был отмечен большой серебряной медалью на российской выставке естественных произведений в Петербурге, через пять лет золотой медалью на московской мануфактурной выставке, еще через шесть лет почетным дипломом и премией на всемирной выставке в Лондоне, а в шестидесятом году серебряной медалью Вольного экономического общества на сельскохозяйственной и промышленной выставке в Петербурге, и через два года золотой медалью на всемирной выставке в Лондоне. Весь пудожский лен держал в своих руках Иван Иванович Малокрошечный. Он сумел оттеснить скупщиков из Онеги и Каргополя и стал практически монопольно поставлять пудожский лен в столицу и заграницу. Иван Иванович был не только пудожским промышленным и финансовым воротилой, но и меценатом. Он пожертвовал пять тысяч рублей Петрозаводскому Мариинскому училищу, чтобы на проценты с этого капитала каждый год выплачивались десять стипендий дочерям беднейших граждан Олонецкой губернии. Для Пудожа это было особенно важно, поскольку гимназии в нем так и не появилось. Иван Иванович в шестьдесят седьмом году построил в Пудоже богадельню, где на проценты с капитала в тридцать тысяч рублей содержались тридцать одиноких стариков и старух. Между прочим, дом, в котором размещалась богадельня, сохранился и сейчас в нем живут люди. Правда, не совершенно одинокие старики и старухи на содержании у местного купечества, а обычные люди разных возрастов и разной степени одиночества на содержании у самих себя.

Продолжали ловить рыбу. Из устья Водлы на рынки Петербурга ее доставляли поначалу в живорыбных парусных судах, а потом и на пароходах. В больших количествах ее вылавливали в Водлозере и везли зимой свежемороженую и соленую на каргопольские ярмарки. Мелкую рыбешку – ершей, карасей, окуней, ряпушку и корюшку сушили в печках, и это рыбное ассорти под общим названием «сущик» пользовалось большим спросом у населения, не имеющего возможности покупать свежую лососину. Добирался сущик даже до Весьегонска в Ярославской губернии.

Читатель может подумать, что в Пудоже мало что менялось с течением времени: как выращивали лен – так и продолжали выращивать, как рубили лес – так и продолжали рубить, как ловили рыбу – так и... Нет, прогресс все же был. Помните первого пудожского городничего в чине секунд-майора Петра Спадаровского? Так вот, в восемьсот шестидесятом году городничим в Пудоже был уже подполковник – Николай Петрович Тарабаровский. Ну, а должность городского головы занимал, конечно, купец третьей гильдии Иван Иванович Малокрошечный. К тому времени в Пудоже уже работали два врача – один на город и второй тоже один, но на весь уезд, имелось приходское училище, и почта приходила по средам, а отправлялась по субботам. Вот только сам Пудож оставался маленьким – в середине девятнадцатого столетия проживало в нем чуть больше тысячи душ обоих полов.

О том, что не менялось и, наверное, никогда не изменится, в восемьсот шестьдесят девятом году анонимный корреспондент Олонецких губернских ведомостей сообщал из Пудожа: «В на-

стоящее время исправлены в городе три моста, т. е. сделаны новые к ним перила и настланы новые доски. Работа эта была отдана управою с торгов за 153 руб. сер., хотя, по нашему мнению, таковую можно было бы исполнить и за половину этой суммы, тем более, что два из этих мостиков весьма малого размера, при том же в перила между новыми попали и старые изгнившие бревна; но так как подрядчики на эти работы были тоже члены земского общества, то, собственно говоря, здесь еще для земства вообще не произошло большого ущерба, только деньги общие земские перешли, так-сказать, в частные карманы нескольких членов земства (подрядчиков), сделавших эти исправления».

Он же прибавлял: «Достать для прочтения какую-нибудь газету в Пудоже чрезвычайно трудно; только один купец, выписывающий "Биржевые Ведомости", отдает эту газету желающим с платою по 40 к. сер. в месяц, да и то с условием, чтобы взявший ни кому другому не давал ее читать. Таким образом живущим здесь весьма трудно знать, что делается на белом свете, да едва ли многие этим и интересуются»[27].

Вообще с культурной жизнью в Пудоже дела обстояли неважно. Еще один корреспондент Олонецких губернских ведомостей писал: «Скучна и однообразна жизнь нашего уездного городка, в особенности зимнею порою... С каким зато нетерпением ждут здесь губернских известий: и только в день прихода почты видно какое-то лихорадочное движение чиновничьего мира. Общественных увеселений и собраний здесь не бывает, библиотеки не существовало и нет людей, имеющих хотя бы современные периодические издания и потому литературные занятия ограничиваются чтением "Северной почты". Вот почти и все, что можно сказать о Пудоже... Река Водла вскрылась в конце апреля и теперь появилась лосось, сиги и другая рыба. Лосось преимущественно идет в руки известного здесь купца И. И. Малокрошечного, который сбывает ее в Петербург; цена этой рыбы от 8 до 10 коп. за фунт»[28].

Корреспонденту Олонецких губернских ведомостей вторит священник Троицкой церкви в Пудоже Иоанн Георгиевский, собравший сведения о городе и его обитателях по заданию губернского статистического комитета: «Пудож нося на себе название города, к несчастию, мало чем отличается от простых селений в быту домашнем. И кажется, что самые селения некоторых других краев России предпочли бы свой домашний быт – Пудожскому. В нем почти у всех жителей бедность, жалкая простота, отсутствие вкуса и образованности есть главная черта жизни. И потому во всем город едва можно отыскать до десятка порядочных и то деревянных домов...»

Сами пудожане вышли у Георгиевского и вовсе... «Народ как города Пудожа так и окружающих селений происходя от невежественных и грубых предков и будучи привержен к оседлой жизни, стоит можно сказать на низкой степени образования... К счастию, здешний народ не лишен добродушия. У него можно всегда встретить гостеприимство; но и это добродушие не без недостатка; Будучи груб он как бы неохотно решается отдавать должное почтение высшим себя. При встрече с высшим себя мужичок, как можно видеть почти всегда, как будто с каким-то принуждением снимает свою шапку без всякого поклона...»[29]

То ли не любили батюшку прихожане, то ли при встрече с ним не снимали шапки без напоминания, то ли мало жертвовали на храм, то ли не приносили ему на престольные праздники яиц в решете, сметаны и свежевыловленных судаков... Хорошо, что его отчет пропал где-то в недрах губернского статистического комитета. Не приведи Господь, его прочли бы прихожане Троицкой церкви. Особенно те, у которых не было ни образованности, ни вкуса, ни почтения к высшим.

Если честно, то насчет бедности и жалкой простоты Георгиевский был не так уж и неправ. В Пудоже к концу шестидесятых годов был всего один каменный дом и одна каменная лавка. Каменный дом был казенным. Все остальные две сотни домов были деревянными. Все пять площадей были немощеные. Об улицах и говорить нечего. Недвижимостью стоимостью от пятисот до тысячи рублей владели в городе ровно два человека, а свыше тысячи – один. И этот один был... Иван Иванович Малокрошечный. В городе было девятнадцать лавок и один оптовый винный склад. Других торговых заведений не имелось. Памятная книжка Олонецкой губернии за 1868-1869 гг. сообщает:

«Торговля собственно в городе, производимая лишь предметами для городских потребностей, ничтожна. Ею занимаются четыре купца и два крестьянина. Товары привозятся из С.-Петербурга, Москвы, Вытегры и Весьегонска и сбываются как в городе, так и в уезде»[30].

Существовала еще и городская Троицкая ярмарка. Именно существовала, еле сводя концы с концами. В восемьдесят восьмом году на ней было всего шесть торговцев, из них три пудожанина. Привезено было на три тысячи рублей товару. Продали четыре пуда кренделей, два пуда сигов, пуд судаков, десять пудов разной мелкой рыбы, разного шорного товару, холста, конфект, пряников, мыла, свечей, колониальных товаров, масла коровьего, кушаков домашнего тканья... В общей сложности едва на полторы тысячи. Действительно, ничтожная торговля[31].

Несмотря на то, что жители Пудожа считались горожанами, основными их занятиями все же было хлебопашество и выращивание льна. Делали они это на арендованных у города землях. Ремесленников было очень мало – на весь город два кузнеца, четыре сапожника, шесть портных, два маляра, четыре мясника, два столяра... Фабрик и заводов в городе не было никаких. Даже каких-нибудь микроскопических салотопен, красилен или маслобоек, на которых работало бы по полтора рабочих, не было. При этом на заработки никто никуда не уезжал. Как могли добывали себе пропитание дома. Правда, в двадцати верстах от города работала льнотрепальная фабрика Малокрошечного. Работало там сезонно до двух с половиной сотен крестьянок из близлежащих волостей. Тем крестьянам, которым зимой не хватало хлеба, Малокрошечный давал в долг, а осенью они отдавали ему этот долг льном. Бывало вырастет у крестьянина лен, а он уже и не его, а... Иван Иванович и в городе торговал хлебом. Он же скупал у местных рыбаков до тысячи пудов лососей и сигов, которых отправлял в Петербург и Весьегонск. Малокрошечный еще и одним из первых, начиная с тридцатых годов, стал разводить картофель в уезде.

Я бы с удовольствием описал культурную жизнь города – любительские спектакли, музыкальные вечера, в которых принимали бы участие местные врачи, преподаватели гимназии, жены городничего и предводителя уездного дворянства, но... какие спектакли и музыкальные вечера, если преподавателей гимназии не было по причине отсутствия самой гимназии, а вместо нее было приходское училище, врач в городе был всего один, а уездному было не с руки приезжать на репетиции, жена городничего... может, в доме городничего и рояля никакого не было, а была только балалайка у дворника, на которой он бренчал все вечера, сидя на завалинке перед домом, чем доводил городничиху до истерик и мигреней.

Кстати, о приходском училище. Не любили в него родители отдавать детей вовсе не потому, что после него было сложно поступить в Московский университет или хотя бы в Петрозаводское ремесленное училище, а просто не видели никакого смысла в образовании. Отдавали только затем, чтобы научить азам грамоты и арифметики и немедля забрать, как только чадо этому научится. Справедливости ради надо сказать, что тогда не в одном Пудоже так относились к образованию.

Во второй половине девятнадцатого века в уезде стала развиваться лесопромышленность. Первыми крупными лесопромышленниками были в уезде были англичане. Они купили право на заготовку леса и каждый год, начиная с шестьдесят третьего, вывозили по тридцать тысяч бревен к себе в Англию или продавали в Европе. Вот такая у них была лесопромышленность. ~~У нас она и сейчас такая же, только вместо англичан китайцы~~. Вслед за англичанами подтянулись и наши лесопромышленники из Петербурга. Вслед за столичными стали валить лес и пудожские купцы. Вернее, это были разбогатевшие крестьяне. Они работали как англичане – рубили и вывозили лес на продажу, а вот петербургский купец Русанов в семидесятом году уже построил первый двухрамный лесопильный завод в уезде. В общем, ничего особенного – просто завод, на котором работают две пилорамы, приводимые в движение паровыми двигателями, но это уже не просто вырубка, а обработка, пусть и простейшая. По тем временам и распил бревен вдоль, а не поперек был большим шагом вперед, а то и двумя. На этом заводе ежегодно распиливалось до сорока тысяч бревен. Через одиннадцать лет еще один петербургский купец строит еще один, но уже трехрамный завод вблизи русановского. К девятьсот двенадцатому год общий объем заготавливаемого леса в уезде

достигал почти четверти миллиона кубометров. Сезонно на лесозаготовках и на лесосплаве было занято до четырех тысяч рабочих. И это было очень кстати, поскольку после крестьянской реформы разведение льна в уезде стало понемногу сходить на нет. До реформы крестьяне в казенных лесах занимались подсечным земледелием, поскольку и лесов было много, и сами крестьяне тоже были казенными. После реформы, которая добралась в эти края только в шестьдесят шестом году, им запретили делать расчистки, то есть сводить лес, а заодно и все расчищенные пашни, и сенокосы конфисковали. Конечно, каждому хозяйству выдали почти по семь десятков десятин земли, но пригодной для использования в этих семи десятках была едва ли седьмая часть. Олонецкая губерния не Тамбовская – тут почвы каменистые и болотистые. Мхи и лишайники растут хорошо, а рожь плохо. Обычно крестьянам своего урожая ржи хватало на полгода или на семь месяцев, не больше. Мало того, их за выданную землю заставили еще и платить. Вот тут-то льноводство и стало умирать. В девятьсот седьмом пудожский купец первой гильдии Николай Александрович Базегский закрыл льнотрепальную фабрику неподалеку от Пудожа и прекратил скупку и поставку льна в Петербург[32]. Базегский был внуком Ивана Малокрошечного. Его отец, Александр Петрович, женился на дочери Ивана Ивановича и переехал из соседней Вытегры в Пудож. С того дня как переехал и до самой смерти называли его пудожане «вытегорским зятем». Зять кроме того, что унаследовал малокрошечную империю своего тестя и занимался скупкой, переработкой и сбытом льна, стал торговать бакалеей, хлебом и мануфактурой. Для города и уезда Александр Петрович сделал очень много – передал в дар для уездной земской больницы дом с приусадебным участком, делал крупные денежные пожертвования малоимущим Пудожского уезда, дал денег на реконструкцию Троицкой церкви, на его средства был благоустроен Муромский монастырь, он участвовал в содержании бесплатной столовой в Петрозаводске. Одних золотых медалей «За усердие» у него было семь, да еще и орден Св. Анны третьей степени. Александр Петрович много раз избирался гласным уездного земства и Пудожской городской думы, состоял попечителем самых разных благотворительных обществ, принимал участие в похоронах Александра Третьего в составе делегации Олонецкой губернии... Его сын – Николай Александрович Базегский, тоже купец первой гильдии, но уже обладатель миллионного состояния и единственный в Олонецкой губернии купец первой гильдии местного происхождения, тоже потомственный почетный гражданин, тоже гласный Пудожской городской Думы, председатель совета богадельни купцов Малокрошечных, член-соревнователь попечительства императрицы Марии Александровны о слепых, действительный член Олонецкого управления Российского общества Красного Креста, почетный член губернского попечительства детских приютов, член уездного комитета попечительства о народной трезвости, кавалер орденов Св. Анны второй и третьей степеней за строительство храма Александра Невского[33], Св. Станислава второй степени, Св. Владимира четвертой степени... В восемнадцатом году дом Базегского реквизировала Советская власть, чтобы отдать его под детский дом. В этом же году Николай Александрович умер от водянки. Теперь на доме висит памятная табличка, на которой написано, что «В феврале 1918 года Советским правительством в ответ на просьбу Пудожского уездного совета по предложению Владимира Ильича Ленина были выделены денежные средства на содержание Пудожского детского дома». Буквы на табличке прочесть можно с трудом – краска вся облупилась, да и сам дом давно запущен, а ступеньки крыльца поросли кустами и даже деревьями. Местный краеведческий музей хотел бы переехать в него из аварийного здания земской управы, в котором он теперь находится, но на ремонт двухэтажного особняка нужны десятки миллионов, а весь бюджет нищего Пудожа...

Не будем забегать вперед. Вернемся в те времена, когда дом Базегских был так хорош, что в нем останавливался Великий князь Владимир Александрович, когда путешествовал по Олонецкой губернии в восемьсот восемьдесят пятом году. Кстати, о путешествиях. Через два года проезжал по этим местам один из основателей российской этнографии Николай Николаевич Харузин вместе с сестрой Верой Николаевной. О Пудоже она написала в своей книге «На Севере. Путевые заметки»: «Масса серых домиков совершенно однообразной постройки, напоминающих собою деревенские

избы, вместе со скромным собором, ютятся на краю крутого обрыва, спускающегося к реке Водле. Вперемежку с домами идут огороженные пашни, засеянные овсом и рожью, реже огороды, принадлежащие обывателям. По прямым линиям пересекают друг друга узкие улицы, почти что сплошь заросшие травой. На улицах непробудный покой; на них мирно пасутся овцы, лениво переходя с одного места на другое; да ребятишки кое-где собираются около луж и со звонким смехом загорелыми ножками месят жидкую грязь. Спит весь город, спит с утра до вечера и с вечера до утра. В окнах, уставленных горшками с диким перцем, бобами и фуксией, редко покажется чьенибудь лицо». Харузина пишет, что для развлечения обывателей есть библиотека и клуб. В клубе «мужчины играют в карты, а барышни танцуют под звуки гармони. Барышни скучают смертельно и жаждут прибытия какого-нибудь нового кавалера»[34].

По количеству умерших от скуки мух Пудож занимал первое место в Олонецкой губернии, равно как и по количеству дворов, сгоревших от одного пожара[35]. В жизни маленького уездного городка все может быть событием. Столичные оперные певцы туда не приезжают и концертов не дают, вернисажей художники не устраивают, театров нет, и потому событием могут стать даже проводы новобранцев. Олонецкие губернские ведомости в декабре восемьсот семьдесят восьмого года сообщали, что из Пудожа в конце ноября выступили две партии новобранцев – каждую сопровождали по два конвойных. Перед выступлением партий в казармах отслужили напутственный молебен, новобранцев угостили водкой и булками, а в дорогу дали чай и сахар. До первой станции повезли их на подводах, которые дали жители города[36].

Или церковный староста Почезерского прихода Пучежского уезда Иван Николаев Краснов второй раз собрался поклониться в Иерусалим Гробу Господню и тамошним святыням. В первый раз, в восемьдесят пятом году, он туда ездил сам, а теперь с женой – Вассой Алексеевой Красновой[37]. Как представишь, сколько они привезут оттуда рассказов, крестиков, образков, свечек, фиников, как начнут дарить родственникам образки и крестики, а детишкам дадут по финику, как потом косточки от них посадят в огородах, как Иван станет обстоятельно рассказывать, как Васса раскроет рот, чтобы перебить его и сказать, что все было совсем по-другому, как быстро закроет его, взглянув на мужа...

Кстати, о театрах, которых в Пудоже не было. Олонецкие губернские ведомости писали, что второго мая девяностого года в здании Пудожского общественного собрания любителями был дан спектакль, на котором сыграны: «Через край», комедия в трех действиях, сочинение В. Тихонова, и «Помолвка в галерной гавани», картина петербургской жизни в одном действии, сочинение Щигрова[38]. Представляете, как они приходили заранее, раздевались, стаскивали галоши и сапоги с налипшими комьями грязи, как дамы переобувались, как пахло фиксатуаром для усов, как грели озябшие руки у печки, как играли картину из жизни Петербурга, до которого от Пудожа пятьдесят или даже сто световых лет...

Между прочим, Харузина в своих заметках о Пудоже пишет, что в Пудожском уезде аборигены так полюбили кофе, «что некоторые бедные семьи ходят под окнами, собирают подаяние и, собрав копеек шестьдесят или восемьдесят, удовлетворяют прежде всего свои потребности в кофе. Некоторые даже просто просят: Подайте ради Христа на кофе...». Значит все же не сто световых лет, а не более пятидесяти.

Вообще не хотелось бы, чтобы у читателя создалось впечатление, что Пудож был медвежьим углом[39]. В конце восьмидесятых годов девятнадцатого века в смете городских стали предусматривать расходы на подписку газет и журналов, на содержание телефона, на керосиновое освещение. Если раньше власти оплачивали квартиру повивальной бабке, то теперь вместо нее была акушерка с медицинским образованием. В самом начале двадцатого века в Пудоже появился общественный сад, на содержание которого отпускалось тридцать рублей в год. Тогда же в Пудоже заработала первая частная телефонная сеть, в которой было полтора десятка абонентов. К началу первой мировой войны количество абонентов выросло в полтора раза. Телефоны стояли в аптеке, больнице, в домах уездного исправника, начальника пожарной дружины, у председателя земской управы и,

конечно, у Николая Александровича Базегского. Даже в уезде имелось шесть переговорных абонентских пунктов. В девятьсот третьем были напечатаны первые копеечные марки Пудожской земской почты. К в двенадцатому году почта приходила уже целых четыре раза в неделю. В городе было три училища (высшее начальное, приходское одноклассное и приходское двухклассное), общество потребителей, меблированные комнаты при чайной общества трезвости, три страховых общества, общество правильной охоты... ~~Правильные охотники провели одно заседание и больше никогда не собирались.~~ Правда, в соседней Вытегре уже работали городской общественный банк, ломбард и образовалось общество любителей музыкального искусства, а в Каргополе и вовсе образовалось общество распространения культуры и потребления овощей среди населения Олонецкой губернии, зато в Пудоже в шестнадцатом году появилась городская фотография Петра Федоровича Пахомова. Правилами, которыми должен был руководствоваться владелец этого фотоателье, запрещалось фотографировать «лица, пересылаемые под стражей или надзором». Их нельзя было даже пускать внутрь заведения[40].

Что касается ссыльных, то их в Пудоже было более чем достаточно. Первыми ссыльными, как и во многих провинциальных городках северных губерний, были поляки, которых сюда ссылали при Николае Первом в тридцатых годах после подавления польского восстания. В скобках заметим, что в Олонецкую губернию ссылали тех, чья вина не была очень серьезной. Тех, чья вина была серьезной, ждала каторга или ссылка в сибирские губернии. Вера Николаевна Харузина пишет в своих записках: «Было время, когда Пудож был почти буквально наводнен ссыльными поляками. Между ними было много людей состоятельных; жизнь они вели на широкую ногу, устраивали балы и концерты. Городу жилось весело с этими невольными гостями». ~~Не ссыльные, а какой-то гусарский полк, ей-богу.~~

Мало-помалу почти все поляки разъехались – у кого-то истек срок ссылки, а кто-то попал под амнистию, объявленную перед коронацией Александра Второго. В шестидесятых годах ссыльных в Олонецкой губернии снова прибавилось – только в Пудоже их было пять человек. Снова приехали поляки, но уже те, кого сослали после восстания в шестьдесят третьем году. В семидесятые появились народники. Эти балов и концертов не устраивали. Им от государства полагалось пособие от двух до шести рублей в месяц. На эти деньги умереть с голоду легко, а вот выжить очень трудно. В Пудоже работы не было практически никакой – своих рабочих рук было в избытке. Оставались лесопилки, но работа там была тяжелой, опасной и к тому же сезонной. Подрядиться кому-нибудь наколоть дров за рубль или полтора считалось большой удачей. К лету семьдесят девятого года в Пудоже уже проживала целая колония ссыльных – двадцать шесть человек, среди которых были три католических ксендза и пять столичных рабочих, сосланных «за распространение преступной пропаганды среди рабочих».

Как раз в это самое время вышел приказ министра внутренних дел, запрещающий ссыльным отлучаться за черту города. Одна из ссыльных – Эвелина Улановская уговорилась с двумя подругами в знак протеста против этого приказа устроить загородную прогулку. Сели они в лодку и поплыли по Водле за грибами. Как только они набрали грибов, их арестовала инвалидная команда, посланная за беглянками уездным исправником. То есть сначала произошло сражение между тремя отважными революционерками и инвалидной командой – девушки забросали служителей правопорядка собранными грибами (времена были настолько вегетарианскими, что в полицию бросались грибами), а уж потом их арестовали, посадили в лодку и вернули в Пудож. В городе их приключения не кончились – группа ссыльных попыталась отбить их у инвалидной команды. Тогда вызвали солдат, и девушек вместе с частью их освободителей снова арестовали. Кончилось все для ссыльных не так весело, как начиналось – Эвелина Улановская уехала в новую ссылку в Вятскую губернию, один из освобождавших девушек ссыльных поехал в Архангельскую губернию, а другой в Восточную Сибирь. Всю эту историю сами ссыльные стали называть грибным бунтом. И еще. Улановская вела обширную переписку с писателем Короленко и стала прототипом ссыльной Морозовой в его очерке «Чудная». Современному читателю это ни о чем не говорит, поскольку он,

скорее всего, не читал этого очерка, да и самого писателя Короленко вряд ли вспомнит, но... Пудож не столица и даже не Петрозаводск – сюда не ссылали ни прототипов Анны Карениной, ни Андрея Болконского, ни даже прототипов Каштанки.

Одно время в Пудоже образовался даже народнический кружок, которым руководил Павел Князевский, сосланный после грибного бунта в Архангельскую губернию. На смену народникам в начале двадцатого века пришли (вернее, их прислали) ссыльные социал-демократы, организовавшие в девятьсот третьем году в Пудоже свой кружок. Эти чтением запрещенных стихов Некрасова не ограничивались, и стали куда активнее народников привлекать местное население к своей работе. Членами кружка были и учителя, и местные служащие, и портной. Был у них свой человек в уездной больнице – фельдшер Тушовская, которая, вместе с еще одним членом кружка, читала выздоравливающим крестьянам нелегальную литературу и вела разговоры с ними на политические темы. Один из крестьян так наслушался большевистских прокламаций и разговоров, что по выходу из больницы стал вести антирелигиозную пропаганду и распространять нелегальную литературу, которой его предусмотрительно снабдили в больнице агитаторы. Другой крестьянин стал говорить... Через год кружок власти ликвидировали и еще через год... прислали в Пудож новую партию ссыльных, которые устроили в Пудоже первую политическую демонстрацию – в конце января девятьсот пятого года девять ссыльных вместе с женами надели на рукава траурные повязки с красной каймой в память о жертвах расстрела Девятого января, построились парами и прошлись по главной улице от полицейского управления до Троицкой церкви. Полиция сорвала с трех демонстрантов траурные повязки, а одного из них арестовала. Возмущенные действиями полиции ссыльные на следующий день заявились с протестом к уездному исправнику. Они не просто пришли к исправнику – у каждого на рукаве была красная траурная повязка. Исправник рвал и метал – требовал прекратить ношение повязок, грозился лишить ссыльных выдаваемого казенного пособия и разослать их по самым глухим деревням Пудожского уезда. Через четыре дня начальник олонецкого губернского жандармского управления полковник Шафалович доносил в департамент полиции, что несмотря на принятые меры ссыльные траур не сняли. Как подумаешь... как сравнишь девятьсот пятый год, к примеру, с девятьсот шестьдесят вторым ~~или с две тысячи девятнадцатым...~~ О демонстрации в Пудоже в марте того же года писала большевистская газета «Вперед», издаваемая в Женеве.

И еще. Уже в шестидесятых годах двадцатого века в Пудожский музей принесли доску от обычного комода, которую ссыльные исписали словами из революционных песен: «Трудно, трудно нам живется на Руси родной. Каждый шаг нам достается кровью и борьбой» или «Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног...».

Надо сказать, что в Пудожский уезд ссылали не только пламенных революционеров. В девятьсот двенадцатом году в Муромский монастырь неподалеку от Пудожа сослали по решению Синода иеромонаха одного из Бессарабских монастырей Иннокентия, в миру Ивана Левизора. В отличие от большевиков он проповедовал не царство свободы, а близкий конец света. Иннокентий основал многочисленную секту, объявил себя «воплощением святого духа», призывал своих сторонников продавать имущество, а деньги... Короче говоря, делал все, чтобы отправиться в ссылку и, наконец, отправился. Последователи Ивана Левизора оказались людьми решительными. Собрались они в количестве восьмисот человек, включая стариков, женщин и детей, по призыву своего пророка и отправились в Муромский монастырь его вызволять. В декабре отправились, а к концу января уже вызволили. Большую часть пути они все же проехали по железной дороге, но от станции Няндома Вологодско-Архангельской железной дороги им пришлось идти пешком. В декабре. Жителям Бессарабии, плохо понимающим русский язык. С женщинами, стариками и детьми. По Олонецкой губернии. Они, правда, по пути пели молитвы и несли портреты Иннокентия, но от голода и холода молитвы и портреты спасали плохо. Уже на обратном пути под Пудожем Ивана Левизора арестовали снова и под конвоем отправили в Петрозаводскую тюрьму, а его горе-освободители пошли через Каргополь на станцию Няндома, чтобы оттуда возвращаться домой по железной дороге.

В Каргополе им оказали срочную медицинская помощь, поскольку сотни человек обморозились, двадцать детей и вовсе умерли от голода и холода, еще полсотни человек тяжело заболели. Через двадцать лет все эти события описал в своем романе «Голгофа» украинский писатель Лесь Гомин. Правду говоря, он вместе со своим романом забыт еще прочнее, чем Короленко со своим очерком.

Вернемся к революционным беспорядкам. В девятьсот пятом начались волнения в уезде – крестьяне в Красновской области отказались платить земские сборы, требовали увеличения земельных наделов и бесплатной раздачи семян для посева из государственного хлебозапасного магазина. В июне девятьсот седьмого года забастовали две сотни крестьян-сезонников на лесопилках по реке Водле. Своего они добились – зарплату им повысили. В девятьсот тринадцатом в забастовке на лесопильных заводах принимало участие уже в пять раз больше крестьян.

Потом началась война, играл духовой оркестр, провожая на фронт солдат, потом они начали приходить с фронта и митинговать, потом февраль семнадцатого, потом октябрь, потом... Чуть не забыл. Золотого века в Пудоже так и не случилось. Назвать золотым или даже позолоченным веком телефонную сеть на несколько десятков номеров, чайную общества трезвости, несколько лесопильных заводов, пожарную команду, клуб охотников, приходское и начальное училища, несколько каменных лавок, одного купца первой гильдии и его двухэтажный каменный дом язык не поворачивается.

Советская власть в Пудоже была установлена к концу января восемнадцатого года. Приехал из Петрозаводска уполномоченный ВЦИК Матвей Тимонен, собрал жителей города и окрестных деревень и рассказал о том, что произошло в Петрограде два с лишним месяца назад, о светлом будущем без попов[41] и капиталистов и обо всем том, о чем тогда рассказывали большевики раскрывшим рты и развесившим уши крестьянам, рабочим и солдатам. Жители города и окрестных деревень приняли резолюцию, в которой писали: «обсудив всесторонне политические события, находим, что дальнейшее безвластие и хозяйственная разруха в г. Пудоже и его окрестностях привели нас к полнейшему развалу и потому постановляем, что хозяином благоустройства должен быть сам трудовой народ, вполне приветствуем Советскую власть и Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, как истинных хозяев земли русской, и настаиваем на скорейшем выборе в уездный и городской Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, как верховный орган уездной власти...». Правда, Советы получились большей частью крестьянскими и солдатскими, поскольку ни в Пудоже, ни в уезде рабочих почти не было.

Немедля Пудожский Совет командировал уездного комиссара финансов Льва Адамовича Гижицкого в Петроград – просить денег на самые неотложные нужды у Председателя Совета Народных Комиссаров. Председатель Гижицкого принял, выслушал и положил ему в протянутую руку записку, с которой уездный комиссар обошел кабинеты других народных комиссаров. Пудожскому уездному Совету выдали двадцать тысяч рублей, из которых половину можно было истратить на развитие уездного хозяйства, а вторую половину – на содержание Пудожского детского дома. Памятная мраморная табличка на доме Базегского как раз об этих десяти тысячах.

В уезде с установлением новой власти все было сложнее. Волостные советы образовали быстро – уже к марту они были почти в каждой волости. Правда, больше половины членов волостных советов были беспартийными, а большевиков и тех, кто им сочувствует – всего около трети. Правда, в одной из волостей, Бережнодубровской, новая власть продержалась всего несколько недель, а потом крестьяне разогнали волостной Совет и пришлось вызывать отряд красногвардейцев из Петрозаводска для восстановления Советской власти. Правда, в другую Янгозерскую волость тоже пришлось посылать вооруженный отряд из Пудожа для того, чтобы предотвратить готовый вспыхнуть мятеж. Правда, в третьей волости, Авдеевской, Советскую власть вообще невозможно было установить до начала осени, поскольку ее там упорно не хотели устанавливать. Тамошние крестьяне в протоколах сходов регулярно записывали: «Мы, шестьдесят пять граждан Авдеевской волости, заслушав доклад об организации Советской власти, постановили: Советскую власть не признавать». И все же...

Как только новую власть установили и организовали комбеды – так сразу и занялись уравнительным распределением земли, а заодно и реквизицией у зажиточных хозяев излишков продовольствия и всего того, что захотели назвать излишками. Заодно позакрывали частные лавки и конфисковали по уезду больше сотни частных мельниц. И так у комбедов размахнулись руки и так раззуделись плечи, что власти, видя, как обострилась обстановка в деревнях, сами распустили комбеды уже к концу восемнадцатого года. При переделе земли не обошлось, понятное дело, без самоуправства. Ясно было, что делить общинные, монастырские и церковные пахотные земли нужно было поровну, но как поровну и кому поровну, а кому ровнее, чем другим... Начались конфликты, которые как мог улаживал уездный земельный комитет. Между прочим, на весь уезд новой власти удалось организовать только три сельскохозяйственных коммуны, одна из которых называлась «Земной Рай». Крестьяне, твердо знавшие, что рай бывает только на небесах, в земной идти не хотели, как их туда не заманивали. Крестьяне хотели земли, осушения болот, расчистки мелколесья под пашни, железных плугов, борон, сеялок и веялок. Волостные земельные отделы просили прислать уездные власти агитаторов для разъяснительной работы. Водлозерский совет крестьянских и солдатских депутатов и вовсе прислал в уездный земельный отдел письмо за подписью председателя Лукина и секретаря Тарасова, в котором писал: «Отказываемся от коммуны, так как относимся к организации коммунальной жизни насмешливо»[42]. Тут еще выяснилось, что в одной из коммун ее председатель занимался приписками, брал себе приглянувшуюся ему коммунальную одежду, мануфактуру и продовольствие. Председателя отдали под суд и постановили проверить на счет приписок две других коммуны.

В это же самое время снаружи и внутри этих событий происходила Гражданская война – белые наступали с севера, со стороны занятых ими Повенца и Водлозерской волости Пудожского уезда, а красные в составе местной караульной роты, Пудожского коммунистического отряда и петрозаводского рабочего отряда особого назначения оборонялись из последних сил, с трудом удерживая Пудож. В июле девятнадцатого года белые вышли к устью Водлы, от которого до Пудожа всего два десятка километров. Надо сказать, что население уезда, после многочисленных реквизиций скота, продовольствия, имущества и мобилизаций к новой власти никаких симпатий не испытывало. В мае, в ряде волостей вспыхнуло восстание, в одной волости был убит военный комиссар, а в другой арестованы все члены волостного исполкома. Крестьяне отправили к белым гонца с просьбой о помощи, а белые... (Куда-то внутрь этого абзаца, перед июльским наступлением белых, нужно втиснуть открытие в Пудоже кинотеатра «Заря». Его открыли в июне девятнадцатого года. Звуковое кино пришло в Пудож через двадцать лет.)

Только к лету двадцатого года части регулярной Красной Армии освободили уезд от белых. Началась советская жизнь. На самом деле она началась еще раньше, весной девятнадцатого, когда в Пудоже начала выходить газета «Звезда Пудожа», редактором которой стал присланный из Петрограда большевик Константин Хряпин. Советская власть хотела от Пудожа и уезда только одного – леса. Бревен, досок, брусьев, горбыля и... чем больше – тем лучше. Уже в двадцать втором году трест «Севзаплес» начал промышленную заготовку древесины для нужд промышленности Петрограда. Для нужд его жителей Пудожский уезд поставлял дрова. В двадцать четвертом в уезде возобновил работу реконструированный Шальский лесопильный завод, стоявший с самого начала Первой мировой. Его продукция уходила на экспорт. Еще через четыре года в самом Пудоже возник промкомбинат, в котором было несколько деревообрабатывающих станков и пилорама. Оснащен он был локомобилем – паровым двигателем на колесах. К середине двадцатых годов леса стали заготавливать по четверти миллиона кубометров древесины ежегодно. В двадцать девятом в Пудоже был организован леспромхоз. Все это, конечно, довольно скучные материи – все эти доски и бревна. Если я вам скажу, что на лесозаготовках стали применяться лучковые пилы вместо привычных двуручных, гусеничные тракторы, конные, тракторные и автомобильные краны-деррики... вам станет еще скучнее. Между прочим, советский краевед рассказал бы еще о развернувшемся соревновании между лесорубами. К примеру, в тридцать пятом году лесоруб Петр Филатов,

работая лучковой пилой стал заготавливать в день по шестнадцать кубометров леса. Два обычных лесоруба, оборудованных обычной двуручной пилой, заготавливали меньше одного Филатова, а когда он стал работать с двумя подручными и через республиканскую газету «Красная Карелия» вызвал на социалистическое соревнование... Ладно, не буду. Только скажу, что жили лесорубы по дюжине человек в избушках, в которые можно было залезть только ползком. Освещались избушки лучинами. Иногда и избушек не было – строили шалаши, а бока этих шалашей прикрывали досками. Спали на соломе вокруг очага, горевшего всю ночь.

Хватит про лесорубов. Лучше поговорим о потребительской кооперации, которая появилась в Пудоже и уезде еще в девятьсот седьмом году. Не от хорошей жизни появилась – беднее Пудожа в Олонецкой губернии города не было. Средний денежный вклад у пудожан в девятьсот десятом году был пять с половиной рублей. Люди с такими средними денежными вкладами хотели покупать продукты и промышленные товары дешевле, чем им предлагали в лавках местных купцов. Уездные кооператоры стали заводить собственную торговлю, заводили лавки, в которых цены были ниже, чем у местных купцов, строили пекарни, пароходные пристани, склады, купили баржу для перевозки грузов, помогали студентам, вдовам... но все это работало в уезде. В Пудоже почему-то общества потребителей или умирали сразу же или существовали только на бумаге. После Гражданской, во времена НЭПа... Впрочем, и тогда потребительская кооперация не смогла расцвести, несмотря на то, что советская власть ее поддерживала как могла. То в кооперативные магазины не завезут спичек, то муки, то керосину, то продавцы, мгновенно превратившиеся в работников советской торговли, станут воровать и обсчитывать покупателей, то напьются, не отходя от кассы... Нет, про советскую потребительскую кооперацию двадцатых годов в Пудоже лучше не рассказывать.

Вообще, о жизни в Пудоже в середине двадцатых годов написан целый роман под названием «Шестеро вышли в путь». Написан он советским писателем Евгением Рыссом, который теперь забыт точно так же, как и писатель, написавший роман об иеромонахе Иннокентии. Евгений Рысс, после того как написал этот остросюжетный роман о шести комсомольцах, живущих в Пудоже, написал еще и сценарий для телевизионного фильма, снятого в семьдесят первом году. Пожалуй, это единственный художественный фильм, в котором снимался Пудож. Снимался, надо сказать, без всякого грима, поскольку за прошедшие почти полвека он почти не изменился. Только маленькие деревянные дома еще больше почернели и еще больше вросли в землю[43].

В двадцатые годы сам Пудож, хоть и стоял на месте, но где только не побывал. В двадцать втором его после упразднения Олонецкой губернии приписали к Карельской Трудовой Коммуне, которую саму упразднили через год после того, как к ней приписали Пудож. В двадцать третьем Пудож вошел в состав Автономной Карельской ССР. Через четыре года Пудож разжаловали из городов и стал он селом, хоть и райцентром, но все же селом, и пробыл им до самого сорок третьего года.

В первые, вторые и третьи годы советской власти открылись в Пудоже Дом крестьянина с читальней, спальнями и конюшней, клуб имени Карла Маркса, стали ходить от Пудожа в Петрозаводск пароходы «Роза Люксембург», «Урицкий» и «Володарский», в двадцать третьем появился в городе (пока еще в городе) ресторан «Отдых», организовали три футбольных команды, организовали шахматно-шашечный кружок при партийно-профсоюзном клубе, построили в городском саду сцену для выступления самодеятельных артистов, разрушали церкви, раскулачивали, загоняли в колхозы, головокружились от успехов и устраняли перегибы на местах, боролись с троцкизмом, правым оппортунизмом... Вот с правым оппортунизмом боролись плохо. В декабре тридцать первого года бюро Карельского обкома партии указывало Пудожской парторганизации на «наличие правооппортунистической практики в работе Райхлебживсоюза, потребкооперации, леспромхоза и отдельных сельсоветов»[44] и на недостаточную борьбу по преодолению этой практики. Представляю себе несчастного секретаря партийной организации, который сидит за полночь у себя в кабинете, в сизых клубах табачного дыма и обхватив голову руками мучительно думает, как ему усилить борьбу с правооппортунистической практикой. Ну какая, спрашивается, может

быть правооппортунистическая практика в работе Райхлебживсоюзе?! А ведь еще нужно было «решительно развернуть наступательную политику на кулака и классово-чуждые элементы, повысить классовую боеспособность партийных ячеек и их руководящую роль на производстве...»[45]. Хоть наизнанку вывернись, а классовую боеспособность повысь. Ко всему еще и «наличие болезненных явлений в организации (пьянка и отсутствие решительной борьбы по ее устранению)», еще и «слабое развертывание пролетарской самокритики»...

Через два года бюро Карельского обкома и вовсе признает работу Пудожской районной парторганизации неудовлетворительной. Недостатков в работе ворох – «ряд партячеек не обеспечили проведения генеральной линии партии, что привело к правооппортунистическим и левацким искривлениям, к притуплению классовой бдительности... прямой защите кулака со стороны отдельных ячеек и коммунистов... ряд колхозов засорен кулацкими элементами. Со стороны зажиточной части и единоличных хозяйств наблюдается саботаж государственных заготовок...»[46]. И это не считая того, что план лесозаготовок выполнен чуть более чем наполовину, планы по заготовке картофеля, овощей и сена не выполнены...

В тридцать третьем году за такую работу секретарь Пудожского райкома мог не только партбилет на стол положить. Как раз зимой тридцать второго года ГПУ по так называемому «делу о заговоре финского генштаба» арестовало восемьдесят человек и расстреляло двенадцать. И это только в Пудоже и районе. Предполагалось, что все эти люди были агентами финского Генерального штаба и готовили вооруженное восстание в северо-западных приграничных районах Советского Союза... Те, кого не расстреляли, отправились в лагеря. Здесь, в Карелии, и даже в Пудожском крае, к тому времени уже были и свои лагеря, но местных отправляли на Урал и в Сибирь.

В тридцать седьмом в Карелии «иностранных шпионов, членов повстанческих и террористических групп, готовивших диверсии против советской власти, саботажников» стали арестовывать и расстреливать сотнями. Оказалось, что Карелия буквально наводнена шпионами, террористами, диверсантами и саботажниками. В Пудожском районе арестовали и расстреляли рыбака из деревни Ильинский погост на Водлозере Ивана Кузьмина. Обвиняли его в том, что он состоял «членом контрреволюционной террористической группы Пудожского района, разработавшей детальный план убийства тов. Сталина и вооруженного налёта на съезд ВКП(б)». Арестованный главврач Пудожской районной больницы Федор Шаблеев успел передать жене письмо, в котором писал: «Дорогая Мария! На меня возведена небылица, что якобы имел связь с наркомом Аверкиевым, и он дал мне поручение организовать контрреволюционную повстанческую группу, и я даже устроил диверсионный акт – отравил воду в Водле и развил эпидемию в больнице... Как не возмущался мой разум, просидев на следственном стуле 136 часов безвыходно, без сна и пищи, я вынужден был признать себя виновным... Теперь, когда следствие закончено, они меня успокаивают, что большого наказания не будет... Советский закон меня не осудит, но что могут сделать люди, которые не отличают правду от лжи...»[47] Люди, не отличающие правду от лжи, расстреляли Федора Шаблеева осенью тридцать седьмого там же, где и Ивана Кузьмина – в десяти километрах от Пудожа, на Черной речке. Туда возили расстреливать всех осужденных по 58-й статье. Возили на единственной в городе полуторке, принадлежавшей местному райотделу НКВД. Той же осенью в Пудоже на городской площади состоялась выездная сессия Верховного суда Карельской АССР. Согнали на эту площадь, считай, весь взрослый Пудож. Обвиняли во вредительстве семерых районных землемеров. Прокурор и общественные обвинители требовали их расстрелять. Их и приговорили к расстрелу, но в последствии заменили его на разные тюремные сроки.

С тридцать первого года в Пудожском районе, на острове Большой Голец в Онежском озере было спецпоселение, где добывали карельский гранит сосланные туда семьи раскулаченных. Остров расположен в шести километрах от впадения Водлы в Онежское озеро. Экскурсии туда не возят, но если договориться с кем-нибудь из местных жителей, то тебя отвезут на моторной лодке. Если, конечно, погода будет хорошая и озеро спокойное. Остров маленький – его можно было бы обойти быстрым шагом за полчаса, только быстрым шагом там не получится ходить – он

весь завален гранитными блоками и их острыми осколками, по которым приходится ходить очень осторожно, рискуя поломать себе ноги. От лагерных построек там мало что осталось – каменные фундаменты нескольких бараков и стены какого-то здания, сложенные из плохо отесанных гранитных блоков самого разного размера. Цемента между блоками не заметно – вместо него в щели между блоками забиты мелкие гранитные осколки. На двух или трех прибрежных валунах выбиты даты, фамилии и имена тех, кто здесь жил и умирал[48]. Кто-то выбил силуэт каменотеса с молотком и зубилом, кто-то силуэт матроса в бескозырке. Кажется, если увидишь здесь выбитую надпись о том, что фараон Верхнего и Нижнего Египта повелел... то не удивишься. Собственно, почти так оно и было. Из гранита, добытого на острове, поставили в Петрозаводске памятник вождю мирового пролетариата. Пришлось даже построить специальное судно, чтобы перевезти четырнадцать огромных гранитных блоков в Петрозаводск. Это самый большой и самый массивный памятник Ленину во всей Европе. Фигура Ленина высотой шесть с половиной метров, а вместе с постаментом – все одиннадцать. Как жаль, что на постаменте памятника нет петроглифов с острова Большой Голец.

Всего в Пудоже и районе в годы большого террора осудили более четырехсот человек. Расстреляли триста пятьдесят – русских, финнов и карелов. В девяностом году на месте расстрелов в сосновом бору у Черной речки установили памятный знак жертвам репрессий.

Гранит в Пудожском районе и теперь добывают, правда, не на острове Большой Голец, а возле поселка Шальский на другом берегу Водлы. Там же грузят гранит на самоходные баржи. Стоящую столбом пыль от погрузки видно километров за пять, если не за десять.

В сорок первом немцы, а вернее, финны до Пудожа не дошли, но город и район были прифронтовым. На второй день войны газета «Красный Пудож» (так тогда называлась «Звезда Пудожа») вышла со сталинским эпиграфом «...Те, которые пытаются напасть на нашу страну, – получат сокрушительный отпор, чтобы впредь неповадно было им совать свое свиное рыло в наш советский огород».

Пудож, правда, бомбили всего два раза за всю войну – в сентябре сорок первого и в июне сорок четвертого, уже перед освобождением Петрозаводска.

В сентябре потянулись в Пудож и район эвакуированные. Пошли, поехали и поплыли на всем, на чем можно плыть, из Петрозаводска, который к началу октября был занят финнами. Петрозаводск так горел, что гарью пахло даже в Пудоже.

Из дневника ученика пятого класса Пудожской средней школы Андрея Копосова: «Вчера к нам эвакуировали из Петрозаводска учреждения, на двух баржах... Немцы из Деревянного стреляли по ним из пушек... один снаряд попал в баржу и зажег ее. Утонуло более ста человек. На этой барже ехал Дворец пионеров»[49]. Население Пудожского района на весь период войны увеличилось на восемь тысяч человек.

Стал Пудож жить военной жизнью. В сберкассе повесили объявление: «Состоя вкладчиком сберкассы, Вы участвуете в укреплении обороны нашей страны против немецко-фашистских грабителей-захватчиков. Деньги, внесенные после 23 июня 1941 года, сберегательные кассы выдают по первому требованию вкладчиков и в неограниченной сумме».

Танков с самолетами пудожане не собирали, но собирали деньги на их строительство, шили маскхалаты, вещмешки, патронташи, рукавицы, теплое белье, ватные штаны, гимнастерки и ремонтировали шинели. Делали солдатские котелки, железные печки, саперные лопатки и ящики для противопехотных мин. В поселке Шальский организовали производство лыж. Бамбук для лыжных палок поставляли союзники через Архангельск. Ловили рыбу и обеспечивали ею Карельский фронт. Ловить рыбу на Онежском озере под непрерывными обстрелами береговой артиллерии и налетами финской авиации было занятием, мягко говоря, непростым, но рыбаки ее ловили. Гибли под налетами – и продолжали ловить.

Уже в июле сорок первого для борьбы с диверсантами был сформирован Пудожский истребительный батальон. Он охранял мосты, собирал финские листовки, искал диверсантов и парашю-

тистов. Кроме истребительного батальона собрали еще и партизанский отряд, который возглавил председатель Пудожского райисполкома. В декабре из нескольких партизанских отрядов сформировали партизанскую бригаду, которая совершала рейды в финский тыл – на западный берег Онежского озера. Зимой в финский тыл ходили по льду Онежского озера. Весной по тонкому.

С начала сентября в Пудоже ввели комендантский час. Вечером и ночью запрещалось топить печи. В конце октября над Пудожем низко пролетел финский самолет. Так низко, что было видно, как пилот открыл фонарь и погрозил кулаком людям, стоящим в очереди в магазин. Финские самолеты прилетали в Пудож регулярно.

Из дневника ученика пятого класса Пудожской средней школы Андрея Копосова:

«Сегодня был налет самолетов на Пудож в течение 10 минут. Из крупнокалиберных пулеметов они обстреливали улицы, на которых были автомашины, но больше всего стреляли по улице Карла Маркса. В домах и на улицах есть раненые и убитые. Хлеба дают по 200 граммов...». В августе сорок четвертого в его дневнике появилась запись «Дают суп из ботвы и ряпушки с ложкой каши»[50]. Голодали так, что в поселке Шальском некоторые рабочие лыжной фабрики ели кошек и собак. Впрочем, и в Пудоже, население которого увеличилось в два раза за счет эвакуированных, тоже их съели. Толкли и ели мох, крапиву, когда, конечно, она была. Только в апреле сорок второго от истощения и болезней в Пудожском районе умерло более двухсот человек. Из них детей до одного года около семидесяти.

Из докладной записки, направленной в июне сорок второго наркомом внутренних дел КФССР в Совнарком республики «О состоянии снабжения населения Пудожского района КФССР продуктами питания и политических настроениях»:

«Воскреснуть из мертвых нельзя, а мы уже на краю гибели – живые трупы. Норма 200 г. хлеба через 3-4 дня. Дети не встают и пухнут от голода. Будь прокляты жизнь и все пудожское правительство, которое о нас не заботится, а кушает в три горла. Папа умер от голода» (Архипов, Пудож).

«Если бы знал тов. Сталин, который горит перед нашими глазами, как яркий светильник, о всех безобразиях и о тех кошмаров, которые мы переживаем, что бы он с Вами сделал? Тов. Сталин с Вас спросит. Советская власть создавалась не для того, чтобы морить людей...» (Письмо подписано: группа эвакуированных и голодающих Пудожа).

«Переживаем жуткий голод. Больше не носят ноги. Народ падает на улицах и в очередях из-за головотяпства районных руководителей, которые не могли завезти хлеб. На нас жутко смотреть» (служащий аптеки, Пудож).

По приказу Оборонстроя осенью сорок первого и зимой сорок второго ремонтировали дорогу, по которой поступали грузы для Карельского фронта и для самого Пудожа. На этих работах было занято до двух тысяч человек – в основном эвакуированные. Мужчин было мало. Только старики-ездовые на лошадях. Техники почти не было. Полторы сотни телег – вот и вся техника. Валили строевой лес, укладывали напиленные бревна поперек дороги бревно к бревну, посыпали все песком и копали водоотводные канавы. Осенью и зимой. Женщины и подростки. «Однажды пожилая женщина присела отдохнуть на кавальер, да так и повалилась замертво...»[51].

В сорок четвертом фронт от Пудожа отодвинулся на Запад. Как только он отодвинулся – так сразу и оказалось, что побережье Онежского озера и некоторые острова сплошь покрыты минными полями. Свободных военных саперов, конечно, не было, и офицеры из инженерного управления войск Карельского фронта стали учить добровольцев из местных жителей – большей частью молодежь, которой иногда и двадцати лет не было. Девушек тоже учили, поскольку их было куда больше, чем юношей. Назывались они минеры-разградители. В мае сорок четвертого начали учить, а окончательно все разминировали только к августу сорок пятого.

Из одиннадцати тысяч жителей города и района, ушедших на фронт, не вернулось пять тысяч. Они на памятнике, что стоит на площади Павших Борцов, и перечислены: шесть Андреевых, шесть Васильевых, пять Васькиных, шесть Соболевых, пять Соколовых, шесть Соловьевых, двое Птицыных, четыре Спирина, четыре Воробьевых, один Воронин, десять Стояновых, двенадцать

Титовых, десять Трифановых, двое Трифоновых, один Гольдфейн, семь Хоботовых, шесть Фофановых, один Хейкинен, шесть Фроловых, двое Чижиковых, шесть Шишовых, двадцать Тарасовых, один Щукин, семь Терентьевых, тридцать Тереховых, пять Щербаковых, один Юрьев, один Сковородников...

После войны... снова лесозаготовки. В сорок пятом году на всю лесную промышленность района имелся один автомобиль, чувствовавший себя белой вороной среди лошадей с телегами. В пятьдесят седьмом автомобилей было ровно в сто пятьдесят три раза больше. К автомобилям прибавилось две с лишним сотни трелевочных тракторов и сорок три паровоза, бензопилы «Дружба» сменили лучковые, коммунисты и комсомольцы приняли на себя повышенные социалистические обязательства, образовались комплексные бригады, вызывавшие друг друга на соревнования, переходящие красные знамена стали переходить и... вековые Пудожские леса стали редеть так, как никогда еще не редели. В пятьдесят шестом было заготовлено более миллиона кубометров древесины, в пятьдесят восьмом – полтора миллиона, а в шестидесятых объем заготовок перевалил за два миллиона кубометров. Всех этих многочисленных лесорубов, сучкорубов, трактористов, шоферов и паровозных машинистов нужно было кормить. Стали поднимать сельское хозяйство, которое после войны было в таком состоянии, что тощих коров поднимали на ноги веревками. Чтобы увеличить посевные площади, стали осушать болота, которые собирались осушить еще в начале двадцатого века. После того как на двадцать первом съезде КПСС объявили, что социализм у нас победил окончательно и пора строить развитой, в Пудожском районе стали развивать дорожную сеть, у которой были сильные задержки в развитии. Некоторые из районных дорог даже развились до асфальтовых. Кульминацией развития районной дорожной сети стало строительство двух аэропортов – в Пудоже и в поселке Пяльма. В Пудоже даже построили аэровокзал. Кукурузники летали в Петрозаводск несколько раз в день. В конце восьмидесятых можно было на самолете Ан-28 долететь до Петрозаводска меньше чем за час. Перевозили до тридцати пяти тысяч пассажиров год, а это, считай, население почти всего Пудожского района вместе с Пудожем. Теперь уж не летают. Теперь из Пудожа в Петрозаводск летают вертолеты Ми-8. Сорок минут – и ты в Петрозаводске. Только не каждый день, поскольку рейсы чартерные. Да и билет стоит почти тысячу рублей. При средней зарплате в Пудоже в четырнадцать тысяч... ну, пятнадцать тысяч...

В семидесятых и восьмидесятых, когда наш социализм начал перезревать, вместо того чтобы развиваться в коммунизм... Тут бы надо было написать, что все понемногу начало подгнивать и разваливаться, но... не разваливалось. В семидесятых стали, наконец, строить кирпичные пятиэтажные дома и построили их целый микрорайон, в Пудоже появились водопровод и центральная канализация, районная больница, баня, комбинат бытового обслуживания, работали колхозы, мясокомбинат, хлебокомбинат, маслозавод, леспромхозы, рыбозавод, добывали гранит и даже построили возле поселка Шальский горно-обогатительный комбинат, производивший щебень для дорожного строительства. Между прочим, он производил два миллиона тон щебня в год, которые шли на строительство дорог в Нечерноземье.

В семидесятом году в Пудоже стараниями учителя истории и обществоведения Александра Федотовича Кораблева открылся краеведческий музей. Он и стал его первым директором. Поначалу музей был районным и народным, а в восемьдесят третьем, когда его коллекции стараниями директора разрослись, стал государственным.[52]

Может, это и не был золотой век Пудожа, но... Конечно, водопровод, центральную канализацию, новую районную больницу, пятиэтажные дома, хлебокомбинат, маслозавод, баню и даже аэропорт вместе со всеми его кукурузниками золотым веком не назовешь, но теперь, когда от всего того, что тогда работало, грохотало, тарахтело, мычало, доилось, несло яйца, колосилось, затаривалось в мешки, ссыпалось в бункеры, ругалось на совещаниях до хрипоты, выбивало фонды, ездило в Петрозаводск за переходящими красными знаменами и орденами, остались только хлебокомбинат, несколько маленьких лесопилок и чартерные рейсы на вертолете в Петрозаводск...[52] Теперь, когда в Пудоже и районе найти работу на двадцать тысяч в месяц огромная удача, когда

от животноводческих ферм и лесозавода остались одни руины... Теперь, оглядываясь назад, в то время, ~~видишь как там что-то поблескивает~~... не знаешь, что и думать.

Сегодня Пудож живет тем, что понемногу валит лес, но не обрабатывает его, а отвозит в соседние Кондопогу и Сегежу на тамошние целлюлозно-бумажные комбинаты; немного добывает гранит; немного производит щебня; немного ловит рыбы; немного мечтает о том, что было бы, если в Пудожском районе стали бы разрабатывать месторождение титано-магниевых руд, которых здесь залежи, только не разрабатывают потому, что нет железной дороги и достаточных электрических мощностей, а нет их потому, что не разрабатывают; немного за счет туристов, приезжающих посмотреть на петроглифы, половить рыбу на Черной речке и в Онежском озере, поварить уху на костре, пособирать чернику с голубикой, пожить в палатках в прозрачных сосновых лесах на его берегу и даже заглянуть в музей перед отъездом, но... на те деньги, которые стоит однокомнатная квартира в одном из спальных районов Москвы, в Пудоже можно купить пять двухкомнатных в самом центре потому, что предложение настолько превышает спрос...

И еще. Немного Пудож напоминает Индию, потому что по его тихим и пыльным улицам, коегде заросшим травой, бродят коровы. В любом другом городе они бы наверняка заблудились, или не нашли бы на улицах травы, или попали бы под трамваи и автобусы, или их хозяев разорили бы штрафы за неправильную парковку скотины, но в маленьком Пудоже с его десятью тысячами жителей... Кстати, о жителях. Поэт Державин сказал о них чистую правду – они «ласковы, обходительны и довольно трудолюбивы, но, живя от правительства в отдалении...» перестали на него надеяться. Некоторые и вовсе сомневаются в его существовании, потому что не может же так быть, чтобы правительству на целый город, да еще и вместе с районом... нет, точно не может.

---

[1]Цит.по: Ю.А. Савватеев. Город Пудож и онежские петроглифы // Сб.: Историко-культурные традиции малых городов Русского Севера. Материалы региональной научной конференции (7-9 сентября 2006 г.). Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2006. С. 23.

[2]Цит.по: Н.С. Шайжин. Старая Пудога с XIV по XVIII век. Историко-бытовой очерк /// Сб.: Историко-культурные традиции малых городов Русского Севера. Материалы региональной научной конференции (7-9 сентября 2006 г.). С. 99.

[3]Цит.по: Там же. С. 98.

[4]Цит.по: Там же. С. 99.

[5]И сейчас ловят. Только в Новгород эта рыба уже не попадает. Местные рыбаки сдают ее перекупщикам, а те увозят большей частью в Петербург и в Москву. Купить рыбу у местного жителя почти невозможно – или сам лови на удочку или езжай за ней в одну из столиц.

[6]Цит.по: Н.С. Шайжин. Указ. соч. С. 105

[7]Цит. по: Н.А. Кораблев Пудож. Историко-экономический очерк о городе и районе. Петрозаводск: Карелия, 1983. С. 11.

[8]Цит.по: М.В. Пулькин. Самосожжения старообрядцев (середина XVII – XIX в.). М.: Университет Дмитрия Пожарского, 2015. С. 170.

[9]Там же. С. 301.

[10]Там же. С. 311-312.

[11]Там же. С. 312.

[12]Между прочим, в городе Санкт-Петербурге есть даже улица Пудожская. Некоторые пудожские краеведы полагают, что она так названа в ознаменование вклада, внесенного Пудожским погостом в строительство... Увы, не в ознаменование. Просто в восьмидесятые годы позапрошлого века несколько столичных улиц наименовали по уездным городам Олонецкой губернии. С другой стороны, какая-нибудь уездная рязанская Елатьма тоже помогала. И все помогали. Попробовал бы кто-нибудь не помочь. Так ведь Елатомской улицы нет, а Пудожская есть.

[13] А. Г. Костин. Книга рекордов Пудожа. Пудож, 2006. С. 46.

[14]Цит. по: Н.А. Кораблев. Указ. соч. С. 14.

[15]Поденная записка, учиненная во время обозрения губернии правителем олонецкого наместничества Державиным. Цит. по: Пименов В.В., Эпштейн Е.М. Русские исследователи Карелии (XVIII в.). Очерки. Петрозаводск: Гос. изд. КАССР, 1958. С. 165.

[16]Там же. С. 164-165. Дома, в котором останавливался в Пудоже Державин, не сохранилось.

[17]Там же. С.165

[18]Там же. С.166.

[19]Там же. С.166.

[20]Там же. С.164.

[21]Там же. С.164.

[22]Как хотите, а чеканную формулировку «временно проживающие при разных должностях» могли придумать только у нас. Временно проживающий при должности мэра... или губернатора... или начальника РОВД... И оглянуться не успеешь, как они уже проживают при этих должностях постоянно, и их оттуда, как и написанное пером, не вырубить топором.

[23]Олонецкие губернские ведомости. 1870. №10. С. 130.

[24]Там же.

[25]См. Н.А. Кораблев. Пудожье – древний край за Онежским озером // Север. 2010. №3-4. С. 156.

[26] Из Пудожа (письмо в редакцию Олон. губ. вед.) // Олонецкие губернские ведомости. 1869. № 56. С. 544.

[27]Там же. С.545.

Если рассуждать аналитически, то в Пудоже «Биржевыми ведомостями» мог интересоваться только один человек – Иван Иванович Малокрошечный. Неужто он был такой... эконом, что из-за сорока копеек, пусть даже и серебром...

[28] Ф. Журавлев. Пудож // Олонецкие губернские ведомости. 1864. № 24. С. 138.

[29] И. Георгиевский. Этнографические сведения Олонецкой губернии о городе Пудоже с принадлежащими к оному окрестными селениями. 1856.

[30]Памятная книжка Олонецкой губернии на 1868-1869 гг. Петрозаводск, 1869. С. 193.

[31]Олонецкие губернские ведомости. 1888. № 53. С. 508.

[32]Одним из последствий упадка льноводства в Пудожском крае стало увеличение численности отходников. Пудожане не только сами разбредались и разъезжались в поисках работы по Олонецкой и другим губерниям, но и детей своих буквально сызмальства отдавали в обучение различным ремеслам в Петербург. Приезжал из столицы наборщик в какую-нибудь деревню и интересовался у родителей, нет ли у них мальчиков и девочек от десяти до четырнадцати лет. Как только такие находились, наборщик тотчас же начинал рассказывать родителям о том, какие блестящие перспективы ждут их детей в столице, в каких прекрасных столярных, сапожных, башмачных, шляпных и пошивочных мастерских будут они учиться, как быстро всему научатся, как будут любить их будущие хозяева, как оденут в лучшие одежды и на выход дадут как минимум четвертной билет, а то и два. Родители, конечно, соглашались, потому как от такого счастья грех отказываться, и, помолившись Богу, ударяли с наборщиком по рукам, брали у него задаток от одного до двух рублей за каждого ребенка и...

[33]С церковью Александра Невского вышла вот какая история. Николай Александрович Базегский спросил у пудожан – что будем строить? Церковь или мост через Водлу? Мост способствовал бы развитию сообщений, торговли... Выбрали церковь. Говорят, что местное купечество побаивалось конкуренции с соседней Вытегрой, в которой всегда все крутилось на несколько оборотов шустрее. С развитием сообщений вообще не задалось. То есть они, конечно, развивались, но большей частью речные и озерные. В последней четверти девятнадцатого века стали ходить грузопассажирские пароходы между селом Подпорожье, что в одиннадцати километрах ниже Пудожа по Водле, до самого Петрозаводска*. Поездка занимала около половины суток. Потом открылась еще одна пароходная линия, принадлежавшая Петербургско-Волжскому пароходству, потом еще одна, которую обслуживал грузопассажирский

пароход «Сильфида», принадлежавший петрозаводскому купцу Фогелю, потом... Петербургско-Волжское пароходство свою линию закрыло из-за финансовых трудностей, а купец Фогель умер, и «Сильфида» перешла на другие маршруты. Все же регулярное пароходное сообщение между Пудожем (вернее Подпорожьем) и Петрозаводском было установлено с восемьдесят седьмого года, но уже Петербургско-Петрозаводским пароходством**. По поводу открытия новой линии пресса писала: «Нельзя не быть благодарными обществу, открывшему пароходное движение в местности, о которой принято говорить, что свет здесь досками заколочен». И все же пароходного сообщения, ограниченного навигацией, было мало. Нужна была железная дорога. Сами пудожские купцы на этот счет... а вот вытегорский купец Воробьев предложил в семьдесят первом году проект постройки железной дороги от Вытегры до беломорского порта Онега как раз через Пудож. Через год провели изыскания на местности, и оказалось, что проложить дорогу можно. Кроме того оказалось, что денег на нее нет. И до сих пор нет.

---

*Пароходы не могли подниматься по Водле до Пудожа, поскольку в Подпорожье реку во всю ширину перегораживает порог.

**Ходил по этой линии пароход стосильный винтовой «Геркулес». Как писала В.Н. Харузина в своих записках «маленький и грязный, служащий больше для перевозки грузов, чем для пассажирского движения».

---

[34] В.Н. Харузина. На Севере. Путевые воспоминания. М., 1890. С. 20.

[35] А.Г. Костин А.Г. Книга рекордов Пудожа. С.4.

[36]Олонецкие губернские ведомости. 1878. № 96. С. 1158.

[37]Олонецкие губернские ведомости. 1889. № 75. С. 789.

[38]Олонецкие губернские ведомости. 1890. № 32. С. 313.

[39]По данным переписи 1897 г., в уездных лесах, кроме медведей, лосей, зайцев, белок, подосиновиков и муравьев на территории в 18,6 тыс. кв. верст, проживало 33,5 тыс. человек, а в самом Пудоже проживало полторы тысячи человек. На одну квадратную версту Пудожского езда приходился всего лишь один целый человек и еще восемь десятых другого человека. По данным переписи за 2019 г. на один квадратный километр Пудожского района приходится еще меньше народу – один целый человек и четыре десятых еще одного. ~~В Монголии больше~~. Медведей, лосей, зайцев и белок тоже сильно поубавилось. Только муравьям и подосиновикам все нипочем.

[40] А.Г. Костин. Книга рекордов Пудожа. С.16.

[41]Обычно большевики добавляли к этой триаде еще и помещиков, но особенность Пудожского уезда состояла в том, что там практически не было помещиков – крестьяне принадлежали государству и монастырям.

[42]Цит.по: О.А. Киселева. Крестьянство Пудожского уезда и земельный вопрос в годы Гражданской войны // Сб.: Историко-культурные традиции малых городов Русского Севера. Материалы региональной научной конференции (7-9 сентября 2006 г.). С.250.

[43]Надо сказать, что роман советского писателя Рысса... очень советский. Одно из главных действующих лиц романа – купец Катайков Тимофей Семенович изображен исчадьем ада. В конце романа он, преследуемый комсомольцами, убегает, бросив старуху жену, из Пудожа с нажитым неправедным трудом золотом, валютой и драгоценностями, оседает в Новосибирске под другой фамилией и там живет никем не узнанный до самой смерти, работая заведующим овощебазой и ведя скромную жизнь подпольного миллионера.

Реальный же купец Катайков Дмитрий Михайлович, как рассказал мне пудожский краевед Александр Григорьевич Костин, был человеком уважаемым – известным пудожским предпринимателем, общественным деятелем и благотворителем. Дожил он до пятьдесят девятого года, и не в Новосибирске, а в Ленинграде. Катайков был страшно обижен на Рысса за то, что тот воспользовался его фамилией. В Пудоже других купцов по фамилии Катайков не было, и перемена имени и отчества никого из пудожан обмануть не могла. Дочь Катайкова, Клавдия Дмитриевна, даже написала в пятьдесят девятом

году письмо Евгению Рыссу, в котором доказательно опровергала факты из романа. Рысс отвечал ей: «Все, конечно, было совсем не так, как у меня в книге...», но упорно стоял на том, что имеет право на вымысел. Имеет, что и говорить. Что же касается братьев Малокрошечных и Николая Александровича Базегского, показанных в романе, мягко говоря, не с лучшей стороны, то они ко времени написания романа давно умерли и обидеться на писателя не могли, а хоть бы и могли...

Когда был показан телефильм, то пудожане его, считай, не видели. В семьдесят первом году у большинства из них и телевизоров не имелось, а если бы и были, то все равно не посмотрели бы, потому как до этих мест сигнал доходил до того ослабленным, что и не доходил вовсе. Теперь, когда все три серии фильма можно посмотреть, включив компьютер... никто его и не смотрит. Теперь это дела очень давно минувших дней. Почти неолит с петроглифами.

[44]Бюллетень Карельского Областного Комитета ВКП(б). 1931 № 7-8. С. 1.

[45]Там же. С.2.

[46]Бюллетень Карельского Областного Комитета ВКП(б). 1933. № 1. С. 8.

[47]Александр Трубин. Впервые сталинские расстрелы в Карелии подтвердились 25 лет назад под Пудожем. Московский комсомолец. 30 октября 2015.

[48]На одном из камней выбита надпись «Логинов Мефодий Семенович 1914 10/VI». В сводной базе «Мемориала» написано, что арестовали Логинова, который к тому времени был трудпоселенцем, на острове 18 декабря 1937 г., через десять дней осудили по ст. 58-2-10-11 28 и через девятнадцать дней расстреляли на Черной речке. Было Мефодию Семеновичу двадцать четыре года.

[49]Е.Г. Нилов Пудож: повседневная жизнь прифронтового города. 1941-1944 гг. // Сб.: Историко-культурные традиции малых городов Русского Севера. Материалы региональной научной конференции (7-9 сентября 2006 г.). С. 315.

[50]Там же. С. 316.

[51]Там же. С. 312.

[52]Музей в Пудоже богатый, и экспонатов в нем много. Жаль только, что посетителей мало. Так получилось, что расположен Пудож на половине автомобильной дороги между Мурманском и Москвой. Проезжающие останавливаются в Пудоже только переночевать, а утром встают и укатывают в Москву. В музей зайти им недосуг. Да и музей, признаться, переживает не лучшие времена. Здание земской управы, в котором он расположен, так обветшало, что и ремонтировать его нет никакого смысла. Крыша... нечего и говорить про крышу. Зимой внутри музея временами бывает не более двух градусов тепла. Ни водопровода, ни канализации в нем нет. Гвозди бы делать из его сотрудников, которые и в стужу и в зной приходят туда и работают в музее и в стуже и в зное. Обещают власти, что переедет музей в новое здание, которое на самом деле старое – бывшее здание райкома партии, но хорошее. Может, оно и хорошее, но небольшое. Как там разместить все необходимые экспозиции... Короче говоря, и оставаться уже нет никакой возможности, и переезжать боязно.

И еще. Однажды через Пудож проезжал писатель Даниил Гранин, и сам Кораблев водил его по музею и долго с ним разговаривал. Считается, что в романе «Картина» Гранин вывел Александра Федотовича под именем краеведа Поливанова. ~~Кто теперь помнит роман «Картина» да и все остальные романы писателя Гранина...~~

[53]До Петрозаводска можно еще добраться на автобусе. Ехать, правда, нужно часов шесть. В советское время ходил по Онежскому озеру теплоход «Ладога», а потом, уже после советского времени, стала ходить «Комета» на подводных крыльях. «Комета» старенькая и не столько летит над водой, сколько по ней ползет, но за полтора часа от поселка Стеклянный, что в устье Водлы, до Петрозаводска добраться можно. Не дай бог, еще и сломается посреди озера, которое как море. И вообще она уже два года как не ходит. Зимой остается только автобус, но и он, когда дорога обледенеет, может и не поехать. Вот тогда, если у тебя нет собственной машины или денег на вертолет, который неизвестно когда полетит...

Сергей БОРОВИКОВ

ЗАПЯТАЯ – 6
(*В русском жанре – 66*)

,,,

Впервые подумал об особой роли наречия в нашем языке.

Вот его определение:

Наречие – это самостоятельная часть речи, которая обозначает признак действия или состояния, признак признака и предмета и отвечает на вопросы: как? куда? где? откуда? зачем? почему? в какой степени? и пр.

Наречия, по моим наблюдениям, чаще всего отвечают на вопрос *как*?

Попробуйте на самых обиходных примерах:

Как жизнь? Как здоровье? Как жена? Как работа? Как дела? Как провёл лето? и т.д.

И тут же услышите ответы-наречия: хорошо, плохо, хреново, здорово, весело и т.д.

Наречие способно содержать и выразить гораздо больше смыслов, чем остальные части речи. Сколько существительных, прилагательных и глаголов понадобится, чтобы поточнее ответить на вопрос «Как дела?», тогда как наречие легко обходится единственным.

К тому же наречия-ответы на вопрос *как* особенно разнообразны, и поколение за поколением рождает всё новые их синонимы, антонимы и многие значения между ними. *Прикольно*! – слышу я то и дело и вспоминаю, что у нас в 60-е синонимом было *законно*! А в конце прошлого века синонимом *отлично* или *здорово* стало *клёво*.

О, наш великий и могучий!

,,,

Однажды я позволил себе заметить, что Чехов (в «Скучной истории») не вполне достоверно описывает бессонницу, предположив, что сам он, видимо, не страдал изматывающей до отчаяния бессонницей. Герой повести описывает ее так: «*Как и прежде, по привычке, ровно в полночь я раздеваюсь и ложусь в постель. Засыпаю я скоро, но во втором часу просыпаюсь и с таким чувством, как будто совсем не спал. Приходится вставать с постели и зажигать лампу. Час или два я хожу из угла в угол по комнате и рассматриваю давно знакомые картины и фотографии*».

Почему я вцепился в чеховского профессора, назвав его бессонницу даже идиллической? Да потому только, что тогда сам мучился ею. Я даже написал, что герой повести «не знает, что такое мучительно хотеть спать, более того, ежесекундно засыпать и тут же вздрагивать и пробуждаться от чьей-то безжалостной руки, которая стучит по затылку, едва сомкнешь веки».

Нагло всё это конечно было, но уж очень я в то время мучился, не спавши из ночи в ночь.

И вот неожиданно из воспоминаний М.П. Чехова узнаю, что мой любимый писатель изведал, что такое и моя бессонница, но спустя годы. «Скучная история» написана в 1889 году, а младший брат Антона Павловича вспоминал про мелиховское лето 1893 года: «*В Мелихове у Антона Павловича, вероятно от переутомления, расходились нервы – он почти совсем не спал. Стоило только ему начать забываться сном, его “дёргало”*».

И определение «дёргало» как нельзя более точно подходит к моим мучениям, но всё-таки совестно: нельзя собственное выдавать за единственное: бессонницы бывают разные.

,,,

Перечитывая «Белую гвардию», зная, что гадкий Шполянский это карикатура на Виктора Шкловского, я недоумевал там, где подчёркивалось женолюбие персонажа. Сложившийся у меня образ Виктора Борисовича донжуанством не отдавал. И я поделился своими сомнениями с М.О. Чудаковой. Вот мои вопросы и её ответы (декабрь 2018):

Вопрос: «*Какие были основания у Булгакова показать Шполянского властелином женщин? О Шкловском я ничего на этот счет не знаю, а в «ZOO» автор-герой даже жалок. А если Булгаков придумал всё это, то зачем? Ведь подобный мужской ореол у читателя (и читательницы тем более) вызовет восхищение, но прототип Шполянского автору ненавистен*».

Ответ: «*Похоже, что были! Отбивал у Тынянова – друга! – одну из первых красавиц Петрограда Вету Долуханову. И потом – известно было, что он – человек биологической храбрости. Этот запах всегда кружит голову нам, женщинам*».

Что ж, ещё одно свидетельство благородства таланта Булгакова, который терпеть не мог Шкловского, но мужские его качества, видимо, ему известные, не обошёл.

И, раз уж о смелости Шкловского, приводило, естественно, в недоумение рвение его в осуждении Пастернака. Как известно, будучи в дни судилища в Ялте, они с Сельвинским не поленились сойти с горы, где расположен Дом творчества писателей, вниз, в почтовое отделение, чтобы сообщить о своей поддержке осуждения Пастернака. А Сельвинский еще и стих в «Курортной газете» поместил. Но его не так давно, во время войны, крепко трепали, даже на Политбюро, а Шкловскому-то зачем было вылезать?

Могу объяснить лишь досадой: Борис всегда при большевиках процветал, и ему главную, не советскую, а мировую, премию, а мне, с 17-го года инакомыслящему?

А чем же ещё объяснить?

,,,

То, что один из любимых мною писателей Алексей Н. Толстой о совести понятие имел условное – не новость, и что толку без конца это повторять, но поскольку наследил граф по жизни немало, иной любопытствующий, едва узнав какую-нибудь давно известную неприличность о всё ещё читаемом писателе, спешит поделиться ею как открытием.

Так, расхожим местом стал конфликт Толстого и Мандельштама, хоть история эта очень мало говорит о Толстом, но много о Мандельштаме, не осмелившемся дать сдачи молодому наглецу Саргиджану-Бородину, когда тот побил его жену, а через полтора года в Питере демонстративно-невесомой пощечиной отомстившем старому, ещё с 10-х годов, знакомцу за бесплодное председательство в товарищеском суде. И постепенно досужие болтуны договорились до того, что именно Алексей Николаевич в отместку активно участвовал в преследовании поэта.

Затеял тему я, конечно, не для того, чтобы в очередной раз затронуть моральный облик аморального русского писателя, но с целью более уместной для словесности: поглядеть, как проявлялись порой самые непохвальные черты натуры Алексея Николаевича в его, что ни говори, но всё же художественных текстах.

В романе «Восемнадцатый год» одну из главных героинь Дашу авторская фантазия занесла в заговор «Союза защиты родины и свободы», где её инструктирует сам Савинков, и вообще из неё готовят Фанни Каплан... Ужас, конечно, но если, читая романы А. Толстого, отнестись к ним как приключенческим, тогда может покорить увлекательность сюжетов и мастерство слова. Жаль, что в России всё ещё дымится столетнее прошлое, обостряясь в какой-то неожиданной эпидемии псевдоисторизма, каким отмечены в наши дни даже речи политиков и какой через край хлещет из сериального нашествия, где возникают – новые, и хрен бы с ними, Ильичи и Троцкие, но и такие дорогие русскому сердцу персонажи, как Куприн или Пётр Лещенко. Можно без преувеличения

сказать, что не учёные, а политики и телевизионщики сейчас сделались у нас законодателями историзма.

В романе «Восемнадцатый год» новоявленную заговорщицу одевают в кладовых Дома анархии. *«Жиров широким размахом указал на вешалки, где рядами висели собольи, горностаевые, черно-бурые палантины, шиншилловые, обезьяньи, котиковые шубки. Они лежали на столах и просто кучками на полу. В раскрытых чемоданах навалены платье, белье, коробки с обувью. <...> Даша наклонилась над раскрытым кофр-фором, – на секунду стало противно это чужое, – запустила по локоть руку под стопочку белья.... <...> Ну, что ж, – потом как-нибудь разберемся...»*

В связи с реализацией толстовской героиней большевицкого лозунга «грабь награбленное» я подумал о другом, куда более почтенном русском писателе. Что должен был испытывать М. Горький, занимая особняк Рябушинского на Малой Никитской? Да, он называл его нелепым и даже сокрушался: «я совершенно точно знаю, что моё поселение во дворце или храме произведёт справедливо отвратительное впечатление на людей, которые, адски работая, обитают в сараях». Но как быть со священным правом собственности, не последним приверженцем которого в жизни, а не в книгах, был сам Алексей Максимович? Не знаю, бывал ли он до 17 года именно в этом особняке, но в подобной собственной роскоши жил годами.

Алексея Николаевича справедливо считали человеком, да и писателем, физиологическим. Его тексты этой самой физиологией, не только бальзаковски брачной, но и винной, и обеденной, и мебельной, и много ещё какой, прямо-таки кишат. Позволю ещё два примера, которые, надеюсь, для кого-то могут быть и неожиданными.

В романе «Хмурое утро» белый офицер Вадим Рощин в Екатеринославе находится в крайней степени утраты всех смыслов жизни. Нет России, потеряна жена, один шаг до самоубийства.

«Проходя мимо парикмахерской, он невольно взглянул на себя в узкое зеркало сбоку двери: ему зло и криво усмехнулось его лицо трупного цвета. Он зашел, не снимая шинели, сел в кресло: «"Побрить!" – Позвольте вам подстричь а ля бокс, если желаете, осталось у меня немного заграничной краски – вороньего крыла? Кому это нужно – седая мочала? ("Побрейте голову", – сквозь зубы сказал Рощин.) Рощин глядел на себя в зеркало. Лоснящийся череп был хорошей, вместительной формы – для благородных и высоких мыслей. <...> Он поднялся, надвинул походную, грязную простреленную фуражку – несколько набок, щедро расплатился и вышел... Решения у него все еще не было никакого... Но он уже не чувствовал дряни в ногах, не цеплялся носками сапог за булыжник. Вот что значит – побывать у парикмахера! Капелька любви к себе просочилась в мутное отчаяние его души».

И правда поверишь, что от пули в висок могут спасти ко времени сделанные бритьё и стрижка.

Последний же пример из статьи Толстого для сборника «Как мы пишем» (1930).

«Затем последнее (в порядке совета) – о желудке. Степан Петрович Яремич говорит: чистите ваш желудок. Он так же любит повторять: Лермонтов погиб оттого, что не чистил желудка. Это парадокс, но покопайтесь-ка в причинах вашего дурного настроения, головной боли, минут черного пессимизма и пр. – желудок. Вы сели к столу, в голове смесь ваты с простоквашей, щурясь – курите, перо выводит на полях какой-то рисуночек, – топорик, ромбики, завитушечки. Чистите ваш желудок!»

Помню, когда впервые прочитал это, был ошарашен прямо-таки хамством писателя. И сейчас даже шутки здесь не вижу. Но так был устроен этот человек, что с лёгкостью переводил любые человеческие проявления в физиологию. А сам успешно всю жизнь избегал таких неприятных зрелищ, как похороны, кроме вынужденного выноса урны с прахом Горького рядом с вождём. Лишь на самом закате, когда в 1944 году по велению того же Сталина Толстой должен был наблюдать эксгумацию катынских захоронений, чтобы подписать рядом с православным патриархом и академиком медицины лживое заключение о фашистских, а не энкаведешных, пулях в телах поляков, не вынес. И не того, что придётся врать, что было привычно. Мне представляется убедительным объяснение хорошо понимавших его людей (Михоэлса, Раневской и других) причин скоротечной смертельной болезни писателя тем, что не смог пережить зрелища массы катынских трупов. Совесть совестью, но восприимчивостью он был наделен сверхъестественной.

,,,

Спорить о художественных достоинствах фильма Никиты Михалкова «Солнечный удар», которых, на мой взгляд, просто нет, не стану – дело вкуса. А задам вопрос, который в многочисленных рецензиях и комментариях мне пока не встретился. Режиссёр признаётся в страстной любви к прозе Бунина и экранизирует рассказ 1926 года и дневник 1919-го. Чем обусловлен выбор? Ужаснуться, вслед за старшим коллегой, тому, «какую Россию мы потеряли»? Но, любя, или хотя бы уважая великого писателя, почему не показать страну, не только вспоминаемую им через розовые очки ностальгии, но увиденную непосредственно.

Повесть «Деревня», рассказы «Хорошая жизнь», «Ночной разговор», «Весёлый двор», «Игнат», «Захар Воробьёв», «Личарда», «При дороге» и многие другие – не на один фильм хватит. Да вот не очень-то привлекательна та Россия Бунина.

Прадеда героя «Деревни» «затравил борзыми барин Дурново», он называет современные ему времена «пещерными», а сам автор, работая над повестью, восклицал – «Жуть, жуть...»

Героиня «Хорошей жизни» вгоняет в гроб мужа, выгоняет сына из дому. Гимназист в деревне на каникулах («Ночной разговор») с ужасом слушает спокойный рассказ мужика об убийстве им односельчанина. Егор («Весёлый двор») похоронив мать, пьяный пляшет на её могиле и затем бросается под поезд. Живущая на барском дворе Любка («Игнат») живёт с барчуком, влюблённый в неё Игнат живёт с дурочкой-нищенкой, грабит маленькую крестьянскую девочку, женившись на Любке. Наконец, воротившись из армии, застаёт жену с купцом, которого они и убивают. Богатырь Захар Воробьёв в одноимённом рассказе на спор выпивает столько водки, что умирает. Вдовец Устин («При дороге»), про которого «говорили, что он убил жену из ревности», пытается соблазнить свою младшую дочь.

Достаточно?

Бунин сгущал краски? Что ж, ему было виднее. Во всяком случае, виднее, чем режиссёру. И коли претендуешь на историзм (а Михалков сделался записным историком по телевизору) и уважаешь великого писателя, не делай вид, что «потерянная Россия» вмещается в короткий романтически-ностальгический рассказ.

И о волжских пароходах. В какой своей буйной фантазии постановщик «Солнечного удара» вообразил не имеющие ничего общего с волжскими пароходами остроконечные клипера с пиратскими бушпритами? В изданной (1996) журналом «Волга» книге «Пароход на Волге» содержится 185 оригинальных фотографий пароходов 19 – начала 20 веков. И разумеется, ничего подобного михалковским пароходам нет. Да и нигде нет и быть не может. Коли сам ничего не смыслишь в этом, следовало обратиться если не к консультантам, то просто к старым фото. Да и при бюджетах михалковских постановок можно и построить пароход...

Стыдно так не уважать великого писателя, нашу историю, зрителя.

А как можно было откровенно стянуть у Михаила Швейцера из экранизации «Крейцеровой сонаты» (1987) кадры, зрительно ассоциирующие работу поршней пароходных двигателей с движениями полового акта?

,,,

В номере от 4 декабря 2019 года «Литературная газета» поместила текстик Анатолия Макарова «Наследники Смердякова».

«Интеллигентский скептицизм, непреходящее недовольство начальством, своей страной, окружением, народом, даже климатом никого не удивляет. Это, что называется, природное свойство “образованных людей”, их привилегия». И т.п.

А ведь этот броский заголовок уже был в той же ЛГ 22 января 1966 года перед статьей критика Зои Кедриной, общественного обвинителя на процессе русских интеллигентов Андрея Синявского и Юлия Даниэля.

Вот из Кедриной: *«Литературные пародии и реминисценции Синявского-Терца выражают злобную ненависть по отношению ко всем установлениям, людям, быту того общества, в котором Терц-Синявский живет и которое стремится замарать всеми доступными ему средствами, рисуя его в виде скопища отвратительных чудовищ».*

А вот из Макарова:

«...воспылали вдруг яростной неприязнью к нашему порядку вещей. И вообще к России. Их раздражает, а то и приводит в озлобление сам русский характер, часто трактуемый ими однобоко и пристрастно. Россия, с их точки зрения – сплошь царство хамства, вечного и неистребимого. А русский народ и есть этот самый хам, не способный ни к духовному развитию, ни к сопереживанию, ни к цивилизованности».

Можно поздравить нынешнюю ЛГ с сохранением самых свирепых её традиций – от использования старых заголовков до замены слова «советский» на «русский», что сейчас, как и в 1966 году, вполне в кремлёвском духе.

,,,

Семьдесят пять лет исполнилось Анастасии Вертинской.

Беспримерно счастливая судьба, начиная с происхождения и фамилии. Редкая красота. Первая, и сразу звездная, кинороль в экранизации культового в те годы Александра Грина «Алые паруса». И следом «Человек-амфибия», «Гамлет», «Война и мир», «Анна Каренина», «Не горюй!» и др. На мой вкус, самыми удачными её ролями была «декадентка» в фильме по прозе Валерия Брюсова «Жажда страсти» – и скандальная мамаша героини в фильме «В городе Сочи тёмные ночи». На сцене я видел её лишь однажды и судить не берусь.

Но есть у меня и иное, не зрительское, отношение к Анастасии Александровне. Я много лет изучал творчество ее отца. Впервые работал в его архиве в ЦГАЛИ еще в 70-е годы, где до меня практически никто не бывал. Когда же обратился туда уже в 90-е, получил ответ: «Уважаемый Сергей Григорьевич! В ответ на Ваш запрос сообщаем, что фонд Вертинского (2418) и остальные материалы Вертинского в других фондах закрыты наследниками. Наследники просили не обращаться. Читальный зал РГАЛИ».

Тогда в серии ЖЗЛ одобрили мою заявку на книгу о Вертинском, и директор издательства «Молодая гвардия», подписывая договор, спросил нас с редактором Вадимом Эрлихманом: «А про Настю вы не забыли? Смотрите: она ведь уже со всеми пересудилась».

Я вспомнил про архивный запрет и загрустил, но Вадим Викторович предложил не отчаиваться, а продолжать работу, но вскоре сообщил, что из телефонного разговора с «Настей» узнал, что ею наложен запрет даже на цитирование текстов. Представляете книгу о Вертинском, лишенную слов его песен?

Идею книги я отложил, но из любопытства посмотрел в Интернете: и правда, с кем только не судилась наследница, даже с автором романа, где просто цитируется «Кокаинетка», автор слов которой неизвестен. Сама же Анастасия Александровна ничего нового не представила, а лишь переиздаёт давно составленную покойным Юрием Томашевским книгу «Дорогой длинною» (Правда, 1990), полиграфия которой становится богаче, но в содержании новизны не прибавляется.

А к чему снабжать СМИ ложью? Процитирую лишь одно из многих её интервью. На вопрос: «При жизни Вертинского в СССР так и не выпустили ни одной его пластинки?» – отвечает: «Ни одной. Когда он вернулся в Советский Союз в 1943 году, то, вплоть до его смерти, ему не разрешали записываться в профессиональной звукозаписывающей студии» (16.08.11, «фрАза.ua»). Или: «...ему никогда не разрешали записываться в Доме звукозаписи. Это для певца того времени, когда не было частных студий, очень большой урон. Всё, что мы имеем на сегодня, в лучшем случае записи с концертов, где слышно дыхание зала» (Новая газета, 2000).

Но Апрелевский завод грампластинок выпустил в 1944 году пробные диски Вертинского на 78 оборотов с 15 старыми и новыми вещами, которые записывались, естественно, уже в москов-

ской студии. Не знаю насчет всех пластинок, но какие-то пошли в тираж и в свободную продажу. У многих дома они были.

Такая вот доченька.

,,,

Мне показалось, что кот Тимофей прислушивается к моему любимому радиоканалу Relax FM, явно при этом расслабляясь. Не очень себе доверяя, поделился наблюдением со старшим сыном, у которого два кота. Он не только не удивился, а в свою очередь сообщил, что оба после переноса динамика, где постоянно «Релакс», перешли туда поближе.

,,,

У меня есть приятельница молодых, точнее ещё молоденьких лет, живущая в Израиле. Мы давно не виделись, лишь недавно возобновили отношения, уже электронные, и я узнал, что она – веган.

Прежде я и не слышал об этой крайней стадии вегетарианства и заинтересовался.

Думаю, что каждому человеку в той или иной форме в том или ином возрасте приходит мысли о травоядении, главным образом из жалости к убиваемым животным. У меня такое случилось уже в зрелом возрасте, лет в 40, когда вдруг стали одолевать видения кровавые, вырвавшаяся от мучителей корова, которую убивали топором, что я однажды наблюдал в селе Михайловка.

Веганство моей знакомой стало поводом для размышлений.

Мои первые заметки на полях веганства ею отвергались с ходу и своеобразно. Например, на процитированное мной замечание С.А. Толстой о том, сколько неудобства доставляло окружающим вегетарианство Льва Николаевича, вроде поисков для него в гостях миндального молока, моя знакомая ответила, что С.А. «была дура, недостойная своего великого мужа, нарожавшая ему вырожденцев». А на мои сомнения в реальности для большинства городских жителей России чисто растительного меню сообщила о развитости в мире веганской торговли.

Уже тогда я заподозрил свою корреспондентку в сектантстве, а узнав, что она никогда не открывает «Записки охотника» («б-рр!» – её отзыв), убедился, что так оно и есть. Да и то, что поузнал об этом «учении», подтверждало нетерпимость его адептов. И уж не послал в Израиль приготовленный отрывок из воспоминаний Александры Львовны Толстой («вырожденки»!): «*Обедали на террасе, было жарко, комары не давали покоя. Они носились в воздухе, пронзительно и нудно жужжа, жалили лицо, руки, ноги. Отец разговаривал с Чертковым, остальные слушали. Настроение было веселое, оживленное, острили, смеялись. Вдруг отец, взглянув на голову Черткова, быстрым, ловким движением хлопнул его по лысине! От напившегося кровью, раздувшегося комара на макушке Черткова осталось кровавое пятнышко. Все расхохотались, смеялся и отец. Но внезапно смех оборвался. Чертков, мрачно сдвинув красивые брови, с укоризной смотрел на отца.*

– Что вы наделали? – проговорил он. – Что вы наделали, Лев Николаевич! Вы лишили жизни живое существо! Как вам не стыдно?

Отец смутился. Всем стало неловко».

На том я утратил интерес к теме, пока не сделался сельским жителем, проводя большую часть дня в саду, где обострилось старое моё убеждение в однородности флоры и фауны и, соответственно, о равном отношении к страданиям их представителей.

Я и раньше предполагал, что растения бывают коварны и хитры, испытывают боль и, думаю, страх. Теперь же наблюдаю это постоянно. Прошлым летом увидел, а точнее, мне показалось, что гигантская десятиметровая сирень теснит примыкающий к ней виноград, и, предавшись дурной решимости, основательно порубал любимый цветок Игоря Северянина. Поэзия поэзией, но сирень-то несъедобна.

А этим летом прошлогодние якобы теснимые побеги винограда так разгулялись, что не только покрыли свою прежнюю площадь, но заняли и сиреневую. Новые кустики сирени там выше

метра от земли не поднялись, остановленные на этом уровне жесткими, как проволока, виноградными усиками, их как бы обрезавшими с рубцом на конце. Борьба, однако...

Вообще моих натуралистских наблюдений прибавляется. Там по одну сторону шестидесятикилограммовая кавказка Шера, рыжий Тимофей, шотландка Мышь с закрученными ушками. А ещё и соседские коты и собаки, как ежедневно встречающая меня на прогулке каштановая сука Нина, хронически щенная и голодная.

А по другую-то сторону – несушки во главе с горластым Петей, к которым мой неугомонный младший сын подселил и пяток серых утиц с красноносым селезнем.

И переключаясь с созерцания битвы винограда и сирени к наблюдению над куриной агрессией к уткам, слушая Петин крик, с тревогой следя за кружащим над птичьим двориком ястребом, я уже не буду сомневаться в том, что всё живое, включая Петю, сирень и меня, есть нечто цельное. Что не только допускает, но предполагает, а порой и диктует к себе различное отношение, как людей друг к другу.

Где же здесь место веганству?

Не могу утверждать, что срубленная голова бройлера для меня одинакова поникшей под топором берёзке, и все же...

Да что там всё же! пусть меня осудит израильская подруга, но в этом примере ласкавшую взор берёзку мне жальче, чем неподвижно набиравшего за решёткой вес дурака-бройлера, которого я без угрызений совести сожру, но одновременно буду просить прощенья у кота и собаки, если был к ним несправедлив. И какой веган мне докажет, что растения не чувствует боли, если разрезаемый лист съёживается. И я пожалею не только обижаемых несушками уток, но и обрезанную виноградными усиками сирень. А вот комара на шее с удовольствием прихлопну.

Написал и вспомнил старика из рассказа Чехова «Печенег», который, узнав, что его гость вегетарианец, говорит:

«– И куры, и гуси, и зайчики, и овечки, все будут жить на воле, радоваться, знаете ли, и бога прославлять, и не будут они нас бояться. Настанет мир и тишина. Только вот, знаете ли, одного не могу понять, – продолжал Жмухин, взглянув на ветчину. – Со свиньями как быть? Куда их?

– И они так же, как все, то есть и они на воле.

– Так. Да. Но позвольте, ведь если их не резать, то они размножатся, знаете ли, тогда прощайся с лугами и с огородами. Ведь свинья, ежели пустить ее на волю и не присмотреть за ней, все вам попортит в один день. Свинья и есть свинья, и недаром ее свиньей прозвали...»

Печенегом быть не хочется, но и вправду: как со свиньями-то быть?

,,,

Выложив в ФБ осеннее фото нашего сада, где земля сплошь усыпана яблоками, деревья же почти пусты, сопроводил словами «Всё больше яблок на земле, всё меньше на деревьях», а Лев Усыскин в комментарии заметил: «4-хстопный ямб однако».

И мне пришлось дописать:

Всё больше яблок на земле,
всё меньше на деревьях.
Всё меньше яблонь на Земле,
всё меньше их в деревнях.

,,,

Кажется, нашёл своё объяснение тем невозможным ни у кого фамилиям, какие позволял себе Достоевский. Я конечно, не конкурент М.С. Альтману – автору замечательной книги «Достоевский: по вехам имен» (Саратов, 1975), просто мыслишку некую нащупал.

Дело даже не в его особой изобретательности, ее-то как раз, может, и не было – можно придумать и покруче, а в его смелости. Каждый писатель, желает, вероятно, придать персонажу говорящую фамилию, но то, что было возможно во времена Фонвизина, уж немыслимо стало в XIX веке. А вот Достоевский не стеснялся. Ему было удобно назвать бесхарактерного чиновника Мармеладовым, и он назвал. Хотя, конечно я очень упрощаю, и... словом, читайте М.С. Альтмана.

,,,

Толстой, описывая дворянский или мужицкий быт, сообщает читателю детали, а Чехов их ему напоминает.

,,,

«Отец мой Андрей Петрович Гринев в молодости своей служил при графе Минихе и вышел в отставку премьер-майором в 17.. году. С тех пор жил он в своей Симбирской деревне, где и женился на девице Авдотье Васильевне Ю., дочери бедного тамошнего дворянина. Нас было девять человек детей. Все мои братья и сестры умерли во младенчестве. Матушка была еще мною брюхата, как уже я был записан в Семеновский полк сержантом, по милости майора гвардии князя В., близкого нашего родственника. Если бы паче всякого чаяния матушка родила дочь, то батюшка объявил бы куда следовало о смерти неявившегося сержанта, и дело тем бы и кончилось».

Как можно столько сообщить в десятке строк?!

,,,

Всем известно, что роман М. Горького «Жизнь Клима Самгина» – скучный, переслоенный бесконечными разговорами. Критика тогда отозвалась: «Гигантский, бесконечный, одурманивающий диспут», а в 1927 году в газете «Вечерняя Москва» была опубликована «Стихорецензия» Арго на первую часть романа:

Я книгу взял, восстав от сна –
И погрузился в сон.
Роман «Жизнь Клима Самгина»
На восемьсот персон!
Что Достоевский? Что Бальзак?
Что книги прежних дней?
Бывало лучше – точно так,
Но не было длинней!

Сам автор полагал, что роман это панихида по русской интеллигенции. Пусть так, мне «Самгин» интересен героем, с небывалым у этого писателя и поучительным для других самоанализом, переходящим в саморазоблачение.

Роман и не был в читательском обиходе, а уж сейчас и вовсе забыт. Но жаль, что слишком негромко прозвучала замечательная его экранизация 1986–1988 года, режиссера-постановщика Виктора Титова, художника-постановщика Юрия Пугача и великолепного актерского состава: Елена Соловей, Армен Джигарханян, Александр Калягин, Валентин Гафт, Наталья Гундарева, Светлана Крючкова и Александр Руденский в роли Самгина. Удивительно, как им удалось превратить скучный роман в увлекательное кино.

,,,

Когда-то впервые встретил имя Леонида Андреева в романе «Золотой телёнок»: «знаменитый писатель Леонид Андреев» и удивился тому, что и не слышал о таком знаменитом писателе. Но и впрямь после войны имя Андреева словно испарилось, хоть и запрета на него не было, а рассказ «Кусака» входил в какие-то хрестоматии.

Интересно, что тогдашние запреты почти не касались букинистических магазинов. То есть конечно у заведующих, думаю, был списочек запрещённых к покупке изданий, ясно, что там были товарищи Троцкий, Каменев и Бухарин, но недоступных тогда в библиотеке Мережковского или Розанова можно было купить свободно. Даже Гумилёва. У меня есть репринт 1918 года его раннего сборника «Романтические цветы», со штампом московской Книжной лавки писателей: 1965 год.

,,,

Самые для культуры свободные, по советским меркам, годы на моей памяти были после свержения Хрущева – 1965, 1966. Бесконечные во все стороны затеи Никиты прекратились, и верхушка словно бы еще не очнулась от эйфории по поводу его смещения, но уже скоро, в 67-м, очнулась и начала резко закручивать гайки.

Вот то, что пришло на память.

Девятитомник Бунина, «Мастер и Маргарита», «Театральный роман», первый однотомник Булгакова с «Белой гвардией», объёмное избранное Платонова со скандальным предисловием Федота Сучкова, Пастернак в Большой серии БП с предисловием Андрея Синявского, Цветаева там же, «Бег времени» Ахматовой, первое издание Кафки, девятитомник Эренбурга, первые тома Краткой литературной энциклопедии, четырехтомник Хемингуэя. Конечно, невозможно было всё это враз подготовить: копили годами и вот настал момент вдруг ослабленной цензуры.

Новое: «Мёртвым не больно» Быкова, «Улитка на склоне» бр. Стругацких, «Бабий яр» Кузнецова, первые пьесы Вампилова.

Таганка.

Кино: «Андрей Рублёв», «Председатель» (который потом долго не демонстрировали – настолько стали нецензурны сцены с вывозом солдатами МГБ колхозного хлеба, начальником областного ГБ Калоевым и проч.), «Никто не хотел умирать», «Обыкновенный фашизм», «Похождения зубного врача», «Тридцать три», «Республика ШКИД», «Июльский дождь», «Скверный анекдот», «Катерина Измайлова».

Сюда же впечатления от польского и чешского кино. Польское пришло надолго, а чешские чёрно-белые фильмы с их невероятным социальным реализмом после августа 68 года исчезли.

,,,

Если дело так пойдёт и дальше, то непременно быть у нас новому Союзу писателей, типа советского. И режиму необходимо управляемое содружество пишущих. И широкие творческие массы жаждут, истерзанные безвластием и отсутствием подачек и стимулов. И будущие руководители подходящего возраста заметнее обозначились, всё чаще являясь на телеэкране.

Вот как проговаривается один из активистов, когда пишет о награждении писателей в 1939 году: «7 февраля в 12 часов дня 172 литератора собрались у пропускной будки, что слева от ворот Спасской башни. Стояли посередь площади, кто – похохатывая, кто, не веря счастью своему, кто напряженно, кто взволнованно. Толстой, Серафимович, Шишков, Пришвин, Серафимович... Фадеев, Паустовский, Катаев, Зощенко, Леонов... Сергей Михалков, Барто, Маршак... Каменский, Кирсанов, Тихонов, Алигер, Антокольский... Лев Кассиль еще был, который все это описал чуть позже.

Потолкаться б в той толпе...» (Захар Прилепин. «Леонид Леонов: Игра его была огромна»).

,,,

Расхожее мнение об Алексее Н. Толстом: был граф талантлив, начинал до революции интересно, а сбежав из недолгой эмиграции к большевикам, быстро скурвился, подпевал Сталину, писал гнусности вроде повести «Хлеб», а «Приключения Буратино» так просто украл. Пусть живо «Детство Никиты», пусть самые весёлые страницы «Буратино» и само имя деревянного озорника принадлежат не Коллоди и не Петровской, а Толстому, всё одно имя его презренно.

Зная и понимая о нём куда больше худого, чем большинство хулителей, я продолжаю числить Алексея Николаевича в ряду самых значительных русских писателей первой половины XX века. И сейчас хочу напомнить о его талантливом литературном хулиганстве не до, а после 17-го года, когда в тексте, как и в жизни, он бывал, по выражению Бунина, дураковатым шалопаем, которому можно и попридуриваться.

Вот не слишком известная повесть 1931 года «Необычайные приключения на волжском пароходе». Это пародия на идеологемы советской литературы: на борту собраны иностранные шпионы, бравый коммунистический сыщик, рефлексирующий профессор, променявший жену и дочь на распутную молодицу (в жизни до аналогичной ситуации графу оставалось ещё три года), рабочий и колхозник, встающие плечом к плечу. Нет, недаром тот же Бунин, любивший и всех лучше, думаю, понимавший Толстого, был уверен, что тот, сочиняя верноподданические тексты, помирает со смеху.

Поцитирую-ка я эту повесть.

Пахнет рекой, селедочным рассолом и заборами, где останавливаются. <...>

Из-за селедочных бочек вышли два грузчика: в припухших глазах равнодушие, волосы нечесаны, лица – отделенные от напрасной суеты, биографии – сложны и маловероятны. <...>

...*агент* при слове "любезность" начал откидываться на стуле, словно предложили ему неимоверную гнусность.

В контору ввалилось несколько человек с фибровыми чемоданами, – москвичи, выражение лиц нахальное и прожженное до последней грани. Обступили стол, и у агента зазвенело в ушах от поминания, – будто бы между прочим, – знаменитых фамилий, декретных имен... Так, один с мокрой шеей, в расстегнутой белой блузе, трясся отвислыми щеками, потными губами, собачьими веками:

– Послушайте, товарищ, была телеграмма моего дяди Калинина, дяди Миши?.. Не было? Значит – будет. Дайте ключ.

Другой, с носом, как будто вырезанным из толстого картона, и зловеще горящими глазами, ловко просунулся костлявым плечом: – Для пасынка профессора Самойловича, броня "Известий ВЦИК"

Чья-то в круглых очках напыщенная физиономия, готовая на скандал...

– Максим Горький... Я спрашиваю, товарищ, была от него телеграмма по поводу меня?.. Нет? Возмутительно!.. Я известный писатель Хиврин... Каюту мне нужно подальше от машины, я должен серьезно работать. <...>

Хиврин говорил:

– Я еду осматривать заводы, строительство... У меня задуман большой роман, даже есть название – "Темпы". Три издательства ссорятся из-за этой вещи...

Пасынок профессора Самойловича выставил с борта на солнце плоский, как из картона, нос, проговорил насморочно:

– В Сталинграде в заводских кооперативах можно без карточек получить сколько угодно паюсной икры...

– А как с сахаром? – спросил Гольдберг.

– По командировочным можно урвать до пуда...

– Тогда, пожалуй, я слезу в Сталинграде, – сказал Хиврин. – Я хотел осмотреть издали наше строительство, чтобы получить более широкое – так сказать, синтетическое – впечатление. <...>

Иностранцы потребовали льду и, наколов его в большие фужеры, пили водку с мадерой. Хиврин сверх меры восторгался заграничным обществом, – должно быть, представлялось, что сидит в Чикаго, в подземном баре у спиртовых контрабандистов...

На хмурой морде буфетчика выдавливается отсвет старорежимной улыбочки...

,,,

В нашем доме было две поваренные книги. Одна – всем известная «микояновская» «Книга о вкусной и здоровой пище», 1952 года издания (первое вышло в 1939-м). А вторая – тысячестраничный том «Кулинария» (1955), добытый отцом в подарок маме, но, увы, дома малопригодный, так как был предназначен для поваров и рецепты блюд (больше трех тысяч) даются в раскладе продуктов на одну порцию. Там среди авторов пять профессоров, а «кулинарные изделия для фотографий» готовили повара ресторанов «Метрополь», «Савой», «Арагви», «Баку», «Узбекистан».

Давно я в эту «Кулинарию» не заглядывал, а чтение завлекательное. Одних только коктейлей 26 рецептов! А «Утка с вишнями», «Куропатка в сливках с изюмом», «Суп из говяжьих хвостов», «Медальон из лососины», «Налим по-матросски», мороженое «Коньячный аромат», «Яблоки в вине фаршированные в саго»... Не книга, песня!

В разделе «Оформление, сервировка, подача блюд» можно узнать, как должен выглядеть банкетный стол. Там и «Бордюрное тесто заварное», и «Постамент из картофеля», и «Постамент из риса», и «Постамент из желе», и «Постамент изо льда», и «Ваза из тыквы с цветами из овощей»[1]. И столы для банкетов разные.

Для завтрака стол круглый, с мелкими тарелками «возле каждого посадочного места», пирожковой тарелкой для хлеба, справа от тарелки «ножи – столовый и закусочный, оба лезвием к тарелке», слева «вилки, столовая и закусочная острием вверх», а «на каждую мелкую тарелку дополнительно ставят тарелку закусочную, на которую помещают сложенную салфетку». Ещё фужеры для воды, в центр ставят солонку, вазочку с цветами и пепельницу.

На обеденный дополнительно между столовым и закусочным ножами кладут «столовую ложку углублением вверх», впереди тарелки помимо фужера ставят рюмку для настойки и рюмку мадерную для крепкого или десертного вина. Так же сервируют стол и для ужина, только без столовых ложек.

На заказном столе ножей и вилок уже по троице: закусочные, рыбные и столовые, а впереди тарелок «хрусталь».

И наконец, стол банкетный закусочный для стоячки, так там тарелки стопкой, а «вдоль стола, по его середине расставляют бутылки с вином. Около них непрерывной лентой ставят рюмки (водочные, мадерные и другие). Параллельно линии рюмок кладут ленточкой вилки».

Вино на всех столах отсутствует. Лишь в варианте «заказного» является «ведёрко-холодильник с бутылкой шампанского». Наливали гостям официанты.

А что кушали? «Для праздничных обедов, ужинов, банкетов и т.п. чаще всего заказывают следующие кулинарные изделия: икру зернистую в икорниках на ледяных вазах; рыбу заливную, рыбу фаршированную, заливную сёмгу, лососину, балык (звеньями), филе кур и дичи под майонезом, поросёнка заливного, кур фаршированных (галантин), поросёнка фаршированного заливного, сыр из дичи, филе из дичи фаршированное, дичь жареную, ростбиф, ветчину целым окороком, яйца под майонезом и т.п.». Самое здесь прелестное, это, конечно, «и т.п.»...

[1] Разъясняется: «Розы и георгины вырезают из свёклы, репы, редьки, брюквы; тюльпаны – из красной свёклы и моркови; ромашку – из картофеля и редьки; табак белый – из картофеля или редьки; мелкие полевые цветы из красного редиса».

О посуде особый раздел, но уж хватит, скажу лишь то, что «рыбу (осётр, севрюга, судак и др.) в целом виде, как правило, следует помещать для подачи к столу на продолговатое мельхиоровое либо фарфоровое блюдо (лоток)». И тут я вспомнил рассказ Людмилы Толстой, как Дмитрий Алексеевич[1] распорядился своей сорокатысячной долей графского наследства: добыл в Астрахани для банкета огромного осетра, которому по Ленинграду долго искали достойное фарфоровое пристанище.

А ещё я обратил внимание на раздел «Национальные блюда союзных республик». Их тогда было 16, включая и смешную Карело-Финскую. Там блюда с названьями вроде «Калалаатикко» (картофель, запечённый с яйцом). И возникает вопрос: поскольку требовалось рассказать о кухне народа, какого нет, вероятно на помощь ресторанным поварам пришли... только кто? Видимо, в ЦК советовались, в Петрозаводск ездили, нашли в книгах какие-то финские рецепты, но вот где рецепты советских карелов, а где недавних врагов финнов?

И ещё: как быть с теми национальностями СССР, которые не имеют союзных республик: скажем, татарской или страшно сказать, еврейской? А очень просто: беляш отдать казахам, а фаршированная щука обойдётся без национальной принадлежности. Замечательное всё же был устроен наш Советский Союз!

,,,

Первый номер «Волги», который я подписал как главный редактор, был одиннадцатый за 1984 год, он открывался стихотворением Андрея Вознесенского, и на ближайших встречах в Москве с коллегами из патриотического стана слышал: странно начинаешь.

А юмор был в том, что ни единого текста этого номера я в глаза не видел. Меня только что утвердили на бюро обкома и в секретариате СП РСФСР, и кто-то наверху решил, что пора подписывать журнал настоящему главному редактору, а не и.о. Ю. Звереву.

Увидев в готовой к печати вёрстке Вознесенского: «Вопрошал меня Саратов / по приезде в первый день: / «Как вам нравится Мусатов?» / Я сказал: “Люблю сирень!”» я удивился, но вспомнил, что поэт недавно был в нашем городе, а потом мне в журнале рассказали, что зав. отделом культуры обкома Зоя Ларионова попросила стихи у поэта для «Волги» и её клерк Коля Болкунов привёз их в редакцию с указанием дать на открытие номера. Приезжал же Андрей Андреевич по приглашению меценатствующего гендиректора крупной фирмы ВПК «Тантал» Георгия Умнова, который и Окуджаву привечал.

,,,

Всегда были ненавистные мне слова, употреблять которые я избегал. Например, «шевелюра» и «хохот».

А с одним глаголом у меня с детства были непростые отношения. Отец где-то вычитал и мне внушил, что не следует употреблять слово «кушать», как мещанское, а следует говорить «есть». И так это внедрил в меня, что я лишь спустя много лет, чуть не к старости, стал с удовольствием, хотя первое время и через силу, говорить именно «кушал», «покушали» и т.д.

,,,

Чувство юмора не обязательно связано с интеллектом. Сколько я знал простеньких людей с острым восприятием комического, и напротив, весьма образованных субъектов, напрочь его лишенных. Чувство юмора как музыкальный слух: или есть или нет.

[1] Младший сын писателя, хоть и через силу, но общался с «мачехой», тогда как старший, Никита Алексеевич, категорически «Милку» (некогда участницу его разгульного питерского кружка), не признавал. А она, из завещанного ей одной богатства, поделилась с ними ничтожной долей.

,,,

Давным-давно, когда ни о каких охранных сигнализациях, домофонах и видеокамерах и не помышляли, в городах были дворники. Они не только дворы подметали, но и сторожили дома и дворы. А тогда не только в столицах, но и в губернских, потом областных, центрах подъезды больших домов и общие дворы на ночь запирались, чему яркое литературное подтверждение находим в романе «Двенадцать стульев».

В рассказе Зощенко «У подъезда» (1938) герой, задержавшись в гостях, долго не мог выйти из запертого питерского подъезда, пока не явился вымогатель-дворник. И в моей скромной биографии был питерский эпизод конца пятидесятых, когда компания взрослых, где я мальчишкой был с родителями, аналогично наткнулась на висячий замок входной двери. Хозяин квартиры, откуда мы вышли, мой дядя, художник Франц Заборовский, не дожидаясь дворника, громко к моему восторгу заматерился и, будучи вспыльчив, силён и нетрезв, вмиг оторвал замок с креплением, а выйдя наружу, зашвырнул его в бывший Екатерининский, а тогда Грибоедова канал.

,,,

Продолжая любопытствовать о веганстве, узнал, что более всего знаменитых веганов среди голливудских звезд. Писателей с десяток, немногим больше ученых, среди которых практически нет зоологов и естествоиспытателей (вегетарианство Ивана Павлова весьма сомнительно). Но неужто Дарвин, Тимирязев и Сеченов меньше смыслили в человеческой природе, чем Билл Клинтон, Марк Тайсон или, прости господи, Валерия?

,,,

Как много мне говорят встреченные одиночества...
Женщина ли в парке вечером одна на скамейке...
Пожилой ли дядька в окне, одиноко сидящий за графином...
Щуплый ли кобелёк, не бегущий за сукой в общей своре...
Все мне свои...

2020

Сергей СТРАТАНОВСКИЙ

«ПОЭТ ДОЛЖЕН БЕСПОКОИТЬСЯ НЕ ТОЛЬКО О ТОМ, ЧТОБЫ ЕГО ЧИТАЛИ...»

Беседа с Олегом Роговым к выходу книги:
Сергей Стратановский. Изборник. – Спб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2019. – 384 с.

– Сергей Георгиевич, в минувшем году вышел солидный том Ваших стихов – «Изборник», с чем поздравляем Вас и читателей. Скажите несколько слов о том, как составлялась эта книга, и теперь, по прошествии некоторого времени, довольны ли Вы результатом?

– Я давно чувствовал необходимость составить некую итоговую книгу, но откладывал эту работу, т.к. у меня каждый год появлялись новые стихи и нужно было объединять их в сборники. Чтобы составить избранное, необходимо было решить, какой принцип положить в основу: хронологический или тематический. Я решил отбирать из каждой своей книги в хронологии их издания, но при этом мне пришлось разрушить структуру некоторых сборников, составленных по тематическому принципу.

Доволен ли я этой книгой? Да, доволен. На нее были отклики, и благодаря ей я получил в прошлом году премию «Парабола» от фонда имени Андрея Вознесенского.

Несколько слов о названии: «Изборник». Это древнерусское слово, надолго забытое и только в XX веке воскрешенное Хлебниковым (См. его: Изборник стихов 1907– 1914 гг. С послесловием речаря. СПб.: Изд. ЕУЫ. 1914).

– В социальных сетях (например, на фейсбуке), несмотря на Ваше в них отсутствие, было много поздравлений, откликов, информации о презентации. Ваше неучастие в вышеупомянутых сетях – это принципиальная позиция или просто дань традиции? И планируется ли когда-либо дать возможность читателям увидеть книгу в электронном виде?

– Я, действительно, не участвую в соцсетях. Возможно, в этом сказывается возрастной консерватизм. Также у меня есть ощущение (может быть, ложное), что участие в них отвлекает от более важного, от творческой работы. А электронная книга («Изборник») у меня будет на Букмейте – уже подписал договор.

– 18 номеров «Обводного канала», толстые тома в надежных переплетах. Смотря сегодня на свое детище, как бы Вы определили его ценность сегодня – не в плане культуртрегерства, фундаментализации «второй культуры», как бы не относиться к этому термину, а лично для себя? Насколько это был вообще личный проект, ведь в 1981-м еще существовали журналы «37» и «Северная почта» (в этот год вышли последние номера), равномерно «шли» «Часы»...

– Вышло не 18, а 19 номеров «Обводного канала». Я раньше думал, что 19 номер не сохранился, но год назад нашелся у одного человека непереплетенный экземпляр. Существует библиографическая роспись всех 19-ти номеров журнала: 14 из них расписал мой бывший сослуживец по Публичной (ныне Российской национальной) библиотеке Евгений Голлербах, остальные пять

– я. Роспись эта опубликована в книге «Памяти Кирилла Бутырина», вышедшей в конце прошлого года. Кирилл Михайлович Бутырин – мой покойный друг и главный редактор «Обводного канала», основная заслуга составлении и редактировании журнала принадлежит именно ему, я был его соредактором лишь до одиннадцатого номера.

Для тех, кто заинтересуется нашим журналом, сообщаю, что 10 номеров его есть в Интернете на сайте https://samizdatcollections.library.utoronto.ca/

А почти полный комплект самого журнала (18 номеров) есть в архиве Института восточных исследований при Бременском университете (г. Бремен, ФРГ).

Раз в вопросе были упомянуты «надежные переплеты», то скажу несколько слов о нашем переплетчике. Его звали Юра (фамилии не помню), жил он в центре, у него не было телефона, так что «вычислить» его компетентным органам было сложно. Я с благодарностью вспоминаю о нем, так же как с благодарностью вспоминаю наших машинисток.

Что же касается ценности «Обводного канала» лично для меня, то это часть моей жизни. Помимо того, что благодаря самиздатской периодике создавался архив литературы того времени, самиздат еще и создавал среду, в которой можно было дышать и жить.

Самиздат для меня и Кирилла Бутырина начался, однако, не с «Обводного канала», а с журнала «Диалог», журнала критики и полемики, который мы выпускали в 1979–81 гг. Возник он из частной переписки меня и Кирилла. Кстати, материал из этого журнала – два письма о либерализме, были републикованы в «Волге» (2016. №1-2)[1]. Вышло три номера «Диалога», и после третьего номера я и Кирилл поняли, что можем выпускать «толстый» самиздатский журнал. Журнал такого рода уже существовал тогда в Ленинграде – «Часы», под редакцией Бориса Ивановича Иванова. Нас, однако, не удовлетворял принцип отбора текстов в «Часах», и «Обводный канал» мы задумали отчасти в пику этому журналу, хотя круг авторов и читателей был один и тот же.

– Расскажите о контактах с властями – не по Вашей, разумеется, инициативе. Была ли явная или на уровне ощущений реакция КГБ, изменилось ли отношение к Вам на работе.

– Мне иногда задают вопрос: опасно ли было заниматься самиздатским журналом? Да, опасно, поэтому Кирилл и я принимали меры предосторожности: машинисткам не звонили из дому и с работы – только с уличных телефонов-автоматов. В КГБ, однако, о журнале знали и пытались внедрить к нам провокатора. Что касается т.н. «бесед» с гебистами, то их было всего две и они не были связаны с самиздатом. На работе (я с 1981 года работал в Публичной библиотеке) о моей самиздатской деятельности ничего не знали, но знали, что я пишу стихи и поэтому, как сказал в одном стихотворении Борис Слуцкий, «широко известен в узких кругах».

– Как бы Вы определили вектор новейшей русской поэзии последних 30-ти лет? Можно ли говорить о какой-то явной тенденции?

– Вектор развития современной русской поэзии я могу определить чисто формально: все шире распространяется верлибр. В этом, вероятно, проявление «духа времени», хотя есть, конечно, и влияние западноевропейской и американской поэзии.

– Поэтов и стихов стало больше, явно вырос уровень мастерства. Но за это пришлось платить – то, что казалось бы интересным те же 30 лет назад, сегодня тонет в огромном массиве неплохих, в общем-то стихов, но уже не вызывает прежнего интереса. Как поэзия и читатель, на Ваш взгляд, отвечает сегодня на этот вызов?

[1] https://magazines.gorky.media/volga/2016/1/epoha-samizdata-chto-eto-bylo.html

– В вашем вопросе есть некая подсказка ответа: мол, вырос уровень мастерства, но нет чего-то, что было в наше время и т.п. Но молодые поэты старше нас исторически и выражают свое время. Если я чего-то не понимаю и не принимаю в современной поэзии, то это не значит, что молодые поэты пишут плохо.

Теперь о читателях. В годы моей молодости поэзия была в центре общественной жизни, если можно говорить о какой-то общественной жизни в советское время. Сейчас это не так, сейчас пишущих стихи явно больше, чем их читающих. Разумеется, это неприятно, но ведь поэт должен беспокоиться не только о том, чтобы его читали, но и том, что происходит в его стране. В свое время Белинский возмутился стихотворением Боратынского «Последний поэт», в котором Евгений Абрамович сетовал, что «век шествует путем своим железным» и не обращает внимания на поэзию. Белинский, по- моему, был прав: он думал о России, а для России тогда «железные пути» (читай: железные дороги) были важнее «ребяческих снов» поэзии. А «корысть и общая мечта», отрицаемые Боратынским, – это ведь двигатели прогресса. У нас сейчас есть корысть, но нет «общей мечты», а это важнее отсутствия интереса к поэзии.

– Отношение к поэзии с годами меняется – не только у читателей, но и у самих поэтов. Что для Вас «потускнело» из любимого ранее, а что, наоборот, засверкало в новом блеске?

– Я сейчас не пишу стихов, а пишу прозу и статьи. Это не значит, что поэзия стала мне неинтересна – просто она стала для меня не только предметом любви, но и предметом осмысления. А пристрастия мои не изменились – то, что я любил раньше, то люблю и сейчас.

– Ваш стиль, не говоря уже о манере чтения, очень узнаваем, как у любого большого поэта. С одной стороны «анонимность» традиционной лирики, когда автора нельзя определить при чтении текста, с другой – торжество персонализма, своего рода «товарный знак» личной интонации. Не становится ли поэт со временем ее заложником? С этим многие сталкивались – кто-то замолкал, кто-то менял стиль, удачно или не очень, кто-то отвечал на этот вызов иначе. Стоит ли для Вас эта проблема и если да, то как Вы ее решаете?

– Когда говорят, что у какого-либо поэта «свой голос», то это, как говорил по другому поводу Пушкин, «похвала небольшая». Важнее, как этот «голос» (или по-иному: стиль) меняется с течением времени. Мне кажется, что мой стиль менялся: в 90-е я писал по-иному, чем в 70-е и 80-е, в 10-е годы нашего века иначе, чем в нулевые.

Что касается манеры чтения, то когда я 20 лет тому назад был в Италии, то кто-то из итальянцев сказал, что моя интонация напомнила ему чтение на литургии в православной церкви. М.б., в этом что-то генетическое: мой прадед по отцовской линии был деревенским пономарем.

– Неизбежный вопрос: в 1970 году вы написали цикл «Холера». Сейчас мы столкнулись с невероятной ситуацией, изменившей жизнь миллиардов людей. Что для Вас главное в происходящем сегодня?

– «Холера» – это не цикл, а диптих. Написан он был летом 1970 года, когда была вспышка холеры в Крыму. Вряд ли, однако, эти стихи актуальны в современной ситуации. Гораздо актуальней сейчас звучат два моих стихотворения 1999 года: «Болдинские размышления» и «Апокриф». Оба они есть в «Изборнике», но я, все же, процитирую второе, ибо оно, неожиданно для меня, оказалось неким предчувствием происходящего ныне:

Вирус, откуда-то появившийся
И в Адама вселившийся
на террасе Эдемского сада.

Вирус, боль вызывающий,
Сокрушающий чресла,
кровь рушащий –
Вирус невидимый.

И Адам, пораженный,
уходит из райского сада.
Сам уходит
на горькую землю труда...

Что же касается пандемии, то она, мне кажется, нанесла удар по меньшей мере трем мировым религиям: христианству, иудаизму и мусульманству. И дело не только в том, что закрываются храмы, мечети, синагоги. Дело в том, что у думающего верующего человека возникает вопрос: почему Бог попустил все это? Что это: гнев Божий или Его невмешательство в дела земные? Т.е. возникает проблема теодицеи, оправдания Бога.

Сейчас часто говорят о том, что мир после этой напасти станет другим. Я надеюсь, что появится, наконец, осознание единства человечества, понимание, что американцы, китайцы, африканцы – это тоже мы. А у политиков, может быть, появится понимание, что главное не ракеты и какое-то новое оружие, главное, как говорил Солженицын, это – сбережение народа.

– Какой вопрос Вам хотелось бы услышать – из тех, что не был задан?

– Мне не задали вопрос о моей прозе. Я пишу историческую прозу: у меня есть рассказ «Гора Сары-тау», опубликованный, кстати, в «Волге» (2007, №7-8)[1], повесть «Записки декабриста» (Звезда. 2014. №7)[2] и текст (затрудняюсь в определении его жанра) «Александрийский папирус», опубликованный в этом году (Звезда. 2020. №2)[3]. Есть мнение, что в поэзии можно выразить всё, но это неверно. Я чувствую, что многое из того, что меня волнует, я не могу выразить в стихах и поэтому обращаюсь к иной форме выражения.

[1] https://magazines.gorky.media/volga21/2007/7/iz-knigi-ozhivlenie-bubna.html

[2] https://magazines.gorky.media/zvezda/2014/7/zapiski-dekabrista.html

[3] https://magazines.gorky.media/zvezda/2020/2/aleksandrijskij-papirus.html

Наталия ЧЕРНЫХ

ИСТОРИЯ ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЙ В ТРЕХ КНИГАХ

Поэтические новинки 2020

Весенне-летняя коллекция поэтических книг пополнилась новинками, неожиданными для меня самой. Когда открываешь поэтическую книгу, у которой хорошая рекомендация, невольно оставляешь дверь восприятия приоткрытой для обратного хода. Отличная рекомендация может повлиять на выбор книги для обзора, поможет написать рецензию, но процесс глубокого чтения она не запустит. Получилось так, что процесс все же пошел.

Перечислю издательства, в которых вышли книги для обзора. Московский «Стеклограф» снова обратил на себя внимание. Изысканная и трудоемкая «Башня из белых стиральных машин» Владимира Навроцкого издана еще в допотопном 2019 году, но актуальность ее только растет в 2020. Уральская «InВерсия», проект академический, сделала решительный жест, издала «Движение скрытых колоний» Марии Малиновской. Это третий выпуск серии: удачное число, яркий автор. Эта книга должна бы оказаться в зоне особого внимания. «Арт Хаус Медиа», издательство опытное и неторопливое, выпустило книгу стихов «Быстрая Синева» Наталии Разувакиной – чтение и правда на хорошей скорости, здесь поэзия как март, обжигающе-холодная и узнаваемо-доверчивая.

Три выбранные мной книги разные настолько, что у меня в глазах вещи долгое время троились. Три разные вселенные – одно и то же слово в трех книгах означает и другое, и третье, и еще нечто большее; так, что казалось, что это разные слова. Разнообразием не удивишь нынче, но что же общего? Разговор будет и об этом. Осторожный и уверенный крой стихотворений Марии Малиновской (действительно похожих на лекала или на знак интеграла) в принципе не может пересечься со стихотворениями-статуэтками, стихотворениями-башенками, стихотворениями-роботами Владимира Навроцкого. Можно потянуть кота за уши и сказать что-то о либеральном сознании, но уже на десерт; да и вряд ли время останется, хотя многие из пишущих о поэзии авторов совсем недалекого прошлого оценили бы такие политические сливки. Для меня книга «Движение скрытых колоний» настолько же эротическая, насколько и поэтическая. И уж тем более стихотворения Владимира Навроцкого и Марии Малиновской, которым худо-бедно общий знаменатель нашли (порождения либерального сознания), ничего общего не имеют с весело-утонченной и очень религиозной поэзией Наталии Разувакиной. Но тем не менее: все три мира вертятся вокруг человека, хотя человек в них разный. Его можно запустить в мясорубку, проливая крокодиловы слезы, как в «Башне из белых стиральных машин» Владимира Навроцкого. Его можно фотографировать внаглую, как в «Движениях скрытых колоний» Марии Малиновской. Человека, наконец, можно рассматривать как Божье насекомое под державинской лупой, как в книге Натальи Разувакиной. Но именно он, а не некое новое киберсущество, является центром.

Владимир Навроцкий. Башня из белых стиральных машин / Предисловие А. Александрова. – М.: Стеклограф, 2019. – 104 с.

Осторожный и легкий почерк предисловия опытного в издании поэзии Алексея Александрова помогает читателю понять систему координат, в которой существуют стихотворения Владимира Навроцкого. Поэт пишет о поэте, и у меня это вызывает доверие: автор предисловия «в деле», он знает, как представить книгу: «*Мы все в какой-то мере то, что нам снится. И не только потому,*

что, проснувшись, не можем точно провести границу между сном и явью, сколько потому, что наша история, детство, одним словом воспоминания – это тоже сны, не совсем настоящая, отчасти придуманная реальность». Однако при чтении, даже после такого предисловия, возникает масса вопросов, и прежде всего: это ирония или нечто другое, пост-ирония, термин, который мне кажется неубедительным (как всякий «пост»), но тем не менее уже вошедший в употребление.

Стихотворение с названием «Башня из белых стиральных машин» в книге отсутствует, но таким образом, будто оно есть. Есть ли оно вообще у Владимира Навроцкого, не знаю, и полагаю, что нет. Читатель может его дописать, но вряд ли ему удастся в точности скопировать работу автора. Здесь, уже от самого названия, выходим к системе координат: подлинность и копия, прошлое и будущее. Сквозняки ходят по всем стихотворениям. Названия монструозно роскошные, порой плотоядные («Соскобы помады с кожи»), порой неопределенно-прозрачные («Дней восемь или десять»), порой агрессивно точные («Энтропия», «Деструкторы»). Каждое название может быть строчкой стихотворения, и в этом вижу отличную работу с концептуальным пластом двадцатого и двадцать первого века. Книга почти идеально сконструирована, и при желании можно подобрать метафору: мол, автор сделал содержание-чип, и если книгу издать онлайн, то это будет нечто вирусное, очень активное, благодаря парадоксальным внутренним связям.

На мой глаз, эта книга о уходящей роскоши эпохи потребления, и «эпоха потребления» здесь отнюдь не ругательное слово. Это обозначение мира, где почти нет агрессии, есть возможность постоянного общения и все средства для этого, не говоря о модной одежде, изысканной еде и отличной сфере обслуживания утонченных интересов. На задней стенке каждого стихотворения висит либо постер Мэрилина Мэнсона, а то вообще Тома Уэйтса или Леонарда Коэна, а в ящиках лежат старые номера журналов, которые в конце девяностых казались невесть каким откровением, все это овеяно нежной тоской и совсем скоро исчезнет.

И никто не додумался просто спросить и внести в протоколы
Кто такие «румяные» «гимназистки»,
как правильно смешивать ром с пепси-колой,
Чем в фамильном имении пахнет туман, пришедший с реки
Если праздник и лето и свечи и полночь и над столом мотыльки.

Какой журнал котировался выше, «Ом» или «Птюч»?
Погиб ли Горбовский в прекрасной книжке «Страна фиолетовых туч»?
Подумать только,
мы трогали носителей этого знания,
могли с ними поговорить,
И только потом их запихивать в мясорубку,
толстокожие мы идиоты,
и только потом варить.

«Реквием по свободе» (а именно это словосочетание просится на язык) здесь не совсем точен. Вся книга, кроме в общем бестолковой (равно как и милой) изобильности нулевых пронизана тонким и конкретным ужасом. Читать ее надо сейчас. Эта последняя, ненавязчивая нежность согреет на новом холодном ветру. А ужастики люди любили всегда.

Мария Малиновская. Движение скрытых колоний / Сост. Е. Симонова; послесл. А. Порвина. – Екатеринбург; М.: Кабинетный ученый, 2020. – 60 с. – (Серия «InВерсия»; вып. 3)

Насыщенное (и с отсылкой к недавнему А. Бадью) послесловие вдумчивого Алексея Порвина к этой книге пробудило во мне древние размышления о возрастающей роли синтагматических

средств выражения русского языка. Порвин пишет: «*Короткие синтагмы усиливают впечатление от поэтической речи как пульсирующего потока, в котором напряжённость высвечиваемых смысловых сгустков осмысляется в своей многоплановости – и осмысление это бывает поистине трудным*». Он выделяет синтагмы, и я согласна с тем, что все «Движение скрытых колоний» идет вокруг синтагм. Именно синтагма – моментально составленное избранное (чувств и впечатлений), интеграл, свод (или как сейчас говорят: сейв) играют определяющую роль (в данной поэтической книге они действительно короткие).

Порой синтагмы очень резко выделяются из общего потока, раздражают, но они и держат, они координируют это «скрытое движение» (здесь отмечу очень точное название книги).

получи память мою как первичную форму
получи мои пространственные окончания

Память как первичная форма. Эта синтагма возникает в титульном стихотворении книги и, видимо, является основной для всего «движения скрытых колоний». На шестидесяти страницах расположено несколько циклов, и у каждого цикла (как у военного корпуса или потока беженцев) есть свое, отличное от других, движение. Корпус естественным образом распадается на нечто более мелкое, и эти части так же приобретают движение, отличное от движения других частей. Ужас бесконечного деления и отвращение от прогрессирующей несвязности текста поглотили бы все существо читателя, если бы не эти синтагмы. Это как указатели: аптека налево, вода направо, пункт выдачи прямо.

Над рухнувшей скалой
кто-то прицепил занавески.
Мы их снимем,
и ты подвяжешь мне волосы.
Я буду собирать рыбок,
пленённых в камнях,
и ступать по одной линии,
разведя руки в стороны.

Но если, спускаясь с каждой горы,
оставлять там дом,
то можно забыть,
где на самом деле восходит солнце.
И я забыла.
Теперь мечтаю только о колодце
с перекладиной для качелей вместо журавля.

По сути это описание некоего абсолютного, идеального движения отдельно взятой колонии: назовем ее «я»), которая способна учитывать и движение других колоний («ты») и нечто, не касающееся ее, но существующее где-то рядом. У этого стихотворения есть вторая часть, в которой возникает «чокнутая жена плантатора», движения которой похожи на движения «я».

Мне эта книга понравилась тем, что здесь много нечаянных, но очень своевременных рифм (солнце – о колодце), возникающих именно на смысловых узлах и дающих полноту ощущения поэтической гармонии. Когда-то употребляли термин «оркестровка» по отношению к стихотворению. Книга «Движение скрытых колоний» отлично оркестрована. Читатель с опытом чтения такой поэзии получит несомненное удовольствие. Однако внимание: расслабиться книга не даст.

ведёт
другая сила
плотность жизни ниже чем

меня не остаётся

Наталья Разувакина. Быстрая Синева. Избранные стихи 2017-2019 / Предисл. И. Вишневецкого, М. Кудимовой, С. Круглова. – М.: Арт Хаус медиа, 2020. – 298 с.

Почти триста страниц стихотворений с предисловиями звезд поэтического сообщества. Интригует и название: «Быстрая синева». Стихи здесь бесшабашные, разгульные и очень нежные. По контрасту с предыдущими книгами, сохраняющими напряжение, выматывающими, требующими – «Быстрая синева» кормит и поит, это почти бестревожное парение в приближенном к небу пространстве.

То не ветер ветку клонит,
ветки вовсе высоко,
то меня по жизни гонит
стая мысленных волков.
Легион в затылок дышит –
всё равно не убежишь.
Если есть такие мыши –
буду мысленная мышь.
Неумышленно летучей,
непростительно живой
буду мышью самой лучшей,
если сзади волчий вой...

Небом называлась храмовая завеса в древнееврейском храме. Нечто очень красивое и очень символическое. Не сметь поднять глаза на небо – значит смотреть в пол, в землю. Но поэт, даже смотря в землю, смотрит на небо, как камбала. В поэта при рождении налито много счастья, которое и несет каждое стихотворение «Быстрой синевы». Потому эти стихи такие странные, «опьяневшие», почти отчаянные и ясные.

«*Поэзия – область человеческого, сфера жизни как таковой, юдоли по преимуществу и смерти – как для кого: завершения или продолжения жизни. И этого Наталья достигает достаточно часто: "Было в мире доброе и злое, а сегодня просто снегопад"; "А жизни осталось на две сигареты"; "В анамнезе – просто жизнь, Жестокая и густая"...*» – этот фрагмент из короткого предисловия Марины Кудимовой показался мне достойным резюме для этой книги. Этой мысли вторит и Сергей Круглов: «*Поэзия как атмосфера для дыхания, как мирочувствование и мировоззрение, как плоть и кровь человека, принявшего этот дар и дух таинственно и свыше, единожды и неотменимо навсегда...*».

Мое личное впечатление: эти стихи хороши тем, что легко развязывают некоторые узелки (например, отношений с Гваттари), на которые многие авторы указывают с неподобающе серьезным выражением лица. Именно такая быстрая синева в нашей жизни бывает необходима.

Самоизоляция, конечно, не лучшее время для углубленного чтения (работа забирает слишком много времени), зато в каждой из книг читатель найдет желанного собеседника.

Денис ЛИПАТОВ

ТАМ, ГДЕ СНЕГ ЗАРОС ОСОКОЮ

Ната Сучкова. Страна: Сборник стихотворений. – М.: Воймега, 2020. – 44 с.

«Страна» уже четвёртая книга стихов Наты Сучковой, изданная «Воймегой». До этого были изданы «Лирический герой» (2010), «Деревенская проза» (2011), «Ход вещей» (2014). «Страна», безусловно, наследует поэтике своих предшественниц – то есть если бы все четыре книги попали к читателю без титульных страниц, он, я думаю, не затруднился бы по прочтении определить их родство и вполне уверенно мог бы утверждать, что их написал один поэт. Стихи из «Страны», например, довольно легко можно представить разбросанными по страницам трёх предыдущих книг: они ни в коем случае не противоречат их замыслу и поэтике. Скажем, такие стихотворения, как «Притормози слегка, раскручивая глобус...», «Говорил старик – ледяная глыба...», «Первый муж – Василий и второй – Василий...», «Вологодский романс», «Там, где снег зарос осокою...» и т.д. вполне органично смотрелись бы и в «Деревенской прозе», и в «Ходе вещей», и в «Лирическом герое». И всё же эта книга – другая. Другая страна. Хотя бы потому, что проделать обратную операцию уже не так легко, и далеко не все стихотворения из трёх первых книг можно мысленно включить в состав «Страны». Мне, например, трудно вообразить рядом с «Вологодским романсом» «Похищение Евы» или «Гимназический цикл» из «Лирического героя», или «Две реки» из «Деревенской прозы» и «Дзинтари» из «Хода вещей». Даже в силу классического правила единства времени, места и действия, которое для книги стихов, конечно, не указ, но в «Стране» Наты Сучковой, по воле автора, в некоторой степени всё-таки – указ. Это не большая страна, и она не могла бы вместить в себя, например, Латвию, о которой написан цикл «Дзинтари», или Польшу, в которой происходит действие поэмы «Похищение Евы», и уж тем более «Две реки», одна из которых Римская, а другая – Египетская, в стране, где уже есть река Вологда, совсем избыточны.

А вот, скажем, стихотворение о Васе-Черепе и Ване-Хане «Стоят, сполна всего помыкав...», которое присутствует и в «Лирическом герое», и в «Деревенской прозе», достаточно легко могло бы найти себе место и в «Стране», потому что и Вася, и Ваня, «помыкавшие сполна среди затоновской шпаны», и в рождественский сочельник «делящие пополам фанфурик», – её природные жители.

Что же это за страна? В самой книге мы найдём такие её определения:

> Эта **чугунная ванна была страной**,
> Точно броня, тяжела, и её тащили
> папа и дядя Коля. Стоят спиной.
> Невероятно сильные и большие.
>
> *(«Рыжий в коляске – с одной диатезной щекой...»)*

или

> Пуста **волшебная страна**, голодный
> ветер воет,
> Идём домой, идём домой,
> скорей-скорей идём!
> Ну, здравствуй, зимушка-зима! Тут
> никого на свете –
> Сфотографируйся со мной под этим
> фонарём.
>
> *(«Тьмутаракань и тьма, мир ватою облеплен...»)*

В стихотворении «За железными засовами что ни век – идёт война...» читаем: «**монохромная** страна». А уже через пять страниц она красавица:

> Что дальше Вологды, ребята?
> Архангельск, Котлас, Воркута.
> В какой карман захочет спрятать
> тебя **красавица-страна?**
>
> *(«Что дальше Вологды, ребята?...»)*

И эта же «красавица-страна» через два стихотворения названа дырой. Причём «дыра» эта, как характеристика глухомани, места прозябания и запустения, трансформируется из вполне конкретной дыры в заборе, в которую, как в телевизор, герои стихотворения бомжи Лопух и Крапива смотрят облака:

Её залатают: тут – косо, здесь – криво,
гудроном зальют, а пока
сидят эти двое – Лопух и Крапива –
и смотрят в дыру облака.

Как будто им дети мороженку дали
и скоро исполнится всё,
как будто бы пазик их в светлые дали
из этой дыры унесёт

(«На пыльном забое вдоль пыльной дороги...»)

Кстати, облака, за которыми наблюдают Лопух и Крапива, заметная деталь в пейзаже «Страны» и вообще важный образ в поэтической системе координат Наты Сучковой. В предыдущих книгах мы могли видеть, что, например, «тёплое облако синее можно поймать за хвост», и потом «облаком с вышивкой набивной» бабушка укрывает внучку («Тёплое облако синее...», «Деревенская проза»), или телята в стихотворении «Как круглей всего земля с северу...», наевшись клевера, «не мычат, а голосят-охают, / Точно в каждом с порося облако», а дед Никола и дед Борис в стихотворении «Говорит дед Никола, окая...» спорят, с какого облака, как в цветной телевизор, лучше видно, что происходит с их внуками на земле (оба последних стихотворения из «Хода вещей»). В «Стране» же с облаками происходит вот что: они зависают «мягкой глыбой» («Был пруд, и в том пруду – полно амфибий...»), на них, как на грузовиках, развозят молоко («Вот облако сорвалось высоко...»), мальчику во сне видится, что на облаках плывут танки («Мальчику снится красивая летняя улица...»), наконец, их из воды и ваты производит фабричная труба, и чтобы они – облака – не прокисли, в колокола надо звонить очень осторожно («Этой плошке молока кошка мелковата...»). Надо сказать, что сами по себе облака как поэтический образ настолько очевидны и ожидаемы в стихах вообще, что поэт, прибегая к нему, рискует наговорить банальностей и нагородить штампов. Но, как видно из приведённых выше примеров, Нате Сучковой удаётся этого избежать. Поэтическое зрение не подводит её, и в результате облака в «Стране» не висят безвкусной ватой, а создают дополнительный объём, своеобразный метафизический простор. Благодаря этому образ страны становится трёхмерным, приобретая координату высоты, и хотя это, как мы уже замечали, не большая страна, нам здесь совсем не тесно.

В финальном же стихотворении появляется ещё и такой образ: «Вот страна моя – **флисовая кофта**...», а ниже сказано, что страна эта – **грустная**, но «другой не хочешь». Уподобление флисовой кофте создаёт ощущение домашнего тепла, уюта, родства, даже несмотря на все предыдущие «тьмутаракани», «дыры», «голодные ветры», «чугунные ванны» и каких-то подозрительных и возможно не совсем добрых «красавиц», которые зачем-то хотят спрятать тебя в карман. То есть при всём многообразии определений у нас не остаётся сомнений, что книга написана не путешественником, а таким же природным жителем этой страны, который себя без неё не мыслит и смотрит на неё не как досужий наблюдатель, сочиняющий путевые заметки, а всю её переживает и проживает. Который сам в ней растворён. Здесь становится очевидным и понятным ещё одно важное отличие «Страны» от предшествующих трёх книг: в ней нет стихотворений, из которых мы смогли бы узнать что-либо о «настоящей» жизни автора, о том, что в ней происходит, о чём он страдает, что его тревожит, нет стихотворений-рефлексий, «о личном». Автор неуловим. Он везде и он нигде. Практически не используется местоимение «я». В «Стране» не встретить словесных конструкций, подобных тем, которыми начинаются многие стихи в первых трёх книгах: «Сегодня я вижу особенно... Вижу особенно чётко...», «Допустим, маленькая я...», «Я думала, их уже не существует...», «Хорошо ли, плохо за морями – / я стою под проливным дождём...», «Всё мне кажется: я иду по дну...», «Всё никак я не усну, чудится мне всякое...» и т.д. То есть автор максимально *не эгоистичен*, принципиально не фокусирует внимание на себе, потому что и творческая задача у него – рассказать не о себе любимом, а о «Стране». Соответственно и единый об-

раз лирического героя в книге неуловим. Он тоже растворён. Вернее, этот лирический герой в книге – коллективный. Он – это жители «Страны», которые и видят её грустной, волшебной, монохромной, чугунной, из которых она и состоит. Перед нами целая галерея образов, каждый из которых оживает благодаря рассказываемой им или о нём истории. Если провести своеобразную «перепись населения» «Страны», сосредоточив внимание хотя бы на тех, кто упомянут по именам, то мы увидим довольно разношёрстную, но всё же однородную компанию. Вот, например, «баба Маня чистит рыбу – / пузатых задремавших карасей», вот «дед Макар лущит лес на лучины», вот тащат тяжёлую чугунную ванну уже знакомые нам «папа и дядя Коля... невероятно сильные и большие», вот «Николай идёт драчливый», вот играют в хоккей «Рюмин Володька и толстый Никита... щекастый Андрюшка, Папаха, Санёк полоротый», вот баба Шура и два её покойных мужа – «Первый муж Василий и второй – Василий, / Первый нелюбимый, а второй – ох, сильно!», и почтальонша Люся, которой баба Шура поручает отнести в церковь за любимого Васю конфет, пусть и дешёвых, и попросить ему Царствия небесного, а за нелюбимого, окаянного Ваську – так уж и быть – просто поставить свечку. Почтальоншу Люсю мы, кстати, уже встречали в 2014 году в «Ходе вещей» в стихотворении «Почтальонша Люсенька – зад в горохах жёлтых...». Она так и работает на почте. Вот «бредёт Володя – костыли скрипят по снегу», а за ним «На мягких лапах в новый год не без усилий / Ступает вслед Володе кот – хромой Василий», вот Андрейка, которого рыбари в крещенскую ночь просят налить воды, а когда «проморгались», увидели, что на берегу, где он стоял, вырос храм, «белостенный, глыба», вот, наконец, устроились под забором двое бомжей – Лопух и Крапива – и смотрят в дыру облака. Вот их как много. И это только те, кого мы знаем по именам. А есть ещё «старик – ледяная глыба», есть «рыбаки – что-то вроде норвежского бога», есть поэты, приходящие к открытым дверям музучилища, простуженный хормейстер, спившийся пианист, «ко всему равнодушные любители пения птиц» и т.д. Наряду с реальными жителями в «Стране» есть и полумифические персонажи, которые тоже чувствуют себя здесь вполне комфортно. Например, на странице 11 среди уже привычного и невесёлого захолустья – покосившийся забор, заросший крапивой двор, лужи по колено – вдруг как ни в чём не бывало появляется сам Пушкин, да ещё с айфоном и на «ниссане»:

«Русь» стоит, вокруг – забор,
у ворот – корыто.
А у Пушкина айфон –
новенький, да битый...

...За крапивою – вокзал,
тройки с бубенцами,
проезжал когда-то царь
мимо на сапсане.

А теперь закрыт вокзал,
лужи – по колено,
но у Пушкина ниссан –
старенький, да целый.
(«Русь» стоит, вокруг – забор...»)

Кроме Пушкина здесь ещё живут: Дельвиг, Жуковский, Бенкендорф, Мересьев, Печорин, Афанасий Карпович Хек, исполняющий роль Фета, команданте Тюльче (Тютчев). Даже царь (Николай I) проезжает мимо на «сапсане». Правда, с остальными жителями они почти не встречаются, предпочитая общаться в своём кругу:

В инстаграме Пушкина – зимняя дорога,
Маша-недотрога, синие глаза.
Лайкает Жуковский, пара-тройка ботов,
Бенкендорф не лайкает Пушкина, нельзя.

В инстаграме Пушкина дворики одесские,
дюжина шампанского, устрицы во льду,
пистолет на бархате, папильотки женские,
валенки извозчиков – обнови, найду.

Дальше – лет за сто листай – автор нас
не радует:
мутное и зябкое, строки от руки,
воробьи и ангелы, облака и радуги
и вопрос от Дельвига: «Пушкин,
где стихи?»
(«В инстаграме Пушкина – зимняя дорога...»)

Кстати, интересная деталь: айфоны, инстаграмы и прочие атрибуты современности в «Стране» есть только у Пушкина с Дельвигом и Бенкендорфа с Жуковским, а остальные жители прекрасно обходятся без них. И то сказать, откуда у всех этих Макаров, Василиев, полоротых Саньков, Андреек и т.д. айфоны и инстаграмы и зачем они им? Но страна совсем не замкнута во времени, она существует здесь и сейчас, и айфоны, инстаграмы, «ниссаны» также обыденны и привычны в её реальности, как, например, та же флисовая кофта, они не удивляют, правда, приобретают некий потусторонний характер, как и их полупризрачные владельцы, для которых сама страна, может быть, некая область посмертия, своеобразный лимб, где активная деятельность для них невозможна (Пушкин уже не пишет стихов – «автор нас не радует», – и Дельвиг, задавая свой вопрос, прекрасно понимает, что их уже никогда и не будет, и поэтому вопрос этот так безнадёжно грустен), а возможно только вот такое полупризрачное существование – в инстаграме, в виртуальной реальности, в полусне, в качестве мифа. Удивительно, но такой способ существования не сильно отличается от образа жизни и самих реальных жителей «Страны». Какая-то дрёма, неповоротливость, вязкость полусна ощущается во всём их бытовании. Здесь есть инстаграм, айфоны, мимо проносятся «сапсаны», но всё это ровным счётом ничего не меняет в их жизни. Это и правда «дыра», а не какая-то милая провинция, которая может привлечь своим патриархальным, неторопливым и осмысленным бытом, чуждым суете и тараканьим бегам мегаполисов. Словом, не то место, где «оскорблённому есть сердцу уголок», где можно было бы остановиться, отдышаться, набраться сил, подумать, понять что-то важное о себе и своей жизни. Нет. Какое-то непонятное отупение настигает, и можешь только сидеть и «смотреть в дыру облака», как те же Лопух и Крапива. Кстати, даже они мечтают ещё из этой «дыры» уехать. Картинка совсем не идиллическая. Правда никакого раздражения или, тем более, осуждения в голосе автора мы не слышим, хотя и восторгов тоже. Некоторая теплота в интонациях появляется в стихотворениях-воспоминаниях – «Рыжий в коляске – с одной диатезной щекой...», «Был пруд, и в том пруду полно амфибий...», «К открытым дверям музучилища...» и т.п. А в целом, весёлого мало. В целом – «дыра». Категория «дыры» принимается как данность, с которой непонятно, что делать, а приходится просто здесь жить, потому что так уж сложилось:

Как за станцией Ебеня, Ебеня
всё леса, леса да поля.
Во полях – овсы, в овсах – мыши,
вдалеке – непокрытые крыши.

Как по станции Ебеня, Ебеня
проползает медленно жизнь моя
тепловозом смердящим усталым
с длинным, гулко гремящим составом.

У меня кореша тут, семья, родня,
брат – дежурный по станции Ебеня,
кирзачи, судоку и сети
продают в привокзальном буфете...
(«Как за станцией Ебеня, Ебеня...»)

Даже ассортимент привокзального буфета говорит о каком-то сонном идиотизме здешней повседневной жизни. Не то что бы кирзачи и сети не нужны в краю, где «рыбаки – что-то вроде норвежского бога», но почему они продаются в буфете! Судоку – японская головоломка на глухой русской станции – тоже прекрасная иллюстрация бессмысленного, бесцельного, даже абсурдного в своей неразрешимости (почти как сама головоломка) существования. Она, эта судоку, и нужна только для того, чтобы, погрузившись в неё, об этом существовании забыть.

Кстати, это единственное стихотворение в книге, в котором автор сообщает о себе какую-то минимальную информацию: «у меня кореша тут, семья, родня / брат – дежурный по станции Ебеня...». Нужно это только для того, чтобы дать читателю понять, что он, автор, тоже житель страны, а не «проезжал мимо на сапсане», как Николай I, и поэтому имеет право говорить о стране так, как говорит: не осуждая, не раздражаясь, но и не умиляясь.

Вот такая эта страна. Прочитав несколько первых стихотворений, читатель может подумать, что ему предлагается сборник своеобразных милых «буколик» о самобытной русской глубинке. Что ж, можно, наверное, прочесть эти стихи и так. Но всё же книжечка эта не-

что большее. Почему-то, ближе к концу, уже не получается, отмахнувшись, сказать: «А, ну это у вас, “там, где снег зарос осокою...”». Нет, это и здесь тоже. Внимательный читатель, закрыв книгу, поймёт, что и он тоже – житель «Страны». Технически этот эффект отчасти достигается за счёт стихотворений, в которых появляются Пушкин, Жуковский, Дельвиг, Бенкендорф и т.д., которых уж никак нельзя отнести только к месточтимым вологодским «святым». Но именно отчасти. Можно сказать, что этим приёмом эффект присутствия усиливается. А создаётся он всё-таки стихами о «коренных жителях страны», образы которых вполне узнаваемы, которые ходят по тем же улицам, что и мы сами. Страна эта везде, а не только в вологодской глубинке. И где бы не находился читатель – в Ярославской, Рязанской, Нижегородской, Тверской, любой другой области, – и он, оглянувшись, может вслед за автором сказать:

Вот страна моя – флисовая кофта,
серые дома – розовый и жёлтый,
из окна – слова, песенка, и, в общем,
грустная она, а другой не хочешь.

Вот реки волна – флисовая складка,
горькая трава, а на сгибе – сладко,
за рекой – дома, за домами снова –
сторона-страна, ничего такого.

Юрий РЫДКИН

СУЩЕСТВЕННОЕ ЗИЯНИЕ

Ирина Шостаковская. Гараж: Стихи / Предисл. Сергея Соколовского. – М.: Новое литературное обозрение, 2019. – 168 с. – (Серия «Новая поэзия»)

таким-то образом я будто существую
включая или выключая свет
Ирина Шостаковская

«Гараж» Ирины Шостаковской принадлежит к тому редкому типу поэтических текстов, которому компаративистика с её наследованием, отсылками и перекличками противопоказана, поскольку любое внешнее вторжение в поле заявленного текста наносит ему непоправимый ущерб в виде необратимых смысловых трансформаций, разрушающих то сердцевинное, с чем следует обходиться «как с немощнейшим сосудом»[1]: *сосуд незнамого меда*. Какими насекомыми он собран и из нектара каких растений – неизвестно никому. Писать об этой книге – значит мешать ей говорить о себе самой, но можно расставить свои скупые маркеры понимания в ключевых местах текста.

Концепт гаража нагружен сразу несколькими коннотациями. Прежде всего, это амбивалентное место, где в реакцию, разрывающую субъект речи на части, вступают два противоположных чувства – покоя (после поездки) и волнения (перед ней). Гараж схож с текстом – они оба статичны, но имеют содержание с потенциальным движением машины/мышления. Гараж, по Шостаковской, представляет собой общий мир, подвергшийся частному гравитационному коллапсу и сжатый до пределов «тёмного чердака», бетонной коробки, «бункера без окон», где каждая стена – тупик: «*Сидеть бы прижавшись лицом / к стене / Одному на свете...*» Однако это сконцентрированное мироздание функционирует в режиме all inclusive: «*внутри у нас звёздное небо*»; «*“среди миров, в мерцании светил...” / ...ты знаешь, я и это проглотил!*»; «*мы будем стоять до Большого Взрыва*»; «*в давнем детстве сломленным беспомощным сжатым в точку / я смотрел в зеркальные серые глаза отличные от моих*».

Другой в замкнутом пространстве является предвестником клаустрофобии, поскольку сам Он тесен, как мир. Отражаясь в Другом, есть риск остаться наедине с самим собой: «*Головокружения своим единоличием отрицают сам / дух коллективизма*»; «*а так вообще ничего, неплохо выглядите... когда / не на меня смотрите*»; «*ночь такая большая, что не видать конца / главное – не мешает. главное – нет лица*».

[1] Библия. Новый завет. Первое послание Петра, гл. 3, ст. 7.

Вообще, в тексте много замкнутого пространства самого разного происхождения: *«это сердце. оно – голубая твёрдая раковина <...> плавательный пузырь. это душа»; «а мы несём в своем мешке волхвов и беса на горшке»; «А где-то далёко ползёт орбитальная станция»; «иногда такой расклад бывает возможен, / даже если находишься в полной жопе»*. Даже у души есть своя тесная сфера, метафизическое у Шостаковской осязаемо: *«это душа. / когда она находится в пузыре под рёбрами»*.

Кажется, что для субъекта книги алфавит тоже является тесным репрессивным средством коммуникации:

главное помнить буквы
потому что из них
состоит уголовный кодекс
и жития святых

Текст книги функционирует как запертый гараж, как замкнутая система алфавитно-комбинаторной энтропии, где есть всё и беспорядок растёт, но субъекту не из чего себя формировать: *«с течением времени словно теряют содержание движется / и остаётся / оболочка»; «живы будем нечего умереть»*. Субъект тщетно пытается удержать собственное содержание посредством иронического захвата разного рода мифов: античного, фольклорного, классического, советского, масскультного. Спорадическая рифма в книге словно помогает субъекту перекликаться с самим собой, удостоверяясь в собственном (не)наличии. Тем не менее его бессмертная пустота становится избыточной, неподъёмной, существенной и нескончаемой. Спастись от неё можно лишь бегством в сон:

сыплет побелка, со стен – извёстка,
и правда будто бы
пустота
а на рассвете придёт за мной
<...>
приходи за мной на рассвете
что ли спокойно посиди
не заметишь как настанет утро
бычьим глазом просинеет заря
о как бы нам хотелось прожить во сне
во сне погибнуть бескровно

Или – через поломку технического средства самовыражения, без которого в цифровую эру невозможна какая бы то ни было актуальная самоидентификация:

update а теперь остаётся только ждать
пока у меня
сломается компьютер
ждать пока у меня сломается компьютер
ждать пока у меня сломается компьютер

Но смерти нет и это – плен существования:

«настоящие мёртвые люди
пьют горячее, спят на крыльце»;

«...это лежит мертвяк, которому снится,
что его возлюбленная не может
пошевелиться»;

«на берегу девица глядит с тоскою
в волны, а рядом мертвяк смеётся над ней»;

«это мёртвый хватает своих молодцов
за штаны,
сообщая подробностям легкий налёт
новизны»;

«я кагбе мёртвая х.йня
в сиреневом саду».

Субъект с трудом нащупывает пронзительные лирические реминисценции, но и они развеиваются лопастями постмодернистской иронии и почти пранкерским стёбом, накрывшим сноску:

где твое счастье ли это дождусь утра
напьюсь
они сидят а я
что займёт чувствуя озноб
знакомую дрожь и
потерял что мог и знаешь время
будто бы зависло
вот я смотрю на тебя смотрю на тебя
смотрю
<...>
танцуй у тебя на могиле Фрейд
лишний раз убедиться

что все-таки ненормальный
а что ещё не о странностях же любви
о жизнь параллельной жизни
о сжимал кулачки, принимал таблетки*

* них.я не принимал, но кулачки сжимал

Вообще, у Шостаковской последние строки являются ключевой частью, которая зачастую изменяет или вовсе отменяет предыдущее смысловое целое.

Читая «Гараж», невозможно не следить за построчным дыханием автора в тех местах, где оно то обрывается после первого же слова, то длится до самого края страницы. Именно это видимое дыхание становится в книге неопровержимым доказательством присутствия невидимого субъекта говорения:

пиво
невкусное жидкое пиво Карлсберг
они прерывают со мной разговор
как само собой
разумеющееся, не сказав «ухожу»
что дальше
дальше я пойду за куревом думая что
нужные книги
мне бормотал на ухо чернокнижник
обложки были чёрные
на редкость осмысленно ведётся повествование
думая когда
искусственные эмоции, искусственный
темперамент
тоже не очень реалистично, мне кажется иногда,
что его у меня просто нет
хороший ли признак ощущать внезапно
замкнутое
пространство, складываясь в позу эмбриона
какая всё же ерунда по сравнению
с ядерная угроза
и все перешли на фронтовые сто грамм

Примерно со второй половины книги поэтические отрезки становятся короче, текст начинает агонизировать и к концу угасает до основополагающих реквиемальных строк, на «незнаемом меду» которых держится всё произведение:

прерывание стукота битых сердец
как битых яиц
всмятку
что мерещится мне на чужой стороне это
тусклое небо
чуждо
ты считаешься родиной, мутная мокрая взвесь
помоги мне, пожалуйста, как я тебя ощущаю
слышны птичие крики из жалистных
сталинских глыб
мы тоже, наверно, могли б

Книга Ирины Шостаковской «Гараж» – это мир, сжатый до точки сингулярности; призматический глаз, внутри которого есть всё и ничего; место, где в качестве суверенного объекта поэтического высказывания выступает пёстро-порожняя социокультурная среда, чей многоликий крик заглушается поэтическим шёпотом веской авторской единицы.

Алексей ГОЛИЦЫН

ПЕРВОЕ ДЕЛО ХУДОЖНИКА ВАЛЕНТИНА ЮСТИЦКОГО

23 апреля 1937 года в Москве был арестован Валентин Юстицкий – живописец и график, сыгравший важную роль в художественной жизни послереволюционного Саратова. За день до ареста Юстицкий зашел в пивную, где, по версии чекистов, стал вести «контрреволюционную троцкистскую агитацию, высказывая при этом настроения террористического характера»[1]. Следствие длилось до июня 1937 года, художник вину не признал, несмотря на показания трех свидетелей. В августе суд приговорил Юстицкого к 10 годам лагерей.

Валентин Юстицкий участвовал в столичных выставках футуристов с 1916 года, но мэтром он стал в Саратове, куда в 1918 году был командирован как представитель «пролетарского искусства». Здесь Юстицкий заведовал отделом изобразительных искусств местного Пролеткульта и преподавал живопись. В 1921 году художник стал профессором Высших государственных художественных мастерских. В 1923 году Юстицкий поступил преподавателем в Саратовский художественно-практический институт, переименованный затем в художественно-промышленный техникум.

Считалось, что до отъезда из Саратова в биографии Валентина Юстицкого были лишь творческие достижения. Однако в фондах Государственного архива новейшей истории Саратовской области сохранилось уголовное дело[2], заведенное на художника в относительно спокойном в политическом плане 1930 году.

23 апреля – по необъяснимому стечению обстоятельств в тот же день, что семь лет спустя – преподаватель живописи стал объектом внимания чекистов. Старший уполномоченный секретного отдела ОГПУ Подтынков[3] постановил произвести обыск и арест Валентина Юстицкого, который подозревался в «систематической антисоветской агитации против существующего строя». На следующий день художник был арестован в своей квартире по адресу: Гоголевская, 97, кв. 2. При обыске, который производили сотрудники ОГПУ Егоров и Николенко, а также понятая счетовод управления РУЖД Евгения Пономарева, ничего изъято не было. Обычно при обысках тех лет у подозреваемых по антисоветской статье забирали документы, личную переписку и запрещенные книги, однако в описи изъятого у Юстицкого содержится единственная запись «Ничего не обнаружено».

27 апреля Подтынков подписал постановление об избрании Юстицкому меры пресечения – содержание под стражей в саратовском изоляторе. Обвиняемый по-прежнему подозревался в

[1] Цит. по: Валентин Юстицкий. Дело художника. Альбом. – Саратов, 2014.

[2] ГАНИСО. Ф. Р-6210. Оп. 2. Д. ОФ-1963.

[3] В дальнейшем Подтынков сменил место службы. В 1936 г. он входил в спецколлегию Саратовского краевого суда, осудившую за антисоветскую деятельность Пугачевского епископа Стефана (в миру Василия Илларионовича Виноградова (1866–1938)). См.: М.В. Фаст, Н.П. Фаст. Нарымская голгофа: Материалы к истории церковных репрессий в Томской области в советский период. – Томск, 2004. С. 124.

«систематической антисоветской агитации против Соввласти» и в том, что «находясь на свободе, может помешать ведению следствия». Художнику вменялась статья 58-10 (пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти).

На первый допрос Валентин Юстицкий был вызван лишь 28 апреля. В анкете, заполненной рукой Подтынкова, указаны год рождения художника – 1894-й и происхождение – «из мещан г. Петербурга, русский». После второго ареста Юстицкий сказал на допросе, что родился в 1892 г., однако, скорее всего, умышленно исказил эту информацию[1]. По какой причине художник неоднократно менял в документах год своего рождения, еще предстоит выяснить.

Далее в анкете следует образовательный ценз – «Высшее специальное художественное – окончил Виленское художественное училище». Об учебе в Париже подследственный не сообщил.

В графе «партийность и политические убеждения» записано «Беспартийный, убеждения имею коммунистические».

Дальнейшие сведения касаются биографии арестованного. Юстицкий указал, что до войны 1914 г. «в г. Вильне учился в художественном училище», с 1914 г. до февральской революции 1917 г. «в г. Москве и Ленинграде работал на художественных выставках», в февральской революции «в г. Москве, активного участия не принимал», с февральской до октябрьской революции «в Москве работал на художественных заказах», и октябрьскую революцию встретил «в г. Ленинграде, участия активного не принимал».

Далее Юстицкий «до 1918 г. работал в Агит"отделе Губвоенкомата, с 1918 г. в г. Саратове завед<овал> ИЗО пролеткульта до 1920 г., с 1920 г. в полит"отд<еле> Дон<ской> Обл<асти> завед<овал> худ<ожественным> отд<елом> и в полит"отд<еле> РУжд до 1921 г. С 1921 г. профессор живописи в Сар<атовском> Худ<ожественном> Ин<ституту>т<е> до 1925 г., с 1925 г. до настоящего времени руководитель Худож<ественного> Сар<атовского> техникума».

Вероятно, «руководителем» Валентин Юстицкий назвал себя в творческом плане, т.к. числился преподавателем и короткое время – заведующим учебной часть техникума.

Единственный допрос в рамках первого уголовного дела Юстицкого, записанный рукой следователя, воспроизводится дословно, т.к. иногда непонятно, что Подтынков имел в виду:

«Мой отец был присяжным поверенным умер в 1912 году в г. Вильне, последний имел дом какой-то лес, вообщем какую-то собственность, которая мне не известна, но только помню, что когда отец умер, то мать переехала в небольшую квартиру и проживая в нужде, как видно это имущество было какое-то запутанное и в долгах. Имею двух родных сестер Марию и Нину[2], но где они находятся мне совершенно неизвестно, т.к. связи и переписки с ними не имею. Две мои двоюродные сестры Лидия Александровна и Кира Александровна Юстицкие теперь вышли замуж и фамилии по мужу не знаю которые ~~еще до рев<олюции>~~ в данное время проживают в Париже – Франция. С этими сестрами я совершенно не имею связи и не переписываюсь.

Из близких знакомых в г. Саратове имею Егорова Евгения Васильевича[3] – художника, знакомых же вообще по городу у меня очень много. При общении со знакомыми разговоров на антисоветские темы не было, но политические разговоры были, но вопросы касались исключительно идеологического порядка, связанные с искусством и против политики и мероприятий Соввласти я никогда не слышал и сам не вел, все это мной указывается про художественный техникумом.

---

[1] Червякова О.Н., Юстицкая Т.В. Новые материалы к биографии художника В.М. Юстицкого на основании документов из архивов Санкт-Петербурга, Гродно и Вильнюса // Открываем коллекции. XV Боголюбовские чтения. Материалы Всероссийской научной конференции. — Саратов, 2017. С. 196–206.

[2] Помимо Валентина, в семье было еще четверо детей: Мария (1896 г.р.), Борис (1897 г.р.), Нина (1903 г.р.) и самая младшая Варвара.

[3] Егоров Евгений Васильевич (1901, Саратов – 1942, Саратов) – ученик Валентина Юстицкого. С 1923 по 1933 г. преподавал в Саратовском художественном техникуме. Переехал в Дмитров, а затем в Москву. После начала войны эвакуировался обратно в Саратов.

В 1928 году зимой из г. Москвы приехал художник Яковлев Алексей, который оказался адм<инистративно>-высланным по линии ГПУ, но сам же он об этом не говорил, а потому у меня сложилось впечатление, что он выслан за хулиганство, после этого я с ним встречался раза два. В начале апреля м<есяца>ца с/г. он мне звонил по телефону на службу и Сапожникову Алексею Алексеевичу[1], просил придти к нему в ГосИздат, где выдавал себя за зав<едующего> худ<ожественным> отд<елом> и предлагал нам большие работы по издательству плакаты каррикатуры и иллюстрации. После этого я с ним стал встречаться чаще, но работу не давал. В беседе с ним выяснилось, что он из Москвы выслан по 58 ст<атье> но за что так до сего времени и не сказал. Я рассчитываю, что мой арест связан со встречей с людьми с контр-революционным прошлым».

Из последней фразы следует, что обвиняемому не объяснили причину его ареста, рассчитывая, видимо, на то, что он сам даст показания о себе и своих знакомых. И Юстицкий упоминает на допросе художников Евгения Егорова, Алексея Сапожникова и Яковлева.

Несмотря на то что Яковлев находился в Саратове в ссылке, ОГПУ совершенно не контролировало его деятельность. Так, арестованный в 1933 г. художник Александр Скворцов обвинялся в том, что был якобы завербован Яковлевым в контрреволюционную организацию в 1930-м. Юстицкий называет Яковлева Алексеем, а более тесно общавшийся с ним Скворцов правильно – Леонидом.

Как записано в обвинительном заключении, «Скворцов и Яковлев разрабатывали методы вербовки и глубокой конспирации к.-р. организации, строя ее по принципу “цепочки”, при этом Скворцов получил от Яковлева установку на дальнейшее расширение к.-р. организации, с конкретными заданиями объединения в нее недовольных Соввластью, с тем, чтобы подготавливать кадры для активной борьбы с Соввластью»[2].

Чекисты хватились Яковлева только после показаний Скворцова, но было уже поздно. В марте 1933 г. из Саратова поступил запрос в столичный Транспортный отдел ОГПУ: «Принятыми мерами о Яковлеве нами добыты следующие сведения: Яковлев Леонид Дмитриевич, 1898 года рождения, по профессии художник, прибыл в Саратов из Москвы, дата приезда неизвестна. В 1930 году в г. Саратове работал в Крайисполкоме и затем в ОГИЗ’е[3]. До 1930 года адрес местожительства Яковлева в Саратове не установлен. <...> За время пребывания Яковлева в Саратове к нему из Москвы приезжала его жена и мать.

В настоящее время Яковлев Л.Д. по некоторым данным находится в Москве, куда выехал 30-го Января 1931 года.

ДТООГПУ Р.У.ж.д.[4] просит срочно установить в Москве указанного выше Яковлева и ориентировать нас о всех имеющихся материалах на него по Москве. Если же Яковлев по материалам наших органов в Москве не проходит, то просьба такового арестовать и спец. конвоем направить в Саратов»[5].

Запрос саратовских чекистов их московские коллеги проигнорировали. «Принятыми мерами Яковлев не установлен и ответа из Т<ранспортного> О<тдела> ОГПУ о результатах нашего за-

[1] Сапожников Алексей Алексеевич (1888, Пенза – 1954, Москва) – художник, с 1917 г. жил в Саратове, с 1925 по 1929 г. преподавал в Саратовском художественном техникуме. В 1932 г. переехал в Москву.

[2] Уголовное дело ОФ-15148 по обвинению художников Александра Скворцова, Виталия Гофмана, Ивана Щеглова, а также Константина Гаврилова, Андрея Попова и Нины Степановой-Скворцовой (окончено 29 апреля 1933 г.)

[3] Объединение государственных книжно-журнальных издательств.

[4] Дорожно-транспортный отдел ОГПУ Рязано-Уральской железной дороги.

[5] Уголовное дело ОФ-15148.

проса – не получено, почему Яковлева допросить, а также и привлечь по настоящему делу – не представилось возможным»[1], – говорится в обвинительном заключении по делу Скворцова и др.

Упомянутые Юстицким преподаватели художественного техникума Евгений Егоров и Алексей Сапожников не заинтересовали следственные органы. То, что Сапожников через несколько лет переехал в Москву, а Егоров – в Подмосковье, скорее всего, говорит о том, что атмосфера в учебном заведении становилась все более тяжелой, а больше работать в Саратове было попросту негде.

Допрос Юстицкого завершился 28 апреля, и на следующий день опер Подтынков прекратил дело против художника, поскольку «в процессе предварительного следствия факт преступности не был установлен». Тем же постановлением Валентин Юстицкий был освобожден из-под стражи.

Кратковременное пребывание в тюрьме никак не отразилось на официальном статусе художника. До 30 января 1935 г. он продолжал преподавать живопись в Саратовском государственном художественном техникуме. В том же году Валентин Юстицкий переехал в подмосковную Каширу и стал сотрудничать со столичными издательствами, пока в 1937 г. не был арестован и осужден по той же «антисоветской» статье 58-10, что и семь лет назад в Саратове.

[1] Там же.

Контакты:

Анна Сафронова *(гл. редактор, проза)*: safronova-volga21@yandex.ru
Алексей Александров *(зам. гл. редактора, поэзия, критика*): alexandrov-volga21@yandex.ru
Алексей Голицын *(документальные исследования)*: agolitzin@yandex.ru
Олег Рогов *(архивные публикации, критика)*: rgv@mail.ru
Алексей Слаповский *(проза)*

Сайт журнала: http://volga-magazine.ru/

Электронная версия журнала на сайте «Журнальный зал»:
http://magazines.gorky.media/volga

Подписано в печать 20 июня 2020 г.

Журнал отпечатан в типографии
ИП Сергеев

При перепечатке ссылка на «Волгу» обязательна.